

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

5

НОВЫЙ МИР

2001

5



2001

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

В 2001 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);
МАКСИМ АМЕЛИН. Из-под пепла и брена (стихи);
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;

Рассказы;

СЭМЮЭЛ БЕККЕТ. Мерсье и Камье (роман; перевод с английского Михаила Бутова);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);

ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

АЛЕКСЕЙ ЗИКМУНД. Герберт (повесть);

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

АННА МАТВЕЕВА. Восьмая Марта (повесть);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);

ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия; Высоцкий (главы из книги);

ГЕННАДИЙ НОВОЖИЛОВ. Другие жизни (рассказы);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Такая вот любовь (рассказы);

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Очаровательное захоlustье (повесть);

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы (эссе);

ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин (повествование в рассказах);

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. Спасение (из наследия);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); **Рандеву в конце миллениума** (эссе);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;

ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам (параллели);

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаньч (повесть);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Фрагменты книги «Музыкальный запас»: композиторы, проблемы, случаи;

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Лапландия (история одной болезни);

И. П. ЮВАЧЕВ. Сахалинский дневник 1891 года;

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА, СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА;** стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА ОШЕРОВА, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2001 году: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2001 года — 270 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на 2001 год по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликешенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА — Ничего лишнего, стихи	7
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Мальчик и девочка, роман	13
АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН — ...И шагну в пустоту, стихи	74
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ — Гостиница «Океан», короткая повесть	77
ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ — В потоке ветвей, стихи	92
БОРИС ЕКИМОВ — Прошлым летом, рассказы	96
ИВАН АХМЕТЬЕВ — Вот до чего дожил, стихи	115

ОПЫТЫ

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ — Срок годности	118
---------------------------------	-----

МИР НАУКИ

ВЛАДИМИР ЛОПАТИН — Русская орфография: задачи корректировки	136
БОРИС РАУШЕНБАХ — Из книги «Праздные мысли». Литературная запись Инны Сергеевой	147

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ — После Клинтон	161
---------------------------------	-----

ПОЛЕМИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Красота дьявола. По поводу литературных очерков Владимира Бондаренко	167
---	-----

ПРЕМИЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Слово при вручении литературной премии Константину Воробьёву и Евгению Носову 25 апреля 2001 г.	179
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МЕЙНСТРИМ И МЫ. Спор двух петербургских восьми(девяти?)десятников. Сергей Завьялов. Оправдание поэзии; Валерий Шубинский. Кофий императрицы	183
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Алла Марченко. В начале жизни школу помню я	195
Виктор Мясников. И слово всегда буде(и)т мысль	200
Владимир Губайловский. Отрицаая Платона	203
Евгения Свитнева. Феерии и наваждения	206

КНИЖНАЯ ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА	209
ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ	216
КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА	217
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	221

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ (составитель Сергей Костырко)	226
ПЕРИОДИКА (составитель Андрей Василевский)	228
SUMMARY	240

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТУРУ
АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА
НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ 2001 ГОДА.**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЕВГЕНИЯ НОСОВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА
ЗА 2001 ГОД!**

Слово Александра Солженицына при вручении премии Евгению Носову см. в настоящем номере «Нового мира».

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации при посредничестве Российской Государственной библиотеки выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России 1000 экземпляров журнала «Новый мир».

Издание выходит при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА



НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Три вопроса

- С кем ты гуляла на празднике этом?
- С мудрым юродивым, с нищим поэтом,
с иноком и с амазонкой крылатой
и со старухою бородатой.

- Кто ж послужил тебе, кто расстарался?
- Тот, кто хоть раз надо мной посмеялся,
имя коверкал, вел речи кривые
да загонял на холмы потайные.

- С чем бы здесь никогда не рассталась?
- Ах, да со всем, что в свой час причиталось
Еве с Адамом, а мне — так украдкой
кротко сияло на лестнице шаткой.

Меж сном и явью

I

...Между сном и явью слышишь странный
то ли шелест шестикрылый, шум отчизны позабытой,
то ли лепет льстивой, темной, предзакатной, самозванной
речи

или Речи Посполитой.

...Разве я двурушник дерзкий вроде Курбского? иль жердь я
обоюдоострая?.. Иль двоеверный
смерд? — в мешочках замшевых предсердья
оберег от лиходея носит, складенек от скверны.
Через левое плечо плюет и крестится в придачу
на луны туманный профиль,
денежку из серебра ей кажет:
на приплод, богатство, счастье, говорит, и на удачу!..
А подумает и «на бессмертье» скажет.

...У меня в мешочках этих тоже много есть такого,
что поет то «Херувимскую», то «Прощание славянки»,
то катает, как булыжник гневный, тяжкое глухое слово,
то без слов толкает в гору ледяные санки...

Вот и ты мне говоришь: засни, забудься.

Сладок

сон царевны, спящей под защитой
ангелов, а бесы между складок
штор хоронятся да в сундучок закрытый...

Но меж сном и явью воздух шаток
и двусмыслен всякий гость со свитой...
И тревожен сумрачный осадок
жизни непрожитой.

II

С кем сравню себя? То с яблоком, то с кошкой
неприкаянной. Что ни припомню — куце.
Непроглоченным когда-то хлебом, крошкой
непрожитого — о, как не поперхнуться?

Путника неузнанным отправить в ночь! В скитальце
не признать глаза Его и губы!
Голоса Его не различить и пальцы,
преломляющие хлеб, не разглядеть — к чему бы?..

Я хожу-твержу одно лишь слово «сбыться»:
обрастая бытием, ночь проспана, день прожит...
Ибо там, меж сном и явью, где границы
четкой нет, несбывшееся — гложет!

...И уже не может воплотиться,
но и умереть еще не может.

III

Но Господь не исполнил детских моих мечтаний
переменишь судьбу:
например, к цыганам уйти, бить в бубен, плясать при луне
или стать индианкой с красной точкой во лбу —
заклинательницей гюрзы, госпожой пантеры,
наездницей на слоне.

Даже летчицею меня не сделал! Даже к воде
не привязал фрегатом, но предал такой пустоте,
что впору мне хоть на фабрике пуговиц дырки проделывать:
где —

две, где — четыре; готовы и те, и те...

И мастер пуговиц мне говорит: ты напрасно здесь
тревожишься тщетностью дел, прикусив язык,
без пуговиц мир неполон и не застегнут и весь
расхристан, бесформен, дик...

И кажет изнанку — небрежный темный испод,
навыворот носит покров небес, золотую сеть.
...Оттого и жалит гюрза, и падает самолет,
фрегат уходит на дно, цыган разучился петь.

* *
*

...Что твердишь ты уныло: нет выхода...

Много есть входов!

Есть у Господа много персидских ковров-самолетов.

У Него и на бесах иные летают святые.

И горят в темноте кипарисы, как свечи витые.

О, всегда я дивилась искусствам изысканным этим,
дерзновенным художествам — птицам, растениям, детям.

И мне нравились их имена — аспарагус и страус,
завитки насекомых — вся нотная грамота пауз!..

Над лугами летают поющие альт и валторна,
и ничто не случайно у них, и ничто не повторно!

...Разве зебра не сбавила б спеси дурной с авангарда?

Что, верблюда бы он переплюнул? Побил леопарда?

Носорога б затмил? Или радугу б взял из кармана?

Иль придумал бы что-то покруче, чем зад павиана?

Чем глаза крокодила? Чем хохот гиены зеленой?

Или чрево кита с беглецом драгоценным Ионой?

Что б придумал новее пустыни, ходящей волнами?

Иль цветущей саванны?

Могучей реки с рукавами?

Огнегривой цунами — над мачтами гордых фрегатов?

Осьминогов жемчужных? Литых электрических скатов?..

Что новее монаха-отшельника в рубище строгом?

Он на льве возит воду, сердечно беседует с Богом.

И, как спелую смокву в горсти, как подбитую птицу,

обозреть может землю, пройти через стены в темницу,

нашептать рыбалям, чтобы риф огибали левее,

исцелить паралитика — что мы видали новее?

Потому что здесь все не напрасно и все однократно:

если выхода нет, пусть никто не вернется обратно!

Но войти можно всюду — нагряться ночью грозой,

сесть на шею сверчку незаметно, влететь стрекозой,

нагуляться с метелью, озябшими топтать ногами,

на огонь заглядеться, на многоочитое пламя:

как гудит оно в трубах, как ветер бунтует, рыдая!..

...И окажешься там, где свободна душа молодая!

Смерть в Монако

Этого Алешеньку я знала великолепно.

Он

когда-то прекрасно рисовал клоунов:

у каждого — попугай и собака...

А потом — вырос, сделался коммерсантом, сбежал за кордон,
там обанкротился и застрелился в Монако.

Впрочем, кажется, в этом ему помогли. Тоску
объясняли потом невезеньем, сплошной непрахой.
...А когда-то, чтобы свободно бегать по потолку,
он мечтал стать бабочкой, мотыльком, мухой...

Сын красавицы и поэта. То франт, то аскет.
Кажется, мать спилась. Не знаю, право, жива ли.
А отца и вовсе забыли, словно его и нет.
А ведь даже на улицах узнавали!

Ничего не осталось! Никто не видел тот край,
куда они ухнули...

И лишь с улыбкой широкой
на ватмане ветхом клоун, собака и попугай
клянутся, что — ни при чем, ни с какого бока!

Да вольные мухи гуляют по потолкам,
как ни в чем не бывало... Да день не жалеет глянца...
...Монако глядит на море, гадает по облакам.
Наверное, на статного чужестранца.

Свобода

У нас каждый год косит под високосный,
изображает Касьяна,
словно выпытывает, подступая с любого боку:
«Кто тут из вас не боится быть уязвимым, тумана
не выпускает, вторую не прячет щеку?
Кто верит в Благою Руку, в смотренье это,
хранящее каждый волос ваш, как скрижали,
и первый Рим, и второй, и третий, и вот в конце-то
концов роняющее их спесь, когда они сами пали?..

А кто не верит, пусть сам со мной поиграет в прятки,
пусть сам себя сторожит, окружает кроной,
борзясь, страшает душой, уходящей в пятки,
стреляным воробьем шарахается, пуганую вороной...
И пусть сиротою казанской мямлет — чего ему? Может, хлеба?
Денег ему, покоя? Того и этого вместе?
Или, быть может, любви бессмертной ему — и земли и неба?
И даже больше — всей правоты, всей чести?
И пусть соловеет весь, вкусив утаенного меду,
тоскует, боясь расплаты, бормочет глухо...

О чем это я? Ах да, так вот — за его свободу
ни галка не даст пера, ни серая утка — пуха!»

Бездевушка

В пластмассу запаянная, сухоголовая,
сработанная с добром,
бабочка сувенирная бирюзовая,
золотцем окаймленная, серебром...

В камешках разноцветных, с бисером
надписи подарочной, с завитком,
с нищенской роскошью, с помпезным мизером:
с крашеным трогательным цветком...

...Тот, кто мастерил тебя, сочинял, подклеивал,
подкрашивал, украшал,
как невесту к празднику наряжал, взлелеивал,
чуть дышал.

И ему казалась ты, как оконце вроде бы —
в рай: лишь протри стекло!
А досталась ты в стороне юродивой
чужаку, смотрящему тяжело.

Все кривится он страдающими, помятыми
лицами, напрягается всей спиной,
прелести твои, бабочка, называет аляповатыми,
вкус, говорит, дурной!

А по мне — так и слава Богу! От этой капли ведь
бирюзовой — учишься забывать,
как менять квартиру, квитки накапливать,
как казаться взрослой, как выживать...

Чудовище

Видишь, это нездоровый гордый город, город злой,
словно змей семиголовый поселился под землей,
и оттуда изрыгает он проклятье и хулу
и конечно же красавиц умыкает в кабалу.
Если головы сдвигает этот змей, забывшись сном,
город бредит, разметавшись, город ходит ходуном.
А проснется — вновь воюет с головою голова:
криво снег кривой ложится, дождь кривой, трава крива.
Так бранчлив язык у каждой, так у каждой — свой закон,
и которая главнее — знать не знает сам дракон.

...Я пришла к тебе, и губы сразу рисовать пошли
на лице моем улыбку, лодку легкую вдали,
горизонт, морскую птицу и большую букву «О»:
изумленье, ликование, радость, робость, торжество!
Но сказал подземный голос, шелестящий, роковой:
«Он совсем не настоящий, не звенящий, неживой!
Что нашла ты в этом бедном бессловесном чернеце?»
И — улыбка умирает на потерянном лице.

...В этом городе я знаю дом на четырех ногах,
знаю карлика в веригах, побирушку — в жемчугах
и поэта знаю — с бесом он беседует в ночи
о прогрессе, христианстве и спасении души.
Знаю шулера — в фаворе, провокатора — в чести,
знаю в каждом разговоре это «Господи прости».
А под нами шевелится ненадежная земля,
словно палуба кренится у больного корабля.
Это чудовище под нами пробудилось — повело:
замотало головами, тяжело дышит, смотрит зло.

Ничего лишнего

Вчера мне пожаловался добрый знакомый,
что в него то и дело вселяется крыса.
Она прогрызает в душе огромные дыры
и заставляет смотреть на мир ее глазами.

А три сотрудницы научного института
доверительно мне сообщили, на всякий случай:
этот год надо встречать непременно в блестящих
и желательно прямо на улице: на природе.

А крестница прибежала ко мне в меховой шапке
и, когда скинула ее, оказалась лысой:
— А что? Теперь так носят!
Ничего лишнего. И волосы растут лучше.

А издатель, который никак не хочет публиковать мою книгу,
как только выпьет изрядно, тотчас звонит и клянется,
что, разговаривая со мною по телефону,
всегда встает на колени.

А сосед мой, зайдя за солью, просидел весь вечер,
доказывая, что нашего Грибоеда
вовсе и не убили, а подменили,
а сам он подался к суфитам и стал монахом.

А гаишник, желавший содрать с меня, да побольше,
за разворот в неполюженном месте,
заметив у меня под стеклом книгу с американским флагом,
вдруг сказал с великой обидой:
— Раньше эта Америка виделась как прекрасная Мерлин,
а теперь стала копией госпожи Олбрайт! —
И не взял штрафа.

А критик К. припер меня к стенке на шикарном банкете
и, дыша в лицо, доказывал, что нам смерть без папы...
Я даже не сразу сообразила, что папа — Римский.

А мой дом открыла каким-то образом
неизвестная пожилая дама,
вошла, вскипятила чайник, плеснула себе мартины...
А когда я вернулась и воскликнула потрясенно:

— Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали? —
поставила меня на место:
— Нет, это ты что здесь делаешь? А ты кто такая?

А моя подруга выбросила из дома лишние вещи.
Сидит в повеселевшей квартире. Чистота. Свобода.
— Знаешь, — говорит, — душа отдыхает... —
Ничего, оказывается, ей не надо.
Кроме радости быть собою.



ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

*

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА

Роман

Еще не проснувшись, он понял, что ему снился опять тот же сон. Он один, ему страшно, он зовет маму, а она ушла. И он кричит так, что волны (справа от него много воды — видимо, море), — волны просто выпрыгивают и падают вниз, едва не затаскивая его с собой. Но тут возникает мама и бьет его, бьет. Счастье боли от мамы, пусть бьет, главное — она рядом.

Он спрашивал у родителей, откуда этот сон. Он ведь никогда не был на море.

— Был, — говорит мама. — Тебе было три годика. Я возила тебя укреплять в Анапу.

Типично мамино: укреплять. Как дверь, как полы.

Значит, море было. А раз оно было — было и другое. Мама бросила меня на берегу. Потом испугалась, нашла и побила. Тоже логика мамы.

— Сколько мне было лет?

— Три года, — говорит папа. — У тебя была двусторонняя пневмония, и тебе надо было море.

— Ты был с нами? — Важно выяснить наличие отца, когда тебя бросают на произвол судьбы у волн, встающих дыбом.

— Нет, я тогда не смог. Да и вообще курсовка была одна. — (Объяснение, что такое курсовка: хорошее дело для людей, не имеющих средств на санаторий.) «Мы же не богачи». (Мама, с обидой).

Мальчик не рассказывает матери — зачем? — что с этого сна он понимает ужас брошенности. Раньше он кричал во сне, сейчас — нет. Более того, ему стал нравиться кошмар сна (как страшилки в кино), он полюбил его анализировать. Что делала мама, когда на него делали стойку волны? А где были спасатели? Ведь должны быть спасатели, которые следят за пляжем?

— Мама, а там были спасатели? — спросил через несколько снов-лет. Она его ударила. Но тут-то зачем? С какой стати? Видимо, маме неприятно, что он помнит, как она была невнимательна к нему трехлетнему. Все-таки нехорошо, когда тебя тычут в твою вину.

Но сон продолжал сниться. Вот и сейчас. Этот ужас от потерянности и от волны, что встала так близко и неотвратимо. Видимо, не очень близко, если плюхнулась все-таки не на голову. А спасатели? Каковы? Есть хотя бы что-то, на что можно положиться у нас с полной уверенностью? Интересная мысль для пододеяла. И так... Положиться можно на... Ничего не приходит в голову. «Скорая» вовремя не приезжает. Поезда опаздывают. Учителя — хамы. Дружба просто сочится предательством. Милиция бьет всех. И опять же — спасатели не спасают. Все! Надо вставать. Сон сделал

свое дело. Испортил настроение и возбудил гнев. Теперь надлежит перейти от сна к яви. Это у него не простое дело — расщеперил глазки и ку-ка-ре-ку! У него это процесс.

Первое, что он должен сделать, проснувшись, — назвать число и день. Второе — мысленно проверить то, что надлежит ему увидеть, когда он откроет глаза. Итак, 19 июня, понедельник. Слева у него окно со следами зимней бумажной заклейки. Он ненавидит ее узор и цвет. Дело тут простое: под бумагой этого года проступает позапрошлогодняя заклейка газетами. Мама — экономная, специальную бумагу не покупает. В прошлом году ей учителя подарили бумагу на Восьмое марта вместе с разной пластмассовой дурью. Мама рассердилась и сказала, что не надо ее унижать такими подарками. Сами «дарильщики» седьмой год носят одно и то же пальто, а если идти на поводу времени, когда все есть в магазинах, то нечего в другого тыкать бумагой для окон. Старый опыт жизни не хуже нового. Время, когда окна заклеивались газетами, было бедным, но люди от этого хуже не становились. Он лично с мамой не спорит. Ее дело — бороться с жизнью как умеет.

Потом он увидит на стене свой детский рисунок. Мама тогда решила, что у него талант, и таскала его на занятия к какому-то хромоногому художнику. Мальчик придумал нарисовать en face лицо воробья. Это же надо! *En face* у воробья практически нет. Но мальчик сжимал крошечное чучело в мастерской учителя и рисовал клюв, который в прямом на него смотрении непостижимым образом вытягивался вперед, мертвые глазки сбегались вместе, и между ними не оставалось перемычки.

Вот этот клюв и висел на стене как знак победы: нечего тратить деньги на хромоногого художника. Потом будет его рабочий захламленный стол, под стулом кеды с торчащими носками и запахом, который достает его каждое утро. Нет, он моет ноги и меняет носки. Пахнут сами кеды, им тридцать лет и три года, куплены на вырост, но целые, сволочи, а значит, не будут заменены другими, ибо «мы не какие-нибудь бизнесмены». Тут он открывает глаза, хотя хотелось бы еще не вставать, а жить только мысленно, без движений и тем более говорений. Но так не бывает.

Слава богу, что каникулы и не надо идти в ненавистную школу, где он все время слышит голос мамы-учительницы, пронзительный и виноватозлой. Она ведь знает, что нельзя кричать на детей, но знает и другое: не кричать нельзя тоже. Есть такие противоречивые вещи, которые одновременно и плюс и минус. С этим ничего не поделаешь, это, можно сказать, явление природы, как дождь. С одной стороны, полив земли и ее покровов, а с другой — распутица, грязь и грипп. Мама — странная. Она все время говорит и делает глупости и тут же объясняет их как нечто безусловно правильное. Мальчик за это даже любит мать, видит в этом биение пусть заполошенной, но все-таки мысли или хотя бы ее попытки. Не таков папа. Папа — тот просто дурак. Дурак классический. В нем нет ни малейшей щелочки, куда могла бы внедриться мысль величиной с атом. Сто разумных мыслей, тысяча будут биться о папину структуру — интересно, из чего она? — и не проникнут. Однажды он видел, как папе делали укол в попу. Игла вошла спокойно. Но нельзя же допустить, что спрятанная в трусах и брюках попа есть единственное место, способное воспринимать что-то, ибо только она проницаема и проникаема?

— Ну если ты открыл глаза, чего ты не встаешь? — кричит мама, появившись в дверях чуть раньше, чем он представил, как она появится и крикнет. — Ты помнишь, что мы едем сегодня на дачу?

Нет, он про это забыл и сейчас испытал легкую тошноту от мысли, что каникулы — это дача, эти противные ему мальчишки, которые за год еще более отупели и будут рассказывать ему скабрзные истории и ржать широко открытыми, полными слюны ртами.

Чтобы представить дачу, надо снова закрыть глаза. Рабица. Она тянется долго-долго, местами прерываясь на металлические калитки с замками, спрятанными от дождя в вырезанные из бутылей пластиковые стаканы. *Очумелые ручки* называется. Потом будет выбоина, оставшаяся после всех и всяких дурачьих строителей, а за ней уже их калитка без очумелого стакана, так как у папы нет ума, чтоб присобачить замок, а мальчику это вообще по фигу.

— Ты встанешь или нет? — кричит мама.

Как противно открывать глаза. Если бы можно было жить хоть чуть-чуть в мертвом виде, то он согласился бы. Пребывание в гробу, в сущности, идеальное состояние недосыгаемости. Хоть лопните все — не достанете. Но это хорошо, когда что-то в тебе способно осознать это и позлорадствовать. В общем, он уже многое читал про то, что остается тонкое тело, которое вполне может смотреть и присутствовать при его гробе. Но лично ему не хватает доказательств, поэтому он живой, он встает, он идет в уборную, где мама успела уже навести чистоту и поэтому тошнотворно пахнет хлоркой.

Хлорка. Почему-то это связано со сном. Там, где было море и не было, видимо, спасателей, тоже воняло хлоркой. Он чувствует этот запах и видит лестницу, которая ведет куда-то вверх. Там где-то мама. И он кричит: «Мама!» Она бежит по лестнице вниз, легкая, как чайка, и уводит его от запаха хлорки.

Да! Он это хорошо видит. Теперь он знает: это и есть место спасателей. Они, так он знает из кино, в большие бинокли смотрят на пытающихся утонуть идиотов и маленьких придурков, сносимых (такая возможность есть, он знает) волной.

— Там были спасатели! — говорит он сейчас. Через сто лет.

Мама недоуменно смотрит на него.

— В Анапе, — объясняет он ей. — Я вспомнил.

— Что ты еще вспомнил? — спрашивает она.

— Хлорку. Там воняло хлоркой, как у нас сейчас.

— Дезинфекция. Тогда в Анапе была дизентерия, и мы быстро уехали.

Это неправда. Они были тогда два месяца. Он, конечно, не помнит сколько. Но он слышал тысячу раз, как у него была пневмония и мама плюнула на собственный отдых и повезла его на целых два месяца в эту тмутаракань без удобств и всего прочего (одним словом, курсовка) и укрепила ребенка, и с тех пор — тьфу, тьфу! Концы с концами не сходились.

— Ты собрал то, что тебе нужно? — спрашивает мама. Он ничего не собрал, потому как ему нужен телевизор, видеошник, музыкальный центр, но это ему брать не разрешено. На даче додыхает старенький «Рекорд», который ловит только второй канал, и плеер, который был ему подарен на десятилетие и на всю оставшуюся жизнь.

Что он будет там делать? Он представил, как дачная молодежь начнет тянуть его выпить, хуже вкуса спиртного он не знает ничего. Но тамошний народ может вполне прибить за такие несовременные соображения. И травку он не любит, у него сразу закладывает нос, и он начинает жить с открытым ртом, становясь самому себе омерзительным. Его за все это не любят. Он годится только для игры в настольный теннис и — попинать мячик. И еще у него есть гитара, даже две, и старенькая органола.

Они (не он), другие мальчишки, любят собраться и на их территории корчить из себя группу игредов. Ломаются, выгибая спину, чтоб гитара взмывала вверх, ноги ставят на пни, чтоб торчало голое колено из модно порванных джинсов. И дурьи вопли летят в небо с дурьими словами. Он говорил им: «Давайте возьмем текст у Окуджавы или кого еще, тогда, может, и музыка придумается». Ну что ты! Они сами с усами. Они не пальцем сделаны, а значит, не хуже Окуджавы, этого сто лет назад умершего маломерки.

Он пьет чай и думает о существовании в гробу. Вот бы отчебучить такой номер. И пошла бы она, эта дача, на хрен.

За ними должна заехать Дина. Дина — мамина подруга. Так мама говорит. На самом деле мама ее терпеть не может — плохой, мол, предметник, плохой воспитатель и вообще ни то ни се. А дело все в том, что ученики Дину обожают, парни говорят о ней гадости, но ведь это и есть доказательство интереса. Мама учит Дину жить, у них разница в годах лет десять, но мама говорит, что три. Он лично в возрастах женщин не разбирается. Мама есть мама, она уже пожилая женщина, ей сорок на следующий год. А Дина молодая, еще не замужем, но никто про нее не говорит «старая дева». Не ложится это на Дину. Дина учит детей «химике» и физике вместе взятым по причине кризиса образования. Она ему не досталась как учительница, ему досталась мама. Она у него чистый математик. Так вот на Дину свалился с печки мужичок с ноготок — дай бог, дай бог, фальшивит мама, — торгует школьным оборудованием, ну, Дина и прошла у него, видимо, как эквивалентный обмен за ящик реторт. В общем-то мальчик хорошо относится к Дине, и если та говорит в шутку, что, когда мальчик кончит школу, она пойдет за него замуж, он соглашается. Он (с закрытыми глазами, естественно) видит себя вместе с Диной. От нее хорошо пахнет, она не исходит глупостью, как мама с папой, и вполне ничего для показа. Невысокая, с хорошей грудью, волосы вьющиеся, подстрижены коротко. Но самое главное — у нее большой рот с мясистыми губами, всегда влажный и никогда не накрашенный. Если его одолевали мысли о сексе, то он видел Динин рот, и больше ничего и не надо было. Но это не значит, что он только об этом и думал. Просто когда мама говорила папе, «какие уродливые губы у Дины и надо бы ей расстараться на косметическую операцию», он думал, что степень идиотии родителей безгранична. Теперь, когда появился торговец ретортами, ему было интересно, видит ли тот рот Дины так, как видит он, или он тоже сторонник приведения в норму того, что лучше всего.

Он рассматривает его сегодня получше. На нем приедет Дина, чтоб перевести их барахло на дачу, а вместе с ним — и его с мамой. Боже! Как это ему противно!

— Я забыла тебе сказать, — говорит мама, — что Дина поживет с нами.

— То есть? — спрашивает он.

— Ты взрослый. Уже можешь понять. Отношения с Николаем Сергеевичем (Ретортой) в той стадии, что ей лучше не уезжать далеко. Дача — лучшее место, чтоб все не кануло. Он на колесах, и на электричке всего сорок минут езды.

Так обосрать одним махом подругу могла только его очень добрая мама. Потому что от такой Дины его едва не стошнило. Он знал, что летом она всегда ездит на Азовское море, где у нее родители. А тут вымерен километраж доступности к человеку-реторте и куплен мобильник, чтоб раз — и достать.

— А где она будет жить? — спросил он.

— Ну сообрази, — ответила мама.

— Тогда я остаюсь в городе! — сказал он. Но в этот момент позвонили в дверь, и они ввалились — Дина и этот. Дина кинулась к мальчику и сказала, что она везет классные диски и несколько боевичков. Он хотел ответить, что телевизор и видак у них не принято брать на дачу, но Дина сказала: «Знаю, знаю, мы везем свой!»

Он спускал вниз связанные углами одеяла, Николай — как его там — пер выварку с посудой, а дамы прихватили какие-то страшненькие чемоданы.

Значит, она будет спать в его комнате, комнатушке, комнатулечке, пристроенной к стенке дачи, что придавало всему строению вид амбарно-

го ларя. Подумаешь, беременная ларем дача, главное — в комнатуле есть дверь с задвижкой и ставни. Он мог укорачивать день до минимума, а ночь в «ларе» была просто бесподобно черной. Теперь пользоваться этим счастьем будет Дина, а он будет жить на проходной улице-террасе, и вороны нестриженными когтями будут драть рубероид, выискивая в его ложбинках съедобную живую мелочь, а все окна будут открыты круглые сутки, и в них будет целый день паялиться солнце, потом луна и звезды и все необъятное небо, с которым у него плохие отношения. Он не любит небо. Он не понимает — его бесконечность и вечность. В том, что звезды были всегда на одном и том же месте и тупо паялились и на Гитлера, и на Петра, и на Наполеона, и на принцессу Ди, и на Жанну д'Арк, есть какой-то жестокий замысел — унижить червяка-человека, чтоб знал свою крошку со стола мироздания. Да и ведает ли Главная Жизнь о его, к примеру, существовании? О его тюке на коленях, об этой женщине, что захватит его спальный ларь? Интересно, будет ли ей кайфово в черной тьме или она раскроет ставни и будет паялиться на небо, которому на нее сто раз плевать. Даже не так. Плевать — это относиться. Это иметь чувства. Небо никогда не хотело, но хочет и не будет хотеть знать про их человечью возню... Дина поворачивается к нему своим пленительным ртом:

— Я знаю. Я тебя ущемляю в правах. Но стерпи меня две недельки, ладно?

— Какой разговор! Какой разговор! — кудахчет дура мама.

— Почему именно две? — спрашивает он.

— Через две недели мы с Николаем Сергеевичем едем на юга. Я тебе оставлю всю свою музыку до конца лета.

— Клево, — отвечает он. — Я согласен.

— Ты хам! — кричит мама. — Как будто тебя кто-то спрашивает!

— Успокойся, Варя! — говорит Дина. — Он прав.

— Что значит прав? Что значит прав? Можно подумать, что он не сын, не мальчик, который с радостью должен уступить взрослому человеку, учителю.

— С какой стати? — говорит он. — Хотя бы для приличия предупредили. Ладно! Живите, Дина Ивановна. Я согласен на сделку.

Дина смеется. Реторта кривит рот. Мать кричит, что расскажет все отцу, хотя у того последнее время болит слева, она боится за него: мужчины, как выяснилось, существа куда более хлипкие, чем женщины.

— Замечательный анекдот, — смеется Дина. — Жена спрашивает мужа: «Ты коня на скаку остановишь?» — «Не-а», — отвечает муж. «А в горящую избу войдешь?» — «Не-а», — отвечает тот. «Вот и слава богу, что ты у меня не баба».

Мама сидит обиженная. У нее была совсем другая мысль на тему мужчины и женщины, умная мысль, а Дина перед своим хахалем все время выставляется и говорит не то и не так.

— Я серьезно, — шепчет она мальчику, — ты с папой поделикатней.

Конечно, можно ее уесть, что это она собиралась разволновать папу, рассказав, какой у него никудышный сын. Ну да ладно. Не будет он мучить мать. Он закрывает глаза. Он хочет представить смерть отца. Вначале он ищет эту смерть в своем сердце. Ищет боль или жалость, может, страх, ну, одним словом, из этого ряда чувств. Но сердце, большое и сильное, бьется так спокойно и даже величественно, что другие органы — гортань, к примеру, — как бы начинают смущаться таким бесчувствием сердца. «Но я же его не люблю!» — говорит мальчик, хотя, говоря, уже стыдится сказанного. Мальчик понимает это так: в нем нет какого-то естественного природного фермента, что сродни альбинизму. Тут же ничего не поделаешь — ты весь белый, белый до противности, но другим быть не можешь.

Мальчик представляет отца в гробу — ведь себя он представляет на дню по три раза. Отец выглядит очень важно и гораздо глупее, чем в жиз-

ни. Мальчик думает, что это надо проверить: посмотреть на какого-нибудь мертвяка, знакомого по жизни. Но такое не закажешь специально, этот случай должен подвернуться, как подвернулась Дина со своими двумя неделями. Интересно, будет ли к ним на дачу приезжать Николай-реторта? Этот вопрос — как вспышка молнии, потому как во весь могучий рост выдвигает на первый план его узенький диванчик-подросток, который давно ему мал, но «мы не такие богатые, чтоб менять хорошие вещи (диван цел и крепок) на лучшие». Им (Дине и Реторте) на нем не поместиться. Мальчик мысленно укладывает их и так и эдак. Со своей насквозь просмотренной звездами терраски он услышит их возню, как всю жизнь слышит родительскую, от которой у него выросло чувство протеста против неправильности такого человекоустройства, при котором он (человек) столь шумен, стыден и отвратителен. Он наблюдал за животными. Его просто ошеломили кошки изяществом движений сексуальной игры. Даже ночные кошачьи вопли не раздражали его, в них слышалось что-то сущностное, страстное и нестыдное. Собаки — те куда ближе к человеку. Они суетливы, торопливы, им, как и людям, быстрой бы сбросить груз желания.

Как это может быть у Дины? И тут он понял, что ненавидит Реторту. Если он услышит специфические звуки из «ларя», он войдет и убьет его обухом. Небольшой, под женскую руку топорик стоит у них у входной двери. Имеется в виду, что каждый из них — мама, папа и мальчик — запросто прихлопнут бандита, который вломится ночью. Теперь у топорика появился смысл, и мальчик сжал узкие повлажневшие пальцы в кулак. На литературе, когда разбирали Раскольников, учительница как-то очень грубо спросила, мог ли кто-то из них примерить на себя поступок Родиона. Она спрашивала так, будто не сомневалась — все мальчики девятого класса потенциальные убийцы. Они все возмутились, хотя потом, уже в разговоре между собой, некоторые признались: в жизни нельзя ни за что поручиться. Конечно, заповедь и то и се. Но кого она остановила? Убивают за так, за раз плюнуть. Но он признался, что сам не смог бы. Ни при каких обстоятельствах. «Ты теха», — сказали ему. «Я теха», — согласился он.

Вообще на этом месте мальчик вдруг почувствовал, что где-то в его глубине — «нутре», подумал он, — маленькая клеточка, такая незаметная из себя дура, набрякла, набухла, вытянулась, и из нее получились две. Он бы обдумал и дальше этот вполне физико-химический, а значит, конкретный процесс, если бы они не въехали на территорию их дачного товарищества и навстречу им не высыпал мелкий дачный люд, отслеживающий приезды и отъезды. На лавочке сидели те мальчишки, которых мальчик видеть не хотел, но увидел их сразу, в этом было свинство жизни, но он помахал им рукой, потому что так принято — здороваться даже со скотами, если отношения не обозначены окончательно. Сначала скажи открыто «сволочь», а потом уже не здоровайся. Это правило жизни. Но он не может никому из них сказать «сволочь», они такие же, как он, не лучше, не хуже, просто они ему не нужны, но это не повод не здороваться. В конце концов, в отношениях с мамой и папой у него все гораздо сложнее: он их не любит, а ест их хлеб. Хлеб мальчишек он хотя бы не ест.

Потом была разгрузка и установление прежде всего техники. «Рекорд» унесли в родительскую комнату, а в углу террасы аккуратненько встали красивенький «Шарп» с видаком и комбайн. «Вот это жизнь!» — сказал мальчик, усаживаясь на длинный расхлябанный диван, на котором ему теперь предстояло спать. Он боялся, что Дина с человеком-ретортой поставят технику к себе, то есть в его «ларь». Но они люди широкие, они делятся своим, но, по правде говоря, в его клетушке и места нет. Там от стенки к стенке его диван-подросток, а над ним полка с книжками, которые мама привезла, чтоб он их читал. Хрен тебе, мама. Я, может быть, и читал бы, не выставляй ты мне их перед глазами. Конечно, это вряд ли. Что может его подвигнуть читать «Молодую гвардию» и «Как закалялась сталь», ка-

кой такой ужас? Ни при каких обстоятельствах он не будет возвращать в себе патриотизм, так как не собирается защищать эту родину, разве что китайцы или корейцы пойдут тучей. Хотя и это не факт. Никто не способен принести его народу большего зла, чем он себе сам. Он это не то что прочел, он это понял. Он знает, что все русские делятся на две равные половины — разрушителей всего, что на земле, в небесах и на море, и тех, кому это все до фени. А строить потом на обломках — это великая национальная забава народа во все века. Дворцы — на кладбищах, храмы — на бассейнах, сады — на лесах, леса — на огородах, речки засыпать, озеро вырыть и так до бесконечности преобразований. Он любит с детства спрашивать: что здесь было до того? Родители очень злились. Все их дачное товарищество стоит на месте уникального паркового ансамбля еще прошлого века, с удивительной липовой аллеей. Теперь все липы перевязаны проволокой и притянуты к рабицам. Видимо, имеется в виду фантастическая русская мысль, что когда-нибудь липы вздрогнут корнями и уйдут далеко-далече. На этот случай — их проволокой. А посреди аллеи срамной канализационный ручей, он подтекает к амурному мальчику прошлого века с отбитыми носом, ушами, колчаном, но так врощим в землю, что его валили-валили, валили-валили, а он даже не вздрогнул. Но все равно когда-нибудь взорвут, потому что это уже дело принципа. Никто и ничто не может быть сильнее русского человека. Так говорит папа. И мама кивает: «Да!»

Когда он был маленький, она любила напоминать, что он обязательно пойдет в армию. Там, конечно, трудно, но для мужчины это очень важный этап. Сейчас она боится настоящих, не холостых пуль, что летают как маляхольные в Чечне. Все-таки она его любит и он у нее один. В доме зависли, как нечто безысходно необходимое, слова «поступить в институт». У него честные родители, и они хотят честно оставить его живым. Знали бы они! Мальчик ведь сто лет уже как решил: никогда он не пойдет в армию, даже если они замирятся каким-нибудь фантастическим способом с чеченами. У него есть страшный, но хорошо продуманный план. Он положит ступню на рельсы. Он уже знает, в каком месте. Это будет ужасно, он дрожит, представляя это, но это единственное, что может спасти от армии наверняка. Он сделает это в день своего рождения, когда ему исполнится семнадцать. Он потеряет сознание от боли сразу, а потом в больнице его обезболят. Надо только, чтоб кто-то видел и его сразу нашли. Потом ему сделают протез, но он даже не будет хромать, разве что чуть-чуть. Надо еще решить вопрос, говорить ли, что он специально лег, от армии, или все-таки пусть думают, что оступился? Ему хочется первого — правды. Но тогда будет суд и его посадят. Тюрьмы он боится. Проклятый русский выбор: или тюрьма, или правда. Видимо, он скажет родителям, точно скажет, они не донесут на него — все-таки они неокончательные, и может, это сворохнет их с убеждения, что то, что знают они, единственная истина и нет другой. Может, поймут, что родину можно не любить, если не находишь в ней приятных для себя черт; что родителей можно не уважать, хотя вынужденно и есть их хлеб. Что каждый человек — абсолютно отдельный и у него есть все системы для такой отдельности. У отдельного человека, в отличие от несчастной липы, погибающей в фекалиях и тем не менее еще и привязанной проволокой, есть органы для ухода. В просторечии — ноги. Тут он спотыкается. Так как именно орган ухода он хочет изувечить.

— Куда ты прешься? — говорит мама. Оказывается, они уже все установили, и она накрывает на стол, чтоб отметить приезд, а главное — благодарность за машину. Она смотрит на Реторту кисло-сладким взглядом, который у мамы означает: «Спасибо за такую малость, мы в долгу не останемся». Это проклятушее «мы в долгу не...» — ключевое мамино выражение. Ни на грамм не соответствующее действительности. Когда мама говорит «мы в долгу не...», это означает, что долг не будет возвращен никогда,

что, в сущности, мама считает, что это им остались должны, и она этот остаток обязательно внесет в реестр и через какое-то время скажет папе: «Какая неблагодарная Дина. Жила у нас на даче за так. Не могу же я считать оплатой то, что они привезли нас на машине. Она же сама на ней и приехала. А я тогда накрыла стол. Ты помнишь? Она же прожила две недели и хоть бы коробку конфет... Хотя ты знаешь, я их не ем».

Мальчику всегда хочется встрять в разговор и разоблачить маму, и он это обязательно сделает, просто сейчас не тот случай. Во-первых, есть видак и музыка, а во-вторых, есть сама Дина. Он будет смотреть на ее рот и получать бесконечное волнение в крови, которое кончается мокротой и сыростью, но так устроен человек. Это не его индивидуальная особенность, это мужская природа. «Деньги на ветер» — так говорит один парень из их школы. Он старше мальчика, но вот случилось, сказал ему эти слова в уборной. «Такая молодая здоровая сперма — сама жизнь, можно сказать, а спускаешь в толчок... Какая расточительная природа!»

Мальчик был потрясен. А что с этим еще можно делать? На что это годится? Позже он прочитал, что какая-то певица лечит этим горло. А вот мама говорит, что самое целебное, что есть на свете, — это моча. Получается, что человек вообще безотходное хозяйство. Все из него можно пустить в дело. И это все к тому, что в одиночестве своей человек, по сути, оснащен очень хорошо. Если бы можно было спастись от армии без увечья, он бы никогда не брал это в голову, но он не знает как... У него не получится притвориться сумасшедшим, слепым, глухим. Это точно не для него. Он для такого слишком прост.

Они едят рыбу в майонезе, запеченную в духовке. Пьют водочку. Все, кроме него и Реторты. Дина пьет тоже. Он смотрит, как ее влажный рот обхватывает края рюмки, а потом долго остается мокрым, и мальчик ловит себя на желании облизать губы Дины и даже слегка их высосать.

Выясняется замечательная вещь. Водила уезжает сразу, потому и не пил — он, дурак, не сообразил.

Вечером они все — папа приехал на электричке — стоят на крыльчке, мама показательно дышит: «Диночка! У нас тут хорошие потоки — река, смешанный лес и луговина». — «И фекалии», — говорит мальчик. «Ветер никогда оттуда не дует, — возмущается мама. — Лишь бы сказать гадость». — «Да ладно вам, — смеется Дина. — А то я не знаю, что в краю родном всегда пахнет сеном и г...». — «Но не пахнет же», — кричит мама, обижаясь на даруемую Дине за так природу.

Родители уходят спать, а они с Диной смотрят фильм «Однажды в Америке». Оказывается, она его не видела! «Вы что?» — кричит на нее мальчик. Но он рад, что такой фильм достанется ей при нем, как будто это он его сам снял, будто это он Серджионе. Он считает этот фильм первым среди лучших. «Титаник» — барахло. Хотя там тоже переживания, но как можно сравнивать! Бандиты, хулиганы, воры, а сердце за них замирает, будто это ты скатываешься под машину, спасаясь от пули. А эта девчонка! Тут он соображает, что у Дины рот этой девчонки. Большой и бесформенный. И это он стоит сейчас в сортире и подглядывает, как она, голая, танцует на цыпочках. Мальчику казалось, что он не дышит, зато сердце стучало так, что Дина, видимо, слышала. Взяла его за руку и сжала ее. Это было и приятно, и противно одновременно. Приятно, потому что женщины еще не брали его руку в тот самый момент, когда он взволнован по поводу женщины, пусть даже другой. А противно оттого, что она как бы поторопилась. Ему хотелось длинного переживания вместе, она же схватила его сразу, будто говоря: да знаю я, знаю, что там с тобой происходит. Дело, мол, житейское...

Под благовидным предлогом — чуть-чуть убрать звук — родители показательно кряхтели, он знал все их приемы воздействия — он вынул свою слип-

шуюся ладонь у Дины и сел чуть-чуть от нее подальше, чтоб оставить себе простор для переживаний... Ведь самое главное в фильме было впереди...

Но когда убили богача банкира и его жену прижали лицом к сейфу и подходили к ней сзади по очереди, он вышел.

— Я это видел пять раз. — Он видел три раза, но сказал почему-то «пять».

Он сел на нижнюю ступеньку крылечка, по ногам тоненько дуло из подполья дачи. Он его боялся, подполья, там жил да поживал очень разномастный мир тварей. Он ему был неприятен. Поэтому, когда рядом что-то зашевелилось, он едва не закричал, потом едва не закричал уже по другой причине. Огромная псина положила ему на колени голову и стала умищаться у его ног большим телом. Он понял, что где-то порвалась рабица и через нее пришла эта собака. Собак здесь до фига. Брошенных с прошлых сезонов. Они приходят и смотрят людям в глаза, ища хозяев, чтоб все им простить и остаться. Но даже если находят своих, те их гонят, а бывает, что травят или зовут живодерку. Он много об этом думал. О человеческой взрослой душе, абсолютно жестокой и абсолютно неверной. Он пытался представить то время, когда сам станет таким. Станет же, никуда не денется. Он уже видел, как превращались в убийц кудрявые ребенки, еще вчера готовые есть из одной миски с собаками. Проходило каких-нибудь десять лет — и куда что девалось? Он не думал о себе: я, мол, таким не стану. Стану! — говорил он себе. Такова природа. Человек отделяется от чего-то главного, как отделяется лодка от берега. А те, которые продолжают любить то, что любили в детстве, они вырождаются, потому как они другие. Он знал этих других. Парня в школе, которого забивали товарищи в уборной за то, что не плюнул, как все, в большой бидон с квасом, который купили учителя на окончание учебного года. Он не плюнул и шел доложить, что пить этот квас нельзя. Его отловили по дороге и избili так, что он потерял сознание. Те, которые били, и вынесли его на улицу под забор и сами прибежали с криками: «Митьку забили! Митьку!» Мальчик знал все, но смолчал. Он, готовый положить на рельсы свою ступню, избияния боялся, боялся чужих рук, которые будут его мучить. Он видел, как несли бидон в учительскую, где на столе стояли цветы, дары благодарных за науку детей, и у учителей был дурашливый вид. Он решил сказать маме, что видел, как кто-то чужой... Не ее ученики... Но тут все закричали про Митьку, и пошло-поехало. «Скорая», милиция. Митька оклемался месяца через два, и уже никому ни до чего не было дела. А учителям тот плюнутый квас хоть бы что... Даже не пронесло никого. Здоровый оказался народ. Потом эти же самые, что снимали с Митьки шкуру послойно, ходили просить у него прощения, и он всех простил: «Кто я такой, чтоб не прощать?» Слова эти стали чуть ли не крылатыми. Били других и орал: «Да кто ты такой, чтоб нас не прощать!»

Мальчик погладил собаку, она благодарно пискнула ему в колени. «Завтра я узнаю, какой я», — думал он, трогая шерсть и находя на ней проплешины изгнания и тяжелой жизни — возможно, это лишай, и мама завизжит дурным голосом. А может, что и похуже, сейчас ночь, не видно.

Это она пустила соседям собаку. Отец приготовил веревку, чтоб задушить едва волочившую ноги псину, а она взяла и втолкнула ее во двор соседям напротив. Соседи — бестолочь, у них калитка не закрывается, поэтому она и впихнула собаку, а потом подложила под калитку камень. Человеку сдвинуть его без проблем, а помирающей собаке ни за что. Девочка проделала все это быстро и ловко, пока папочка мудохался с петлей.

— Выведи ее просто за пределы участка, — шипела мама. — В конце концов, мы ведь не живодеры.

«Живодеры, — думает девочка, — еще какие живодеры».

Она без пиетета к предкам. Она их изучила вдоль и поперек и отказала в человеческом. Обе бабушки в домах престарелых, сестренка с синдромом Дауна отказная. Родители к ней не ходили ни разу. А девочка однажды пошла и смотрела на этих детей через решетку забора, ждала толчка в сердце, который скажет: «Вот она, твоя сестра», — но толчка не случилось. Случилась всеобщая брезгливая жалость к малолеткам с одинаковым выражением лица и какой-то подкожной печалью. Как будто большое горе, у нормальных людей сосредоточенное в одном месте, здесь пролилось во всем теле, превратив человечка в пузырь горя. Девочка тогда придумала такое лечение: надо проколоть кожу и отсосать горе, оно ведь так хорошо видимо простым глазом. Его даже можно потрогать пальцем. Сестричку она не вычислила, так и ушла с желанием стать врачом даунов, вылечить сестру и этим отомстить родителям и за нее, и за бабушек-бездомниц. Ей не с кем поделиться мыслями, которые рвут ей виски.

На участке кроме нее всего две девчонки. Они живут от нее далеко, через десяток дач, они дружат между собой, и она им лишняя. Она пыталась внедриться в их дуэт, но была отброшена беспощадным образом. Ей сказали, что их семья важничает, воображает, а они простые, дети рабочих. У них нет мобильных и нет импортной машины, и резиновый бассейн их родители купить не могут, потому что это «показуха», если речка в полукилометре. Она их выслушала и ушла от них навсегда. У нее к родителям счет не этому чета, но это ее счет, она не любит их по-своему, а не по счету — мобильник там или бассейн. У нее свой ум. Она его не очень показывает, потому как знает: люди чужой ум не любят. Они его не считают за таковой, даже если это какой-нибудь гениальный ум, людям собственная голова всегда дороже, даже если это совсем глупая голова с глупым умом, что чаще всего и бывает. Именно глупый ум гуляет теперь праздник, как говорила одна из ее бабушек до того, как злой ум запроторил ее в богадельню. Поэтому девочка молчалива и для всех «себе на уме». Очень хорошо, думает она. Я-то на уме. А вы все на дури. Можно было бы отчебучить интеллигентскую фразочку, что эта девочка не страдает комплексом неполноценности. Но девочка просто не знает, что такое комплекс неполноценности. В ее пятнадцать сия мудрость психотерапевтов еще не доковыляла до нее на своих избитых ногах, хотя девочка уже страдала, и даже очень: она не нравилась себе в зеркале. Что, по мнению психотерапевтов, вполне сдобное поле для комплексов.

Девочка же страдает по старинке, она уходит с зеркальцем с ручкой за дачу, под кухонное окно, снабженное дополнительным выдвинутым на улицу подоконником. Если сесть под него, ее не видно, и можно разглядеть широкий нос с чуть набрякшими ноздрями, и пространство под ним с широкой ложбинкой «для стекания соплей», и просторы щек, резко торозящие под твердыми скулами. Лицо становится геометрией с прямым скульным углом. Потом оно, подымаясь вверх, обретает другую картину в виде мелковатых приплюснутых ушей, не способных удержать прядки волос, которые ей хочется зацепить за уши, но те какие-то снулые и простую работу задержания пряди выполнить не способны. И волосы висят вдоль щек, подчеркивая их необъятную квадратность. Нет, у нее явное изобилие пространства лица, которое ничто не может спасти. Она упрямо не берет в расчет широкие, в пол-лица глаза под сенью густых бровей-коромысел, ни высокий, даже несколько чересчур, лоб, который имеет свойство не загорать, а быть светлым и гладким, на нем даже эти гниды лица, угри, не возникают. Но кому в наше время интересен лоб? На него спускают челки, его туманят подцветенными колечками волос, на него напяливают толстенные жаркие шерстяные обручи, дабы зачеркнуть, низвести это место, которое когда-то числилось челом. То бишь корнем человека. Нет, девочка-современша чело не ценит. У нее широкий рот с чуть оттопыренной верхней губой, которая в отличие от оттопыренной нижней несет

информацию об уме и добром нраве и еще о чем-то таком, чего нижней губе сроду не досталось бы.

Нет, она себе не нравится. Она вся в отца. От него у нее широкость и пространство лица, мама у нее узенькая, как иголочка. Когда девочка ее рисует, маме хватает черточек пера. А папе нужна гуашь. Она знает еще одну такую же, как сама, девочку. У папы есть другая семья, где он приходящий, и там он завел такую же, как она, широкоскулую. Сестра всего на три года моложе, но они так похожи, что в кафе, куда водил их папа, на них показывали пальцем. Это было отвратительно. Три вместе с папиным противных лица. С тех пор она старается не встречаться с родственницей. Девочка вычислила: сестра родилась сразу после неполноценной девочки. Папе важно было убедиться, что не он виноват в бракованной продукции, вот он и рискнул чужой женщиной, которую, видимо, было не жалко, для эксперимента. Родилось головастое нормальное существо, а вместе с ним чувство благодарности к чужой тетке, ну и затянулся узел.

Собака жметя к мальчику, принимая его за кого-то другого. Вот ведь тоже проблема подмены, когда случается этот фокус: я — не я. Ты — не ты. Когда заблуждение так сильно и плотно прикрывает суть, что люди запутываются напрочь, как в карнавале, а когда спохватываются и срывают маски, выясняется: рядом с тобой не тот. Но уже поздно. Мама рассказывает, что вышла замуж за папу назло подруге, которой папа очень нравился. Как это по-маминому — устроить пакость близкому. Папа говорит, что ничего подобного не было. Может быть, может быть... Но все равно это было в маминой голове — значит, было на самом деле. Ну и каково ей жить с подменной? Она рассказывает, что у нее тогда был другой молодой человек, военный, и если бы она не устроила свинство подруге, мальчику, возможно, и в голову не пришло бы класть на следующий год ступню на рельсы, он бы ходил весь переполненный желанием убивать чеченцев и маршировать строем, имея в папах военного. Конечно, это невозможно представить, но и возможно тоже. Эффект подмены — это почти закон природы.

Мальчик сидит долго, он не хочет возвращаться к Дине, он боится ее близости. В фильме много возбуждающих сцен, и вдруг она опять возьмет его за руку. «Я же хочу этого!» — кричит он в себе, но ужас сильнее. И вдруг четко понимает: с Диной можно. Можно облизать ее губы. Можно засунуть руку под кофточку, она у нее коротенькая и не заправлена в юбку. Она ведь не любит Реторту, он проследил, как она его провожала к машине — никак. Просто шла следом и веточкой била его по спине, как бы гнала. Они не поцеловались на прощанье, и мама, следящая за парой тоже, сказала: «И с этим у нее дохлый номер». Поэтому женщину, свободную от обязательств другому, вполне можно трогать голой рукой. Но он сидит и гладит собаку, грязную и плешивую, а Дина сидит одна, и у него есть одно оправдание: она не девчонка, которую он как бы обязан развлекать присутствием, она учительница, она почти ровесница мамы, а он еще не вырос, чтоб забыть о таких вещах. Он помнит: учительница. Гостя их дома. Мамина как бы подруга. Он гладит собаку. Он думает, что ей в жизни проще, потому что ей не надо возвращаться смотреть кино, пусть даже четвертый (шестой) раз.

Дина лежит на диване. Теперь, как бы он ни сел, он будет ее касаться. Она подтягивает тело к спинке и указывает ему место. Фильм уже катится к концу, сейчас покажут детей тех детей, которых он так любит. Эти новые дети ему не нравятся. Они, как и он, еще не дозрели, не дошли до самих себя, и мальчик печально и громко вздыхает.

И чувствует Динину руку на своей спине. Она слабо так, как в бессилии, оглаживает его от плечей до пояса. Иногда пальцы ее замирают и тихонько выстукивают какой-то текст, но тут же спохватываются и лениво

волокут себя вверх-вниз, вверх-вниз. Он уже не видит кино. Он ждет постукивания, спина его — уже не его спина. Она затвердела и живет своей похотливой жизнью. И руки его, что плетью висят между колен, какие-то невероятно длинные и тоже не его. Они жаждут закинута назад — это им запросто! — и вынуть из-за спины Дину и переложить ее к нему на колени. Руки ждут, когда она еще разок постучит. И она стучит, но руки как висели, так и висят. Потому что нельзя. Это «нельзя» такое огромное, больше его сильных рук, больше спины, больше той силы, которая распирает его изнутри, больше самого большого. У этого «нельзя» есть имя. Сла-бак. Те-ха. Он не умеет идти навстречу судьбе, он предпочитает отсидеться, делая вид, что судьбы нет и никто не стучит ему пальчиками.

— Горе ты мое! — слышит он голос Дины. — Ну повернись ко мне, несчастный.

Оказывается, он, слабак, закон приказа понимает. Он поворачивается и падает прямо в эти губы, с которыми в мечтах он поступал грубо, теперь же так нежно касается их, что чувствует, как она замирает, Дина, как она затихла, когда он осторожно, смущаясь своей неловкости, прикасается своим бездарным ртом к ее фантастическим губам и понимает, что жизнь кончилась, но и началась одновременно.

— Ты не целовал девочек? — шепчет она ему в ухо. И он не понимает смысла вопроса. Как будто так можно — касаться чьих-то других губ?

— Как прекрасно, правда! — шепчет ему через какое-то время Дина. Он же думает совсем другое: сейчас самое время умереть, потому что лучше не будет, он отдал себя всего, без остатка, в нем одна оболочка, и надо прожить целую жизнь, чтоб наполнить ее и стать снова собой. А может, это будет уже другой человек, не он? Во всяком случае, сейчас его нет, есть женщина, которая забрала у него жизнь, но это, видимо, и называется счастье?! Просто он не понимает, как она такая могла снизойти к нему. Она его целовала, она говорила ему: «Мальчик мой, мой божественный мальчик!»

Фильм кончался. Сейчас в кадре тарыхтит мусоросборник с крутящимся барабаном. Все. А потом был взрыв гексогена, тротила, был атомный гриб и смерть всего живого. Была мама.

— Вон! — сказал ее голос. — Вон!

Интересно, как давно она стояла в дверях? В огромной мятой ночнушке с полинялыми розами ткани.

— Кажется, я люблю твоего сына, — смеется Дина. — Как в старой песне. Она нечаянно нагрывает, когда ее совсем не ждешь... Прости и смирись... Он вырос, и он прекрасен.

— Вон! — повторяет мать. Но это совсем другое «вон». Это уже патрон без пули, пчела без жала. Это форма без содержания. И мама понимает это и уходит как-то очень старо, чтоб не сказать — по-старушечьи.

«Она сказала „люблю“, — думает мальчик, — или это мне послышалось... Послышалось... Потому что это не может быть правдой...» Но это не главная его мысль, главная — ему стыдно. Стыдно перед мамой, стыдно, что он забыл, как она близко... Любовь не побеждает стыд, она его как бы подчеркивает, обводит ярким цветом, и нате, вот вам — цветок с жгуцей серединой стыда и сполохами вокруг.

— Она успокоится, — говорит Дина. — Все матери проходят через это. Она нас простит...

— Нет, — говорит мальчик. — Я ее знаю.

— Но ты ни в чем не виноват перед ней! Ни в чем!

«Это неправда», — думает он.

В голове звук мусоросборки с крутящимся барабаном. В барабане мамина линиялая ночная рубашка. Кажется, он тихонько вскрикнул и зажал рот, боясь, что появится отец, но залаяла собака.

— У вас собака? — спросила Дина. — Я не знала.

— Нет, она просто пришла, — отвечает он.

— Запомни этот день, — смеется Дина. — К тебе в одну ночь пришли женщина и собака. Ты не бойся. Мать есть мать. Обычно они это не видят, но все равно узнают, догадываются. Твоя — увидела.

Дина замолчала. Мальчик смотрел и ждал, но женщина не сказала больше ничего. Она просто его поцеловала и вышла на крыльцо. Прямо в глаза ей смотрела луна, которую Дина не любила именно за бесстыжесть соглядатайства. «Если б она говорила, она бы мне тоже выдала», — подумала Дина. Но тут в ней родился гнев на женщину, которая наступила на радость.

— Ну ладно, — говорит Дина, — подробности потом. Я пошла спать. — Она снова целует его. — Я люблю тебя.

«Ей абсолютно не стыдно перед мамой», — думает мальчик. И еще он думает, что не подготовился к случившемуся, что у него нет чувств. Он хотел Динины губы, он их воображал, но вдруг получил все сразу, так сказать, в комплекте. Здорово, конечно, но... «Так берут девчонок, — думает он. — Называется „изнасиловать“». Но это вранье. Я сам этого хотел! Сам!»

Девочка не понимает маму: почему она терпит параллельную жену? Она сказала маме: «Прогони его!» Мама дернула узеньким плечиком и ответила: «Дурное дело нехитрое». На этом разговор кончился. Девочка подумала, что у мамы, возможно, тоже есть параллельщик, и тут ей стало интересно размышлять именно о той женщине и том мужчине, которые неглавные в большой истории жизни. Они не записаны в паспорте, с ними не ночуют — папа всегда ночью дома. С ними не покупают стиральную машину — хотя это не факт, откуда она знает? Она подумала, что ради того, чтобы увидеть другой дом, где папа проходящий, она согласилась бы встретиться с этой дурой с квадратным лицом, но папа всегда зовет их то в цирк, то в кино, и она ему отвечает: «А пошел ты...» И мама кричит на нее за это. Хотя должна бы похвалить: дочь на ее стороне, дочь не предательница. Но когда мама делает ей замечания, некий господин вырисовывается в дымке голубой или какого она там цвета. И она думает: он все-таки есть или его нет? Но от мамы, когда она возвращается домой, никогда не пахнет ничем чужим (от папы пахнет), от мамы пахнет скукой. Такой у нее запах — холодно-никакой с примесью подъездного сквозняка. Она смотрит на других мам, что возятся с рассадой, или подрубают новые юбки, или качаются в гамаке, или читают детективы. Даже взять эту отвратительную училку, что живет напротив. Девочка терпеть ее не может. От ее деятельности один вред. Взяла за чем-то привязала проволокой к забору деревья, с ее подачи на территории изничтожены все укромные уголки, чтоб «не возбуждали» и «не побуждали» молодежь. Нет, такой мамы ей тоже не нужно. Пусть остается эта, какая б она ни была скучная и глупая.

Он ложится на диван одетым и закрывает глаза. Он думает, что не уснет, но засыпает сразу и не слышит, как к нему приходит собака — дверь была открыта — и тихо укладывается на пол. Но до того она лижет его лицо, а ему снится, что это Дина.

Проснулся он от шагов отца, который шел в уборную. Ночные и утренние родители выглядели дурно и неприлично. Он вспомнил маму в ливневом исподнем, а потом и все остальное. «Что-то будет», — подумал он. И надо сказать, что ему стало страшно. Пришла даже мысль, что его могут выгнать из дома. Он бы разве смог жить с сыном, который, не выключив телевизор, делает это с учительницей? Он смотрит на себя с высоты отца и мамы, он себе не нравится. Он не так себе представлял этот переход в своей жизни.

Возвращаясь, отец замечает собаку.

— Откуда эта гадость? — кричит он.

Мальчик при свете видит, что собака грязна и больна. Она вся в коросте и следах побоев, у нее гноятся глаза, от крика отца она вся напряглась и смотрит на мальчика с такой надеждой и мольбой, что выхода у него нет. Отец же нашел палку и стоит замахнувшись. Мальчик вскакивает и перехватывает руку.

— Не трогай ее! Она больная. Ее надо вылечить.

— Больных уничтожают, — кричит отец.

— Нет, — говорит мальчик. — Нет.

— Уходи с ней куда хочешь, — кричит отец. На крик вбегает мать, и мальчик понимает, что она, не зная про собаку, думает, что речь идет о Дине. Но она видит несчастное животное, и все то, что копилось в ней всю ночь, все то, что изъело ее внутренности, вся ее готовность к уничтожению вылилась в дикий, абсолютно нечеловеческий вопль. Неумытые, кисло пахнувшие родители как будто сошли с картин ужасов Босха, которого он любил за совпадение с собственным пониманием человечества.

— Собака пришла ко мне. Я ей нужен. Это первое существо на земле, которое попросило у меня защиты... Вы понимаете это?

— Ах! — кричит мать. — Он у нас, оказывается, еще и гуманист. Да ты сопляк, а не защитник! Ты сам еще звереныш, которого надо носом, носом тыкать в собственное дерьмо... Отец еще не знает какое...

— Все я про него, стервеца, знаю, — говорит отец. — Ничем меня не удивить.

— О! Как ты ошибаешься, — кричит мать, — ты очень, очень, отец, ошибаешься.

Отец показывает на дверь, за которой спит (вряд ли!) Дина. Мол, тише...

— Вот именно! Вот именно! — кричит мама. Кажется, она забыла о собаке и ведет отца к рукомойнику, который у них на улице. Он у них краденый, трехсосочный, впрочем, как у всех. Лет шесть — восемь тому назад рядом был дом отдыха для слабослышащих. Глухие не шумели, и все считали, что им очень повезло. Но все равно убогих не любили и не позволяли детям заглядывать к ним через забор. Когда вся система оздоровления страны была перебита по хребту, дом отдыха остался пустым от глухих, но очень оснащенным для вечно алчущих дачников. Вынесли все. Отец, гордый, принес трехсосочный умывальник, мама два ведра с надписью «каша» и «кисель». Мальчик видел разобранные ведра с черным по цинку: «помой», «уборная». Вынули рамы, вынесли пластиковые стулья из столовой, мама успела взять два пледа с дырками посередине. Она положила на дырки по куску ткани от его детского клетчатого пальтишка, и теперь пледы лежат на родительских кроватях. Клетка выглядит вполне.

Так вот сейчас они оба стучат сосочками рукомойника, и, видимо, мама рассказывает отцу о Дине. «Если она будет прогонять собаку, я уйду из дома. Странно, — думает мальчик, — для меня сейчас главное — собака. Что-то со мной не так?» Кипяченой водой он промывает ей глаза. Моет уши. Собаке нравится. Она лижет ему руки. Что-то надо делать и со всем остальным, но он не знает что. Но он знает женщину-ветеринара, которая иногда приходит сюда к собачникам и кошачникам. Говорят, она берет сумасшедшие деньги, но он не знает, с какой цифры деньги считаются такими.

Возвращаются после умывания и отец с матерью.

— Чтоб через час ее не было! — кричит отец.

«Кого?» — думает он.

— Я не сказала папе, — бормочет мать. — Его сердце может не выдержать. Я справлюсь с ней сама. — Она пальцем показывает на дверь, за которой, конечно, не спит Дина. Мучительно-сладкое желание охватывает его так, что он сгибается как от удара. Мать смотрит в упор.

— Эту суку надо повесить на суку, — говорит она.

Вот эти «убью», «уничтожу», «повесить на первом суку», «отрубить руки-ноги» — это мамина лексика. Она, в сущности, занимает половину ее слов. Он знает, что она, в общем, не злая, но убийные ее слова так давно ему противны, что однажды он ей сказал:

— Ну пойдя уже убей кого-нибудь!

Она тогда остановилась с открытым ртом и так и стояла, пока он не засмеялся:

— Да закрой ты рот!

— Что ж ты так обо мне? — Голос ее дрожал. — Что я у тебя — убийца?

Он сказал, что он дурак, просто ляпнул.

Поэтому и эти последние «суку на суку» в расчет брать не следует. Он сейчас уйдет с собакой к ветеринарке, и пусть эти женщины поговорят сами. Отец сейчас уедет. Они останутся вдвоем.

Ему стыдно за тот будущий разговор, от которого он бежит. Ему жалко Дину. Он понимает, что ему полагалось бы ее защитить, но он не знает как... Он только может сказать: «Мама, я этого хотел!» Этого достаточно или мало?

Нет, у него нет даже этих слов, чтоб сказать их маме. Они не сойдут с его языка.

И он уходит с собакой.

Родители не разойдутся, потому что им важно не выглядеть сволочами передо мной. Никто не хочет выглядеть сволочью, а пуще всего сволочь. Вот они и будут тянуть эту резину ради трудного подростка. Отец вернется ко второй жене, и очень может быть, что там будет такой же точно скандал. А может, и нет. Может, та, другая, некрасивая девочка — сплошная родительская радость, и с ней одно удовольствие ходить по музеям, в которых у нее в нужных местах начинается сердцебиение, а за ним следуют хорошие дела. В сущности, таким детям родители и не нужны. Они уже готовые. Они получились, а вот она — нет.

Сейчас столько журналов с красотками, одетыми и голыми, с коронами и без, в руках мужчин и на свободном ветерке. Красавицы со штампом «красавица». Девчонки в школе до дыр их рассматривают. Готовы друг другу лицо раскрасивать, скажи только, что Бритни Спирс — ничего особенного. То же и про красавцев. Ах, Каприо! Ах, этот наш рыжий Иванушка! Ей они не нравятся, никто. Ни женщины, ни мужчины. Они ей даже неприятны, потому что фальшивы, как будто из картона. Она не могла бы протянуть яблоко этой самой Бритни, потому что не может себе представить ее жующую. Это какая-то другая специальная порода людей — людей для показа. И она — а ведь никто этому не поверит — не хотела бы быть среди них. Она хотела быть красивой, но красивой среди людей, чтоб быть для них живой и чтоб ей могли протянуть яблоко. Далось ей это яблоко.

Мысленная жизнь куда крепче реальной. Вот она едет с отцом к его жене-подельнице, и дверь открывает сестра. Они обнимаются, две одинаковые девочки, а потом садятся за стол, и девочка видит место отца, где он сидит, когда бывает здесь, и его тарелку, и рюмку, и даже его личную салфетку. Воображенная картина так изумительно ярка, что девочка возвращается в дом и рисует салфетку с мережкой в два ряда.

— Лучше бы ты научилась это делать руками, а не карандашами. Твоя бабушка была прекрасной мережечницей. У нас была дюжина салфеток. Куда все делись? — Это мать посмотрела через плечо.

— Как это называется? — спрашивает девочка.

— Мережка. Ты должна помнить. У бабушки мережка была повсюду — и к месту, и ни к месту. А салфетки все куда-то делись.

Нет, бабушкиных рукоделий она не помнит. Она видит отца в том доме, а по правую его руку лежит на столе салфетка с мережкой. А сестра с выпуклым лбом протягивает ей яблоко с красным боком. А женщина —

как бы жена — вздыхает, и в глазах ее мука. Девочке это нравится. Она уважает муку. Это чувство высокого полета. Не каждому дано.

Ветеринарка в резиновом фартуке и резиновых сапогах поливает огород. Она не бросает шланг на землю, увидев мальчика с собакой, а смотрит на них пристально и оценивающе.

— Это Динка, — говорит она мальчику. — Ее бросили евреи, уезжающие в Израиль. То есть они оставили за нее мебель и зимние вещи, но Динку выгнали сразу, не успели евреи взвиться. Ты же знаешь, что люди сволочи, или еще нет?

— Знаю, — отвечает мальчик. — Она ночью ко мне пришла.

— Она давно ходит и ищет и за это время успела быть столько раз битой и травленной, что мне ей уже не помочь. Могу усыпить.

Мальчик молчит. Собственно, внутренне он молчит с той секунды, как узнал, как зовут собаку. Это же надо! «К тебе пришли в эту ночь собака и женщина», — сказала Дина. «Две Дины», — скажет он ей.

— Попробуйте полечить, — говорит он. — Я найду деньги.

— Тебя прибудут родители, — говорит ветеринарка. — Они у тебя крутые старики.

Старики? А, это просто выражение «крутой старик». Он сам может себя так назвать.

— Я попрошу в другом месте, — говорит он.

Только тут женщина в фартуке положила шланг и отключила воду. Она подошла к собаке и, присев на корточки, посмотрела ей в глаза.

— Тварь живучая, — сказала она. — Ты ей промыл глаза, и в них уже посверкивает. Будешь приходить с ней каждый день. Я к вам не пойду. Я выпишу лекарства. Они дорогие. За сеанс лечения я беру двести рублей. Меньше пяти раз не обойдемся. Дома дашь ей покой и питание. Ее будет рвать, и из нее будет выходить всякая гадость. Убирать за ней сразу. Она должна пожить в чистоте и тепле.

— Я согласен, — говорит мальчик.

Она идет выписывать рецепты. У него ни копейки. Значит, надо возвращаться и просить у Дины. Больше не у кого. Придумано хорошо, но страшно. С чего он взял, что человек Дина пожалеет собаку Дину? Люди ведь сволочи. Он с этим согласен. Даже очень хороший человек хоть немножко, но сволочь.

Дома одна мама.

— Где Дина? — спрашивает мальчик.

— Я вышвырнула эту гадину и потаскушку, — отвечает мама. — С тобой следовало бы поступить так же, но ты просто дурак, идиот... Посмотри на себя и на эту собаку — и диагноз готов.

Все-таки он этого не ожидал. Он был уверен в бездействии маминых слов. Он почувствовал себя подонком, что ушел, а должен был остаться. Он не знает, что бы он сделал, но было бы что-то другое, а не эти слова «вышвырнула», «гадина» и «потаскуха». Ему хочется плакать.

Невероятный, ни с чем не сравнимый стыд перед женщиной, которую он целовал ночью. С ним случилось самое прекрасное, что бывает на свете, а он, Иуда, убежал, не спас, не закрыл своим телом.

— Я пойду за ней, — сказал он.

— Нет, ты не просто дурак. Ты даун, — смеется мать. — Даун, воняющий шлюхой и бегущий по ее следу.

Он понимает, как убивают матерей. Как нечто чужое по вкусу, по запаху, по цвету, как пришельца без лица и сердца. Что-то, видимо, проступило на его лице, ибо мать кричит:

— Ну убей меня, убей.

И тут он видит, как сползает она по притолоке двери, как разъезжают в стороны ноги в стоптанным-перетоптанным тапочках. В растворе ног

ночная рубашка в линялых розах. И не надо убивать. Все сделано. «Как тряпичная кукла», — думает он отстраненно и сам себе говорит, что он ведь не видел тряпичных кукол, он видел их только в каком-то фильме ужасов. Так вот ноги мамы в разные стороны и голова на плече — в кино было точно так. Страшно и немножко противно похожестью на человека, не будучи им. Тонко вверх взвизгивает собака.

«Вот все и кончилось, — думает он. — Не надо объясняться и оправдываться. Она все сделала сама».

Он смотрит на тряпичную куклу, которую он не любит, и ему ее не жалко, но тут же ужас, что это все-таки мама, накрывает его с головой. Мальчика охватывает такое невыразимое страшное чувство потери, что он хватается маму под мышки и тащит на диван. Он складывает ей ноги вместе, дует ей в лицо, вспоминает об искусственном дыхании изо рта в рот. Наклонившись, он слышит, что из тонкой створочки между губья идет звук. Живая! Он бежит к соседям, у которых есть мобильник. Хозяйка говорит, что ничего похожего у них нет, но из-за ее спины выходит девчонка и протягивает ему телефон. «Знаешь как?» — «Не знаю, — отвечает он. — Вызови сама!» Девочка отходит подальше от матери, которая норовит выхватить из ее рук эту якобы несуществующую штуку, но худенькая девчонка замахивается и с первого раза дозванивается куда надо.

Они оказались на самом деле скорыми и уже через десять минут возились с мамой — что-то кололи, что-то измеряли. Мама открыла глаза и сразу попыталась встать, но ее грубовато прижали к дивану.

— Не шевелитесь, мамаша. У вас декомпенсация, но инсульта, кажется, нет. Надо следить. Вызывайте участкового врача. В случае вторичной потери сознания и если перестанете чувствовать руки, ноги или начнете заплетаться языком, — тогда нас. Приедем, заберем в больницу. Тут рецепты. Бегом в аптеку. — Это они мальчику. — Поняньчи маму, — прибавили, — она у тебя сейчас маленькая и слабенькая. Пусть она поспит.

В руке куча рецептов — человеческих и собачьих. Он идет искать мамину сумочку. Он никогда в нее не лазал. Если ему нужны были деньги, он приносил сумочку маме, и она открывала ее и вытаскивала оттуда десять рублей или двадцать, щелкала замком быстро и на место сумочку относил уже сама.

В сумочке была одна мелочь, но лежал конверт, на котором было написано: «Суслова. Отпускные и зарплата за I пол. июня». Всего в конверте было девятьсот сорок семь рублей. Ему показалось, что этого достаточно.

Когда он вынул конверт, он ощупал внутри еще что-то, но сумочка была пуста, видимо, у нее было фальшивое дно, во всяком случае, это было неуместное наблюдение при необходимости скорых действий.

Девочка отслеживает приезд и отъезд «скорой». Она понимает: все случилось из-за собаки, которую она пустила во двор соседям. В отличие от ее папы, в той семье не нашлось умельца делать для приبلуды петлю, и мальчишка оказался с характером. Вот этого она от него не ожидала. Он ведь *никакой*. Собственно, это не так уж и плохо. Потому что *какие* все гадины и сволочи. Вонючие, с грязными ногтями. *Никакой* с ними не дружит, но и не ссорится. Она в размышлении — что это? Ему по фигу, какие они, или он их боится и потому заигрывает, зовет во двор, и они орут козлиными голосами? Никогда ничего не знаешь наверняка. Сейчас она ему сочувствует. Остаться с умирающим — бр-р-р — не позавидуешь. Тем более, если он мать любит. Он ведь даже собаку не прогнал. Ветеринарка как-то приходила на участок, делала кошке укол. Когда уходила, то очень громко спросила: «Хотелось бы мне знать, кому тут досталась от Швейцеров люстра из горного хрусталя? На кого она сверкает?» Мама поджала узенький рот и ничего не ответила. Девочка не поняла глубинного смысла вопроса, но какая-то люстра года два-три тому назад у них появилась. Она

висела у них в холле городской квартиры, и именно из-за нее мама купила круглый светлый ковер, а в простеночках повесила китайские лаковые миниатюры, которые достались им от одной из бабушек. В общем, холл у них стильный. Все, заходя, говорят: «Ах!» Девочке он тоже нравится, но она не понимает, откуда ветеринарка знает про люстру. Она считала, что та тоже, видимо, от бабушек. Именно три года тому их запихивали в богадельню. И тут вдруг у девочки родилась замечательно яркая мысль, что папа и мама скреплены навечно не штампом в паспорте, не ею, дочерью, а именно двумя богадельнями. Это их черная метка до гробовой доски. Она подумала, что союз по совместному злу, может, еще и крепче, и та девочка, что так на нее похожа, так всегда и останется случайной девочкой в отличие от нее, утвержденной черной меткой. «Хорошая мысль, — подумала девочка. — Я ее буду долго думать».

В доме же напротив происходило какое-то шевеление, слышались голоса, но их было не разобрать. И она на всякий случай носила с собой мобильник, ожидая мальчика, который придет звонить своему отцу, что мама, мол, того... Она тогда обязательно пойдет за мальчиком, как бы ему в поддержку, а на самом деле посмотреть на свежеумершего человека, который еще не застыл в труп и в котором еще даже происходят остаточные живые процессы — растет волос, например, и какая-нибудь очень периферийная клетка в ножном мизинце, которой еще не сообщили о ее смерти, по привычке поделится, но две новорожденные малахольные дуры уже замрут в мертвой обиде на весь этот процесс, который именно на них дал отмашку! Но мальчик не шел, мама сказала, что поедет в город, а на вопрос «зачем?» ответила «затем». Поговорили, одним словом. Но не успела мама открыть калитку, как появился ее двоюродный брат — студент-выпускник, который очень рассчитывал на маму, что та ему поможет с работой в Москве. Девочка жалела дурака и все собиралась ему объяснить, что мама ему не помощница, что надо идти с открытым забралом к самому папе. Это куда вернее.

Неловко уезжать, если к тебе приехали, мама задергалась и сказала, что хорошо бы братик остался до вечера, потому как у нее набежало дел — одно, второе и третье. Братуку это годилось. Он сказал, что свободен как ветер, и мама тут же слиняла.

Говорить им было не о чем. Дядя был, на взгляд девочки, и глуповат, и собой не очень. И он ей мешал вести наблюдение за процессом рождения смерти в доме напротив. Поэтому она включила гостью телевизор, а сама ушла в одно сохранившееся укромное место, из которого хорошо просматривалась соседская терраса. Плохо, что дядя знал про это местечко. Они однажды провели там какое-никакое время. Посидели на сваленном дереве, погоняли осу, которую, видимо, очень тяготило жало. Когда уходили, дядя на мгновение посадил племянницу к себе на колени, девочка замерла, потому что ощущение было необычным, одновременно стыдным и приятным, но тут оса влетела ей под кофточку, пришлось ее убивать прямо на теле, а потом дядя сказал, что надо высосать жало, иначе может случиться анафилактический шок — она знала про это, поэтому дала ему свою голую спину, и он высосал жало, ей было очень больно, и она ушла, просто шатаясь на ногах, мама сразу дала ей супрастин, и она уснула. Проснулась — дяди-спасителя уже не было, а мама сказала, что это счастье, что он так вовремя вынул жало. В ее детстве одна девочка умерла, потому что вокруг нее в такую минуту оказались одни олухи царя небесного. Девочка же помнила легкое *задержание* на мужских коленях, собственное замирание, на которое и прилетела оса. Но это, так сказать, не для мамы. Девочка разглядывала в два зеркала засос под лопаткой, который саднил довольно долго.

И вот он, жалососуший дядя, тут как тут, а мама там так там, и ей неплохо быть в укромном месте, потому что она помнит про его колени.

«Черт бы тебя побрал», — думает девочка, возвращаясь в дом. Она рассказывает дяде про соседей, у которых была «скорая», про собаку, которая ночью забрела к ним, потому как ничья, и — видимо — так напугала хозяйку, что ту хватил кондратий, и теперь еще неизвестно...

Ах, как это ему неинтересно — про чужой кондратий! Просто лицо сползло от ненужности ему чужого горя, сползло и ушло восвояси. Осталось одно пятно лица, эдакий пульсирующий агрессивный круг. То, что он агрессивный, девочка поняла за три секунды до того, как дядя развернул ее спиной к себе и задрал кофтенку.

— Как тут моя хирургия? — спросил он голосом пятна, и девочка рванулась так, что кофточка порвалась на две половинки. Одна осталась в руках дяди, а вторая зацепилась за бретельки лифчика.

— Ты меня не раззадоривай, — сказала пятно, — я и так в полной боевой. И я хочу тебе это сделать, потому что лучше я, чем кто другой. Я буду нежен, как ангел. Вставлю — не заметишь. — И он шел на нее, большой и сильный, у нее остро заболел укус, как будто вспомнил, как из него тянули жало.

Но тут во дворе напротив раздались крики, и она отпрыгнула от родственника и даже выбежала на крыльцо и только там сообразила, что сверху, считай, голая. Напротив, однако, все было тихо, а потом раздался еще крик, и она сообразила, что ссорятся соседи с другой стороны. Поэтому она сняла с веревки майку, влезла в нее и задумалась. Все-таки, получается, она остро ждала смерти соседки. Девочка даже вздрогнула, осознав, что так дурна и ей не жалко человека, но философски решила, что негоже отрекаться ни от каких мыслей и чувств, если они тобой овладевают. На слове «овладевают» вспомнился дядя — он уже не был пятном и дядей жалососущим, это был абстрактный мужчина с конкретными намерениями. Но несмотря на отвращение к дяде, отвратительное желание, которое она в себе ненавидит, вторглось в нее, и она сказала себе: «Сука!» Надо было уходить из места стыда. Девочка одернула маечку и вышла за калитку. Ей захотелось обойти дачу, где сосредоточилось столько влекущих ее вещей: недобитая собака, недоумершая учительница и этот мальчишка. Нет, он ей не нравился, поскольку был сыном противной ей женщины. Он был сопляк, урод, из тех, кого родители кормят из ложки до самой пенсии. Так сказала ее мама, и девочка крикнула ей: «Я не такая!» — «При чем тут ты? — ответила мама. — Ты девочка. Для тебя другой закон».

Что имела в виду мама? И почему в ее душе шевельнулся страх? Откуда ей было знать, что будущее, о котором мы знаем, что ничего о нем не знаем, не столь коварно замерший в засаде враг, оно упреждает нас, шлет свои знаки, и, бывает, люди их считают и делают слабые поправки текущей жизни. Вот и этот страх явился болью в сердце, намекнув, что не будет в ее жизни ни кормежки стариков, ни богаделен, но однажды случится самолет, который никогда не вернется на землю. Этого девочка прочесть в буквах страха не могла, просто остро захотела ни старости, ни самой жизни. Правда, потом вспомнила ту, что была ее сестрой, а значит, тоже была «девочкой с другими законами». «Куда ему тащить двоих, — подумала она об отце. — Ведь он в семье добытчик, мама — так, специалист по зарабатыванию копеек. Она внештатный автор, пишущий на очень узкую тему — о фольклорных ансамблях». На взгляд девочки, дурее дела нет. Но у мамы на эту тему диссертация. И когда-то ей даже платили какие-то деньги как научному сотруднику. «Какие деньги?» — спросила девочка. «Сто двадцать рублей», — ответила мама. Девочка зашлась в смехе, а мама кричала, что это те сто двадцать, когда метро было пять копеек, а сыр «Российский» стоил три рубля килограмм. Но девочка все равно смеялась, потому что пять копеек в метро — тоже смешно. Сейчас мама приносит домой рублей пятьсот, но это если возникнет какой-нибудь «балаган-лимитед». На «чё те надо, чё те надо» мама цвела и пахла месяца четыре.

Папа ушел из инженеров в автосервис. Держит на плаву две семьи. Если бы не последний случай с собакой, которую он хотел повесить, девочка сказала бы, что с отцом ей повезло. Но сейчас она его ненавидит.

В аптеке на все про все не хватало трехсот с лишним рублей. Он оставил рецепты и деньги в кассе и сказал, что сейчас донесет.

Он шел и понимал, что взять не у кого. Они ни с кем здесь не дружили, но главное — на общем собрании товарищества дачников было принято решение: никто не должен давать деньги, если просят дети и подростки. Эти сволочи (они!) теперь так обнаглели, что могут просить на лекарство больной матери (просто его случай, как по учебнику), на хлеб и молоко голодному братику и мало ли на что. На самом деле все они — дети — наркоманы и подлецы.

Возле магазина стояли старушки с нехитрыми дарами природы. Петрушкой, свеклой, красной смородиной, красноперыми окуньками торговал с трудом держащийся на ногах алкаш. Какая-то женщина держала за плечики платье с ценником. Мальчик снял с себя кожаную (из Монголии) куртку и встал рядом. Это была его первая взрослая вещь. Отец ее купил себе, но: «Где у дурака ум, знаешь? Там и у твоего папочки, — прокомментировала мама. — Ну какой он сорок восьмой? Какой? Он уже давно пятьдесят второй, но пищит, а лезет». Так ему обломилась эта куртка, она была великовата, но это даже нравилось после узких и коротких пиджачков, которые он носил уже две тысячи лет от рождения Иисуса Христа. Куртка стоила отцу пятьсот рублей, но матери он сказал — триста. Те виртуальные двести всегда существовали в голове у мальчика, придавая куртке некий другой надценочный вес.

К нему подошла цыганка, и он испугался. Он много слышал о том, как легко обмишуривают простой народ эти лихие непоседельцы, поэтому он надел куртку и сделал вид, что уходит.

— Увидел цыганку и испугался? — засмеялась женщина. — Правильно делаешь! Ты же за свое барахло хотел большие деньги, а красная цена твоей куртке копейка.

Мальчик уходил, но она шла следом, и он боялся, что приведет ее к дому, но ему там нечего делать, ему надо вернуть аптеке долг, поэтому он и пошел к аптеке. Но цыганка зашла за ним и туда.

— Принес? — спросила кассирша.

— Нет еще, но я принесу обязательно. Вы мне только дайте по нескольку таблеток, чтоб я мог дать маме и собаке.

— Ты тронутый? — сказала девушка-продавец. — Кто же тебе будет распатронивать коробки? А ты возьмешь и не придешь.

— Но куда ж я денусь от больных? — недоуменно спросил мальчик. — Я ж обязан.

— Сколько он должен? — спросила цыганка.

— А ты иди отсюда, иди! — закричала кассирша. — А то милицию вызову.

— Он же хотел продать куртку, потому что ему не у кого взять. Я бы купила, если это нормальная цена. Сколько он должен?

— Не говорите! — закричал мальчик.

— О Господи! — вздохнула кассирша. — Покажи куртку!

Она долго ее щупала по швам, проверяла кожу на сгиб, нюхала ее и даже зачем-то лизнула. Потом бросила ее в угол аптеки на стул и выдала мальчику лекарства и рецепты.

— Сколько она и стоит. Может, чуть больше, может, чуть меньше.

Мальчик хотел сказать о той цене, что была у него в голове, — пятьсот рублей, но не решился. Главное — лекарства были в руках, а к ветеринарке он пока не пойдет.

Они вышли из аптеки вместе с цыганкой.

— Сколько она тебе дала?

— Нисколько, — ответил мальчик. — Мне не хватало трехсот двадцати семи рублей.

— Дурак, — лениво ответила цыганка. — Я бы дала тебе пятьсот.

Он понимал, что она врет, можно сказать, абсолютно точно это знал, но почему-то было приятно встретиться с этой ценой, как когда-то встретился с ней папа. Он не верил в пятьсот рублей и сам не знал почему. Просто он всегда чувствовал: вокруг всякой житейской истории есть как бы другая, тонкая, эфемерная, состоящая из надмыслей, надчувств и чего-то там еще. Бывает, что житейскую историю забываешь напрочь, а эта, другая, остается паутиной, и ты за нее все время цепляешься и думаешь: с чего это она тут? Хотя хорошо знаешь, с чего... Так в пространстве воздуха, зависнув то ли на кислороде, то ли на водороде, а скорее всего на мощи азота, живут себе эти двести рублей. Но хватит об этом. Главное — есть лекарства. А в холодильнике есть куриные ноги, из которых он сварит бульон для мамы и собаки.

Мама спала, чуть присвистывая и приклокотывая. Собака ждала его на крыльчке. Он смазал ее мазями, втирая их нежно, но сильно. Закапал ей глаза, уши. Скормил таблетки с куском колбасы. Собаку стало рвать, в сущности, сразу. Он из блевотины палочкой вытаскивал таблетки, чтоб потом дать ей их снова. Обессиленная, Дина лежала на боку и тяжело дышала.

«Что же делать? Что же делать?» — думал мальчик. Он раздавил спасенные таблетки и влил их вместе с водой в оскаленный собачий рот. Рвоты больше не было, но собака описалась и обкакалась. Он помыл ее и положил на чистое старенькое детское одеяло, на котором мама обычно гладила. Сверху прикрыв Дину своим детским плащиком. Поставил варить ноги. Собака уснула, а он стал изучать инструкции к лекарствам. Он мало что понимал, но по цене таблеток сообразил, что поступил правильно, все-таки скормив их Дине. И тут он услышал стон мамы. Она лежала с открытыми глазами, в которых был стыл ужас.

— Сейчас я тебе дам таблетки, — сказал он ей.

— Дай мне тазик, — сказала она.

Он не понял зачем.

— Я отведу тебя, — сказал он.

— Быстро тазик, — тихо закричала она. Но он опоздал. Ее стало тошнить прямо на одеяло. Потом мама откинулась на подушки, и лицо у нее было цвета плохой белой бумаги. Он снял с нее одеяло и обнаружил, что с мамой случилось то же, что и с Диной. «Запах хуже, чем от собаки», — подумал он, приподнимая маму, чтоб вытащить белье. Он испугался этой мысли, ибо всякая мысль рождает следующую. Он открутил голову этой мысли, что мама пахнет хуже, представив, что это птица. Но от этого стало еще мучительней — он никогда не откручивал головы птицам, но уже и не надо было об этом думать. Все прошло. Он убирал за мамой, не думая о запахе, не помня его. Он попросил маму поднять руки, чтоб снять с нее рубашку с линялыми цветами. Она испуганно подняла руки, и он не стал отворачиваться от ее враз покрывшегося пупырышками тела, от складок живота и клока волос между ногами в синих раздутых венах.

— Рубашка на второй полке, — сказала мама, когда он постелил ей все чистое и принес свое одеяло и укутал ее, как маленькую.

Рубашки мамы были все старенькие, чистые, но неглаженные. Он выбрал менее линялую, в синих цветочках.

— Я поглажу.

— Зачем? — сказала мама.

— Хочу, — ответил он.

Так как одеяло для глажки было у Дины, он гладил рубашку на махровом полотенце. Мама смотрела, как неловко орудует он утюгом, и вдруг заплакала.

— Ты чего?

— Рюшечки замяли, когда я еще отдавала белье в прачечную, — сказала она. — Их теперь не поднять.

Но он толкал носиком утюга в увялые кружавчики, он их вздымал, чистый запах стирки напомнил ему, что он сегодня не ел, но есть было нечего. Дождется всеобщего бульона.

Когда он надел на маму рубашку, она прижалась к нему и прошептала, что ей рюшечки гладила только ее покойная бабушка, а уже даже ее мама считала, что достаточно того, что белье чистое. «На гладить финтифлюшки всякие у меня жизни нет», — говорила она.

— И у меня не было, — сказала мама, обхватив его руками и не отпуская. — А у тебя, получается, есть.

— Я принес лекарства, тебе надо выпить.

— Ты ходил в аптеку? А где взял деньги?

— У тебя в сумочке.

Как она встрепенулась! Мальчик, зная состояние матери, мог сравнить это с прыганием курицы, которой только что отрубили голову. Курица еще ведать не ведаёт про это и безумно скачет всем всполошенным телом, потому что информация о ногах осталась там, в лежащей в отдалении голове. А энергия и жажда жизни, получается, — в туловище. Мальчик видел это один раз, в детстве, когда они ездили на теплоходе и выходили на остановках изучать жизнь и природу. Относилась ли курица к жизни или природе?

— Дай немедленно сумочку, — полукричит мама, и глаза у нее круглые и безумные.

Он боялся, что она обнаружит пустой конверт, но, видимо, маме хватило его присутствия в сумке, она достала мелочь и отдала мальчику. «Купишь хлеба!» Громко, как всегда, защелкнула замок, но в руки сумку ему не отдала, положила рядом с собой.

«Она даже не пересчитала деньги, — подумал он. — Вернее, она даже не увидела, что он пуст. Ну да... Ну да. Конверт же на месте. А я выше подозрений».

Почему-то это заключение не принесло ему удовлетворения. «Выше подозрений» было сродни «слабак» и «теха». Недавно «выше подозрений» назвали его отца. Приходила мамина сестра, у которой вода в жопе не держится (мамины слова). Она сказала маме:

— Ты очень запущенная женщина. Тебе уже можно дать пятьдесят, а то и больше.

— Ну дай! Дай! — кричала мама. — Может, я и прожила все сто! Откуда тебе знать!

— Не преувеличивай. Ничего ты не прожила! — отвечала сестра. — У тебя все в жизни в порядке. Вот если б благоверный твой положил на сторону глаз, ты бы встрепенулась.

Но они все, и он, мальчик, тоже, стали так хохотать, ибо представить папу с глазом на стороне было невозможно. «Никому он, кроме меня, не нужен, а потому выше подозрений», — говорила мама. И мальчик с этим соглашался. Папа — не добыча, чтоб на него ставить силки. Папа — овощ в огороде. Мама тоже овощ. В общем, жаль их, дураков. Почему же тогда от этой грустной мысли пришло к нему успокоение?

С одной стороны, люди — овощи, но ведь овощи в своем огороде. Собственность. И он их овощная собственность, поэтому никаких потрясений от него не ждалось. «В лунку его, в лунку!» — закон жизни.

«Надо забрать у нее сумочку, — подумал мальчик. — Когда она уснет». Сейчас его больше занимала собака.

И он пошел к ветеринарке и сказал, что боится за собаку, привести ее нельзя, она лежит на боку, а денег у него нет. Все ушло на лекарство.

— И куртка, — сказала врач. — Я ходила в аптеку, мне рассказали. Подожди меня. Я пойду с тобой.

— Я потом отдам, — бормотал он всю дорогу. — Приедет отец...

— И выгонит тебя с собакой.

— Нет. Он не выгонит. Это мама могла бы. Но у нее нет сил. Она сама в лежку, как и Дина. И тошнило их обеих.

Дина лежала так же. Мама уснула, и он тихонько забрал у нее сумочку. Врач увидела и чистое одеяло, и детский плащик. Она была несентиментальная женщина и вековечный спор, кто лучше — звери или люди, давно решила в пользу зверей. Людей она не любила по двум причинам — за жестокость и отсутствие ума. Она отказывала в нем двуногим практически всем без исключения. Хотя список исключения у нее был. Коротенький, на несколько персон. Мог ли думать мальчик, что сейчас вписан в этот список сразу после Джой Адамсон, о которой мальчик слыхом не слыхивал и которая уже давно погибла, защищая животных, которых хрупкая женщина почитала выше людей. А ведь при другом раскладе мыслей могла быть жива. Так что спор «за» и «против» до сих пор ответа не имеет, но мальчик получает с этого спора навар в виде бесплатного укола, даже двух, бездомной Дине, лежащей на крыльце с полным безразличием ко всему происходящему.

— Посмотрим, — сказала ветеринарка. — Конечно, нужен был бы рентген. Может, у нее внутри уже полная смерть, а мы в нее тычем. Но глаз у нее живой. Он еще в ареале жизни.

Она ушла, не спросив, когда он принесет деньги, а, наоборот, сказав, что завтра заглянет сама.

Жалососущий дядя дремал на диванчике, положив ноги на стул. На лице его вздымалась вверх-вниз, вверх-вниз, западая в открытый рот, половинка ее кофточки. В месте рта она была заслонуявлена.

Гнев, отвращение, желание искорежить это отвратительное мужское мироустройство накрыли ее с головой. Бог не дал ей винчестера и бластера, а дьявол, находясь всегда ближе к осуществлению наших низменных желаний, обратил ее внимание на чайник, что стоял на столе. Он был еще горячий: видимо, дядя разомлел после чаепития.

Девочка схватила чайник и ловко попала струей в это самое место смыкания ног, где клубочком свернулось то нечтное, которое делает людей скотами и сволочами. Конечно, он вскочил и заорал. Он не кинулся на девочку, а стал с криком снимать штаны. Девочка бросила чайник на пол и ушла из дома.

— Где у вас аптечка? — кричал дядя.

— Где... Где... — бормотала она, уходя. — У тебя на бороде.

Она была абсолютной спокойна. Если он на нее пожалуется, она скажет, что он к ней приставал. Пожалуйста вам, две половинки кофточки. Она не хотела думать о будущем скандале, чему быть — того не миновать! Была радость сделанной мужчине боли. Конечно, вряд ли у него отсохнут яйца — кипятком крутым не был, но враскоряку он походит. Это уж точно. И у него будет там сползать шкура. Б-р-р... Месть была сладкой, и девочка подумала: «Я понимаю, как убивают».

Надо было спасать этого придурочного, перекормленного с ложки. Мысль об убивании она оставила на потом. Пригодится.

— Эй! — крикнула она во двор мальчику. — Эй ты, олух!

Сварился бульон. Он хорошо пах, и мальчик все-таки сбегал за хлебом, потому что не был обучен есть без хлеба.

Когда он доедал, он вспомнил то, что было с ним ночью. Вернее, не так... Он помнил об этом все время: когда продавал куртку, когда вылавливал из рвоты таблетки, когда увидел мамины лобковые волосы, серого такого цвета, когда тыкал носиком утюга в рюшечки, когда бегал за хлебом. Все случившееся ночью жило в нем, как бы затаившись, без права

проявления. А вот сейчас он почувствовал, что с этим живым и острым воспоминанием ему уже не справиться, оно охватило его всего и требует мыслей и чувствований только о нем. Ты хочешь! Ты хочешь! Ты хочешь! — кричала в нем плоть, пришлось пойти и выпить холодной воды, а потом плеснуть этой водой себе в штаны. Но тут проснулась мама.

— Тазик! — сказала она. И он был на этот раз скор. Ее вытошнило немного, но она сказала, что сразу стало легче, хорошо бы открыть окно, а то пахнет этой гадостью. Он открыл. Мама стала дышать жадно, как бы впрок.

— Не надо так, — сказал он ей, — не напрягайся. Лежи спокойно. Больше нужного ведь не взглотишь.

Почему-то она обиделась.

— Тебе воздуха жалко? — спросила она. — Ты хочешь сказать, что перед смертью не надышишься?

— Какая смерть! — возмутился мальчик. — Тебя же не взяли в больницу, было бы что опасное, увезли бы...

— Они ждали взятку, — злобно ответила мама.

Он похолодел. Такое ему в голову не приходило. Но на этот момент у них не было ни копейки. Не дай бог, мама кинется сейчас за сумочкой.

— Ты прогнал собаку? — спросила мама. — Ты понимаешь, что это ты меня довел всем своим поведением?

Он молчал.

— Какова сука? Нет, какова! — говорила мама, и это можно было отнести сразу к двум Динам, но мальчик переместил мамину злобу на собаку. Ему стало стыдно этого, но внутри его было столько нежности и благодарности к Дине-женщине, он так жаждал ее, что впору было идти и снова поливать себе в штаны.

— Тебе всего пятнадцать, и ее можно посадить за растение. — Мама во вздыбленных рюшечках выглядела воинственно. Он почувствовал ее запах. Он был дурен. Он стыдил себя за физиологические чувства. Она же мама. Она слабая. Ей плохо.

— Она всего на три года меня моложе, — продолжала мама. — Ты хоть знаешь, сколько мне?

— Конечно, знаю, — сказал он. — Но тебе не надо думать про это. Ты себя расшатываешь. Успокойся...

Но ее снова стало тошнить. Снова он не успел с тазиком. Снова пришлось все с нее снимать. И он видел нагое, откинувшееся в бессилии тело, и оно не было для него женским. И оно плохо пахло. «Какая я сволочь!» — сказал он себе, начиная мыть и убирать. На этот раз он не гладил рубашку. Она была толстая, бумазейная, без украшательств.

— Она тут на случай холодов, — пояснила мама, хотя зачем это ему знать, что у нее и для чего. Придерживая маму в сидячем положении, он натянул на нее рубашку. Голая спина была холодноватой и твердой, а груди висели беспомощно и как-то виновато. Он вспомнил их сладкий, защитительный запах в детстве и снова назвал себя сволочью. Как бы во искупление он надевал рубашку медленно и нежно, помогая продвигать в длинные рукава поникшие руки. Видимо, она почувствовала эту нежность, потому что прижалась к нему и заплакала.

— Прости, — сказала она. — Я больше не буду. Кто ж знал, что так все будет? Подруга же все-таки...

— Я тебя покормлю. Я сварил бульон.

— Нет, — сказала она. — Сделай мне свежего чаю. Покрепче и послаще. Жаль, у нас нет лимона.

— Нету, — сказал он. — Но я потом куплю. — (Интересно, на что?)

Мама выпила полчашки чая и откинулась на подушки.

— Папа ведь не собирался сегодня приезжать. Деньги у нас есть, зачем мотаться? Он приедет послезавтра. Ты заделай дырку в рабице, чтоб собака не вернулась.

Дина уже не лежала на боку. Она лежала на брюхе, и поднятая голова ее тряслась. Мальчик налил в блюдце бульон и поднес к ее носу. Собака перестала дрожать, она задумалась над блюдцем, вдыхая дух пищи, потом лениво — раз, другой — шелкнула языком над жидкостью. Замерла. Задумалась снова и вылебала все до доньшка. Очень хотелось принести ей еще, но он боялся перекармливать. Но кусочек мяса отщипнул от куриной лапы, два волоконца. Принес на ладони. Собака снова сначала вдохнула, потом подумала, потом в момент сглотнула волоконца.

— Хватит, подруга, — сказал ей мальчик. — И веди себя тихо, ладно?

Она лизнула его в щеку и даже как бы что-то проворчала.

— Понял, понял, — засмеялся мальчик. — Пожалуйста.

— С кем ты разговариваешь? — услышал он голос мамы.

— Благослови меня! — попросил он собаку, подымаясь и идя к маме.

Видимо, ему показалось, а может, и нет, что в глазах у Дины при звуках маминого голоса мелькнул страх, пришлось нагнуться и обнять ее голову. Собака пахла хорошо.

— Я не хочу тебе врать, — сказал мальчик матери. — Но я не смог прогнать большое животное, тем более вы болеете одинаково. Вас обоих тошнит и прочее.

— Тебе это одно и то же — хоть мать, хоть собака? — Мама вся напряглась, и мальчик мысленно отметил, где стоит тазик.

— Одинакова болезнь, одинаково несчастье, — сказал мальчик.

— У меня и у собаки? — возмутилась мама. — Грязной, шелудивой, никому не нужной собаки и у родной матери общая болезнь? Ты ненормальный... Ты от этой женщины стал ненормальным...

Конечно, он не успел поймать тазиком потоком хлынувшую рвоту.

— Ты видишь, что со мной делаешь? — спросила мама. — Ты убиваешь меня собакой.

— Нет, — сказал он, — я тебя ею спасаю.

А тут она возьми и появись — Дина. На шатающихся ногах она подошла к маме и тихонько твякнула что-то, видимо важное, потому что мама замерла то ли от неожиданности, то ли от возмущения, то ли от слабости и мокрости, в которой все еще находилась. Мальчик шелестел в комод, ища очередную смену белья. А они смотрели глаза в глаза — мама и Дина.

— Как ее зовут? — спросила мама.

— Найда, — ответил мальчик с абсолютного перепуга, потому что зубы и язык его уже сложились сказать «Дина». Ничего себе был бы взрывчик тротилового эквивалента.

— Это, наверное, еврейская собака. От Швейцеров, — сказала мама. — Ее убивали тут все, кому не лень. Считаю, что ты спасаешь жертву Освенцима.

Мальчик молился Богу. Так, как он умел или не умел. Найти бы, во что переодеть маму, найти бы какое-никакое белье, найти бы денег.

Он нашел две старенькие, в разрывах простыни. Нашел папино белье. Рубаху и кальсоны. Уже привычно, не раздражаясь на запах, а скорее даже не чувствуя его, он передел маму в папину рубаху. Она была ей почти до колен. От кальсон она отказалась. Все грязное белье он сложил в большой таз и щедро засыпал порошком. Поставил греть воду.

Мама выпила лекарство и еще полчашки чая, снова печалась, что нет лимона.

— Во рту противно, — жаловалась она. — Хочется чего-то кислого.

— Я пойду куплю, — сказал он.

Лимоны продавали возле автобусной остановки вместе с луком и картошкой. Лимоны лежали с краю. Он взял с собой газетку. Он закрыл свою правую руку газетой, когда брал самый крайний лимон. Это было легко и не стыдно. Возвращаясь, он думал об этом, всячески возбуждая в себе стыд. Но не сумел. Он пришел домой с ощущением собственной порочности.

Чай с лимоном мама выпила жадно, а кружок лимона высосала до тряпчости корки.

Мальчик залил грязное белье водой. Потом он давал таблетки маме и Дине. Потом втирал в Дину мазь. Вечером, развешивая на веревке неумело постиранное белье, он услышал звук машины. По тропинке к дому двигался Реторта. Мальчик пошел ему наперерез, боясь встречи его с мамой.

— Я за техникой, — сказал Реторта. И, подумав, спросил: — Что тут у вас произошло?

— Не знаю, меня не было дома, — ответил мальчик.

— Чертово бабье! — проворчал Реторта.

— Я сейчас все вам вынесу. Дело в том, что мама заболела, была неотложка...

— Лучше меня не видеть, — засмеялся Реторта, — хотя я и ни при чем.

— Ей лучше никого не видеть. У нее мозговые явления.

— Та тоже лежит с приступом. Учительница старая твоя. Стенокардия. Хотелось бы знать, что они за несколько часов не успели поделить. Ладно, неси!

Реторта сел на пенек, который остался от сломанной в бурю сосны. Мальчик пошел на террасу. Мама дремала, свернувшись калачиком, а до этого все время лежала плоско, на спине. Он посчитал это хорошим признаком — желание изменить позу, желание движения. Он вынес сначала телевизор, потом видак, потом комбайн. Он приносил все на пенек, а Реторта нес дальше в машину. Получилось тихо и спокойно.

Уже провожая гостя у калитки, мальчик сказал:

— Передавайте Дине Ивановне привет и скажите, что я желаю ей здоровья.

— Да, она хорошая девка, — сказал Реторта. — Что и удивительно. Скандал и прочее...

— Мама из-за этого тоже рухнула, — сказал мальчик. — Я не знаю, насколько это прилично... Даже, может, совсем неприлично... Но я хотел попросить у вас взаймы. Я сегодня все деньги истратил на лекарства, а папа приедет послезавтра. А у меня еще и больная собака.

Надо сказать, что как только раздался звук машины, Дина спряталась под крыльцо и лежала там замерев.

— Да! Дина мне говорила, что началось все с собаки.

— Можно сказать и так, — медленно ответил мальчик, наблюдая просветление лица Реторты, постигшего тайну, которая не давала ему покоя. Тайна — больная прибудная собака. Он может понять возгорание скандала на этой почве. Может.

— Это Дина ее привадила? — спросил он у мальчика.

— Можно сказать и так, — совсем уж медленно ответил мальчик. «Это правильная ложь, — думал он. — Ведь правда ни в коем разе здесь не годится, потому что может принести только зло». Второе открытие за день. Кража — добро. Ложь — добро.

— На лекарство ушли все мамины отпускные. А ветеринарка сделала укол в долг...

— Сколько тебе надо? — спросил Реторта. — Сто рублей? Сто долларов? Определи сумму. — Ему нравилась ситуация, в которой он может, приехав, нарисоваться перед Диной. Он ей скажет, что ею приваженная собака его деньгами вылечена. Красиво, девушка, или? — Так сколько? — повторил Реторта, доставая бумажник. — Я выше бабьих скандалов, у нас с тобой мужские дела, верно? — Он шелестел бумажками. Достал сто рублей. Еще сто. Еще...

— Достаточно?

Мальчик тяжело вздохнул.

— Дайте пятьсот, — сказал он.

— Ну ладно, — вздохнул уже Реторта. — Крутись, выживай!

— Спасибо! — ответил мальчик. — Я просто не знал, что делать.

— А я знаю, — сказал мужчина. — Поможешь Дине с кабинетным оборудованием. Там его до фига. Не таскать же ей самой. Будешь такелажником.

— Да! — радостно сказал мальчик, но чуть-чуть перебрал в эмоции.

Реторта как бы почувствовал некое количество страсти, которое не могло никоим образом соответствовать грузо-разгрузочным работам. Он посмотрел на мальчика тяжелым подозрительным взглядом и не увидел ничего. Худенький высокий юноша держал в руках деньги, и пальцы у него дрожали.

— Цуцик ты еще! — засмеялся Реторта. — А жизнь со всей своей подлостью только начинает подбираться к горлышку... Я это помню по себе. Самое гнусное время твое — уже не дитя, но еще и не мужик. Существование в промежности. — Реторта громко захохотал над собственным определением.

Отхохотав, уехал.

Дина вылезла из-под крыльца. Мальчик снял налипшие на нее листья, хвоинки, паутину. Собака положила ему голову на колени и смотрела ему в глаза.

— Все будет хорошо, — говорил ей мальчик. — Ты выздоровеешь, станешь сильной и красивой, я заберу тебя в город. Пошли посмотрим на маму.

Мама лежала уже на другом боку, и видно было, что спится ей крепко, покойно.

Дяди не было. Куда-то он делся, но, прислоненная к чайнику, стояла ее детская фотография, на которой черным фломастером было написано: «Я изувечу тебя, гадина».

«Еще один документ», — спокойно подумала девочка, поднимая с пола половинки своей кофточки. Вместе с фотографией она все сложила в пакет. «Спину предьявляю лично», — додумала она до конца план защиты от всего последующего. Но боже, насколько же неинтересна была ее собственная история!

Итак, картина нарисована, дядя изгнан, улики собраны. Девочка поняла, что хочет есть. Она одну за другой открывала на плите крышки. Вермишелевый суп. От него у нее сводило скулы. Кусок мяса из супа отдельно как гарнир к холодной картошке. Она отрезала мясо, положила его на кусок хлеба, посолила, погорчила и вышла с ним на крыльцо.

Было тихо. Только какая-то птица пистолетно выщелкивала свою песню. Девочка подумала, какие они разные, птицы. Есть пулеметчики, есть стукачи, есть квакуши, легкомысленные чирикалки, птичья попса, и только один из них — соловей. Девочка вообще-то думала о любви, потому что ее оказалось многовато для одного дня и такого маленького пространства. Почему-то остро по сердцу полоснула ненависть к мальчику, которого она вообще не считала мужчиной, но и он ее тоже не считал женщиной, он не увидел ее в упор ни сейчас, ни в прошлом году, ни в позапрошлом, когда они были совсем маленькие и кидались мячиками. Ненависть по-гадючьи замерла где-то в районе сердечного желудочка и смотрела оттуда острым зеленым глазом. Девочка знала свойства ненависти откладывать яйца, из которых потом, несмотря ни на какие обстоятельства, выползали змеюки и змеючки, и ты становился полон ими, и тогда уже годился чайник с кипятком или что там еще. Мальчик, хоть и сволочь по отношению к ней, не заслуживал этого, и девочка топнула на гадюку, и та растворилась по закону победы добра над злом. Девочка давно знала: зла много не потому, что оно могуче, а потому, что мало тех, кто хочет на пакостника топнуть ногой. И она стала догадываться, что человеку со злом как бы сподручнее, естественнее — видимо, человек сделан из мяса зла. Он, человек, ни за что в этом не признается, он воображает о себе черте-те что. На самом же

деле — обыкновенная гадюка, на которую надо топнуть или прищемить ей шейку. Она понимала, что сама была злая девочка, что ее не очень любили, но только она знала, насколько могла быть хуже, если б захотела. Поэтому она прогнала ненависть к мальчику. Почему-то вспомнилось, что на какой-то могиле написано: «Спешите делать добро». Об этом им рассказал очень старый учитель, который заменял их литераторшу на одном уроке. От себя он добавил: «Чистому все чисто». Они так отвратительно тогда себя вели, как свиньи, орали, кидались ластиками, кто-то даже пукнул, а старик — ему лет сто, наверное, — рассказывал им про Пушкина, как в последние годы его доводили, и она выкрикнула: «Как мы вас?» — «Глупое дитя, — ответил он, — нашла гению сравнение. Но знай: чистому все чисто». И они ржали весь день, пачкая друг друга и на все голоса повторяя: «Чистому все чисто». Стыдно ей стало уже дома. Просто шла из кухни в комнату и ощутила страшный, как ужас, стыд. Попыталась рассказать матери, но та заорала: «Его еще пускают в школу, этого старого маразматика? Это же просто преступление! Представляю, какую лапшу он вам вешал на уши». И тогда девочке стало стыдно за мать, а потом — и за отца, которому мать рассказала, что этот старик учитель из сидельцев и стоял на учете в психушке, потому что когда-то давным-давно дал пощечину ученику. Девочка ощутила жар в щеках, потому что посчитала, что ей тоже полагаглась пощечина. Потом она долго не могла уснуть, потому что забыла, что же тогда сказал старик, отчего они все пришли в идиотическое неистовство. А теперь вспомнила. Это было «спешите делать добро» и «чистому все чисто».

Приехала мама, спросила, где дядя.

— Откуда я знаю? — ответила девочка. — Пospал и ушел.

— Ты ему не хамила? — Мать смотрела очень подозрительно.

Девочка задумалась. Можно ли считать хамством кипятик на яйца? «Вот если бы кипятик был крут и яйца сварились, тогда — да, а так — нет. Это не хамство».

— Да ну его, — сказала девочка. — Он дурак.

— Но он хоть сказал, придет вечером или нет?

— Вряд ли, — ответила девочка.

Пришла соседка, та, которая прикрывала мобильник своим телом. Спросила, не нужно ли чего.

— Спасибо, — сказал мальчик. Он понял, что она подглядывала в окно и видела, как приезжий мужчина давал ему деньги. Возможно, она целый день боялась, что он придет просить займы, а теперь уже не придет — значит, можно предложить то, что уже не нужно.

— А собаку ты все-таки усыпи, — сказала соседка. — В город вы ее все равно не возьмете, так нечего ей давать надежду. Это жестоко. — И она ушла, очень довольная своими мудрыми словами, которые этот мальчик мог и не услышать от других людей, не обладавших ее пониманием жизненных коллизий. Мать у него забубенная учительница, а отец кондовый инженерушка. И дача у них кривая, и земля у них не родит. И парень явно без ума. Придумал же такое — просить сотовый, когда по нему счет идет на доллары. Соседка была довольна собой. Она пришла спросить, надо ли что, и дала совет. Это было хорошо и правильно.

Мальчик ненавидел соседку все то время, пока она шла к своему дому. Он ненавидел ее длинную, похожую на стиральную доску спину, ее тонкие и одинаковые по ширине от ступни до колен ноги, узел волос, закрепленный детским бантиком, притягательно открытый затылок, в который он мысленно выстрелил из «вальтера» тридцать восьмого калибра. Пуля летела стремительно, но мальчик успел ее отловить у самой цели — шевелящихся слабых волос — и сжал ее в ладони, раскаленную и злую от невыполненного задания. Он раскатывал пулю в руке до тех пор, пока она

не присмирела и забыла, зачем она и кто. Тогда он ее выбросил. И «вальтер» выбросил, и про ненависть забыл, потому что наступал вечер и надо было думать, чем бы накормить маму, да и себя тоже. Он пошел проверять запасы. Они были скудны. Но было пюре в пакете «Зеленый великан». Был остаток масла. В самом низу холодильника стояла банка кабачковой икры. Еще было сухое молоко, блинная мука и восемь яиц.

«Сегодня не пропадем, — подумал мальчик. — И завтра утром тоже. А потом я схожу в магазин».

Как будто он не знал, что между вчера и завтра пролегалась ночь. И эта ночь ему досталась.

Он мог вернуться спать в свой «ларь» на подушку, где лежала голова Дины. Мог остаться на террасе, на виду у неба. Он остался на террасе. Здесь была слышнее мама, но главное — именно здесь с ним была Дина. Теперь, к ночи, мысли о ней занимали его уже без остатка. Он давно знал спасительное и стыдное освобождение от желания, но теперь, после того как знает, что это такое на самом деле, кошунственны были бы свои руки и все нехитрые мальчишеские способы спасения.

Очень скоро, однако, он понял страшную вещь: умом с этим не справиться. Бесплезная голова металась на подушке, а тело было большим и сильным, оно кричало в своем несчастье и этим походило на глупого ребенка, недокормленного, но высаженного в манеж. И он (ребенок?) бился головой о прутья, помня, как замечательно вкусно то, что у него отняли. И Дина тысячу раз ящеркой скользила по нему, она была такая ловкая мучительница, что мальчик почти закричал, когда ящерка освободила его от тяжести и ускользнула в ночь. Он лежал распластанный, а бессильная голова, дождавшись своего часа, сказала ему: «Дина — женщина непорядочная. Нельзя такое делать со своими учениками. Это неприлично». Но тут же голова раскололась на две половинки и другой своей частью опровергла правильные и мудрые слова! Она заявила, что непорядочные женщины — лучшее, что есть в жизни. И заниматься этим с учениками — дело святое. Пусть учительницы — молодые и красивые — учат этому мальчишек, чтоб они не сходили с ума от спятившей крови. Потому что учительницы знают *как*, в отличие от девчонок, которые верещат или требуют незнамо что. Он, правда, этого не проходил, но слышал миллион историй и заранее боялся момента, когда придет его время. У него же получилось замечательно. Не пришлось мучиться, и пусть так будет всегда. Он представил, как будет помогать Дине устанавливать разные приборы в кабинете, а потом возьмет ее за руки и посадит к себе на колени. И она обхватит его руками и ногами, и стул станет потрескивать, и в какой-то момент они рухнут вместе с ним, но это будет такой кайф и такой смех. А потом он вынесет разломанный стул в подвал, а она, Дина, пойдет за ним, сама пойдет, он не сообразит ее позвать. А там, в подвале, стоит, он знает, диван из директорского кабинета. Некоторые из их класса уже опробовали это место. Поэтому на двери подвала висит огромный замочик. Но он ударит ножкой стула по дужке страхового замка, и он раскроется, и они войдут в темный подвал. Он отбросит ножку стула к чертовой матери и поведет Дину к дивану. Он, правда, не знает, где он стоит. Они начнут искать его вместе, потому что иначе зачем она за ним пошла, когда он взял в руки разломанный стул? И найдут! Пыльный и хорошо уработанный диван взвизгнет от радости их радости, но здесь будет уже все иначе. Здесь уже он будет главный, и она будет смотреть на него снизу вверх странными, похожими на собачьи глазами... Глазами собаки Дины.

В конце концов мальчик уснул. И спал крепко, без снов, пока не услышал шум.

Было уже утро, и солнце вовсю грело терраску. Шум шел из маминой комнаты. Он вскочил и побежал. Мама шла по комнате, двигая перед собой стул.

— До тебя не докричишься, — обиженно сказала она, — мне нужно в уборную.

— Я принесу ведро, — неуверенно сказал мальчик.

Мама дернулась от этих слов и сказала, что лучше умрет на месте. Мальчик не понимал, что само это заявление исключает возможность смерти, что так говорят люди, уже отошедшие от края бездны, что это уже их игра на нервах тех, кто боялся, страдал и мучился, но ведь не умирал! Мальчик этого не знал, он испугался за маму, поэтому, доведя до крылечка, снес ее со ступенек, и мама в этот момент испытала чувство победы над той тварью, которая здоровьем взяла мальчика, а ты попробуй, сука, болезнью! Ты роди, воспитай такого, который снесет тебя на руках в уборную.

Потом мама стучала носиком умывальника, потом присела на лавочку в тенечке, раскинув руки, разглядывая выстиранное сыном бельишко.

— Спасибо, сынок, — сказала она. — А где наша приبلуда?

Дина, как учуяла интерес к себе, подошла к маме и положила ей голову на колени. Мама почесывала ей за ухом, размышляя вслух над выражением «заживет, как на собаке». Дина подтверждала это.

— А человек не может! — говорила мама. — И знаешь почему? Человеку мешают мысли. Они слишком много знают и мешают довериться природе. В болезни и смерти надо подчиниться природе.

«И в любви», — подумал мальчик. Но тут же засомневался, вернее, смутился самого слова «любовь». Она ли? Или назвать это все теми грубыми словами, которых в обиходе тьща? Но он не мог то, что с ним было, и то, чего не было, но он намечтал, оскорбить плохим словом, хотя любовь не годилась тоже. У Дины есть Реторта, за него она пойдет замуж, он тоже женится на девушке в фате — все это перемешалось в голове, а надо было кормить маму и Дину, давать им лекарство, убирать за собой постель, да мало ли дел у утра? И он все сделал. Мама легла на поправленную кровать, он не разрешил ей ничего делать. Она была спокойна и мила и называла его «сыночек». Она попросила свою сумочку, чтоб «черкнуть глаза и губы».

В конце концов, это было неизбежно.

Конечно, она сразу полезла в конверт.

— Ты истратил все деньги? — тихо закричала мама. И почему-то он подумал, что именно этим голосом, голосом человека, потерявшего все на свете и знающего, что ничего нельзя вернуть, она и закричит. Из-за денег. Из-за каких-то денег!

— Вот они, — сказал он ей, протягивая пять сторублевок.

— Где мои деньги? — кричала мама.

— Я же покупал лекарство.

Мальчик вдруг почувствовал себя обессиленным и опустошенным. Найти деньги оказалось проще, чем объяснить что-то маме. Сейчас он ей покажет чек из аптеки — он его взял с собой. Он, смеясь, расскажет про куртку, про не алчную, а человеколюбивую ветеринарку, про Реторту и про то, что он отработает взятые у него деньги на погрузочно-разгрузочных работах. Мама напряжется, вскрикнет последним отчаянным голосом и поймет, что все, в сущности, нормально, ну нехорошо — где уж хорошо, если она больна, и собака больна, и он остался без единственной приличной своей вещи? Но это горе — не горе, все исправимо, а значит, точно — нормально. И кричать как напоследок негоже. Но мамино лицо собралось в единую точку, оно сгруппировалось вокруг носа в комок, а глаза сблизились. Мама стала портретом воробья анфас. Это же надо, как похоже. У этой птицы-мамы было свое объяснение случившемуся, она не спросила у сына, что и как, она сама сказала ему, что и как. У нее был странный голос, как будто он пробирался к нему сквозь камни, голос цеплялся за них и становился скрипуче-шелестяще-твердым.

— Это ее деньги, — говорил воробей анфас голосом каменным. — Ей такими бумажками дали отпускные. Я видела своими глазами. А она отдала их тебе, чтоб ты тут с ней спал на глазах у матери. Так ведь?

— Замолчи, мама! — заплакал мальчик. Вот этого он не ожидал от себя — слез. Стыдно-то как плакать большому, взрослому — в истории комической, как «Женитьба Фигаро». Там ведь тоже все время кто-то кого-то не понимает, а Миронов мечется, мечется. Он недавно видел по телику и думал, какой он молодой, а уже мертвый. Но если у жизни есть скорость, то, судя по Фигаро, он положенные семьдесят лет проскакал за сорок с чем-то. Но Миронов не плакал, он смеялся, а он слабый, он тега, он плачет, потому что хочет хоть этим остановить маму, которая уже расправила лицо до человеческого — значит, прониклась слезами сына.

— Как жаль, — сказала мама, — что нет райкомов партии. Там бы ей показали. Там бы ее лишили права учительствовать. А сейчас вольница. Можно все! Можно насиловать детей и платить им за это деньги. Я подам на нее в суд! — Мама даже привстала, он побоялся, что она упадет, и сделал ей шаг навстречу, тот самый шаг, чтоб она сумела выхватить у него из пальцев бумажки и зашелкнуть их в сумочку.

— Это улика, — торжественно сказала мама и гордо легла на подушки.

Стало тихо-тихо... На тишину пришла собака и остановилась рядом с мальчиком.

— Иди, Дина, иди, — сказал он ей, — иди на место.

— Это человеческую суку зовут Дина, а собачью — Найда.

Мама была довольна тонкостью замечания и уместностью его.

— Ее зовут Дина, — сказал мальчик. — Мне сказала ветеринарка. Я придумал Найду, чтоб тебя не расстраивать.

Это же хорошо, что сын не хочет расстраивать мать. Что может быть лучше такого, разве только возможная радость, добытая сыном и положенная к ногам матери. Но в несчастной голове матери, видевшей «такое», понятия радости и горя были сбиты с ног и валялись как попада. Вместо них в матери кустилось колюче-ядовитое оскорбление, поношение устоев, в которых она тесно, но правильно жила почти сорок лет. Она вдруг это вспоминает: сорок лет на следующий год, а ее уже часто называют бабушкой, пусть дети, семилетки, но не все ли равно кто? Она определена в иной предел. Сучка моложе ее на самом деле на семь лет. А дома она говорит: на три. Она прибавляет годы всем. Глядя на Пугачеву, чей год рождения знает в стране каждый, она кричит во все четыре стены своей квартиры:

— Да она мне в матери годится! Ей шестьдесят три, я точно знаю. Она училась вместе с моей теткой.

Самое смешное — она знает, что врет. Но есть такое свойство лжи — притворяться правдой до последнего вскрика.

Утром звякнул мобильник. Девочка понимает, что это звонит дядя.

— В какую больницу? Зачем?

Мать слушает и смотрит на девочку, потом отключает мобильник.

— Объясняй!

— Что? — не подымая головы от рисованной мережки, говорит она.

— Как Коля попал в амбулаторию? Что ты сделала?

— А что я сделала? — спрашивает она.

— Ты перевернула на спящего человека чайник и ни слова не сказала об этом?

— Он сам перевернулся, потому что стоял с краю. Делов! Вода в нем была едва теплая!

— У него сильный ожог. И мне надо оплатить его перевязку в амбулатории. Он ведь не местный.

— У него что, нет денег?

- Откуда я знаю? Он говорит, чтоб я принесла как можно больше денег.
- Это сколько? — спрашивает девочка. — Миллион?
- Идиотка! — кричит мать. — Какая бездушность! Не сказать ни слова!
- Я не видела, — говорит девочка, — пришла, а его нет.
- Хорошо, что амбулатория близко.

Мать мечется, ищет сумочку, щелкает замком.

— У меня всего триста рублей. А он сказал: нужно много. Надо попросить у кого-нибудь взаймы.

Мать выскакивает из дачи и бежит к соседям. Потом бежит к другим. Девочка видит, как мечется она от одних к другим. Через десять минут возвращается пустая.

— Какие все сволочи! — шипит она. — Ни у кого, говорят, нету!

Девочка молчит. Она ни на кого не обижается. Мать никогда никому не давала взаймы ни копейки. Это был ее принцип.

— Я знаю, у кого есть деньги, — говорит мать. — У этих. — Она кивает на дачу напротив. — Приезжал мужчина, который их перевозил, давал парню деньги. Позови его, а?

— Ты спятила! — кричит девочка. — Как можно у них сейчас брать деньги! Мать больная, собака больная. А если похороны? Гроб, то да сё...

— Ты права, — соглашается мать и идет в дачу. Там она лезет в шкаф и достает оттуда пол-литровую банку с пуговицами, нитками и иголками. В ней же коробочка для скрепок. Мать вытаскивает из нее плотно спеленутые резиночками деньги. Девочка потрясена. Мать берет одну такую спеленутую куколку и кладет в сумочку, но, видя, что девочка наблюдает за ней, кладет в сумочку всю коробочку от скрепок.

«Чтоб потом перепрятать», — думает девочка. Она ненавидит мать за суетливый бег Христа ради от дачи к даче, когда деньги спокойно лежали себе в известном месте. Мать готова была отнять у больных и умирающих, мать поедом ела ее за мобильник, а куча денег спала себе в коробочке. Жаль, что мать унесла ее с собой, она бы их посчитала непременно. Оставшись одна, девочка подумала, что история с дядей закончилась, считай, ничем и ей теперь не надо предъявлять свой пакет с уликами. Хотя... Еще неизвестно... Пусть ждет пакет своего часа.

Мать вернулась уже вечером. Она сказала, что дядя получил «неудобную травму», но без далеко идущих последствий. («Жаль», — подумала девочка.) Мать уговорила «скорую», чтоб за живые деньги довезли его до Москвы.

— А что он обжег? — на голубом глазу спросила девочка.

— Между ног, — ответила мать. — И слегка пенис. Какое-то время писать будет больно.

— Потерпит, — сказала девочка.

— У тебя странные реакции. Ты принимаешь близко к сердцу эту чужую женщину, приبلудную собаку, а родного дядю тебе как бы не жалко?

— Я его не люблю, — громко говорит девочка. — Даже больше — ненавижу...

— Это что-то новое в нашей жизни. С чего это вдруг? Что он сделал тебе плохого, кроме того, что вовремя спас от осы?

— Ничего, — пробормотала девочка.

— Стыдно! — закричала мать. — Он мой брат. С этим ты могла бы считаться... Этот парнишка — никогда не знала, как его зовут, — оказывается, продал куртку, чтобы купить матери лекарство, ты наверняка на такое не способна.

— Но у нас же полно денег!

— У всех полно денег! — заорала мать. — Ты думаешь, у них нет? — Мать кивнула на дачу напротив. — Теперь учителя хорошую отметку просто так не поставят. На все такса.

— Ты за меня платила? — завизжала девочка. — Платила?!

— Ты и так способная, — уже спокойно сказала мать, — и не верещи на весь двор. Просто взрослей и знай: такое есть тоже. Посмотри: никому не платят, а все в мехах. Все бедные, а буженину берут не ломтиками, а кусками. Но друг для друга — все бедные. И никто никому копейки не даст. У всех последние три рубля.

— Ты сама такая, — сказала девочка.

— Такая! А почему мне быть другой? Не хочу и не буду! Какие правила — такая и жизнь. Я заплатила за перевязку брата, отправила в Москву, и он мне теперь должен. А как же! Обещал вернуть через месяц. А отцу не скажу. Это моя заначка. А у него своя, думает, что я не знаю.

— Почему вы не разойдетесь? — спросила девочка. — Ты бы замуж могла выйти. Сама же говоришь — ноги длинные.

— От одного мужа впечатлений на несколько жизней.

— Ты веришь в другие жизни?

— Если бы их не было, люди давно бы кончились. Жизнь — сплошной безвыход. А те, которые в ней выходом обманывают, самые главные сволочи и есть. Нет... Где-то в другом месте — не на Земле — мы отдохнем, подправимся и возвратимся снова к оставленной блевотине. Этот круговорот дерьма в природе для чего-то нужен. — В глазах у матери ненависть острая, как отбитое бутылочное горлышко от шампанского. Как-то рвануло в руках у отца. Ощерившееся остряками, оно всех парализовало. Она тогда закричала и получила подзатыльник от матери. «Ты что, истеричка?»

«Как она может жить с такими мыслями, — думает девочка, — если не видит ничего хорошего?»

— Нет, — говорит девочка, — мир устроен не так. Хочешь, скажу — как?

— Не хочу, — кричит мать. — Мне неинтересны чужие миражи.

— Это из-за папы? — спрашивает девочка.

— Ха-ха! — нервно смеется мать. — Много чести. — Но вдруг садится на стул и начинает плакать. Слезы бегут безостановочно, без капель, один нескончаемый поток.

Девочка идет к ней со страхом. Она не знает, как поступит мать. Может, полоснет ее мысленным горлышком или скажет какую гадость. Но мать, оказывается, маленькая, она помещается в руках девочки, а волосы матери пахнут уксусом, которым она их полощет. Девочка думает, как все точно — уксус. Именно уксус должен идти от маминой головы. Запахни мама чем-нибудь сладким, ванилью например, куда бы делся этот поток слез? Нет, все правильно: мама и уксус. Но мать уже сморкается, уже отталкивает дочерины руки.

— Все дело в том ребенке, — говорит она. — Та сучка отца на ней подловила. А он хоть и сволочь, но не окончательная. Признал уродку.

Девочка вздрагивает. Она ведь знает, как они похожи. Значит, и она уродка, это точно, раз сама мать про это говорит. Почему-то ей не жалко себя, вернее, не так, конечно, жалко, но жальче ту, младшую, родившуюся не по правилам.

— Почему она уродка? — говорит девочка. — Мы с ней похожи.

— Никогда мне не говори этого! Никогда! — кричит мать. — Надо же такое сморозить! Ты красотка, а она кикимора.

Девочка молчит. Она хочет понять, что такого важного скрывается в этом непризнании абсолютно очевидного факта. Не все ли равно — похожи они или нет, если само существование той, другой девочки не подвергается сомнению? А мать, оказывается, плачет опять этим же нескончаемо бесцветным потоком. И теперь девочка снимает с крючка полотенце и вытирает это плакальное лицо, а мать замирает в полотенце, потом по-детски два раза шмыгает носом и затирает.

— Включи чайник, — говорит она. — Я ведь сегодня ничего не ела.

Они пьют чай с сушками, которым сто лет.

— Он всегда приносит такие. — Это мать об отце. — Которые уже на корм свиньям.

Нельзя ей позволить вырывать на ту же дорожку.

— Ты забыла, — говорит девочка, — у нас ведь есть суп и мясо. Хочешь, я отрежу тебе мясо с хлебом? Я так ела, с горчицей.

— Не хочу, — говорит мать. — Я бы сейчас съела манной каши. Детской, какую мне мама варила. Мне часто хочется такой каши. Но как подумаю: кипяти молоко, потом стой и помешивай, чтоб не пригорело, подумаю — и рублю этому желанию хвост.

— Ну, давай я тебе сварю, — предлагает девочка. — Ты мной только поруководи.

Лицо матери светлеет откуда-то из глубины, и не будь этой черноты вокруг глаз... Кстати, откуда она? Девочка не замечала на злом и кислом лице матери эти черные впадины под нижними веками, а вот возник в ней свет — и осветил столько черноты, хоть плачь. Она наливает в ковшик молоко и ставит на плиту. Она думает, что черный цвет прекрасен без человека, сам по себе. И вообще цвет, запах, погода, природа, звук, мягкость и твердость — все это не может быть ни плохим, ни хорошим, когда оно отдельно от человека. Человек же все портит. Значит, что, мама портит черноту под глазами? Девочка запуталась, родился страх, и она едва не упустила молоко.

— А где у нас манка?

— В коробке, на которой написано «Рис», — говорит мать. — Я засыплю сама, ты не знаешь меры.

Девочка смотрит на черные подглазья матери.

— У тебя ничего не болит? — спрашивает она.

— У меня болит злость, — отвечает мать. И девочка думает, как мастерски мать убивает в ней жалость и беспокойство. Раз болит злость — значит, нечего жалеть. Нет ничего живучей злости. Почти бессмертная часть природы.

Она мешает густеющую кашу.

— Как дивно пахнет! — говорит мать. — В раю должны кормить манной кашей.

— Хочу в ад, — бормочет девочка. Ее как раз слегка мутит от этого запаха.

— Положи масло. Половинку того, что на блюдечке.

Девочке кажется, что масло несвежее. Но это неправда. Его купили вчера. Она сама ходила в магазин.

— Долго еще? — спрашивает она мать.

— Закрой ковшик крышечкой, а сверху положи полотенце. Пусть постоит.

Мать засыпает после каши, а девочка смотрит на нее. Кожа матери натянута так туго, что видны сосудики на висках и крыльях носа. Черноты под глазами нет. А может, ее и не было? Она знает, что часто вживе видит то, что ей придумалось. «Я не в себе, — думает девочка. — И сестра у меня даунка. Мы с ней на одной стороне жизни». Но мысль эта не страшит, она даже ласкает. «Дурочка ты моя, — говорила ей украинская бабушка, когда она, маленькая, вставая с горшка, путалась в штанишках и опрокидывала горшок. Бабушка наводила порядок быстро, никогда не кричала, не кляузничала, потом ее так же быстро (первой из двух) упрятали в дом престарелых. У бабушки в тот день были огромные застывшие ужом глаза. «Она не в себе», — говорила мама девочке.

С тех пор состояние быть не в себе для нее родное и ласковое. Она думает о себе не в себе до стука в висках, кровь стучит громко, девочка слушает кровь, у которой ведь, если разобраться, нет выхода. Потом она идет во двор и повисает на калитке. Если бы мальчик сейчас появился, она сказала бы ему о том, какая она чудная. И, может, тогда он обратил бы на

нее внимание. Она огибает забор влекущей ее дачи по узенькой тропинке, оставленной на всякий пожарный случай, хотя какой пожарник тут пройдет? Она доходит до дачи. Именно здесь крапива жжет ей колени, а дурная дикая яблоня расхлестала во все стороны ветки. Она ударилась лбом об одно зелено-зеленушее яблоко величиной с пинг-понговый мячик. Ветки мешают ей видеть, но они же закрывают ее от мальчика, если он вдруг начнет смотреть в ее сторону.

Потом она все-таки идет дальше — до того места, где рабица делает резкий правый поворот. Собственно, это конец забора, и девочка выходит на ничейную землю, которая раньше принадлежала дому отдыха слабослышащих инвалидов, а потом по ней прошли мародеры-дачники. Ей приятно, что ее родители не участвовали в этом безобразии, зато приятно, что она участвовала. Это был замечательный поход грабителей, жаркий, страстный, несправедливый. Но до чего же было радостно выдергивать из земли лавочки, вывинчивать лампочки, срывать электрические счетчики, уносить на себе тумбочки, спинки кроватей и все, что годилось и не годилось совсем и никогда! Она урвала пластмассовую лейку, хотя умирающая соседка впихивала ей сосочковый рукомойник, последний, дефектный.

— Повесите на дереве возле уборной, очень гигиенично.

Конечно, логика в этом была, но не хотелось ее слушать, тем более что они с мужем тащили гору этих рукомойников, как бы на всю оставшуюся жизнь. Девочка хихикнула над превратностями жизни учительницы.

«Ну, — думала она, — помыла руки после уборной — вот теперь и помирай с чистыми руками. Но с грязными было бы хуже, — оспорила она себя. — Ведь руки аккуратно складывают на груди, друг на дружку, горбиком».

Через пустырь слабослышащих шла тропинка. По ней чуть быстрее можно было дойти до станции, по ней приходит папа, у него в конце тропинки стоит гараж-ракушка. Гаражей несколько. Их сторожит бывший сторож ограбленного дома отдыха. Он тогда грудью отстоял каменную, на века сработанную сторожку, об которую грудью же бились мародеры, нутром чуя, сколько сокровищ может вместить каменное запертое строение. Но сторож не дал на разграбление место своей работы, и теперь папа спокойно спал ночью, не боясь за новенькую «шестерку». Девочка собралась уже идти назад в дачу, но увидела, как кто-то в пестром летит по тропинке в ее сторону. Она спряталась за куст бузины.

«А! — узнала она. — Это подруга умирающей хозяйки, они приехали вместе, а потом эта, видимо, уехала на машине, а теперь узнала про болезнь и бежит, как полагается подруге, на помощь беде». Конечно, не беде, а в беде. Одна буковка, а все наоборот. Ну, уж не одному синтаксису зависеть от разных запятых («казнить нельзя» и т. д.).

Эта бегущая ничего себе. Смотрится. Особенно против матери мальчика, изъеденной ненавистью, как молью. Эта бегущая улыбнулась вчера по приезде девочке, висевшей на калитке, и сказала что-то по поводу дачных радостей. «Дура, — невежливо подумала сразу девочка. — Нашла, где искать радости». Но ее гнев был никакой, он увял, когда она увидела, как, положив на голову мягкий тюк, женщина пошла от машины в дачу, и девочка не могла оторваться от чуть напрягшихся икр ее ног, от бедер, которые как бы танцевали, а руки, тонкие и незагорелые, были изящны до обиды и слез. Она тогда обхватила свои, выше локтя, и пальцы ее не сошлись. Она знала, что у нее мальчишечий торс, она в плечах будь здоров. И плевать ей на то, что сейчас это модно, что модели на показ представляют мослы плечей, что их костями можно забивать гвозди, если содрать тонкий шелк кожи. Эта же, нагрывшаяся к соседям, по мнению девочки, была самое то. Такая вся нежная и изящная, что девочка кинулась вчера к альбому и нарисовала ее силуэт. И задрожала, не понимая почему, и чуть-чуть заплакала. На одну слезинку, думая о собственной нескладности и

еще почему-то о той, другой девочке-сестре, которая идет за ней нога в ногу и состоит из ее костей и мышц. Она подумала, что отец, видимо, никогда не любил маму, но это его личное дело. Она понимает, как ее маму можно не любить. Но как можно не думать о том, что от нелюбви рождаются некрасивые дети, вот этого она не понимает. Пушкин был урод, но он обожал свою жену, и все дети у него красивые, даже те, что похожи на него. На их негритянский вылеп легло отцовское восхищение матерью, и на тебе — все красавцы! Эта мысль родилась тогда, когда она одним росчерком рисовала силуэт и заплакала на одну слезинку.

Сейчас она смотрит на бегущую по тропинке женщину, и из ее глаза вытекает еще одна, вторая по счету, слезинка — из-за красоты: бегущая закинула ногу, чтобы нырнуть в прорыв рабицы, и девочка на мгновение увидела ее тайность за тонкими прозрачными трусиками.

Девочку не видно в траве и кустах, она тайный соглядатай и ждет, что сейчас услышит разговор о здоровье училки и, может, даже мальчик скажет: «Мама только что скончалась». Девочка в секунду воображения этих слов умирает сама. Так и сидит, закаменев и закрыв глаза.

Мальчик выходит с собакой, ее нужно смазать и дать лекарство. Мальчик садится на ступеньку. Собака кладет голову ему на колени.

— Как противно жить! — говорит он ей. Собака смотрит ему в глаза, от ее головы тепло коленям — нет, не тепло — нежно. Мальчик думает, что это место, покрытое собакой, — единственное в нем, что радуется жизни. Все остальное жаждет смерти, исчезновения, небытия. И тут он слышит хруст. Или скрип. Он слышит движение за террасой. Кошка? Мышь? Или ворона свалила с крыши щепку, и та упала на землю, зацепившись за куст бузины. Он хочет посмотреть, но ему жалко собаку, что закрыла глаза и стала чуть прихрапывать у него на ногах. Но падает еще одна щепка или что там еще, и он встает и идет. Прижавшись к грязным доскам основания террасы, той ее части, что зимой стоит в снегу, а потом так и не отходит за лето от зеленоватой плесени, сидит Дина. Она прикладывает к губам палец.

Мальчик в ужасе. Мама в пяти шагах.

Дина обнимает его с такой силой, что он оказывается на корточках рядом с ней.

— Голубчик мой, что же делать? — шепчет Дина.

Сыро, тепло, пахнет мышами. Бузина смотрит маленькими красными глазками. Собака пришла и вытянулась на земле. Дремлет.

Тихое счастье покоя жизни. Нет, жить все-таки прекрасно. Его рука держит Дину.

— Я хочу на вас жениться, — говорит он ей.

— Ты знаешь, сколько мне лет?

— Не важно, — говорит он. — Я хочу быть с вами всю оставшуюся жизнь.

— Мне тридцать два, — отвечает Дина. — Ровно в два раза больше, чем тебе. Тебе просто кажется, что именно я тебе нужна. Я просто сбила тебя с толку.

— Мне не кажется, — шепчет мальчик.

Оказывается, может получиться и так — сидя, вжавшись спиной в зеленоватый мох.

— Я не пойду больше в школу, — говорит он ей, укачивая ее на коленях, — я пойду работать. Ты моя жена. Я на тебе женился. Уже два раза.

— Боже мой, — шепчет она. — Я ведь приехала, чтоб повиниться перед твоей матерью, а тебе сказать, что меня не надо брать в расчет.

— То есть? — не понимает он. — Как это — не брать?

— Вот именно — как? Если я все время думаю о тебе, ты сидишь в каждой клеточке моего тела... Ты во мне весь, целиком... И я хочу это безумие — быть твоей женой.

Это возникло в нем сразу, одновременно: спокойствие, уверенность в правильности всего и сила. Видимо, это даже было заметно человеческому глазу, потому что Дина, посмотрев на мальчика, положила ему голову на грудь и сказала: «Вот я и дома». И собака пришла и лизнула его в щеку, а Дину ласково боднула носом.

— У тебя нет денег? Я привезла немного.

Он замотал головой, как мальчик. Как муж, он должен добывать деньги сам. Но Дина засмеялась:

— Она ведь забрала у тебя все. Я так поняла. Но ее же надо кормить. И собаку тоже. У меня немного. Восемьдесят рублей. Отец придет завтра?

— Да, — сказал он. — Возможно, мы вернемся в Москву. Ей нужны врачи.

— Они ей посоветуют воздух. И это будет правильно. Звони мне с почты. Я буду приезжать тайком.

Он почувствовал умирание. Он не сможет без нее.

— Сможешь! — сказала она. — Нам надо это пережить, нам надо, чтоб она встала на ноги.

Ее растормошил от смерти шелест и шепот. Что-то хрустнуло, треснуло. Девочка через грязь травы подползла к забору и увидела «это». Ей не пришло в голову, что там, в переплетенье тел, мог быть мальчик. Она думала, что это его отец оказался дома и теперь пользуется «бессознанием» жены. И ей до слез стало жалко мальчика. И еще она испугалась, что и он может увидеть это скотство. Ей захотелось иметь в руках винчестер, бластер, ей захотелось вжарить в угол соединения мужских и женских ног, и чтоб пуля вылетала из их задниц. Ей было жалко лежащую учительницу. Интересно, если она еще думает, то о чем? Муж вышел, чтоб принести ей воды, и исчез. Может, она зовет его слабым голосом. А где сын? Вот он как раз сидит рядом с матерью, держит ее за руку, но потом ведь встанет и пойдет за отцом и найдет их под стенкой веранды, увидит и умрет от стыда и ужаса. Девочка открыла на время умершие глаза и теперь смотрела в черный оконный прямоугольник дачи мальчика. Не слышалось шагов мужчины, его дыхания. Хотя мужчины живут так громко. И тогда девочка решила, что отец ушел вместе с этой.

Дина скрылась за дачей, чтоб не оказаться возле окон. Она, как девчонка, убежала детской тропинкой, что вела кратчайшим путем к электричке. Миг — и ее уже не видно. Было? Не было?

На крылечко в дом входил уже не мальчик. И мама не признала его шагов. Она закричала:

— Кто там идет? Кто?

— Это я, — ответил мальчик. Мама смотрела на него недоуменно.

— Ты случайно не выпил? — спросила она.

— А у нас есть что? — ответил он.

Мама не знает, что сказать этому неизвестному, стоящему в дверях. Инстинктивно она одной рукой стягивает на коленях концы халата, а другой — прихватывает его у шеи. Ей мучительно неловко, что он видел ее голой. Странно, но он думает об этом же. О ее увядшем теле со следами сокрушительного разрушения. Он хочет понять: это правило или исключение? Ему надо это понять, чтоб сохранить Дину. Отец никогда не жалел маму. Любил ли он ее? Странно, он этого не знает тоже. Он не видел их поцелуев, их нежности, он только слышал ночные звуки и всхлипывания-всхрапывания, от которых хотелось бежать, бежать и бежать...

— Я схожу в магазин, — говорит он. — Скажи, что купить...

Мама щелкает сумкой и достает деньги. Он чуть не сказал, что у него есть. Но правильно удержался, не будет лишних вопросов. Он сохранит Динины деньги.

— Возьми бидон для кваса и купи все для окрошки, — слабым голосом говорит мама. — Знаешь ведь что?

Он спокойно стоял с бидоном и слушал, что ему говорила мать из комнаты. Мать вполне связно перечисляла все, что нужно для окрошки. Ясно: умирать она не собиралась и ничего не знала.

Мальчик скользнул по девочке взглядом, с крыльца она была видна хорошо в кустах. Но, скользнув, не увидел, не выделил ее среди деревьев, крапивы и забора. «Окрошка — это хорошо», — думает он. Еще он думает, что квас продают на станции и, если до сих пор не было электрички, он может застать на платформе Дину. В нем возникает скорость. Он хватается бидон и выбегает из дома как ошпаренный. Мама что-то говорит вслед — не слышит. Жалобно тявкает собака, но у нее еще нет скорости жизни, она доковыляла до калитки и растянулась на тропинке.

Как же он ничего не видел, когда все было на виду, под стенкой, и теперь спокойно идет за квасом на станцию? И там они могут все встретиться. Она подавила в себе попытку возникновения — которой по счету? — слезинки за такой короткий срок, потому что никогда бы не простила себе такой бесхарактерности. Когда-то отец сподобился сводить обеих дочек на аттракционы на ВДНХ. Защелкивая девочек на качелях, он прищемил меньшей палец. И девчонка просидела так весь сеанс. Вышла с красным раздутым пальцем, но никому ничего не сказала. Подошла к питьевому крану и подставила палец под воду. Отец сказал: «Идиотка неловкая». И все. Девочке хотелось пожалеть младшую, даже предложила носовой платок, но сестра сказала: «Разве ты не знаешь, что на детях заживает как на собаке?»

Да, так говорил отец. Но и мама не вытирала ее детские слезы. «Ах, — говорила она, — не обременяй людей жалостью к себе. Знай, никто никого не жалеет, а если на словах говорят сочувственно, то это всегда ложь, от которой тебе же будет хуже. И сама никого не жалея. Тебе тоже не поверят». — «Почему?» — спросила девочка. «Потому, что мы древляне. Мы из лесу вышли, где сильный мороз, мы еще дикие...» Мать говорила, что нужно иметь характер, а бесхарактерность — это... это... дикий человек, покормленный с ложечки. И поверивший в существование доброты.

Девочка не очень все это понимала и не очень всему верила, но она хорошо чувствовала слова и тон голоса.

Вот почему она подавила без труда пятую слезинку, когда ее, девочку, вполне большую, выше рабицы, заметили, но не видели.

Мальчик ушел не тропинкой через пустырь, а вышел через калитку. Она встала на цыпочки, разглядывая двор, ища следы его отца. Но во дворе было тихо. Поперек дороги к калитке лежала собака. Мальчик шел по двору неторопливо, даже не забыл что-то ласковое сказать собаке.

Конечно, невероятно, что эти оба начнут заниматься своей гнусностью на перроне или около, но обниматься могут запросто. Станция — идеальное место для обниманий и целований. И ей снова надо как-то упредить события. И остановить, кого получится: или взрослых, или кормленного с ложечки дикого человека.

И она побежала через пустырь, добежала до папиного гаража, на крыше которого грелся огромный драный кот, отец всех местных котят. Мама называла его «месяе Дюруа» — девочка не знала, кто это такой, а папа — «х... моржовый» — что это значит, она понимала наполовину. Не знала, почему моржовый. Кот вылизывал свой причиндал — довольно отвратительное зрелище, и девочка, которую уже достала в этой жизни именно эта егозливая мужская часть, намечтала привадить кота и приготовить кипятком покруче: то-то будет визгу, но насколько же это правильнее свинства совокупления! «Пока живи», — сказала она мысленно коту, потому

что ей надо было бежать, и пятки ее горели от предвкушения драмы на станции.

Она увидела их сразу, потому как сидели они на бетонной глыбе, поставленной для какого-то забытого дела, глыба уже вросла в землю по причине текучести времени. Они сидели так, что мальчик обнимал ее ноги. На фоне бетона это выглядело глупо. Тоже мне нашел место прижигания! Девочка подумала, что довольно стыдно так выставляться на глазах у всех. Но эти второстепенные мысли как бы нарочно уводили ее от главной, к которой она боялась прикоснуться. *Там, на сырой земле, под досками подпола дачи, там был этот мальчик, кормленный с ложечки.* Это в него она хотела стрелять из бластера.

Но как же быстро он перелетел расстояние от калитки до бетона. Она просто увидела, как он летел, держа бидон, о который хлопала вывалившаяся и повисшая на веревочке крышка. В небе стоял грохот, потому что бидоны — по природе своей громкие и нелетающие предметы. Интересно, беспокоился ли мальчик, что с него свалятся сандалии, они у него никакие, она видела. И хорош бы он был, приземлившись в носках и с раскрытой пастью бидона. Девочка даже зажмурилась — так ярка была картина перелета, а когда открыла глаза, то увидела, что бетон абсолютно не серый, а, можно сказать, золотой, и черный битум в нем, торчащий кусками, сверкает, как черный янтарь, который она никогда не видела, но почему-то знала: зовут его гагатом. Всплывшее неизвестно откуда слово, в сущности, было грубым и некрасивым. Га-га, и эта буква-труп в придачу. Девочка не любила эту букву за тайную, скрытую мощь. Буква-туман, что накрывает сразу, всей крышей. Опять же *топор* откуда-то идет издалека, а глядь — это уже *толпа с топорами* и дальше совсем уж естественное для такого дела — труп-труп, труп-труп. О! Как она боится нашествия этой буквы. Но с гагатом другая история. Пусть он звучит скверно, пусть. Но это та самая тайна жизни, которая сплошь и рядом не дает верить ушам своим. Гагат прекрасен, хотя и черен. Черный цвет оговорен белым хитрованом. На самом деле он лучше всех. Как загадочен он с синим, как игрив с желтым, как элегантен с розовым...

Девочка трянула головой. Вот так всегда, стоит ей зацепиться за что-то мыслью. А буква «т» всегда тянет за собой тему. «Гагат — не грубое, а гордое слово. Так и запомним», — говорит она себе. Но что ей теперь делать с этой парочкой, что вся сияет на фоне гагата? Что делать с мужскими руками, охватившими женские ноги, почему она не может их ненавидеть, как хотела бы? Кстати, у всех слов-действий трупное окончание буквы «т». Делать, любить, ненавидеть, хотеть, вертеть, смотреть. Нет, не так. Если я сама смотрю, то уже и люблю. Если я, то трупа на конце нет. И девочка кончает свою борьбу с буквой, потому что другое, важное, наполняет ей душу. Знание. Девочка понимает, что там, под дачей, не было мужчины, а был мальчик с этой женщиной-веточкой. Вот почему он летел на бидоне. Ей хотелось заплакать потоком слез, но нет, этого делать было нельзя.

Сидящая парочка почему-то стала родной и беззащитной. Грешники, они сверкали на непотребной для всех грязи бетона, как на троне, и девочка сказала себе, что будет их защищать, когда вся нелюдь земли — бабы с дырками и мужики с палками — накинута на них, потому что, по их кошачье-бесстыжему понятию, люди не летают, а она видела летящую по пустырю бабочку, и она видела мальчика-птицу, который, будь он просто человек, кормленный с ложки, не смог бы ее перегнать. Тут было Нечто, что требовало защиты. Она отследила отъезд электрички, пока шевелился на ветру прищемленный кончик платья женщины. Потом она брела за мальчиком, который нес бидон с квасом, покупал зелень. Он шел медленно и никого не видел. Девочка даже устроила ему испытание: она перегнала его, а потом пошла навстречу и громко сказала: «Привет!», но он ее

снова не увидел, не заметил, как тогда, когда стоял на крыльце и, видимо, готовился к полету. Конечно, было обидно. Ответ он — может, разговорились бы, и она бы дала ему понять, что знает их тайны и она за них. Что ей совсем-совсем не противно то, что между ними случилось, потому что у нее на глазах битум превратился в гагат. Может, он не знает, что такое гагат, тогда она объяснила бы. Но он ее не заметил. И не надо. Она понимает и это. Он сейчас не здесь. Он прицепился к краешку платья и едет на нем в Москву.

У него больше нет желаний и ничего не надо. Взять и умереть, потому что лучше все равно не будет. Он поднимает глаза на Дину, у нее закрыты глаза, но лицо не спокойное, а скорее измученное. Он понимает это как то, что его подлые, слабые мысли о смерти вошли в нее и напугали. Она не готова умереть от того, что он жмет к ее ногам, как шенок. Она почувствовала его взгляд, открыла глаза — в них были нежность, и понимание, и сочувствие, и страдание сразу.

— Слышишь, уже гудят рельсы. Электричка близко.

— Я хочу уехать с тобой, — говорит он. — Сейчас возьму билет и уеду.

И он бежит к кассам, гремя бидоном.

Дина силой вытаскивает его из очереди.

— Знаешь, — сердится она, — глупости делаются проще всего. А мне дурачок не нужен. Я собираюсь жить долго-долго с умным человеком.

Значит, она на самом деле поняла его смертные мысли, если говорит о долгой жизни. И он ответствен теперь за это — за уже ее долгую жизнь. Чтоб она сто лет была такой же красивой, чтоб не стала, как мама, дряблой и немощной. Он никогда не будет как его отец. Они горячо целуются на виду у всех, дверь электрички прищемила подол ее платья, оно как крылышко трепыхалось на ветру, а потом исчезло — видимо, Дина победила дверь.

Мама не ощутила его задержки — за квасом всегда очередь, она придирчиво рассмотрела огурцы, редиску, зелень. Объяснила, что впредь редиску лучше покупать круглую, а не с вытянутым усом, что на головке редиски должна быть белая «лысинка», а сплошь бордово-красные — это для свиней. За лук похвалила — тонкоперый, для окрошки самое то. И колбасу он выбрал правильную — без жира. Конечно, он забыл про хлеб, но хлеб продают рядом, пять минут туда и обратно.

Сказав все, мама как бы вспомнила, что не те у нее отношения с сыном, чтоб разговоры разговаривать, она демонстративно повернулась к нему спиной. Но он не успел дойти до двери, как она резко развернулась и сказала слова, продуманные ею не то что до буквы, а до сочленений между ними.

— Я не буду давать ход делу с этой женщиной-маньяком, если ты мне дашь слово, что никогда больше с ней не встретишься и забудешь, как ее зовут.

Оказывается, он и не подозревал, какой маленький в комнате дверной проем. Туда-сюда движение — и ты касаешься плечами косяков. А от головы до верхней перекладины всего ничего — ладонь. Слева он видел рисочки измерений его роста. Пять, шесть лет — и так до десяти, потом уже никто его не измерял. Он помнит, как норовил встать на цыпочки, а отец своей ногой прижимал ему ступни. Тогда он тянул шею. Но отец жестко давил голову линейкой, и он тогда чувствовал, как налезали друг на друга слабые позвонки его шеи, беззащитные в неравной борьбе с отцом.

Сейчас он — ого-го! Ей-богу, сам не знал, что так вырос. А что изменилось? Теперь он беззащитен перед матерью, даже если пообещал другой женщине быть ее защитой. Как сказать? Так и сказать.

— Я перейду в вечернюю, — говорит он. — И пойду работать. Мы с Диной поженимся. И не будем об этом больше никогда.

Он хочет уйти, он ведь все сказал, но мама кричит. У нее нечеловеческий голос. Так на сломе могла бы говорить стиральная машина, так, видимо, разговаривают между собой утюги и лопаты. Его это смешит.

— Ты говоришь голосом кастрюли. Мама! У меня же случилось счастье...

Последнее он говорит смущенно и виновато. Ведь мама больна, а он здоровущий и весь наполнен радостью. Стыдно быть радостным, если кому-то плохо. Хорошо бы ему отрезали руку или ногу, тогда бы они были хоть в чем-то на равных. Хотя где там! У мамы нет любви. От этого она и говорит нечеловеческим голосом.

— Я тебя жалею, мама, — говорит он.

— Ту суку ты любишь, а меня жалеешь, — кричит мама голосом утюга. — Спасибо, сыночек.

Он видит, что она мучительно ищет какого-то универсального способа уничтожить то, что есть в нем. Глаза ее рыщут, руки жамкают одеяло. Он очень хорошо ее чувствует, он ее сын, у них одна природа. Кто его знает, но будь он на месте матери, будь он женщиной, может, он вел себя точно так?

— Лучше бы тебя послали в Чечню! — кричит она. И мальчик ощущает холод материной бездны. Боже, как она боялась этой войны, ее бесконечности, как молила Бога, чтоб она кончилась. Он тоже боится этой войны, она ему противна, потому что несправедна, потому что он инстинктивно, без включения ума на стороне маленького народа. Ему стыдно за большой. Родители с этим не согласны. Папа считает, что всех нерусских правильно было бы извести каким-нибудь гуманным способом. Перерезать трубы, например...

— Нефтяные? — спросила мама.

— Фаллопиевы, — гордо отвечает папа. — Чтоб прекратили рожать и кончились сами по себе.

Мальчик тогда полез в словарь — узнать, что это за трубы. Ему стало приятно утвердиться в непроходимости папиного ума. И стало стыдно, что, видимо, папа ляпнул это не с бухты-барахты, что он напрягал свой слабый мозг и, может, даже имел соображения по устройству быстрого ножа для перерезания и места, куда должны будут идти не освященные счастьем русскости. Их набралось много, знакомых девочек, если считать с детского сада, над которыми завис бы папа, дай ему волю.

Все это вспомнилось одномоментно, мама не успела докричать: «...в Чечню!», как он понял, что из этого дома ему надо было уйти давно, но он так ловко притворился, живя с закрытыми глазами. Дина явилась не просто так... Просто так не бывает ничего... Она явилась вовремя.

Но на попытке взять эту высокую ноту он надорвался. «Не надо сюда впутывать Дину, — сказал он себе твердо. — Это наше, семейное».

На счастье пришла ветеринарка. Она сделала укол собаке. Ощупала ее и сказала, что та выздоравливает не от лекарств, а от отношения.

— Но ты же не возьмешь ее в город? Родители не позволят? Может, все-таки усыпить ее, пусть умрет в счастье?

— Усыпите, усыпите! — кричала мама из комнаты, слыша их разговор на крылечке. — Ближко не пушу в дом! Ближко!

Ветеринарка смотрела на мальчика. «Ну?»

— Вы так можете? — спросил он. — Сначала сделать укол для жизни, а потом сразу для смерти?

— А что мне остается делать? — ответила врач. — За собак решения принимают люди. Как собачий ставленник, я их лечу, а как представитель рода человеческого — усыпляю. Гнусная жизнь, между прочим.

— Я ее заберу, — тихо сказал мальчик. — Мама сейчас нездорова, поэтому она так говорит.

— Здоровые еще злее...

Ветеринарка взяла сто рублей. Сказала, что больше не придет. Сказала, что надо с собакой гулять. Она ослабела ногами. «По дороге она будет

выкусывать нужную травку, она ведь знает, что ей нужно. Поэтому гуляй там, где нет машин, и подальше от людей. Пси́на хоро́шая». Ветеринарка потрепала собачью холку и ушла.

Мальчик присел на ступеньку. Надо сходить за хлебом, надо отварить картошку для крошки, надо дать маме лекарство. Хотя они лежат рядом с мамой, у нее нет сил открыть пузырьки. Да и потом, надо же ее контролировать.

— Быстро тазик! — кричит мама.

Он бежит так, что ударяется коленкой об угол дивана. Ставит тазик маме на колени. Она наклоняется и рычит горлом. Рвоты нет. Мама очень старается.

— Не надо, — говорит он ей. — Не надо насильно.

— Но меня тошнит, — сердится мама.

— Я принесу тебе чай с лимоном.

Она не отдает тазик. Мальчик понимает, что теперь будет так. Спектакль. Притворство. Она накличет себе приступ и будет этому радоваться. Это ее способ борьбы с ним. Это ее война с Диной, с собакой и человеком. Завтра придет папа. И они вместе выработают стратегию. Вернее, мама предложит свою, а папа пририсует завитушки типа: не разрешать впредь сыну смотреть ночной телевизор. Все эти фильмы с постелью и передачи, обучающие разврату. Или еще лучше. Отправить мальчика к дядьке в глухую деревню, где электричество бывает два часа в день. Мама сморщит лицо, как она делает всегда от папиных рационализаторских предложений, и папа ответит: «Я понимаю. Я слишком крут».

Девочка думала о красивых. Это к ним летят на бидонах, как на крыльях, а некрасивым предлагают «вставить». Она нашла тот листок, где нарисовала женщину, превращающую бетон в золото. Да, у нее получилось. И она над силуэтом вчерашней гостьи на голове стала рисовать мальчика-птицу в спадающих сандалиях и с бидоном, который, как пропеллер, рвался вперед, будто знал дорогу. На самом углу листа нарисовала серый камень. Но если понимать, то именно он был на картинке солнцем. И от него прерывисто шли лучи во все стороны. Девочка подумала и подписала картинку так: «Но и ано, нодиб и тагаг». Ее картинки всегда веселили учителей. Они их называли «штучки». Родителям учитель рисования еще в четвертом классе сказал: «Когда я ее учу, у нее не получается ничего. Она не усваивает знание. А в собственных мазилках у нее что-то есть... Не знаю что... Может, само собой пройдет». Родители услышали в этом «само пройдет» надежду на излечение от детской дурости и перестали ей покупать краски и хорошие фломастеры. Она исхитрилась подменять их у одноклассников, исписанные на целые. Те, кому покупали, не замечали этого. Ей не было за это стыдно, она немножко даже гордилась своей изобретательностью.

Мать как-то вывихнула ногу, и все пришлось делать ей, а отец тогда как бы уехал в командировку, а она, девочка, знала, что он в той, другой, семье. Она просто это выследила. Подошла утром к их дому, когда отец выходит на работу, он и вышел и помахал ручкой тетке на балконе. Ей хотелось его убить, но она даже не сказала ничего, а дождалась, когда из дома вышла девчонка-сестренка и стала прыгать через резиночку. Она увела ее туда, где их не могли видеть из окна дома, и стала с ней разговаривать. Это было еще до тех времен, когда отец их познакомил.

— Посмотри на меня, — сказала она пятилетней дурочке, — я тебе никого не напоминаю?

Девчонка оторопело качала головой.

— Посмотри внимательно. У кого еще лицо в ширину больше, чем в длину?

Малышка почему-то испугалась, и в ее больших серых глазах набухли слезы.

— Ладно, иди, — сказала она ей тогда, потому что сама готова была разреваться. — Это я так. Я люблю сравнивать лица людей. Купи себе мороженое. — Она отдала ей свои деньги, хотя малышка сопротивлялась и говорила, что папа не разрешает ей ничего брать у других.

— А мой папа, — сказала девочка, — все время мне твердит: увидишь расстроенного ребенка — купи ему мороженое.

«Если бы он хоть раз мне такое сказал, я бы ему все простила».

И тут это случайное по жизни дитя сказало почти взрослым голосом:

— У нас ведь разные папы...

— Еще какие разные! — засмеялась девочка и ушла.

Мальчик приносит матери чай с лимоном. Мама пьет деликатно, напоказ, промокая рот кусочком бинта. Деликатность и бинт — безусловно, часть маминого заговора против него. Он хочет угадать — какого? Пока бродит туда-сюда, пока моет картошку, хочет понять ход маминых мыслей. Ему хочется думать о Дине, о ее гладких божественных ногах, о запахе ее подмышек, горьковато-пряных, о глазах, которые смотрят на него со страданием. Он повторяет мысленно: со-страданием. Никогда не задумывался раньше, что в синониме слова *сочувствие* скрывается страдание. Она страдает за него! Ему больно, что она страдает, но он счастлив, что страдает за него! Боже, как это все неожиданно и прекрасно! И эта близость, о которой написано и рассказано столько похабного, на самом деле только нежность и сладость. Это слияние, невозможное для описания, и этот взрыв, улет. Двое будто бы повторяют высший замысел. Он мало думал о Боге, только типа — есть или нет, — и склонялся к неприятному из-за коммунистов атеизму, но теперь ему хочется кричать совсем по-глупому: «Да здравствует Бог или как там правильно?», «Слава Тебе, Господи!» Потому что два человека, повторяющие в слиянии замысел всей вселенной, не могли получиться сами по себе. Наслаждение и Взрыв, Жизнь и Смерть, а главное — возникновение Любви из Ничего. Даже пены морской не было.

— Иди сюда! — кричит мама.

Ну да, он две секунды не думал о ней, она почувствовала и призывает к ответу. Он ждет чего-то ужасного. Боже, как он прав!

— Случилось невероятное, — говорит мама, у нее торжественный и многозначительный тон, — ты видел меня нагой. То, чего не могла бы я допустить, будучи здоровой.

«Ах, мама, — думает он. — Видел я тебя всякую...»

Он помнит ее на пляже на Истре, куда они ездили втроем. Мама в трусиках и лифчике стоит на большом гольше, как девочка на шаре.

— Ничего бабеч! — говорит один мужичок. Их трое, они играют в карты. Мальчик начинает болтать ногами, чтоб обсыпать их песком.

— Вздую! — говорит тот, кто говорил о маме.

Папа лежит на спине, накрыл голову газетой. Из плавков вылезли черные волосы. Ну что ж ты, папа! А мама раскачивается на камне. И вдруг он понимает, что она это делает для этих, что играют в карты. Вся в изгибе, вся стыдная. Как ему неприятно! Папины волосы и мамины повороты попкой туда-сюда. Он идет и сталкивает маму с камня. Она смеется и бежит в воду. Нормальная, нестыдная мама. С папой хуже. Папа чешет у себя в паху, мальчик оглядывается и видит, как папе туда смотрит тетка. Глаза у нее прикрыты очками, и она их сдвигает на лоб. Чтоб лучше видеть этот папин бугор?

— Мальчик! — говорит тетка. — От тебя много песка. Сделай так, чтоб мы тебя искали и не нашли.

Он задумывается, что она имела в виду. Дети играют на пляже в прятки. Спрятаться так, чтоб не нашли, — это самое то, но он чувствует, что тетка сказала это в каком-то другом смысле. То, что одно слово может иметь и два, и три значения, он знает давно. Он даже спрашивал у мамы, почему в случае одинаковости не придумать другое, отличное слово. Мама ответила, что никому это не мешает. Мама возвращается из воды. Она совсем другая, когда идет мимо играющих в карты дядек. И на песке она вытягивается ногами в их сторону, и тот, что назвал ее «бабец», присыпает песком мамину пятку. Разве можно не заметить такое? И как дорожка песка сыплется потом маме по ноге до самой ямочки, что под коленом.

Странно, как это видится отсюда, из его взрослого времени. Эта мамина игра, это мамино приятие чужой ласки в виде насыпанного песка. Мальчику больно, что мама, видимо, не помнит своих молодых ощущений. Если бы она не была так зла, он бы с юмором напомнил бы ей. И рассказал бы про эту тетку, которая в то же самое время пялилась на папу, который ничего не видел. Хотя откуда он это знает? Может, газета на его лице лежала так, что тетка в очках как раз попадала в его боковое зрение и папе нравился ее взгляд. Но стал бы он при этом почесываться? С папы станется. Вот уж кто без комплексов — это папа. В очереди в уборную он громко предлагал ему *при девчонках* зайти за уголок и подмигивал при этом девчонкам, не замечая, как им, детям, неловко.

Голой он видел маму и дома. Она приходила в кухню из ванной, чтоб взять ножницы, или масло, или чашку кипяченой воды.

— Извини! — говорила она. — Но если бы я попросила тебя принести, то ты бы меня тоже увидел.

— Ничего, — бурчал он. Но он так ее любил, а главное — она ему так нравилась — кругленькая, складненькая, — что остальные ощущения просто в душе не помещались.

Когда он увидел ее раздетой сейчас, он просто растерялся от силы разрушения маминого тела. Может, это болезнь в один момент совершает такие порухи? Или жизнь потихоньку, исподволь выбивает из-под человека колышки? Откуда эта вялость и серость кожи, ее понурость, шероховатость? Ведь на самом деле еще не старуха. С какого же момента начинается такое обрушение?

— Она будет такой же, — говорит мама, продолжая начатое, — и очень скоро.

Он считает. Они были на Истре, когда ему было семь лет, перед его школой. Значит, маме было тогда столько, сколько сейчас Дине. Мысль ошеломляет, но уже через секунду он понимает, что это не имеет никакого значения. Какой она ни будь в будущие годы — он будет ее любить. И его любовь задержит старение ее клеток — или что там происходит в организме, он встанет на пути самой природы, если надо. Вон Филипп Киркоров...

— Ты не Филипп Киркоров, — говорит мама абсолютно звонким и молодым голосом, будто слышит его мысли. — У вас не будет столько денег, чтоб стать наперерез времени. И тебе придется приносить ей тазик, и уже она будет свисать в него стареющими сиськами...

Он выбегает на улицу. Мама кричит ему вслед, что это еще малость, какую она может сказать. Она видела Динину мать, а дочери повторяют родительниц.

Мальчик уходит с собакой. Псина тычется в него носом. У нее печальные глаза. Что значит — она видела ее маму? Конечно, та старушка. Ей уже лет шестьдесят, не меньше. Его вот бабушка уже умерла к этим годам. Да не хочет он никого видеть, не хочет он знать, что будет потом. Может, потом будет конец света. Ему хочется спать, а заснув, умереть.

Девочка бежала к дому, но в последний момент она завернула во двор к мальчику.

Она тихо вошла в дачу. Он дремал на диванчике на террасе, видимо, забыл закрыть дверь. На полу лежала собака. Она подняла голову и тихо поворчала, но девочка погладила ее, и та лизнула ей руку. Все-таки она помнила, что именно эта рука спасла ее от плохого человека и привела к хорошему. Замечено, что ни сволочизм времени, ни его варварство, ни убийства не отразились на чувстве благодарности собак. И это вопрос вопросов, на который мы не получим ответа. Он нам не интересен. Мы будем отрывать друг другу носы, выдергивать руки-крылья, топориком будем влезать в лоб другому, чтоб посмотреть на самое беспомощное и, как оказывается, бесполезное явление — мозг. А нам бы вызнать тайну собак... Но уже поздно. В нас уже крепко живет Гитлер и Сталин. И мы изо всех сил учимся носить маски, чтобы убивать без антимоний своих родителей, детей, любимых женщин и преданных собак.

Обо всем этом подумала девочка. Мысль прошла одним кадром — все мелькнуло в миг, пока собака лизнула ей руку.

Мальчик открыл глаза, и девочке в первую секунду показалось, что он ей рад. Но уже во вторую — она увидела его раздражение ли, растерянность, испуг...

— Заглянула на огонек, — насмешливо сказала девочка. — Не надо ли чего?

Конечно, из всех глупых эти слова были самыми глупыми. Разве у них есть отношения, при которых ходят друг к другу на огонек? Да она вообще первый раз поднялась сюда на крылечко. Нет, надо сказать что-то умное, чтоб он ее понял. Откуда ей было знать, что мальчик был растерян, потому что ждал не ее. Когда он приоткрыл глаза и еще не сообразил, а почувствовал чье-то присутствие, он подумал: «Неужели Дина?» А пришла эта девчонка, которая весь день крутится вокруг, высматривает... Нет хуже этих, которые еще не девушки, у которых в головах вполне конкретный интерес, но уже и не соплюшки, что возятся с куклами и прыгают через скакалку. Вот эта, которая пришла, — типичное ни то ни се.

Он так выразительно про это думал и так страстно это чувствовал, что девочка все поняла.

— Ладно, — сказала она, — я пошла.

И она пошла. То, что он ей ничего не сказал, было гораздо хуже возможных слов, потому что ее воспаленный, отчаявшийся мозг стал сам заполнять пустоты и пробелы несостоявшегося разговора.

«Чё ты все бродишь, бродишь? — как бы сказал мальчик. — У меня от твоей рожи уже куриная слепота начинается. Куда ни гляну — всюду ты. То по дороге задом пятишься, то в бузине сидишь на корточках, как поссать. Ну чё тебе? Чё? Думаешь, я буду тебя трахать? Так сплюнь! Ты не в моем вкусе. Ну а если не за этим, если водички попить, то вот твой дом, доплетешься».

Откуда было девочке знать, что мальчик и слов некоторых таких не знал — не то что способен был произнести. Но сейчас он был для нее сволочь без понятия. Совсем как все. И ей даже показалось, что вослед ей звучала негромкая, но очень выразительная матерщина. Она ускорила шаг, но мат был громче и громче. Уже на аллее она поняла: матерятся в ее доме. Она не испугалась — она знала их голоса. Пришлось сесть на лавочку, чтоб не идти и не видеть родителей. Через пять минут она поняла, что приехал отец и они лаются, что мать не хочет давать развод, пока не вырастет она (девочка).

Он вспоминает, как сегодня Дина подкралась к даче, как обняла его, какой теплой была под ними земля, вся в старых, может, даже прошлогодних иголках. Земля была ласковой, как и мох на деревянных досках. Мальчик поворачивает собаку назад. Он хочет видеть это место. Оно хранит следы их любви. Смятые травинки, смазанный мох стенки. Ему чудит-

ся здесь запах Дины, и он становится по-собачьи, вдыхая землю. Да! Земля пахнет Диной. Это приводит его в восторг. И он прогоняет от этого места собаку.

— Сюда не ходи, — говорит он ей. — Это не твое. Это мое.

Он телом закрывает *это* место и так и лежит под дачей, будто подраненный, пока не засыпает снова и спит крепко, молодо, без снов. Собака лежит рядом.

Мать несколько раз звала его. Куда он ушел? Как смел уйти? Она хочет его побить. У нее буквально чешутся руки. Нахлестать бы идиота по щекам. Она ощущает, как ее ладонь секундно прилипает к его щеке раз, два... Слева, справа... У нее начинает колотиться сердце. Она кладет под язык валидол. Таблетки огромные, им неудобно во рту, они норовят выскочить из-под языка и скатиться туда, вниз, в горло. Она выплевывает их. Она знает, что они хотят задушить ее. Разве валидол такой большой? Раньше точно был меньше. Ей хочется думать, что это фальшивый валидол, который ей подсунули специально. Кто подсунул? Эта сволочь Дина. Больше некому. Все-таки у нее был план, не просто же с бухты-барухты она затащила в постель мальчика. Был план. Умысел. Расчет. Она же помнит, как обрадовалась Дина возможности пожить две недели на их даче. Надо вспомнить, не она ли сама подбросила ей эту идею. Сейчас, сейчас она вспомнит.

...Болтали на перемене. О дачах. У кого что растет, кто что пристраивает. У кого какие соседи.

— Я ощущаю себя среди вас сиротой, — смеется Дина. — Нет у меня ни грядки, ни колодца, ни гамака.

— Заведите, — сказала ей завуч. — В наше время не иметь собственности не доблесть. Хотите, я найду вам участок?

— И что я буду с ним делать?

Она стояла и смотрела на них растерянно-насмешливо. И насмешливость преобладала. И тогда мать, чувствуя себя почему-то уязвленной скрытым смыслом насмешки, сказала:

— Приезжай к нам. Поживи и посмотри, что мы с этим делаем. Ничего особенного, но дышится хорошо.

— Я бы поехала. Мне все равно некуда себя деть...

Вот как это было. Сразу — да, без повторного приглашения. Без упрощивания.

Конечно, разговор был как бы общий, но Дина стояла рядом. Даже не так. Она приобняла тогда мать, делая вид, что поправляет на ней платок, который мать любила носить на плечах. Да. Она ее обнимала. Природни-ла, гадина. Как тут было не пригласить? И в ответ жалобное: «Мне все равно некуда себя деть».

Вот так оно и вошло, это горе. Тихой сапой. Кстати, что значит тихая сапа? Она не знает. Проклятый язык. Половины слов не знаешь. Ее это почему-то задевает. На уроках она обрывает, когда возникают эти современные словечки. Однажды *в окне* она взяла лежащий на столе словарь их литераторши, молодой пижонки. Была в шоке оттого, что ничего не поняла. Текстурбация. Влипаро. Конклюдии. Что это?

Нет, дети, конечно, такими терминами не пользуются, но учительница? Словарь весь в почеркушках — значит, читает, может, даже заучивает. С чего это ее повело? Ах да. Тихая сапа. Птица? Зверь? Предмет? Да какое ей дело! Она прекрасно обходилась теми словами, которые были. И новые ей не нужны. И сына она воспитала в аскетизме слов, плохие книжки читать не давала. Получается, что ничего не помогло. Явилась поблядушка, сняла с мальчика трусы и открыла дверь в рай. Теперь ему кажется, что он должен жениться, что это любовь! Надо объяснить ему... Не любовь и не обязан. Она ему скажет: «Это как сходить в уборную». Хорошо бы подвернулась какая-нибудь девка из тех, кому это ничего не стоит. И сделала бы

с ним то же самое. Он бы понял: нет разницы и жениться не надо. Мать всплескивает руками. Какая гениальная и простая мысль! Она перебирает в памяти весь дачный участок. Есть у них вахтерша, баба не старая, но, что называется, вконец... Она ходит с виноватой улыбкой, по три раза в минуту здоровается, за чекушку пойдет с любимым. Этот ужас мать представить не может. Чтоб с сыном... Напротив живет девочка, уже девушка. Мать видела ее в кустах с мужчиной. Не «Евгения Онегина» читали. Позвать ее и оставить наедине? Девчонку надо иметь в виду. Надо перебить вкус. Так она понимает задачу дня. Кстати, куда он делся, мальчик? Медленно, держась за стеночку, мать выходит на крыльцо. Ни сына, ни собаки. Ей не сойти с крыльца или все-таки сойти? Мать сходит. Сердце стучит в горле. Но она довольна собой. Силой своей воли. Она видит его сразу, только встав на землю. Мальчик лежит как убитый, лицом в землю. Рядом лежит собака. Мать не пугается, что сын неживой. Иначе собака бы выла. Она хочет понять, почему он обнимает этот грязный кусок земли, он ведь у нее чистюля и аккуратист. В голову назойливой мелодией лезет ответ: «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Мать это так и понимает: тут у них все началось. То, что она видела ночью на террасе, было уже во второй раз. А первый был тут. Вечером. Мальчик возился с собакой, а она пришла. Вот как это было! И теперь он обнимает это место своим телом. Ее охватывает отчаяние. Ей кажется, что с этим — вовлечением самой земли в любовь — она не справится. Не в любовь, конечно, она-то знает, что была просто случка, но он-то думает иначе. И она бессильна перед его заблуждением.

— От земли тянет, — говорит она громко, — застудишь все внутренности.

Собака тихонько гавкает ей в ответ — можно понять, что она просит его не будить. Но от лая мальчик просыпается.

Ее никто не любит. Может, ее любит дядя? Может, «хотеть вставить» и «любить» — синонимы? Но она своими глазами видела летающие на крыльях любви бидоны. А когда она зашла к этому мальчишке сегодня, он не мог дожидаться, когда она уйдет. Если быть честной — а с чего бы ей не быть честной с самой собой, если все равно больше не с кем? — то она хотела бы быть на месте этой учительницы в ситцевом платье. Хотела бы! Ей хочется, чтоб ее обнимали руками и ногами, ей хочется этого неизвестного ощущения. Говорят, сначала это бывает больно, а потом уже счастье. В классе все от этого уже посходили с ума, а таких, как она, осталось несколько девчонок — получается, никому не нужных. Может, к ним тоже вьются какие-то козлы типа дяди — Господи, как она его ненавидит! И сейчас больше, чем когда-либо, она хочет этого, но так, чтобы прилететь бабочкой, птицей и чтоб тебя ждали так, что готовы были убить другого, который явился, а его не звали... Но у нее так не будет. Никогда! Она не нужна никому! Было время, которого она не знает, но слышала о нем много. Тогда ничего не было — ни видаков, ни Тома и Джерри, ни Бритни Спирс, ни жвачки, ни красивых магазинов, — в общем, тогда стояли все в очереди. Но был дедушка-райком, и у них, именно у них, все было. Это ей рассказывала мать. Как у нее в первом классе были первые в классе джинсы, вернее, вторые — первые были у мальчишка, отец которого ездил за границу. И все умирали от зависти и ненавидели. «А сейчас ненавидят за иномарки, евроремонт и дачи». — «Так это хуже или лучше?» — спросила ее девочка. «Конечно, хуже», — сказала мать. «А по-моему, лучше. Ненавидеть за джинсы — просто срам». — «Ты не понимаешь, — кричала мать. — Тогда было понятно, откуда у кого что... А сейчас одно ворье».

Ворье — это плохо, она это понимает. Но она знает, что еще раньше был Сталин и сажали людей. Это страшнее ворья.

И тут, уже сейчас, а не тогда, когда они с матерью вели бесконечно бестолковый разговор, она представила себе все так: мать ее по-своему любит, как умеет, и, видимо, желает добра. И она ради нее готова вернуть то время, когда ей было хорошо... Но что делать с теми, кому было плохо? Она знает таких. Это их родственница, которая, считай, всю жизнь провела в ссылке и не видела своих детей, а когда увидела, то дети ей не были рады, потому что боялись, не навредит ли ее приезд им. А внуки как раз были рады. Ее какая-то ...юродная сестра плакала, что обижают ее бабушку, потому что она до сих пор любит Ленина, как Бога. И бабушка ходит молиться в Мавзолей, а не в церковь. А церковь считает чумой. И она сорвала у сестры крестик и выкинула в помойное ведро, потому что это невежество и мракобесие. И они тогда, две шестилетние девочки, запутались в Ленине, Боге и бабушке. Но почему-то жалче было бабушку, которую в семье кормили только первым, а Ленина и Бога — нет, потому что они их не видели, не слышали и не знают. Интересно, что в той семье сейчас? Они не встречались после того, как та бабушка и ее дедушка-райком на каком-то семейном сборе чуть не поубивали друг друга уже за Сталина. Бабушка кричала, что он искажил учение, а дедушка, что он выиграл войну и выиграл бы еще лучше, если б поубивал всех врагов народа, которые мешали ему строить коммунизм. Бабушка бросила в дедушку жареной ножкой Буша, а дедушка выронил на стол челюсть. После чего, собственно, застолье и кончилось. Кто ж будет после такого есть!

С тех пор она не видела ...юродную сестру. Но всегда прислушивалась к разговорам о том времени. Оно виделось ей отвратительным, она считала, что Россия сбилась с пути и теперь появился президент, у которого фамилия Путин — это, конечно, знак. Но какой? В России все знаки, как сказка, навыворотные. Путь? Или беспутье? Или распутье? Путана — этого же корня. Россия — путана? Вообще-то девочка мечтала о красивых пришельцах. Высоких, добрых мужчинах, которые, сделав свои дела дома, пришли помочь вытащить из болота Землю. Но Путин — не пришелец. Он маленький, и глаз у него злой. Дети его не любят.

Она цепляется за что-то ногой. Это та самая веревка, которую принес отец, чтоб повесить собаку. Она тогда отшвырнула ее за забор, так она тут и лежала, а тут возьми и подсунься под ноги.

Девочка перебирала руками тяжелый толстый жгут. «Почему, — думала она, — почему веревка именно сейчас мне попала под ноги?» И она шагнула в сумрак мыслей тех, которые заперты, как жены в комнате Си-ней Бороды.

...Если умереть... Если...

Они, родители, конечно, поплачут, но утешатся быстро. Она развяжет им руки. Никто, никто, никто не будет ее оплакивать всю жизнь. Ее случайная сестра придет на похороны и заглянет в гроб, интересно же... Увидит *свое* лицо в мертвой каменности. Испугается. И отец отведет ее в сторону, обнимет и что-нибудь ей скажет. Ах, как ей хотелось бы знать эти слова! Неужели он скажет ей, что у покойницы был скверный, негожий характер, с которым трудно жить, так что, может быть, она поступила правильно?

Девочка думала и обматывала веревку вокруг запястья. Очень скоро онемела кисть. Как просто, оказывается, идет умирание: немеешь — и все. А шея вообще нежное и слабое место, руки-то куда сильнее, вот неживой стала кисть, налилась остановившейся кровью, которой ни туда, ни сюда, и потеряла свое сознание. Вон пальцы, как сосиски, ничего не чувствуют. Умирать легко!

И она распустила веревку. Стало колоть в пальцы, в ладонь, девочка потрясла рукой. «Оживляю свои части». Но смерть — это невозможность вернуться. Вот что самое ужасное. Она бы умерла ради счастья и спокой-

ствия родителей не задумываясь, если бы ей дали глазочком посмотреть, как будет потом. Как хорошо заживет папа, а мама — кто знает? Может, найдет подходящего мужчину, который примет ее такой, какая она есть, и он сам будет такой. И две половинки склеятся, и даже может родиться ребенок — тоже хотелось бы посмотреть — с хорошим характером. И мама будет с ним нежной и ласковой, помня, что дети такие впечатлительные, как та, раньшая, дочь, которая не умела рисовать, но все время только и делала, что рисовала летящие бидоны всякие, женские силуэты с грузом на голове. («Где она видела это? Нет чтобы рисовать то, что знаешь!») Девочка тогда не смогла ей объяснить, что знание дается не только глазами. В *комнате мыслей* девочка наткнулась еще на одну любопытную, но абсолютно голую мысль. У мысли были спелые груди и густые заросли почти до пупка. «Ты не знаешь секса», — сказала голая мысль. «Да, — подумала девочка. — Это конечно. Может, мне надо было дать сегодня дяде, чтоб уж точно никогда об этом не жалеть. А так, честно говоря, мне обидно... Мне этого хотелось...»

Но тут случилось нечто чудное. Мысль о смерти стала сильнее и острее. Именно секс заставил девочку быстрее плести петлю, потому что когда только *это* и больше ничего, то жить не стоит. Жить ради желаний пипски стыдно и противно. Она прямо почувствовала, как смеется над ней ее класс, как орет дедушка. Как плюет на нее сосед мальчик, у которого есть женщина. Не уроки учить, не стихи читать, она прибегала *за этим*. Значит, ей не все равно с кем! Есть только один, к которому летишь бабочкой или птицей.

Нет у нее такого. Нет. Ее никто не любит. Никто! И она делала петлю, а по ее лицу бежали слезы и сопли и капали ей на руки, и она вытирала мокроту отчаяния о платье, а петля, зараза такая, не получалась. И уже родилась злость на собственное неумение, на бездарность рук и пальцев. Вон как у отца ловко получилось, за раз, а она это все расплела, а теперь вот не может вернуть то, что было. Неумеха, дура, что ты умеешь в жизни, кроме как подглядывать, подслушивать и рисовать каляки-маляки, над которыми смеются родители. И она начинала ненавидеть свои руки, которые ничего не умеют, ноги, на которых в это лето как-то враз подросли волосики, свой лоб, высокий и широкий, но не имеющий смысла, потому что если иметь в виду ум и его возможное количество за толстой стенкой лба, то не факт, что там прячется ум. Очень может быть, что там просто-напросто пустые, без извилин мозги. Ведь на всякое нужное обязательно приходится лишнее. И бывает, что лишнего гораздо больше. Сколько листьев на веточке, на которой угнезвился кривоватый огурчик, а сколько места занимает корова, давая молока, как коза, а дерьма — тучу. Из нее истекли все слезы и все сопли, они даже успели присохнуть на щеках и подбородке, и девочка не могла понять, отчего у нее стянуто лицо, отчего оно скукоживается. Нет, она хорошая! Она очень хорошая. Она варила матери кашу. Она дает списывать. Она отдала той соплюхе последние деньги на мороженое.

Он не понимает, где он. Он не знает, что это за собака. Пятнадцать минут мертвого сна вынули его из жизни, и он с трудом соображает: я на даче? А возле крыльца стоит мама в халате и папиной рубашке. Почему это она так одета? Он садится, весь облепленный сосновой иглой пополам с землей.

Он ничего не помнит. Ничегошеньки!

Мать потрясена своим открытием Земли любви. Это ей противно и повергает ее в легкое головокружение, которого она уже не боится и о котором знает — пройдет. Вот он, сын, сокровище, еще вчера — смысл жизни, главное, что у нее было, главнее всего — родителей, родины, мужа, да что там — всех их вместе взятых, живых и мертвых, собери их до кучи, и

она запалит их синим пламенем, чтоб вернулось вчера и позавчера, когда сын был все. А сейчас он стоит большой, мятый, весь в иголках и паутине, с драной собакой, и она ненавидит его так, как ненавидела крыс. Он ей неприятен до отвращения, она не может забыть, что видела его пребывание в чужом женском теле. Разве таким она представляла то лоно, что должно было принять сына после материнского через сто лет, ну пусть не сто, это красное словцо, через десять, но не меньше, ни в коем случае не меньше! А он по-собачьи, без правил, без всего, что полагается переходу из юности во взрослость, тут, на земле, нечисто, некрасиво, неприлично, на глазах собаки совершил это.

— Тебя мало убить! — сказала она. — Лучше бы тебя замучили чеченцы, лучше бы ты сгорел в огне, я бы знала, что ты чист...

Откуда ей знать, что пафос в неглиже смешон и нелеп, и он хохочет, сын, он позволяет себе смеяться в ее отчаянии!

— Мама, иди ложись. Я буду тебя кормить и поить лекарством. Или ты спустилась умыться? Подожди, я налью в рукомойник воды, я всю выплескал.

И он идет за ведром с водой и наливает в рукомойник, потом берет ее за руку и ведет, и она, покорно идя, уже не понимает, как это может быть — ее ненависть и покорность, его отвратительность и его же нежность?

— Когда приедет папа, — говорит она, — нам предстоит... — Она ищет какое-то слово, всем словам слово, которое должно определить сущность этого дня, типа «День Победы» или там «день Рождества». Она злится, что все слова заняты, но спохватывается — не все: нет дня позора, дня презрения, дня воздаяния за грехи. Неверующая, она бы очень удивилась, что и тут все слова заняты и имеют свое место. Но ей легко быть неверующей, она даже думает сейчас об этом. Бог стал бы ей поперек ненависти к сыну, она знает, что он такой как бы мудро всепрощающий, но у нее Бога нет, она свободна от его правил, и если она возненавидела, то это уже до конца концов, и все, и хватит! Сын вытирает ей руки и шею, она наклоняет голову, чтоб он вытер ей часть спины, куда затекла вода. В сущности, он был бы неплохим мальчиком, не случись это горе.

Мальчик очень любит мать в этот момент омовения. Такая беззащитная сзади шея, убегающие вниз слабые, как у ребенка, косточки позвоночника, седина у корней заколотых волос. Уши сзади. Никогда их не видел с этой стороны, чуть растопыренные вареники. Она улыбается, смешная ты у меня, мама, шуму от тебя, а сама девчонка девчонкой.

— Сегодня может приехать папа, — повторяет она, когда он помогает ей взойти на крылечко.

— Я знаю, — отвечает он.

— Очень уж ты спокоен, — иронизирует мама.

— Хочешь, начну рвать и метать? — спрашивает он.

— Тебе надо молиться Богу, — говорит она, напрочь забыв о своем атеизме, так счастливо помянутом совсем недавно.

— Но ведь Бог — это любовь? — отвечает он.

— Любовь? — кричит она, уже сидя на стуле. — Ты смеешь такое говорить! У тебя хватает совести ставить это рядом?

— А что же ставить?

— Да! — еще сильнее кричит она. — Да! Любовь! Но не ту, что под крыльцом и по-собачьи, не ту, что с первой попавшейся... Это блуд!

У нее, оказывается, очень маленькие глаза, с булавочную головку, и из них два снопика ненависти, приходится отвернуться, но они колются, глазки-булавки, и он закрывает лицо ладонью.

— Стыдно! Ему стало стыдно! Боже, слава тебе! — ликует мама черным открытым ртом.

«Надо уехать, — думает он. — Сейчас же... У нее все есть. И до вечера с ней ничего не случится». Он бросается к сумке, за ним идет собака.

Собака. Ее он бросить не может.

— Уходи, уходи! — кричит мама. Как же точно она улавливает его намерения. — Но и собаку прихвати! Оставишь — я ее отравлю.

— Успокойся, — говорит он. — Успокойся. Я никуда не уезжаю. Я несу тебе таблетки.

Этого он не ожидал. Она выплевывает их ему прямо в лицо, слегка надкусанные и раздавленные. Кусочек попадает ему в глаз, и жжет, и колется. Он бежит к рукомойнику, а вслед слышит:

— Между прочим, чтоб ты знал, ты проститут! Проститут! Проститут!

Он бы засмеялся, если бы не глаз. Даже промытый, он саднил. Он подумал, что вот такой глаз он отдал бы за то, чтоб мама успокоилась и замолчала. Он бы вынул глаз десертной ложкой. А дырку заклеил бы пластырем.

— Ну кто ты после всего этого? — не уgomанивается мама.

— Адмирал Нельсон, — отвечает он.

— Боже! — восклицает мама. — Ты совсем спятил! Мы отправим тебя в психушку. Пусть тебя там послушают. Очень интересно.

Изнутри — из почек? или печени? — рождается острое желание других слов. Вернее, вполне существующих, но им презираемых. Его ставили в школе в пример — всегда правильная русская речь, без современных фенечек. Сейчас ему хочется именно их. Но он не помнит ни одной, зато «материальные слова» выстроились как по ранжиру и аж дрожат от нетерпения. Первый среди всех этот с завитушкой на головке, трехбуквенный забойщик, рядом его дама — толстопятая арка для проезда туда и обратно, с сырыми стенками, потом это слово-действие, меняющееся каждую секунду. Ну, очень выеживающе-побудительное слово.

— Е... твою мать, мама! — говорит он. — Совсем на х... спустила шлюзы... Определись в мысли. К чеченам меня или к психам... Замочи в сортире — тоже будет по кайфу. Президентом станешь... Сейчас это самое то. Обблюешь всех по самую жопу.

Он не отследил, как мать стала сползать со стула. Пальцы инстинктивно ухватились за клеенку стола, и та ползла и ползла с чашкой и хлебницей и накрыла рухнувшую к ножкам стула мать.

Он стоял и смотрел. Собака первая подошла к матери.

Он нес ее на кровать, и ужас, что она умерла, был таким сильным, что он победил в нем и ум, и сердце. Он не соображал и не чувствовал. Он слушал стук зубов, мелкую их дробь и холод в горле, как будто в него пытки забили сосульку. Мать лежала плоско и недвижно. Он забыл, что надо делать. Он был туп и почти труп. И опять же собака... Она тявкнула как-то беспомощно и слабо, и этого хватило. Он кинулся к матери и стал давить ей грудь, как видел по телевизору. Потом наклонился и стал дышать ей в рот, и на него пахло младенчеством, запахом материнных соков, и он заплакал, потому что вспомнил ее любовь к нему, из которой теперь вытекала ее дурь. То было странное видение, как если бы из теплого, закутанного в полотенце мирного заварного чайника истекла грязная Волга со всеми пароходами, щепками, утопленниками и бурлаками. Надо было вызывать «скорую».

Команда врачей была другой. И главный, послушав мать, сказал, что ее надо увозить, что у нее не тот сердечный ритм, плохое давление и прочая, прочая...

— Подождите пять минут, — сказала мать. — У меня плохая реакция на белые халаты, но мне уже гораздо лучше. Клянусь вам! Я психанула не по делу. — Она смотрела в этот момент на сына, стараясь понять, что в нем не то, и одновременно как бы попросить прощения за все сразу. Но он смотрел в сторону, и слышал ли он ее вообще? «Нет, его нельзя остав-

лять, — думала мать, — а если придется, надо вызывать Дину». Ей сразу стало покойно, и случилось то, что она и сказала: у нее снизилось давление и успокоился ритм. Сердитый врач чего-то там навывписывал, говоря, что слова «психанула» в ее лексике не должно быть, что она сердечно-сосудистая больная и ей надо научиться относиться к жизни равнодушно. «Все равно же ничего нельзя изменить!» Ей хотелось ему ответить, что она за последний час научилась прогонять черные стены и выкинула к чертовой матери мысленные весы как предмет бесполезный и лукавый, но ей важно было, чтоб они ушли скорее, потому что сын, мальчик... С ним что-то случилось.

«Скорая» ушла. Собака лениво полаяла им вслед. Мальчик пришел и взял рецепты.

— Оставь, — сказала она ему. — Я еще то не выпила. Ты не волнуйся, наверное, сегодня магнитная буря. Я и не помню, с чего это я гикнулась?

Мальчик молчал. Он был пуст. Пока он ждал «скорую», он подумал, что не готов платить такую цену за любовь. У него тут же закружилась голова, пришлось повиснуть на калитке, чтоб не рухнуть. «Но я не могу без нее», — думал он о Дине. «Но я не могу без нее», — подумал он о матери. Калитка скрипела под тяжестью его жизни. Напротив, на калитке, сидела девочка, что выручала его с мобильником. «Соплюшка, — думал он, — она еще не выросла. Как ей хорошо!» Потом он шел к даче вместе со «ско-рой», и медсестра тараторила, что ее парня забирают в Чечню.

— Боюсь, не подзалетела ли я с ним напоследок.

— А гондоны зачем? — спросил врач.

— Я с ними не ловлю, — ответила сестра.

— Значит, так тебе и надо.

— Проверке на мышах можно доверять?

— Вполне, — ответил врач.

Мысль о Дине была острой и мучительной, а мама лежала плоско и отрешенно.

Потом все из него ушло, и он стал пуст, как ящик письменного стола, из которого все выкинули.

Когда у дачи напротив начались крики и через какое-то время прибежал мальчик вызывать неотложку, они посмотрели друг другу в глаза. В его глазах была мука. Значит, мука — это то, что может быть пополам с любовью? Потому что печаль, горе и страдание она видела и раньше, они не такие. В них не хватает присутствия чувства противоположного. Мука — это нерешаемая задача, это когда плюс и минус вместе, а это неправильно — два действия сразу.

Мать стала долдонить, что дочь не имеет права распоряжаться долларовым мобильником, что до такой степени она должна соображать, что почем.

— Представь, что ты больная, а мобильник у них, — сказала девочка. — До такой степени ты должна владеть воображением?

Мать стала орать как оглашенная. И что у нее хватило бы ума не приезжать на дачу больной, и что у ее сына-недоумка могла бы быть совесть, чтоб добежать до почты. «Всего десять минут!» И вообще нельзя использовать других, это неприлично. «В Америке за такое сразу бы взяли деньги. Наличными!»

— И ты бы взяла? — спросила девочка.

— А почему я должна оплачивать их проблемы? Я кто? Жена Березовского? Или Чубайса?

— Они бы тебя не взяли в жены. У них красавицы. — Уже сказав это, девочка поняла, что совершила подлую вещь, что про такое нельзя говорить, она сама закомплексована на внешности, хотя считает, что ей еще повезло, что похожа на отца.

Но у матери была своя мысль.

— Мне бы их деньги, — сказала она, — и я была бы красавица. Ноги у меня длинные и тонкие, остальное все приделывается. Ты еще маленькая дурочка, если веришь только зеркалу. Вот не будешь раздавать мобильники налево-направо, у родителей денежек будет больше, и будешь, какой захочешь. Тебе многого не надо. Все и так при тебе.

Девочка была потрясена, что после ее хамства мать, оказалось, не обиделась, а даже стала нежной — «все при тебе!». Как же! Как же! Но все-таки девичье сердце — вещь хрупкая, его сломить — раз плюнуть. Девочке было приятно и хотелось ответить матери тоже чем-то хорошим.

— У тебя не только ноги, — сказала она. — У тебя и волосы. Ты зря их в пучок крутишь. Ты пусти их по плечам.

— И буду лахудрой. У тебя нет вкуса. Это твоя трагедия. Как и у отца.

«Начинается, — вздохнула девочка. — У нее внутри один переключатель. На злость». И она представила материных гадюк, которые, как из горла кувшина, вытягивали изящные головки, все в разные стороны. Эдакий букет змей. И она побежала к листу бумаги. И это получилось красиво. Хорошенькие, с длинными острыми язычками, все цветные, только глазки у всех гадючек белые-белые. От ненависти. «Тсиванен». Как пригодилась тут буква «т»!

Когда бригада медиков уходила, девочка, повиснув на калитке, спросила молоденькую сестру:

— Она умрет?

— Не рассчитывай, — засмеялась сестра. — Она своего хорошенького сына еще пожует власть.

Девочка замерла на калитке. Ей ведь хотелось, чтоб выносили гроб. И чтоб она в него заглянула. Она близко не видела ни одного покойника, но ведь знать это нужно? Нужно. Соседка была бы прекрасным учебным пособием, как заспиртованные водоросли, которые когда-то были живыми, а сейчас дети на них учатся. Это во-первых... Во-вторых же... Сестра назвала мальчика хорошеньким. Ну знаете ли! Нашла тоже... Девочке хотелось с этим спорить долго, не давая спуску, но ничего не получалось. Она как бы соглашалась с тем, с чем соглашаться не могла и не хотела. Но ведь она же сама это видела. Они были там так красивы. Так светились на том бетоне.

Мать облизывала губы, как бы целованные сыном. Она не помнила, что случилось, но дивный, неповторимый запах младенца, дороже которого у нее никогда никого не было, наполнил угасающие силы соком, и она вздохнула глубоко и освобожденно. И еще она вспомнила, что была там. Там не было света, а было мрачно и холодно, и ее там не ждали. И она побилась в стены этого там, и стены отталкивали ее. Не очень хотелось и оставаться, но как-то обидно задевало это отталкивание — мол, вон отсюда, вон! Что уж они так к ней?! Мальчик, ее сын, вытащил ее оттуда. Зачем ей «скорая», когда он рядом? И она сказала собаке:

— Позови его! — И собака поняла, пошла.

Мать ощупала лежащую рядом сумочку. Только ей известным движением она выдернула подкладку из-под зажима и залезла рукой вовнутрь. Письмо стерлось на изгибах, а чернила расплылись от ее слез. Сколько письму лет? Тринадцать будет этим летом. Они тогда были в Анапе с мальчиком, после пневмонии. Снимали комнатенку рядом со спасательной станцией. Сын хозяйки работал спасателем, ему было шестнадцать лет, и он остался на второй год в восьмом классе. Она пообещала хозяйке подтянуть его по математике. Ну кто ж знал? Кто? Возможно было ли ей представить, что математика просто вывалится из рук, как вещь никчемная. Что днем они будут уплывать на лодке и раскачивать ее под куполом неба. Он был такой горячий, Гога, Гоги, Гоша, в нем было столько силы и страсти, что каждый раз — а он был ненасытен — она почти умирала в его

руках, а когда оживала, то просто балдела от счастья, что так бывает. Их застучали через неделю и сообщили его матери. Она выбросила их вещи и выставила за забор маленького мальчика. И он пошел искать маму, которая голая лежала на руках юноши, и тот умолял ее забрать его в Москву. И она думала, как это сделать, и у нее возник план. Потому что она не представляла, как ей теперь жить без его рук, и ног, и живота, и губ, без его ягодиц, так ловко помещающихся в ее ладонях.

Когда к ним подплыли с плохой вестью о бродящем по пляжу ребенке и приближающемся шторме, она даже не прикрылась, настолько несущественными были для нее другие люди.

А потом она тащила на себе вещи и сына, Гоги мать заперла в погребу. И не были они тогда в Анапе два месяца, даже половины не были. Они уехали в Новороссийск к знакомой по институту. И жили у нее. Письма в Москву она подписывала как бы из Анапы. Два раза она тайком, оставив сына, ездила к Гоге. Подбиралась к станции, и он бросал ее в лодку и греб, греб туда, где было только небо и море. И она стаскивала с себя все и думала — как? Как я буду без него? Она просто сходила с ума от напора будущих неосуществимых желаний. Она языком слизывала с него соль, выискивая места, которых не касались ее язык и губы. И уже он лежал у нее на руках — Демон поверженный. Мальчик из восьмого класса.

Она дала ему адрес до востребования. И он прислал ей одно письмо. То, что хранит она под подкладкой. Она достает его. В нем были «любов», «в замуш», «хочу войти в тебе» и много других неправильных слов радостей и счастья. Конечно, такое письмо надо было скрывать. Она ему не ответила. Из Москвы все выглядело иначе.

Один раз, умирая от телесной муки, она согрешила с физкультурником. Дело было в спортивном зале, поздним вечером. Она разделась и легла ему на колени так, как ложилась в лодке. Фокус не удался. «Ты чё? — спросил он. — Разговаривать пришла?» Все было пошло, скучно и не дало облегчения. С тех пор она умерла телом. Она это знает. Однажды на осмотре гинеколог спросила ее: «Вы не замужем?» — «Замужем», — ответила она. «Вы спазмированы, как девушка». — «Я просто мертвая!» — хотела она сказать. Но кто ж такое говорит? Слезла с гинекологического козла с гордой улыбкой: «У меня все в порядке в семейной жизни». Она ей не поверила, врач. Такой у нее был вид: не верю, мол.

Все это пришло и встало сейчас во весь рост.

Она растирает письмо в порошок. Это легко. Она втирала бумажную пыль в себя, засовывая во влагалище, и ела ртом. Письмо не должно оставаться, оно должно раствориться в ней до последнего микрона. Она — могила письма, могила этой сумасшедшей чувственной любви, от которой и сейчас все сжимается внутри, но нет и уже никогда не будет того, кто превратит этот ком в божественное расслабление, в свободу, в вознесение, в безграницье. В любовь!

Улика уничтожена.

Она мечется в себе, как в темном *там*, где даже стены ее не любили. Память мстительно возвращает ей уже голое бедро Дины, обхватывающее сына, и его лицо, глупое — это правда, Господи, глупое, я не клевету, — но такое счастливо-прекрасное. И она кладет на весы, она ведь любительница правил и точного веса, ум и счастье, и гирька ума взлетает под самый потолок. «Это неправильно», — говорит она себе, но откуда-то взялась черная стена, которая уже не толкает, а хочет ее накрыть.

«Пусть! — думает она. — Пусть! Так бывает. Пятнадцать лет разницы, конечно, много... Но она будет над ним дрожать, как дрожу я. Ему будет хорошо». Она — неплохая женщина, Дина. Ну стала бы она звать в гости плохую? И потом... Чему быть — того не миновать. У них могло бы слу-

читься, а она бы не знала... Это, что ли, лучше? И опять она заметалась. Лучше? Хуже? И опять положила на весы «знать» и «не знать». Они как спятили, весы, метались вверх-вниз, пока не замерли в равновесии. Значит, цена знанию — незнание, и наоборот. Ей осталось знание. Как говорил их учитель физкультуры: «Оно, девушки, по жизни так: хоть Стеньку об горох, хоть горох об Стеньку. Один хрен». Дурачок дурачком, а умный, оказывается.

— Подойди ко мне, — сказала мама, когда он пришел вместе с собакой. — Ты на себя не похож. Не надо так! Все у меня будет в порядке.

Мальчик подошел, и ему стало страшно. Он боялся, что все начнется сначала. «Уйти, что ли, в аптеку? — думал он, теребя рецепты. — Почему она на меня так смотрит?»

Мать изо всей силы сдерживала ускоряющийся бег сердца. Юноша, который стоял рядом, не был ее сыном. Это был высокий молодой человек с абсолютно седыми висками. «Боже мой!» — подумала мать. Систолический галоп ускорил свой бег, и она закрыла глаза, чтоб он не видел мыслей в ее глазах. «Господи! — думала она. — Дай мне еще время. Дай мне замолишь грех за его виски. Я так его люблю. Усмири мое сердце».

И развернулись кони. Они возвращались в жизнь, и она открыла глаза.

Мальчик с седыми висками наклонился к ней с отчаянием в глазах, но мама уже слабо улыбалась и даже хотела что-то сказать, а собака положила ей голову на плечо и лизнула в щеку.

— Дина-Найда, — сказала мать. — Надо же, пришли вместе. Как сговорились. Дама с собачкой... Есть такой рассказ у Чехова. Я так над ним плакала в твоём возрасте... Нет, пожалуй, позже. Мы были медленные дети. — Мать вздохнула. — Тоже про любовь. — И добавила: — И грех...

«Лишнее слово, лишнее, — подумала она. — Хотя я уже принимаю этот грех как свой».

«Когда ей станет хорошо, — думал мальчик, — я уйду. Мы уедем с Диной куда подальше. Иначе она убьет и себя, и меня».

Но они улыбались друг другу, будучи самыми близкими и бесконечно далекими.

Сбивая на кочках ноги, девочка брела в темноте к Ангелу. Отсюда мощно гляделась липовая аллея. Как всегда вечером, деревья, в сущности, жили в небе, цепляясь кронами, и вели свой счет жизни и обстоятельствам. Лицо Ангела было все в следах убивания. На нем была выковыряна дырка рта. От отбитого носа шла трещина, которая раздвинула глаза вширь. И кто-то настойчивый внедрялся в эту трещину-щель, чтоб разломать голову надвое, но Ангел был хоть и раненый, а крепкий. И затылок его был кругл и красив. Торчали остряки крыльев. Ну, естественно, отломать крыло птице проще простого. «Но он ведь не птица, — подумала девочка, — он же детский Бог. Он должен был им не даваться». Девочка смутилась глупости собственных мыслей. Ангел был сделан людьми и людьми же порушен. Нет ничего вечного из сделанного руками человека. Самые что ни на есть распрекрасные церкви валили в два притопа, три прихлопа, сносили города.

— Почему так? — почти закричала она, вспугнув затихшую к ночи природу. И только кроны липы где-то высоко-высоко даже если и услышали, то не обратили внимания на девочкин вопрос, хотя именно им бы и объяснить ребенку тщетность суетного человеческого разума, изъеденного раком злости и ненависти. Но липы молчали, что, в сущности, было свинством с их стороны. Ведь если вечные и знающие молчат, то получается полный безысход. Или она побежала не в ту сторону?

Отчаяние охватило девочку. Не было смысла в жизни, если в ней существовала такая сила разрушения ее же. Все будет уничтожено, все будет

убито, и ничто не может это остановить. В этот момент девочка даже испугалась Ангела с лицом сифилитика, который стоит и смотрит раздвинутыми щелью глазами, и ему плевать на цепи, которыми уже прикованы и липы. Значит, уже начались и их пытки?

Но тут она услышала автомобильные сигналы. К даче мальчика подъезжала машина, из нее выходили отец и еще какой-то дядька. Они оставили машину открытой и быстро пошли в дачу. Мальчик пошел с ними, а девочка пошла тропинкой вдоль ограды, которая уже не раз выводила ее ко многому интересному.

Она поняла из подслушанного разговора, что отец приехал за матерью, потому что какое тут, в деревне, может быть лечение? Что он вызвал сестру матери, и та будет с ней, если не нужна будет больница, поэтому мальчик («ты!») — пока остаешься на даче, в зависимости от возможностей сестры («у нее огород и муж попивает, так что времени у нее чуть»). Отец кричал на мальчика: почему тот сразу не позвонил, могли что-то упустить, какие тут врачи, у них и дипломов, считай, нет. Сидя в кустах бузины, девочка воображала, как бы повел себя ее отец. Приехал бы или свалил бы все на нее?

А сейчас она видела сквозь ветки хлопоты сборов больной женщины в дорогу. Сама мать мальчика стояла на крыльце, вцепившись в поручень. На ней были мужские кальсоны и блузка с кружавчиками, а сверху наброшен плед. У нее подрагивала голова, а глаза все время следили за мальчиком — где он.

— Я хочу, чтоб он уехал тоже.

— Мама, — говорил мальчик, — я не могу бросить собаку. Вот выхожу ее и отдам соседям. Там живет хорошая девчонка, она возьмет. Я договорюсь.

«Это он про меня? — думала девочка. — Это я хорошая девчонка?»

Ей хотелось вскочить и забрать собаку сразу, ей хотелось доказать, что он не ошибся в ней: она хорошая; но мальчик сделал ей знак сидеть тихо, потом подошел и сказал:

— Не бери в голову. Это я нарочно. Это чтоб они оставили меня в покое. Собаку я не отдам никому.

— Я бы взяла, — с вызовом сказала девочка. И только тут вспомнила, что сама запустила псину в этот двор, спасая от повешения. Столько всего случилось за эти дни, и папа-палач как бы скрылся в тумане, а сейчас вот возник — весь набрякший от предвкушения скандала, весь к нему готовый. Девочке стало так страшно от этого видения, что все остальное, реально происходящее, она просмотрела: как усаживали мать в машину, как та отъехала. Вернувшись, она нашла на крыльчке свою мать.

— Разбудила машина, — сказала она. — А мне так сладко вздремнулось. — У нее был заспанный, но вполне свежий вид. И черноты под глазами не было и в помине. — Они ее увезли в город? Ну и правильно. Инсульт — это не шуточки.

Мальчик ушел с собакой.

Она будет ждать его на воротах. Возвращаясь, он ее увидит и, может, заговорит.

Но он ушел в другую сторону, ту, что вела коротким путем к станции, — значит, тем же путем он и вернется. Она его не увидит.

В душе родилась маленькая, с манную крупинку, боль и стала набухать, как под крышкой с полотенцем. И возникло чувство одиночества, но не того, что радует ее довольно часто — «я у себя одна, а вы все не нужны мне на фиг», — а другого — болючего, обидчивого, когда хочется лбом прижаться к коре дерева и тереться об нее до крови и жаловаться, жаловаться и жаловаться. Кому? Она снова побежала к этому недобитку Ангелу, постамент которого был окроплен мочой не одного поколения мальчишек. Обкаканный птицами, описанный детьми, не поваленный взрослы-

ми, он был одинок, как и она, уже много десятков лет. Он один был — оказывается — ей брат по горю и печали. Других не было.

— Где ты? — кричит мать, но девочка не слышит. Зато она хорошо видит: Ангел светится. Сначала она думает, что так встала луна. Она сейчас полная и жирная и сочится тяжелым желтым маслом. Но нет, это не луна. Свет как бы с другой стороны. Он из самого Ангела, который стоит хорошенкий и целехонький. И нет долбленной ямы вместо носа — наоборот, нос, как и полагается ему, собрал вокруг себя лицо, а белые мраморные глаза очень даже хорошо видят все вокруг и насквозь. И крылья целы, и даже как бы трепещут, как у присевшей на лист стрекозы. Нежно так, беззвучно подрагивают живой жизнью.

«Я нормальная, я в себе, — думает девочка, — просто мне это кажется. Я психанула, а он меня утешает. Это все в моей голове, и нигде больше. На самом деле он битый и траченный. Я сейчас потрогаю его рукой». Она трогает. И пальцы ее скользят по прохладному камню, в котором нет изъянов, а кончик тонкого крылышка легко ложится в ладонь, будто они одного размера. Девочка ощущивает все, все, все. И нос, и губы, и уши, и каменные кудри. «Так бывает, — думает девочка. — Случаются чудеса, чтобы глупый человек что-то понял, если жизнь ему непонятна. Но ведь мне все понятно. Все! Меня никто не любит. Я никому не нужна».

Вернувшись, она слышит крики. Идиоты они, что ли? У нее омерзительный («Твой, сволочь!» — кричит мать отцу) характер, и, случись отцу уйти из дома, она (девочка) бросит школу и пойдет по рукам (Господи, мама, окстись!). Но отец ее не защитил, он кричит, что не от него характер, а от матери. «Ты же вампир! Тебе это никто не говорил? Вот и у нее, — (у девочки), — такая же природа, мать вашу... Ни подруг, ни мальчишек... Сидит рисует каляки-маляки. Модернист сопливый. Что ты за мать, что за мать?» — «Но это у тебя такая жизнь, что тебе только и дело сравнивать одну жену с другой, ты у нас устроился на две работы. Хотя о чем я? Тут-то у тебя работы никакой. Ни по дому, ни по воспитанию. Тут тебе достались вампиры. Отсосали беднягу».

Что-то упало, звякнуло. Девочка бредет назад. Но отец как ни в чем не бывало кричит ей вслед:

— Что, совсем не с кем поиграть? А куда делись подружки?

— Во что поиграть? — Девочке хотелось сказать что-то резкое. Не в том дело, что она подслушала разговор. Что, она раньше про это не знала? Она давно ждала, что родители разойдутся. Сейчас это виделось так. Они действительно расходятся. Как на дуэли. «Теперь разойдитесь». И они идут каждый в свою сторону, а она остается на том самом месте, где они были вместе. «Месте-вместе». Рифма получается. Мать не берет ее, потому как у нее (девочки) такой характер, что она станет шлюхой, наркоманкой, такая она в ее глазах. Девочка мысленно примеряет на себя эти роли, как она их видела в кино и по телевизору. Она стоит возле почтамта, и у нее юбки почти ноль. И при малейшем наклоне видна обтянутая попка-сливка. И к ней подходит дядя на раскоряченных ногах и говорит, что теперь она не имеет права ему отказать, так как это ее работа. А всякую работу надо делать добросовестно. И она идет за ним, потому, действительно, такая работа. И ее придумала для нее мама, и никто другой. Папа же — нет, он не хочет, чтоб она стала шлюхой, он водил ее в музей и объяснял, что картины существуют для того, чтобы в человеке вздрагивало сердце и хотелось чего-то хорошего. «Чего?» — спрашивала она. «Раз спрашиваешь, значит, до тебя еще ничего не дошло». У нее вздрогнуло сердце у «Апофеоза войны», но ничего хорошего не захотелось, а хотелось уйти из музея раз и навсегда. «Эта картина против войны», — сказал отец. «Нет, за! — ответила она. — Надо очень любить смерть, чтобы нарисовать столько черепов и остаться жить». — «Ты прямолинейна, как мама!» — сказал отец. Больше они в музей не ходили. А она однажды попробовала нарисовать по

памяти «Апофеоз». Ничего не вышло. Каждый череп превращался в ее воображении в живого человека, и она не знала, что делать с этим возникшим в ней живым, который уже мертвый.

И тут в ее мысли о себе врываются быстрые шаги. По тропинке почти бежит женщина. И девочке не надо угадывать, кто это, она знает сразу. Пестрое платье, бывшее в уезжающей электричке бабочкой, тут, в сумраке липовой аллеи, кажется птицей. Она слышит «хлоп-хлоп» крыльев и свист дыхания от стремительной вкрадчивости полета. Птица-женщина проскакивает мимо девочки молча, а что бы она могла сказать, даже если бы захотела? Она вошла в калитку, не дав ей скрипнуть там или пискнуть. Девочка понимает это. «Что там сейчас будет!» — думает девочка, и ей делается горячо и стыдно.

— Я не знаю эту даму, — говорит с крыльца отец. — Кто-то из новых соседей?

— А тебе какое дело? — хрипло, веревочно кричит девочка. — Ты тут больше не живешь! Тебя тут не стояло! Катись колбасой по дорожке косою! Чего она не ожидала, так это выскочившей на крыльцо матери.

— Ты смеешь так говорить отцу? — шипит она с чувством глубокого удовлетворения (что, мол, я тебе говорила?).

Она уходит от них к прикованным липам. Она думает, чем они там занимаются — мальчик и эта летающая в платьях. Хорошо бы, чтоб в их самый-самый момент померла его мамаша. Девочке ее не жалко. Ей только обидно, что, если это случится, похороны будут в городе. Девочке так хотелось в этом участвовать. Жаль, что ее мама не подсказала, что и тут, недалеко, есть кладбище. И *нецелесообразно* возить труп за десятки километров. Это мамино любимое слово — целесо... Думая про чужую смерть, она обматывала вокруг горла веревку, которую носит в кармане. Как это сказала медсестра? Мать еще *пожует* сына всласть. Что она хотела этим сказать? Именно то, что сказала. Все-таки лучше бы из их двора вынесли гроб — она бы, девочка, срезала с куста розочку и положила бы покойнице к голове или куда там еще, а этот мальчик пусть остался бы неизжеванным.

Она подумала, что, в сущности, она совсем плохой человек, если так спокойно допускает смерть и своей, и чужой матери. «Поставь себя на его место, — думает она, — поставь». И девочка ставит. Разбегается в панике кровь. Забарабанивает в отчаянии сердце. Она видит гроб и спокойно кладет к голове или куда там еще розочку. Это ее гроб.

Но тут кто-то сводит ее руки вместе, она кашляет и понимает, что это был мальчик с собакой. Это он разматывает ей горло, а собака лижет ей пальцы рук.

Дина уснула, а он лежал рядом и думал, что иметь такое количество счастья несправедливо, когда есть Чечня, детские дома, мамина болезнь, когда мир раскачивается в какой-то очень неудобной для человечества позе и люди сыплются с этих мировых качелей, как сыплются осенние листья, стоит легонько тряхнуть дерево. А у него счастье! Мальчик замер от неловкости перед теми, у кого нет даже осьмушки того, что есть у него. Но ведь это тот самый случай, когда не поделишься. Любовь — штука очень отдельная, на кусочки не разрежешь. Она его, и только его, как глаз, как родинка на плече, как ямочка пупа. Мальчик был счастлив, и мальчик мучился и стыдился счастьем. Но тут тихонько взвыла собака и затрепетала ушами, а потом повернула к нему голову и стала смотреть ему в глаза, издавая при этом какие-то сдавленные звуки. Он встал и вышел с ней во двор. Собака пошла по дорожке к калитке. Он шел за ней, вышел за калитку. Тишина и темень ночных лип накрыли его с головой. Собака повернула направо, и он пошел за ней, как слепец. На поваленном дереве кто-то сидел. Он подошел вплотную и увидел этот отчаянно открытый рот и глаза, в которых стыл ужас. Он взял руки девчонки и разжал ее кулачки.

Потом он взял веревку и сунул ее в карман. Девчонка упала лицом себе в колени и казалась такой маленькой, будто ей лет шесть, не больше. Он обнял ее и прижал к себе и почувствовал, как она дрожит, спрятав лицо ему подмышку.

— Я много раз так хотел, — сказал мальчику. — Но никогда не решался. Знаешь почему?

Ее голова затряслась у него под рукой. Он понял это как нет, она не знает.

— Мне становилось обидно, что я все пропущу. И хорошее, и плохое. Хорошего просто жаль, а плохое... Это тоже важно. Как будто я трус и его боюсь. А вдруг я смогу помочь, когда будет совсем плохое. Ведь тогда надо быть! Обязательно быть! Смотри! Конкретный случай. Если бы я сделал, как ты. Я не помог бы маме. Собаке. И она не привела бы меня к тебе. Это она повела меня.

— У тебя не было бы женщины, — сказала она ему подмышку. — Это главное.

Потом она спросила его, уже выпрямившись, глядя прямо в глаза:

— Скажи, это на самом деле единственное, о чем можно жалеть? Я, мама, собака — это такая чухня, что слушать противно. Ты как неживой становишься, когда так говоришь. Так мог трепаться Ангел, что на говне, но у него хватило ума молчать и не трепаться. Есв аволс янхерб... Ешчул ичлом...

Он не знал, что ей сказать. Он знал наоборотный язык, он мог ей на нем сказать, что еще позавчера ему в голову не могло вспрыгнуть то, что случилось. Что он очень хотел потрогать смерть — любую и свою, а про Дину он даже не думал. Да что там говорить! Если честно, если по правде, позавчера его еще как человека не было.

Но он молчал, он просто обнял ее снова, и голова ее нырнула ему подмышку, и ей сделалось так хорошо и покойно, как никогда. «Как на том свете», — подумала девочка.

С крыльца стала кричать мать, что давно пора ложиться, что они с отцом терпели-терпели, когда она сама поймет...

— Сейчас, — хрипло сказала девочка. Но думала она о другом. О том, что от смерти ее спас мальчик, хотя родители были ближе. Конечно, это случайность, он выводил собаку (или она вывела его), но все-таки, все-таки... Мама не кричала «Иди спать!» тогда, когда у нее застучало в висках и ей так хотелось, чтоб ее спасли и увели из ее кошмара. Нет, умирать нелегко. Умирать трудно, умирать мучительно, и когда придет ее час — через сто лет, — пусть кто-то держит ее за руку или спрячет ее голову подмышку. И тогда ее жизнь не уйдет вся, она перетечет другому. Важно, чтоб кто-то был рядом. Чтоб кто-то подставил утекающей жизни чайник.

Потом они пошли в сторону Ангела. Он, она и собака.

Девочка видела, что тот выглядит как всегда. Что щель вместо носа ночью кажется еще шире и страшнее. Как хорошо, что ей хватило ума не трепаться о ее видении. Тогда ей точно место было бы в Кашенко, этот пионер-спасатель сложил бы два и два в четыре, и валяй, барышня, в садик, где у тебя будет много друзей.

— А конец крыла точно в человеческую ладонь, размер в размер, — сказал мальчик.

Но ведь она это сама видела, конец его точно лег ей в руку, чуть подрагивая живыми перьями. Но она этого никому не говорила.

— Даже добить, доломать не хватило ума, — сказала девочка. — Что ни сделает дурак, все он сделает не так.

— Ты хотела, чтоб его не было совсем?

— Да! — закричала девочка. — Чтоб не пугал людей. Ты понимаешь, что недоубитое сильнее живого? Оно мучает.

— Ты мучаешься?

— Я-то нет... Еще чего! Мне плевать...

Он вздохнул. Как же ему с ней трудно! Почти как с мамой. Гребешь навстречу течению, а тебя относит черт-те куда. Почему ему легко с Диной? Может, потому, что они еще не разговаривали о постороннем. Но неправда. Они говорили о школе, о Реторте, о маме с папой. Просто Дина умная, а эта несчастная девчонка — дура.

— Я не дура, — сказала девочка в самый стык его мысли. И ему стало неловко, что мысли у него громкие и обижающие. — Я не дура, чтоб мучиться из-за неизвестно чего. Я если мучаюсь, то конкретно.

Мальчик молчал. Не то что он это не понял или был не согласен. Просто по себе он знал, что мучающие мысли у него лично приходят очень издалека. Они даже не из этой жизни. Они как бы совсем чужие, но вонзаются и остаются в тебе навсегда. Вон звезды. Мерцающий на Ковше Мйцар. Он давно к нему пробирается. Сейчас просто цепляется за верхушку старой сосны, которой уже лет сто, не меньше. Вот и прикинь. Мицару лет несчитано, сосне — сто, маме — тридцать девять, Дине — тридцать два, ему — шестнадцать... Если сложить их годы, даже одной сосны не наберется. Но разве человек сознает свою малость перед сосной? А сосна перед Мицаром? Хотя откуда он знает? Что он знает о мыслях других людей, мыслях сосны или ежика? Вот, пожалуйста, и пришла мука бессилия понять. А эта девчонка рядом кричит, что не мучается, ей хочется доломать Ангела. И он бы плюнул на нее, если бы двадцать минут тому назад она не стягивала себе на шею веревку. Значит, есть у нее своя мука, а кто он такой, чтоб ему об этом рассказывать? Она выносила ему мобильник, а ее мама стояла с лицом убийцы. Быть убийцей от жадности — такой стыд! Ему стало жалко девочку, и он ей сказал:

— Ты очень хорошая. Если бы не ты, я не знаю, что было бы с мамой.

— Еще одно телефонное трандело, — возмутилась девочка. — Столько чувств из-за куска пластмассы с проводами. Еще раз скажешь — двину.

Девочка врала. Ей было приятно. Она не жмот, она это знает, ей важно, что мальчик теперь тоже это знает. Хотя он ей на фиг не нужен, но если уж кому стоит понравиться, то ему.

— Где тебя носит? Иди немедленно домой! — кричат ей.

— Я пойду, — сказала девочка, — от греха подальше. У матери голос уже почти в окончательной степени.

Она уходила и думала о том, что вскрик ее смерти родители не услышали. Премираясь о своих обидах, они давно не слышат, как она живет. И ничего с этим нельзя поделаться, ничего! Кричи не кричи, не услышат. Это как волны в приемнике: две точки рядом, но одна поет, а другая сообщает температуру воздуха. И никогда они не сомкнутся, как параллельные, хотя, говорят, с параллельными не все ясно. А вот мальчишка оказался на ее волне и пришел. Значит, всегда кто-то есть на твоей волне. Знать бы кто? Ведь этот мальчик не ее мальчик, у него своя жизнь, он не обязан слушать ее крики о помощи. Но — Боже! — как ей этого хотелось бы. Она чувствовала запах его подмышки, когда он прижал ее к себе просто из жалости, как спасатель. И она поняла, что его запах останется в ее ноздрях навсегда, и даже когда у нее начнется совсем другая жизнь, она, как животное, будет искать след этого запаха. Все эти мысли не были длинными и последовательными, они пришли толчками: приемник, все чужие, запах. И еще: не хочу навязываться.

Поэтому ей хотелось скорее дойти до дома, всего-то пятьдесят метров, и одновременно хотелось идти вспять до того места, где он снял с нее петлю.

Мальчик же шел и думал об Ангеле. Конечно, это видение. От стресса. От этих последних дней, вместивших столько всего, реального и фантастического, что нечего удивляться, что в какой-то момент одно затмило другое.

Они думали каждый о своем, идя по темной аллее с прикованными липами.

— Ладно, — сказала девочка. — Я пошла... Пока...

Она вошла в дачу, и оттуда сразу послышались крики, а мальчик облокотился на свою калитку и думал, что на девочку сейчас кричать не надо. Но ведь родители ничего не знают. Он подумал, что, может, надо было им сказать и показать веревку, и он даже достал ее из кармана, но зарычала собака и стала лаять и рвать ее из его рук. На шум вышел на крыльцо отец девочки и сказал громко:

— Уведи эту суку подальше, пока я ее не удушил окончательно.

И мальчик все понял. Откуда веревка и отчего обезумела мирная, ласковая псина — это девочка открыла ей калитку в их двор, а веревку оставила себе. Или выбросила, а нашла потом.

Он сидел на крыльчке уже своего дома, в котором спала его женщина, в доме напротив погасли окна — значит, девочка легла, и пока она в доме с какими угодно родителями, с ней не должно ничего случиться. Собака успокоилась, положив ему на колени голову.

Он думал, что там, в низине, на человеческих фекалиях, стоял непобедимый Ангел. Ангел был цел — цел и жив — всего одну секунду, а может, две, но мальчик успел ощутить кончик его крыла в ладони и подумать: они у нас равны. Но тут же все прошло. И сейчас мальчик формулировал то, что никакой формуле не подчинялось.

— Так не бывает, — говорил он тихо, вытянув руку, которая серебрилась и трепетала, как крыло. — Так не бывает. Это воображение мысли.

Но мысль совершила кульбит и спросила его, глядя прямо в лицо: «Но разве не все равно, если это есть и ты это видишь?» И он сказал мысли, смотрящей ему в зрачки: «Все равно».

Собака подняла голову и лизнула ему щеку. Мальчик застеснялся этой собачьей ласки, ему хотелось объяснить собаке, что, конечно, он благодарен ей за любовь, но не стоит так уж к нему относиться. Мало ли что может еще случиться? Человека надо проверять на долгом отрезке времени, а не на маленьком поступке. Ему стало больно от собственной неуверенности в завтрашней жизни. Что будет с ними со всеми? С мамой и папой? С ним и Диной? С этой девочкой, которой показалось, что она хочет умереть, тогда как ничто живое этого не хочет? И мальчик заплакал, а Мицар смеялся, а девочка не могла уснуть, потому что внутри нее, не спросив разрешения, вдруг лопнула почка, и она решила, что всю свою жизнь она будет защищать этого мальчика, хотя он ей на фиг не нужен. И сердце ее плавилось горячим соком от счастья. Собака тявкнула и слизнула мальчишечьи слезы. Он обнял ее голову, вдыхая запах псины. Странно, но он рождал надежду.

Мицар совсем опустился и подмигнул мальчику, как своему. Как бы сказала девочка?

Рацим лацрем, а идюл илхырл.

Собака подняла голову и тихонько подвыла Мицару. Она снова была в семье, и она всех любила. И только ее счастье было без всяких яких.



АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН



...И ШАГНУ В ПУСТОТУ

Каникулы стихотворца

Регулярный французский парк напоминает сонет.
Английский — расчетливый беспорядок верлибра.
Весь август редактировал дачный клочок: пропалывал спондеи, засеивал пиррихии, секатором прорубал цезуры. Кое-где спилил, поделив на строфы.
После все равно зарастет разговорной речью.

Труды и дни

для птиц
над полем раскатали большие небеса

над старой яблоней
высоко застеклили купол
для пчел и ос

единственное облачко оставили
мазком побелки

да мутный след
где тачками возили синеву

Прохожий

Перед самой войной.
В холодный день, особенно если у кого худое пальто.
Как обычно по средам,
после бани с пальмой и парикмахершей,
женщина с девочкой лет десяти у окна в ресторане.
Поздний завтрак или ранний обед.
Школа пропущена.
«Правда, официанты похожи на женихов?»
За зеркальным стеклом у тротуара
ждет большая машина, шофер углубился в газету.

Мать глотает легкое вино
и качает головой.
Девочка возит ножом по тарелке,
любясь в окно
черной отцовской машиной и толстым шофером:
тот балует маленькую пассажирку.
На мгновение их загораживает прохожий.
Чернявый, худущий, с бумажной трубой под мышкой.
Это втузовец-провинциал тащит будущее лауреатство свое из общаги.
Они познакомятся в 51-м на пересылке.
Случайное совпадение глаз.
«Как прямо девчонка глядит», — подумал идущий и забыл.
«Черный, как жук», — подумала девочка и забыла.

Роман

захлопнешь на последней странице
как взмахнешь рукой на вокзале

помнишь там еще инвалид рвал баяну мехи
...besame mucho...

Никчемный реквизит

мой дядя Ваня
умер с букетом в руке на Чистопрудном бульваре

в молодости он играл у Мейерхольда

ни покалеченная велосипедом нога
ни женитьба на театральной зануде
ни служба завклубом
его не перекроили и он

всегда входил в дом раскатывая качаловский голос
как входят с неуклюжей елкой
в предновогодний трамвай

от дома того
остался только дубовый буфет

всякий раз отворив его створки я вижу:

абажур лицо в тени лба
кулак с папиросой
синий дымок над сервизной чашкой

и на тесной вешалке тулуп
тискает рыжие шубки

Пермский период

провинция
слишком приспособилась к империи
и ей нелегко оживать

отложения великой эпохи почти скрыли губернский город
только оперный театр торчит

и все ж

администрация губернатора
ведет трудные переговоры с баронетом сэром Импеем Мурчисоном
членом Королевского географического общества
об учреждении Российско-британской палеонтологической компании

в центральном универмаге
выставлена коллекция розовых платьев с зелеными поясками

не утратившие веры в эволюцию
бедно одетые позвоночные приходят в библиотеку послушать стихи

и налаживается производство электродрелей

а в облупившемся прозоровском доме
обосновалась мастерская металлических дверей и решеток
с красивым именем «Благовѣсть»

...три сестры из педагогического мечтают о торжестве мезозоя
и восклицают: «В Москву! В Москву!»

но отъезжающих в столицу
проводят как на войну духовым «Прощаньем славянки»
на вокзале

Последняя дверь

умер брат
больше нет никого
между мной и той дверью

латунная ручка
болтается как в коммунальной уборной
краска «под слоновую кость» облупилась
гвоздем нацарапано «сука»

вот распахнется
и шагну в пустоту



МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



ГОСТИНИЦА «ОКЕАН»

Короткая повесть

1

*Товарищам моим Андрею Субботину
и Геннадию Киселеву посвящается.*

Главному охотоведом Верхне-Инзыревского госпромхоза уже много лет подряд работал Павел Григорьевич Путинцев — высокий, крепкий и поджарый парень с темно-русой бородой и синими внимательными глазами, имевшими подчас неожиданное, острое и почти пронзительное выражение благодаря странному, в тонких складочках, векам, будто сделанным из другой, более старой и чуткой кожи.

Красивое и резкое лицо его казалось бы даже жестоким, если давно уже не переросли бы эту жестокость горечь и собранность, главная тайна которых словно таилась в глубокой вертикальной морщине меж бровей. Был он коротко стрижен, с круглым затылком и крепкой шеей, все делал веско, с нутряной правдой каждого движения, и когда ел вареную сохатину, шумно втягивая горячую влагу, шевелились его виски и крупные углы челюстей ходили ходуном, выпукло и подробно переливаясь под кожей мелкой косточкой. На гулянке охотников, хладнокровно и между делом заливая в рот водку быстрым круглым движением, Павел, бодро участвуя в завязке застолья, с его середины начинал дремать, подперев голову рукой, и на правой щеке проступало от водки красное и извилистое аллергическое пятно. Так он и кемарил, все больше роняя голову на слабеющей руке, но, когда его о чем-то спрашивали, тут же отзывался резким и ответственным баском, точно и как по писаному отвечая: «Река Пульванондра, сто восьмой километр» — или: «Бер-решь. Прямослойную кедровую доску...» И так же, но уже с какой-то трезвой рассветной бодринкой отзывался он, когда будили его среди ночи или ранним утром, и казалось, давно он уже лежит с открытыми и сухими глазами.

Взбодрившись, он вдруг рассказывал про своих собак, к которым относился почти как к людям и во всех случаях непослушания видел глубоко осознанную вредность и пакостливость. «Рыжий! Рыжий! От-т скотобаза! Рыжий!» — грозно орал он на своего Рыжика, который, бывало, ломанувшись куда не следует, делал вид, что не слышит, и останавливался только тогда, когда разъяренный Павел, пальнув поверх прижатых ушей из «тозовки», срываясь на хрип, свирепо добавлял к кличке короткое и зычное ругательство. Рассказав, как Рыжик с Пихтой залезли на лабаз и сожрали

Тарковский Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина по специальности география и биология, работал на Енисейской биостанции. С 1986 года охотник в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Рассказы и повести печатались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник» и др.

сливочное масло, Павел вдруг снова начинал дремать, снова проступало продолговатой кляксой водочное пятно и снова засыпал он под волнообразный мужицкий галдеж.

Хорошо дремалось под этот гам и не хотелось домой, а сутки спустя он просыпался в своем большом рубленом доме часа в четыре ночи и до шести не мог, глядел ясными очами во тьму, чувствуя, что чем сильнее старается, тем живей его мысли и бессонной глаза. Он начинал ровно и полого дышать, будто пытаясь запустить какой-то знакомый движок, который надо лишь повернуть, чтобы схватило, а там он и сам попрут, и старался о чем-нибудь усиленно думать, чтоб мысли, цепляясь друг за друга, уже без его помощи заплели бы свою дорожку и увели куда-нибудь далеко-далеко, и когда это почти происходило, вздрагивал всем нутром и снова оказывался один на один со своей беспощадной и одинокой бодростью.

Летели трое — Василич, Серега Рукосуев и Павел. Василич, или Виктор Васильевич Вершинин, — директор Верхне-Инзыревского госпромхоза, плотный человек лет сорока с небольшим брюшком, русыми усиками и майорским взглядом серых навывкате глаз. Иногда в его лице просматривалось даже что-то львиное, когда он причесывал свои золотистые и упругие, как съехавшая генераторная обмотка, волосы, и в шерстяном пиджаке с толстым кольцом на пальце входил в кабинеты краевого начальства. Сам родом из Абакана, он пятнадцать лет отработал руководителем большого промхоза на Чукотке.

Серега Рукосуев, старый товарищ Павла, — лучший промысловик района, охотник-арендатор, крепкий, боярского вида мужик в высокой собольей шапке, все боярство которого слетало, как только он начинал говорить об охоте: в глазах загорался несолидный огонь, а улыбка открывала нехватку половины зубов. В неохотничьей компании, если не заходила речь о его любимом деле, он напряженно молчал и даже среди своих не принимал разговоры о тракторах и вертолетах, считая изменой охотничьему делу. Был он охотник высочайшего, запредельного пилотажа, и свидетельствовали об этом его неожиданно небольшие и почти белые руки, которыми он работал так, что ни грязь, ни масло, ни мозоли к ним не приставали. Серега летел, на первый взгляд, непонятно зачем, якобы за сетями, хотя сети спокойно можно было купить без него, но Павел хотел, чтобы Серега, во-первых, поближе сошелся с Василичем по охотничьим делам, а во-вторых, просто поглядел другую жизнь и немного развеялся от многолетнего сидения в поселке.

Василич уже пришел в то заведенное состояние, которым сопровождалась его зарайонные поездки. Он только что прилетел с аукциона, где из-за каких-то нерадостно-удачных стечений обстоятельств, падений курсов и чьего-то разорения отлично сдал всю пушнину. Сезон нынче выпал тоже на редкость удачным после прошлогоднего провала, и это, временно радуя, говорило лишь о том, как все вокруг, включая природу, расшаталось. В тот год Павел взял двести семь соболей.

Павел с Серегой, собранные, сидели в конторе, когда ворвался Василич со стеклянным дорожным блеском в глазах, с наклоненным вперед и будто переломленным в задку коротконогим телом, в кожаном меховом полупальто, ондатровой шапке и с толстой черной папкой под мышкой:

— Так, все, погнали!

На морозе у крыльца тархтел в белом облаке еле живой «уазик», в нем с важной и независимой терпеливостью сидел в собольей кепке водитель Николай Иваныч, которому выпученный Василич бросил:

— У «Кедра».

Из «Кедра» они выскочили с побрякивающим пакетом «Серебра Сибири».

Сквозь просветы меж избами в мутной морозной дали маячил противоположный берег Енисея — ровная стена с галочкой распадка и щеткой

редкого листовничника. Когда подъезжали к аэропорту, из-за этой щетки бесшумно выплыл и навис над Енисеем диксонский «Як-40» с растопыренными закрылками и горящими фарами.

У окошка отдела перевозок стоял только что прилетевший на вертолете из Сургутихи бодрый дед Иван Трофимович Попов.

— Деуска, — басил он в окошко, — билетья есть в Красноярска?

Та что-то плела, дед дрожащими, толстенными, иссеченными поперечными складками пальцами с огромными кругло-выпуклыми ногтями совал в окно деньги и паспорт.

— Паса, выручай, — обернулся он к Павлу, — нету-ка билетьев ни-сколь! Знатьё — дак сидел бы дома!

— Обожди, дед, будут тебе билетья! — подмигнул Павел, недавно потерявший отца и с какой-то особой жгучей заботой относящийся теперь к пожилым людям, приобнял за плечо деда, у которого месяц назад принимал аккуратно вычесанную пенсионерскую пушнину. Через две минуты он вышел из отдела перевозок: — Дед, держи билетья и — по коням!

— Все по-человеч-чи, — одобрительно сказал Василич.

Самолет стоял на площадке, сквозь снег просвечивал бетон, пахло авиационным керосином, алюминием и дизельным выхлопом от тархтящего заправщика. Портовский техник в унтах и грязном комбинезоне проверял на конденсат ледяной прозрачный керосин, сдаивая его из плоскостей в стеклянную банку с проволочной ручкой. Галдя, мужики поднялись в самолет, где Василич первым делом распорядился:

— Девушка, принесите-ка нам, пожалуйста, стаканья! — Взгляд его наконец утерял суету и оттаял.

Сергеа достал домашние шаньги, котлетки, Павел мороженого омуля. Подняли пластмассовые стаканы, сдвинули их, те мягко и беззвучно согнулись, и Павел, издав хрюкающий смешок, крикнул:

— Деуска! А путних стаканьев нет?

Девушка, угловато-стройная, с милым, припудренным прыщикомazole сочно накрашенного рта, улыбнулась и, разведя руками, звонко сказала:

— Нету. Знала — дак для вас взяла бы!

Павел, расстегнув черное полупальто с меховым нутром, сидел, приложив висок к ледяному оконцу. Из высоко поднятого воротника виднелась его крепкая жилистая шея, выпуклый угол челюсти и перекатывающаяся в зубах спичка. Самолет уже описал круг над тайгой и, пролетев над скалистыми щеками белого, со сливочными складками Енисея, потянул, набирая высоту, над правым каменным берегом. Сквозь мутную рябь облаков, вскоре рассеявшихся, все выше громоздились сопки, вздувалось неправильными пузырями бело-штриховое полотно, как ремнями стянутое речками и распадками, и чем сильнее выпирала земля, тем сильнее натягивались речки и распадки и тем безлеснее становились шершаво-меловые верхи гор. После безвылазного трудового года, после месяцев тайги будто долгожданный ураган нес Павла над родной Сибирью, и все стояли перед глазами синие бурановские дороги, знакомые до каждого гвоздя избушки, повороты реки, заиндевелые скалы и убегающие фигуры сохатых, деревянно, как ходулями, с круговым захлестом перебирающие ногами по припорошенному льду.

Вспоминался особенно любимый отцом Аян, красивый тактичный кобель лайки, серый с белым низом, белым плечом и белой полосой ото лба по носу. Двигался он аккуратно, с литой изящностью неся мощное тело на высоких стройных ногах и беря след, без напряжения перемахивал упавшую лесину, поджимая задние лапы экономным пластилиновым движением. Солнечным днемком в тайге, когда Павел пил чай у костра, прибежал разгоряченный и, не в силах сразу остановиться, несмотря на ходящие ходуном бока, рыскал вокруг костра, черпая пастью снег, а потом останавливался, и встречное солнце обводило пушистый силуэт нежным ореолом.

По осени, до сильных морозов, Павел варил собакам на костре возле избушки. Наливал в таз густую, со льдышками, воду, не желавшую смешиваться с пыльным сухим комбикормом, ставил таз на два бревнышка, между которыми по-морозному едко трещал костер. Таз начинал ворчать, на дне зрел и пробивался пузырь, потом другой, и вскоре таз всю бурлил и пузырился, а Павел стоял и помешивал его деревянной, похожей на лопасть мешалкой. Мешалку эту он клал на лабаз у двери, и ее заносило снегом так, что торчала только ручка, а иногда забывал в тазу, и собаки утаскивали ее, и он, ругаясь на них, делал новую, а они утаскивали и новую, и, когда Павел приезжал весной на лодке пилить дрова, возле избушки валялось несколько таких заплесневелых лопастей.

Уже всю сияли звезды, а сварившийся корм еще стыл на лабазе, и Павел, выходя его помешивать, строго поглядывал на дрожащего голодной дрожью Аяна. За день натаскавшись по тайге, Аян ел, вздрагивая утянутым животом, распустив плотно закрученный хвост, и на спине бессильно белела заледенелая вмятина распадающейся на стороны шерсти. Аян судорожно подхватывал кусок рыбы, а наедаюсь, вежливо косился на Павла и, отвечая на одобрительные слова хозяина, чуть прижимал уши и чуть двигал хвостом, а Павел с гордостью и любовью глядел на мощный торс своего кормильца, на беззащитно тонкие щиколотки с какими-то почти заячьими жилками на неутонченных ногах. Жилки эти вытирались от бесконечных снегов, и виднелась голая розовая кожа в кровавых ссадинах. Еще порывшись в каше, Аян отходил, раздувшись, как бочка, отяжелевший, обессиленный, и, будто извиняясь за свое тяжелое и ненормальное насыщение, слабо вилял хвостом и, нахолившись, нырял в снежную дыру катуха переживать эту свою тяжесть как болезнь.

Павел заходил в избушку и со светлым облегчением ложился на нары. Иногда в мороз он запускал Аяна в избушку, и тот спал под нарами, и плоско и беспомощно лежали на полу его трудовые ноги, и Павел наклонялся и щекотал волоски на пятке под большой шершавой подушкой, и Аян во сне смешно, по-щенячьи дергал лапой. И снова спал, размеренно вздымая грудь и временами по-человечьи тяжело вздыхая, а Павел не мог заснуть и, слушая мерное дыханье, глядел бессонными глазами куда-то вдаль, за бревенчатую стену, за ночную таежную даль, и думал, что, видать, на роду у него написано так вот не спать, бдеть, хранить чей-то сон... Потом в набитом собачьем брюхе что-то все тяжелей ворочалось, бурлило, из-под нар начинал подтекать знакомый и почти родной смрадец переваренной рыбы, Павел негромко будил Аяна, и тот, потянувшись длинными ногами, вставал и с аккуратной проворностью уходил в морозную ночь.

Иногда Аян проявлял поразительную чуткость, когда, подходя к развилке лыжницы, по взгляду хозяина угадывал, по какой надо идти, а иногда — полную дурость и беспомощность: по пути между избушками, убежав за соболем, он, если следы уводили назад, возвращался в покинутую избушку и там оставался, и если бы Павел не приходил за ним, зная эту причуду, то давно бы замерз, не сдвинувшись с места, подъез вокруг избушки все, включая собственный навозец, и пребывая в твердой уверенности, что его не бросят среди снегов и мороза.

В паре с Аяном работал у Павла по зверю Рыжик, молодой рыжий кобель. Однажды под осень вышел к поселку и крутился возле него, деря по ночам коров, медведь. К Павлу прибежали, сказали, что видели того возле дизельной. Павел схватил карабин, собак. На беду, как раз возле дизельной кипела дурацкая собачья свара, и Павел, не зная об этом, отпустил собак, и засидевшийся Рыжик ввязался в драку, и хотя тут же побегал за взбешенным хозяином, время было упущено, и Аян, уже хвативший свежего следа, неся в густой пихтач, где таился на все готовый медведь. Когда Павел подбежал, пихтач был уже охвачен истощенным собачьим визгом.

Он рванулся туда вместе с Рыжиком, выстрелил по медведю, ранил, попал в переднюю лапу, зверь ломанулся навстречу, и Павел, свалив его прямым выстрелом в трех метрах от себя, бросился к Аяну. Он еще был жив, и Павел все укладывал кишки в распоротый живот, потом взял любимого кобеля на руки и понес, а тот через несколько шагов поднял голову, лизнул его в губы и испустил дух.

2

— Ну ты чё, Пал Григорич, мышей не ловишь? — толкнул Павла Василич, кивнув на пакет. — У нас вроде в котомке булькотилось чё-то.

— Пал Григорич смертью храбрых, — подмигнул Серега.

— Да пошли вы в баню, обормоты, сами бóшки повешали, — рыкнул Павел хохоча, замахнувшись на Серегу, и так они еще долго пререкались, пили, толкались и тряслись от смеха, а в Емельяновском аэропорту сели в машину и помчались по крупному сибирскому асфальту в Красноярск. Бежала под капот серая трасса, то и дело передуваемая туманными струями поземки, и впереди перед ними перла, приседая на ямках мощной кормой, огромная «тойота-краун-мажеста» с правым рулем и выбитыми габаритами.

Ночевали у Василичевого знакомого в доме из грубого бетона, за толстой железной дверью. В квартире было тепло и чисто, несмотря на ремонт в ванной. Николай, хозяин, узнав, куда они едут, все рассказывал, как «гонял тачки со Владика», как сел за руль первой машины, едва зная, где какая педаль, и как разбил этот самый шестицилиндровый полупредставительский «марковник» — «тойоту-марк-два», заблудившись на каких-то бетонках возле китайской границы.

Жена Николая, Таня, молодая, совсем девушка, вышла в байковом халате и, быстро собрав на стол, скрылась в комнате. Была она с непроколотыми ушами, ненакрашенная, с чуть розоватыми веками и полупрозрачными серыми глазами. Позже, когда мужики уже всю сидели за столом, она старательно чистила свои крупные зубы над раковиной, долго и поразному открывая рот, и в нем гулко и тоже на разные лады отдавался мягкий шорохоток зубной щетки.

Под утро Василич снова гнал, снова стекленели его майорские глаза, и металось в них грешное дорожное пламя. Из города они мчались назад в Емельяново, а когда были взяты «билетья», Василич рванулся на второй этаж в пустынный и прохладный портовский ресторан, где они ждали регистрации на Владивосток и где Василич успокоился, только когда на столе появились пельмени в горячем бульоне и большая ледяная бутылка «Минусы», из которой официантка, эффектно заложив левую руку за спину и переломаясь, налила три рюмки. Серега Рукосуев только кряхтел, улыбался, и, когда жевал, склоняясь над тарелкой, ходила и шевелилась, как живая, его светлая неухоженная борода.

В самолете, пробираясь по проходу, из-за какой-то путаницы с местами вдруг зарыдала, затряслась в истерике стареющая женщина, а потом сидела с бледным лицом и пила минеральную воду из холодного стакана, и стенки его в такт дыханью то и дело покрывались туманом. Рассветало, погода была ясной, лишь изредка наплывала опаловая дымка, и еле ползли горы в аскетической штриховке тайги; снова вспухая меловыми буграми меж речек и распадков и вдруг прорезаясь острым хребтом, плыли большие и малые реки, дороги, условно-схематичные поселки, и сидели в ряд, несясь в свой небывалый отпуск, Павел, Василич и Серега, а под ними в деревнях и поселках кололи дрова, везли сено, мчались на «Буранах», перли по трассе из грубого асфальта на искалеченных «каринах» такие же замороженные и продутые ветрами, измученные разобщенностью и разлуками Пашки, Василичи, Сереги.

...А разлуки последнее время как-то навалились. Этой осенью нескладно уезжала Галька, младшая и непутевая дочка бабки-соседки и Серегина свояченица. Павел очень любил ее сына Ваську, растущего без отца, да и с бабушкой они давно жили почти одним хозяйством, и разом решились бы все проблемы, если бы Павел наконец на Гальке женился. Галька мазала веки чем-то неумно-серебристым или зеленым, что совсем не шло ее темным глазам, но главная беда заключалась в ее заполошности, ненадежности и в том, что, хватив стопку, она слетала с катушек, и все, включая собственного сына, становилось ей трын-трава. «Пока сам дома — еще куда ни шло, а на охоту уйдешь, такой гуд откроет, что крыльца родного не узнаешь, не говоря уж, что всех щенков переморит», — говорил Павел и с особым упорством не позволял с ней никакой близости, хотя Галька частенько и забегала с гулянки «за магнитофоном», разгоряченная и дикошарая.

У Гальки было много ухажеров, и всех она бестолково растеряла, ненадолго вышла замуж в Енисейске и, приехав как-то под осень, в темно-сером длинном плаще солидно сходила по трапу, а сзади скромно ступал паренек с коляской и чемоданом. Через день, правда, она уже носилась по гостям в родной фуфайке.

В поселке Гальку на работу не брали, а надо было кормиться и кормить Ваську, и она уезжала в Подтесово, где ее подруга училась на курсах судовых поварих. У бабки гостил племянник Михаил из Магаданской области, и оба уезжали на одном теплоходе. Бабка плакала: было ясно, что с Мишкой они больше не увидятся, а Галька весь день была необычно возбуждена, Павел даже подумал, что она пьяная. К теплоходу Галька вышла до неузнаваемости накрашенная, с опасно пышной копной белых волос, в каком-то лимонном наряде и красных лакированных туфлях. Павел обнял ее, и она неожиданно порывисто прижалась: «Ты уж береги бабушку и Ваську!» Васька тем временем дурачки хохотал и скакал, держась за бабуку, а когда убрали трап и ревущая Галька с Мишкой стояли на второй палубе, вдруг в голос заплакала пятилетняя Серегина Машка: «Тетю Галю жалко!»

Когда через полчаса Павел зашел к бабке, та, покачиваясь, сидела на лавочке, уставясь в белую точку теплохода на фоне далекого мыса. Она повернулась к Павлу, вытерла глаза платком и сказала:

— Ой, не знай, чё будет, Паша. Здоровье кончатся, старость подстигат.

«Без царя в голове девка», — говаривал, глядя на Гальку, Григорий Анисимович, Павлов отец, каждый год приезжавший через полстраны и в последний приезд казавшийся особенно изношенным, постаревшим — в бане было больно смотреть на впалый живот и совсем тонкие предплечья. Одетый в чистую рубаху и темно-синий пиджак, отец сидел за столом пофлотски подтянутый, чернобровый, с квадратной седой скобкой на затылке, и на испещренном сухими морщинками лице живым галочьим светом жили глаза.

Самую главную часть жизни Григорий Анисимович провел на Таймыре, куда попал незадолго до войны и не по своей воле и где возглавлял гидрографический отряд, перебрасывавший грузы и людей на вездеходах по льду Пясинского озера. Там он и остался на долгие годы и жил бы по сей день, если бы не гипертония жены, которой врачи настоятельно рекомендовали переехать в среднюю полосу и с которой Григорий Анисимович перебрался в небольшой поселок в Калининградской области на берегу моря и откуда вернувшийся из армии Павел отправился в Иркутск учиться на охотоведа.

Григорий Анисимович все старался до Павла дотронуться, приобнять его, убедиться, что этот вот крепкий и умелый малый — его родной сын, и дотошно заваривал чай небольшими порциями, а спитой тут же выливал, так что, когда Павел прибежал на перекур, чая не было, и он раздражался, а ночью лежал, горя от стыда, потому что преодолеть это раздражение было труднее, чем закидать тележку обхватных листовых чурок.

Когда отец умер, Павел был на охоте, и мать специально сообщила позже, чтобы не дергать его из тайги и чтоб он не рвался даже на девять дней. Павла две недели не было на связи, он ввалился в избушку разгоряченный, с горой пушнины, с четырьмя свежестреляными соболями в поныге. Хотелось побыстрее разделаться с дровами, водой, выйти на связь и поделиться успехами. Он даже знал, что и как скажет: сначала спокойно расспросит всех о делах, поворчит на погоду и собак, а потом, на Серегины слова: «Ну а у тебя как делишки?», зевнув, небрежно бросит: «Да вот четвертый десяток добираю», а совсем перед сном подробно расскажет, как добыл «в день» четырех соболей и как последнего уже в темноте вырубал из дуплистой кедры. Он долго копался возле избушки, возил дрова на «Буране», а потом зашел в тепло, разделся и включил рацию.

— Кедро-вый, — заранее улыбаясь, специальным конфиденциальным голоском позвал он Серегу.

— На связи, Топкий, — деревянно отозвался Серега и, крикнув, резанул: — Короче, Паша, приготовься, дома у тебя новости совсем хреновые, отец твой умер... Как понял меня?

— Понял, Сережа, понял, — ровно сказал Павел и, зарывав, упал лицом вниз на нары.

После охоты он летал к матери, которая с каждым днем все смелее перечисляла подробности последних дней отца и, стоя за спиной Павла, перебирающего фотографии, все поправляла прядь на его макушке, где редящие волосы распадались, и жгучая бессмысленность этого невольного движения доводила Павла до молчаливого отчаяния. Мать уговаривала забрать «чѐ надо из папиного, все равно пропадет теперь», — а Павел морщился («Ну куда я в такую даль попру?») и взял только дневник и старинный топор с клеймом, с горестной решимостью сбив его с топорщица.

...Снова облака тонкой волнистой пленкой закрывали землю, самолет спал, спал Василич, уронив руку с толстым золотым кольцом на пальце, спал Сergyа Рукосуев, приоткрыв полубеззубый рот, и только Павел, откинувшись в кресле, глядел перед собой закрытыми глазами, а внизу полз Становой хребет и на западе, отделенный нечеловеческим расстоянием, все удалялся Енисей с Красноярском, а где-то на том конце России под шорох балтийских волн спали мать и сестра, спала под снегом отцовская могила, и вся Павлова жизнь волнистой облачной пленкой была растянута на тысячи верст.

3

Во Владивостоке стоянка перед зданием аэропорта была заставлена японскими автомобилями. Из белой в налете грязного снега «хонды-аккорд-инспайр», сверкнувшей фарами, улыбаясь, вылез Василичев друг и абаканский однокашник Леха Беспалов. С Василичем они не виделись лет двадцать. Долго обнимались, трясли друг друга.

— Лех, где кости в тряпки кинуть? — спрашивал Василич, поглядывая на несущую мимо заснеженную сопку с голо-прозрачным дубняком.

— В «Океане», пожалуй. Подъедем сейчас, разберемся. Короче, вы сегодня устраивайтесь, а завтра уже по стоянкам рванем. Цены упали, кстати. Вам вообще что нужно-то?

— «Сурф» дизельный для конторы и нам с Пал Григоричем по такой какой-нибудь чахотке. — Василич похлопал по щитку.

Деньги отдали на хранение Лехе, а сами устроились в прохладно-зеленоватой гостинице «Океан», где Василич каждому выделил номер. В ресторане они взяли салат из кальмаров под майонезом, борщ, свинину с жареной картошкой и холодную «Уссурийскую», которой они огрели бутылку пять, после чего Павел еле дополз до номера и как провалился с перепоя и недосыпа. Через некоторое время, правда, зазвонил телефон, и вкрадчивый женский голос поинтересовался, не нужны ли «девочки». Па-

вел пробормотал что-то вроде «какие на хрен девочки». Голос умолял: «Ну хоть посмотрите на моих красавиц», но Павел пробубнил «успеем» и провалился в сон.

Проснувшись часа через три, он окатился под душем, оделся и вышел проверить товарищей. Дверь в соседний номер была не заперта. В кресле неподвижно спал Серега. Василич пошевелился, встал с кровати и, глядя сквозь Павла, пробрел в ванную. Павел выполз на улицу и пошел к Морвокзалу.

После аэропортов, дорог, ресторанов, после бесконечной самолетной гонки от непередаваемого чувства края вдруг перехватило дыхание. Перед Павлом была бухта, тесно забитая ржавеющим флотом. Ближе всего стоял белый в рыжих подтеках плавучий госпиталь с красными крестами на круто изогнутом корпусе, за ним в ряд огромные, брошенные на произвол судьбы военные корабли, с сетками антенн, с подтеками под ноздрями клюзов, страшные в своей бессильной мощи. Справа подваливал к пирсу пассажирский теплоход, а прямо перед Павлом тарахтел, подрабатывая к берегу и с носа высаживая пассажиров, изношенный, крашенный черной краской катер. И все это старое железо ходило ходуном, вздымалось вверх и опускалось вниз в прозрачной матово-голубой воде океана. Клубилась из-под винтов бело-голубая пена, и эта поразительная и спокойная зеленая синева дышала, колыхалась и излучала такую абсолютную силу, что Павел, несмотря на тяжелейшее похмелье, застыл как зачарованный, будто захлебнувшись, захлебнувшись живой, дышащей синевой, такой неожиданной близкой и такой отстраненно-далекой и на тысячи безлюдных верст такой же чистой, могучей и будто говорящей: в каждом заливе, в каждой береговой извилине, в ведре, которое матрос на веревке подымает на палубу, везде я — шевелящийся, дышащий и огромный океан. А у самого берега, на полной синего света воде, не приставая к этой синеве, пузырилась, прибываясь, бурая мазутная грязь.

Павел купил бутылку пива и выпил ее, заев толстым и пряным китайским беляшом из белого теста. Потом долго и тяжело поднимался по заледенелой, засыпанной серым снегом и мусором лестнице, мимо ларьков, прилавков с ценами, в полтора раза превышающими красноярские, мимо изможденных бабок за прилавками, мимо протягивающей руку старухи-нищенки, мимо этого измученного города, производящего на фоне невообразимого океана какое-то отчаянное впечатление. Он пришел в номер и не раздеваясь лег на кровать, с чувством раздражающей потери думая о краткости жизни и о том, что никогда уже не будет жить здесь.

Было темно, когда Павла разбудил стук в дверь, за которой стояли причесанный и благоухающий Серега и Василич со свежим огнем в глазах. Павел привел себя в порядок, и они пошли в бар на этом же этаже. Там было пусто, лишь за угловым столиком сидели с выжидающими улыбками три девицы. Василич окинул товарищей львиным взглядом, и они, перемигнувшись, подхватили стулья и подсади к девушкам, не забыв заказать себе водки, по поводу чего одна из девушек, худошавая, с лисьим лицом и сильно накрашенными глазами, сказала: «Вод-ка пей, зем-ля валяйся».

Светлой звали крупную девицу с небольшими глазами на полном крестьянском лице, Олей — худошавую, с лисьим лицом и большим вырезом, в котором виднелось начало груди, Яной — длинноногую плоскую кореянку в коротком малиновом платье. Смущенно морща нос, она все время улыбалась. Девушкам заказали вина, закуски, и Василич, подняв рюмку, сказал:

— Ну, девочки, за знакомство!

Павел выбрал крепкую Свету, Василич лисовидную Олю, а Серега Рукосув кореянку в малиновом платье.

— Короче, анекдот, — сказал лыбясь Серега. — Сохатый со страшного бодунища из лесу выходит — и к ручью. Пьет. Ага. Тут — охотник

и с эскаэса хлесть! хлесть! ему в бочину. — Серега вздрогнул, сползая, схватился за бок и продолжил: — Тот все равно пьет стоит. Этот опять хлесть! хлесть! Сохатый бóшку подымат: да чё такое-то, вроде пью-пью, а только хуже и хуже...

Девушки, переглянувшись, вежливо засмеялись, Павел с Василичем дружно загоготали, а Серега еще несколько раз повторил:

— Пью-пью, грит, а все хуже и хуже.

Уже обсудили детали, уже всю закусывали и хохотали, как вдруг появилась четвертая девушка. Стройная какой-то невероятной, ослепительной стройностью, она остановилась, ясно улыбаясь и придерживая голой рукой сумочку на длинном тонком ремешке. На ней были черные туфли на высоких каблуках, ярко-оранжевые в крупную сетку чулки на широких резинках и нечто черное шерстяное и очень короткое со шнуровкой на спине. На бедрах между чулками и этой кольчужкой оставалась широкая полоса голой кожи, а низкий черный лиф даже не держал, а просто задира-рал ее почти голую нежно-загорелую грудь.

Лицо под сложной прической из крашенных светлых с отливом волос было тоже каким-то стройным, легким, щедро улыбающиеся губы ярко накрашены, и на этом летящем, улыбающемся куда-то вдаль лице сияли ясным океанским светом синие глаза.

Ошарашенный, Павел спросил:

— Кто это?

И лисолицая Оля с тихим злорадством ответила:

— Даша.

Через секунду Даша сидела за столиком, а Павел нес ей салат из кальмаров. Василич купил себе пакет кефира, на нем стоял адрес завода — «Промузел», и Даша весело сказала, оглядев компанию:

— Промузёвый, в общем, кефир.

Возбужденный Василич деловито обсуждал с девушками последние подробности («Короче, сейчас все идем к нам в номер и приглашаем вашу хозяйку»). В бар зашла еще одна девица, совсем молоденькая, с веснушчатым личиком и большим, темно накрашенным ртом, и тоже подседа к столу. Василич обратился к товарищам:

— Ну что, часов шесть нам хватит? — И, тыкая пальцем в девушек, скомандовал: — Раз, два, три, четыре, пять, встаем и идем!

Тут вбежала еще девица и чуть ли не с криком: «И я тоже!» — бросилась к столику, но Василич сделал обрубаящий жест рукой:

— Стоять, Зорька, похоже, хорош!

Купили прорву вина, водки, закусок и огромную коробку конфет. В ней оказалась пластмассовая форма с редкими углублениями, и Василич велел сыпать конфеты в тарелку. Все повалили в номер, кто-то из девушек позвал бандершу, похожую на жабу девушку без возраста, в короткой бурой юбке, с мясистыми ногами и стыдливой улыбкой. Получив деньги, она было хотела присоединиться к лихой сибирской компании, но возмущенный Василич выгнал ее в шею («Еще кряквы этой здесь не хватало!») и долго сопел от возмущения.

Василичу очень хотелось устроить эдакий неспешный и расчетливый разврат, но, как он ни старался, ничего у него не вышло, да и, наверно, не выйдет никогда. Едва товарищи уселись, успокоенно тиская девчонок, как сама собой началась обычная мужицкая попоечная суета, звон рюмок, хохот, и все пошло по той же колее, что и в самолетах.

Обнимая Дашу и что-то ей с жаром говоря, Павел встретился глазами со Светой, та с укором качала головой и говорила:

— Никогда тебе не прощу.

Даша вся подергивалась в такт музыке, поигрывала вздернутой грудью, и из-под натянутого лифа виднелись два полукружья темной кожи. Лилась водка, гремела музыка, бегали с голым торсом Света и Оля, и Дашины

руки ниже локтей были покрыты темными пушистыми волосиками. Она отошла к окну покурить, и Павел сквозь невообразимый шум услышал, как она сказала Оле:

— Я понравилась.

Подсела со смущенной улыбкой Яна, провела рукой по его телу сверху вниз, спросила что-то вроде: «Ну что, котик?», придвинулась:

— Пашка, ты такой ч-ч-откий!

Павел сидел как опечатанный и поглядывал на щебечущую у окна Дашу, а Яна все мучила его:

— Я тебе не нравлюсь, да? Я некрасивая?

Он взял ее волосы, обхватил ими, как углами косынки, ее щеки, поцеловал в улыбающееся лицо и покачал головой:

— Извини, мать, я определился.

Потом Даша долго рисовала ему план бухты Золотой Рог, потом были танцы, и она приплясывала, показывая указательными пальчиками то в одну, то в другую сторону и сама себе улыбаясь. А в Павле накопилась какая-то пьяная и ясная тяжесть, и с этой тяжестью он смотрел Даше в глаза, и она несколько раз говорила:

— Да ты чё на меня так пронзительно смотришь?

А он отвечал:

— Да ты чё такая красивая-то?

Уже в номере, когда на ней ничего не было, кроме тонкой короткой цепочки, как воротничком схватывавшей шею с маленькой родинкой, он нечто отметил, почувал моментальным звериным мужицким чутьем и, не переведя в слова, забыл: чуть заметную, как на папиросной бумаге, зыбь на ее груди с крупными круговинами темной кожи вокруг сосков.

Через некоторое время они вернулись к Василичу за вином. Тот в плотных зеленых трусах, коротконогий, с мохнатой грудью и стеклянным взглядом полулежал в обнимку с Галей и Яной и хором с ними пел «Лучину». Серега спал на спине, открыв рот. Света плакала в кресле у окна.

...Облокотясь на руку, глядя указательным пальцем его угловатое лицо от виска к челюсти, она лежала рядом:

— У тебя щека красная...

— От водяры.

— Как ты думаешь, мне сколько лет?

— Девятнадцать, — сказал Павел, остановив, расплотив на лице ее руку.

— Да я по правде спрашиваю.

— Лет двадцать пять.

Она замотала головой.

— Ну сколько?

— Тридцать. Помнишь, я тебе одну вещь сказать обещала? У меня сын есть. В третий класс ходит.

Тут до него дошло то, что он заметил в ее груди, — это была грудь кормившей женщины, еще крепкая, но с еле заметной зыбью тления, к которой он испытал тогда неосознанную и почти сыновью нежность. Он взял в руку ее кисть. Ногти были коротко подстрижены, и рука казалась наивно-детской.

— Рабочая рука, — сказала Даша. — У тебя дети есть? Понятно... — Она помолчала. — А мне так девочку хочется...

На ее губах уже давно не было никакой помады.

— У тебя губы такие красивые, — сказал Павел.

— А с накрашенными вульгарный вид, да? — спросила Даша, а он только покачал головой и долго и медленно целовал ее в глаза, губы, шею, а потом в темнеющую на длинной плоской косточке ее голени продолговатую подсохшую садину — она упала где-то на ледяной лестнице.

Уже было поздно, наваливалась усталость, он лежал, по-домашнему переплетаясь с ней всем телом и чувствуя в себе одно непреодолимое и

неожиданное желание: ему хотелось, чтобы она заснула. Он целовал ее в закрытые глаза, в переносицу, и она затихла, задышала сначала тихо и неровно, а потом все ровнее, легче и спокойней. Он смотрел на ее бледное и усталое лицо, на закрытые глаза, на приоткрытый рот с брэнной складочкой сбоку, на поблескивающий в ночном свете золотой зуб, на чуть вогнутый откосик лба под твердой и будто пыльной льняной челкой, которую он поднял, как кустик придорожной травы, и обнаружил там летнюю веснушчатую пятнистость. Она спала все вольнее в его руках, все глубже и сильнее дыша и словно куда-то двигаясь, и он, помогая ее сну, храня его, сам будто куда-то неся вместе с этим нарастающим движением.

Чуть путались мысли, и, как бывает в полу- или даже четвертьсне, вдруг необыкновенно ярко увиделся спящий под нарамами и временами вздрагивающий Аян, дремлющий у него на плече Галькин Васька, и Павел, мгновенно и резко очнувшись, долго глядел на Дашино лицо, навек прикованный этой неизбывной беспомощностью спящего живого существа.

Потом зазвонил телефон, и в нем раздался негромкий, показавшийся Павлу торжествующим голос жабовидной бандерши:

— Девушку позовите-ка мне, пожалуйста.

— Ой, это я так заснула у тебя? — дисциплинированно вскочила Даша и подошла к трубке.

Он помог ей одеться, причем сначала неправильно, не той стороной натянул на нее шерстяную кольчужку. Стоя перед ним собранная, накрашенная, с сумочкой, в туфлях почти одного с ним роста, она сказала:

— Ну ладно, красотулечка, спи, — и ушла семящей походочкой.

До утра он, не сомкнув глаз, пролежал в постели. Кто-то бегал по коридору, слышался женский щебет, низкие мужские голоса, а перед глазами, дыша, вздымался синий океан, качая ржавые корабли, тянула тощую руку нищенка, и наплывало сухой, летящей красотой лицо спящей Даши с поблескивающим золотым зубом в чуть приоткрытом рту. Он хорошо помнил родинку рядом с бьющейся жилкой на ее шее, подтянутый живот с маленьким и неглубоким пупком, другие подробности, и только это ее лицо ослепленная и будто засвеченная память отказывалась воспроизвести в точности.

Он помнил, как в один момент Даша простонала заученное: «Ах, я умираю», и стало нестерпимо больно за слабость, неубедительность этого «я умираю», за то, что вот она, дуреха, старается, отрабатывает, а сама уже так устала, что чуть дали покоя, и заснула как убитая. Он думал о том, что она будто состояла из двух частей: из игривой обложки и щебета — и другой Даши, которая, глядя его бороду, рассказывала про острова, про гребешков и крабов и про то, как ее отец, рыбак-путинщик, когда они с сестрой были маленькими, щекотал их бородой. Он представлял Дашины синие глаза, все ее загорелое, тонкое и богатое тело, как оно лежит в синем океане, колыхаясь вместе с ним, с детства освященное, омытое этим океаном, и завидовал этому океану, и ревновал, и эта ревность была во сто крат сильнее мелкой и бессмысленной ревности ко всем гостиничным пьяным мужикам, бритым дельцам с топорными лицами и воняющим приправами китайцам, которые, как мазутные пузыри на синей воде, только качались и качались где-то рядом, но не смешивались, не приставали к ее легкой душе.

4

Утром у Василича в номере Серега, все время о чем-то сосредоточенно думавший, вдруг сказал:

— Валька, ну, конопатая-то эта, — *стельная*.

— Чего? — не понял Василич.

— Кормит! Вот чего!

— Тру-у-ба! — протянул Павел.

— Как Серьга ее по коридору волок, — ухмыльнулся Василич, — как козу.

Вскоре появился Леха, и они вышли из гостиницы.

Машина стояла на той стороне, и по этой тесной, в берегах грязного снега улице плотным потоком, тарахтя дизелями, нос к корме двигались: «тойота-сурф», «мицубиси-диамант», «ниссан-лаурель-медалист», «исузу-бигхорн», «тойота-креста», «хонда-аскот», «ниссан-цефиро», «тойота-марк-два», «тойота-виста», «тойота-грация», «тойота-корона», «сузуки-эскудо», «хонда-вигор», «тойота-кариб», «ниссан-сафари», «тойота-чазер», «мицубиси-паджеро», «тойота-спринтер», «ниссан-глория», «тойота-цельсиор», «тойота-краун», «тойота-люцида», «тойота-корса», «мицубиси-делика», «тойота-калдина», «ниссан-пульсар», «тойота-виндом» — все с правыми рулями, и снова «тойота-сурф», «мицубиси-диамант», «ниссан-сафари» — и так до бесконечности. У многих машин не было поворотников, фар, бамперов.

Леха вез их по узким, по выражению Василича, «под лошадей сделанным» улицам, то ныряя вниз, то взмывая на подъем. Громоздился по склону сопок дома с облезлой краской, парили трубы теплотрасс, и то наплывала низкая морская облачность, то выглядывало теплое солнце, освещающая горы льда и грязного снега по краям улиц, допотопные одноокие трамваи и японские грузовики с парными квадратными глазками и зелеными огнями на крышах кабин. Главный автомобильный рынок, «Зеленый угол», располагался на голой сопке. Туда по извилистой и местами почти вертикальной обледенелой дороге отчаянно, как на ралли, скрежеща и воя шипованными шинами, юзом съезжая обратно, лезли автомобили. Перед Лехиным «аккордом», не одолев подъем, сползала, бешено вращая колесами, длинная белая «креста», и тут же, едва не задев их, пронесся, взревев дизелем и подлетая на кочках, «хай-люкс» с каким-то прыгающим движком в кузове и дугой над кабиной, в которой заправски сидел почти школьник.

Над многоверстными безмятежно-синими океанскими просторами, над далекими заливами, сопчатыми грядами и островами стоял грязный, заледе- нелый, каменистый опуыш, заставленный бесконечными сверкающими рядами машин, возле которых толклись обветренные мужики в коротких меховых кожаных куртках и высоких шапках из выдры. В небе плавал огромным и единым крылом гриф. На самом верху этого бугра, задрав хроми- рованный кенгурятник, стоял на фоне неба черный «сурф» с подложенными под колеса камнями и размашистой надписью «Т/х Корсаков» на ветровом стекле. Павел разговорился с бродившим рядом мужичком, бывшим охот- ником, рассказавшим, как тигр порвал трех его собак. Прощаясь, они пожа- ли друг другу руки, и мужичок сказал с улыбкой сожаления:

— Видишь как: был охотник, а теперь тачками торгую. Ну давай, уда- чи тебе. А насчет «сурфика», мужики, думайте. Да и отдаю даром, себе в убыток.

А Павел думал, спускаясь с горы к машине, что ведь не поставишь, не объединишь всех из-под палки, разве только общей и страшной бедой, что отдельно все, сами по себе, живут, но иногда, бывает, перевяжутся два че- ловека разговором о чем-нибудь третьем, постороннем на вид, о рыбалке или собаках, и меж словами вдруг так явственно что-то могучее и общее забрезжит.

Вечером после прикидочных поездок по стоянкам мужики отдыхали, на следующий день купили черно-синий «сурф» и к ночи снова оказались в баре. Даша была в том же наряде, только оранжевые чулки сменили чер- ные из сетки в крупный ромбик. Почти сразу они с ней ушли в номер.

Губы ее были ярко накрашены, ресницы растопыренно торчали, Даша сидела на кровати, теребя плотную и широкую резинку от чулка:

— Хочешь, пойду сниму помаду, а то перемажу тебя всего. Как ты меня усыпил в тот раз... — И с задумчивым недоумением добавила: — Мне с тобой... странновато.

...Павел лежал, налитой усталостью и одновременно ясный, бессонный, чувствуя в себе странное сочетание проспиртованности и стерильности от ввешегося мыла, зубной пасты. Постоянно хотелось пить. На тумбочке стояла минеральная вода, к которой он прикладывался, сгибая руку с бутылкой, и, как это бывает у сильных и длинноруких людей, мышца, съезжая вверх, собиралась крутым бугром, обнажая худую часть руки.

Даша лежала, облокотясь на его грудь с пожизненным крестьянским багровым треугольником и выпуклыми мышцами. Он снова захотел пить и, что-то задумав, прищурился, но едва произнес: «Набе...», как она понимающе кивнула, набрала воды в рот и, закрыв глаза, поцеловала его, нежно отпуская минеральную прохладу короткими порциями.

Некоторое время они лежали молча.

— *Тебе хорошо со мной?* — вдруг спросила Даша.

Павел первый раз в жизни сказал «да!» с такой безоглядной уверенностью, а потом зазвонил телефон, и собранная Даша, пританцовывая, прощбетала свое:

— Ну ладно, красотулечка, я пошла. Спи. — И вдруг, постояв, добавила: — *Я тоже спать поеду.*

Павел медленно оделся, постучался к Сергею, тот с открытыми глазами лежал на всклокоченной кровати. Павел отвалился в кресло:

— Серег, у нас выпить чё осталось?

На следующий день снова сверкали над океанскими далями машины на пыльных и бугристых склонах стоянок. Пыль была везде: на кузовах, колесах и под капотами. С хватким дизельным рокотком завелся «сурф». Большая и низкая красавица «виста» с напряженным Василичем за рулем медленно поехала, качаясь и цепляя пластиковыми свесами комья глины. Павел выбрал темно-зеленую полноприводную «корону» с двухлитровым двигателем. Во всех машинах пахло мастикой, которой были натерты панели, а из выхлопа от катализатора тянуло конфетной сладостью. Такой же сладкий запах плыл над улицами всего города, мешаясь с запахами снега и моря. Бумаги оформили за полчаса и в тот же день погрузили все три машины в вагон на Красноярск. К вокзалу гнали в темноте, уличные фонари не горели, и сверху, с сопков, расположение улиц угадывалось по бесконечным вереницам автомобильных огней.

Павел думал о том, как погонят они машины по зимнику в Верхне-Инзыревск, как будут нестись колонной с транзитными номерами и сияющими фарами в снежной пыли, как странно будут выглядеть среди кривых лиственниц эти надписи «Рояль Салон» или «Супер Салон» и какой все эти больше и пока еще великолепные автомобили создают пронзительный контраст со всей окружающей разрухой и нищетой.

В последнюю ночь, лежа с Дашей, он почему-то представлял зимнее небо с плоскими оловянными облаками, снежный верх сопки и выгнутые лиственничные ветви с шишечками и то, как, бывало, за этими ветвями, за хребтами и облаками вдруг затаится что-то и одним вздохом северного неба, как огромным насосом, высосет всю душу без остатка, и как иногда кажется, что если не поделишь с кем-нибудь этот вздох, то в сорок лет или пустишь себе в лоб пулю, или сойдешь с ума.

Потом они с Дашей в полусне смотрели по ночному каналу «Жестокую Азию» — американский сериал про джунгли, в котором резали визжащих крыс и у огромной живой черепахи отрубали ноги.

Павел выключил телевизор, и Даша, ровно дыша, заснула рядом с ним, а он глядел на ночной уличный свет, пробивавшийся в щели спущенных жалюзи, и ждал звонка как спасения, потому что, несмотря на полную ночную неподвижность, жизнь неслась вперед с реактивной ско-

ростью, требуя или немедленно приладить происходящее к себе, или прекратить... И снова звонил телефон, и Даша стояла перед ним, говоря: «Ну все, красотулечка», и он в последний раз поцеловал ее и повернул за ней ключ.

Ранним утром он сидел в самолете между храпящим Василичем и учительницей из Канска в толстых очках, за которыми будто именно с поправкой на эту толщину и были невероятно густо обвешены чернильно-синей тушью глаза. Некоторое время они разговаривали, потом учительница уткнулась в книгу, а Павел, отвалившись в кресле, в полудреме думал о том, как ему придется возвращаться к прежней жизни. Он вспомнил, как когда-то по приезде от овдовевшей матери насаживал отцовский топор на новое топориче, как держал его, гладкое и белое, на весу топором вниз, постукивая по торцу, и как волшебным-покорно карабкался по топоричу при каждом ударе топор. Он думал о том, как нескоро вернется былая и зыбкая устойчивость его жизни, дающаяся только каждодневным мужицким трудом, и о том, что только от этого труда и зависит его душевное равновесие, потому что, взясь с каким-нибудь срубом, он и в самом себе будто возводил что-то из гулких и прозрачных бревен.

...Как все меняется в дороге, думал он, вот если дома у каждого свои дразги, обиды, раздражение, к примеру, на соседа, который столько лет копается с новым домом, все выпендривается, аккуратничает, а сам живет в балке с бабой и тремя ребятишками, то в самолете это уже переоценивается и подается попутчику с гордостью: вот, мол, какие у нас мужики, терпеливые, основательные. Павел, одиноко живущий и как никто понимающий, что такое просто выстиранная женщиной рубаша, умел очень хорошо сказать про товарища: «Крепкая у Сереги семья», и было в этих словах столько бескорыстного одобрения, что, казалось, тень чужого счастья питала и его самого какой-то трудной и светлой силой. Он вспомнил чистившую зубы Таню, гулкий шорох зубной щетки и ту пронзительную нежность, которую испытал тогда к этой щетке, к зубам, ко всей этой молодой женщине. Улегшись в тот вечер на полу в спальнике, он со глущим и стыдным чувством вдруг представил ее своей женой и тут же, переборов себя, отпустил ее, отдал, испытав уже давно знакомое ощущение освобождающей потери, и дальше, засыпая, думал только о самом Николае, о его седеющей бороде и о том, сколько ему пришлось потерять волос, прежде чем найти такую Таню.

Потом Павел думал о годах, убеждая себя в том, что все переживания по их поводу не более чем слабость и предательство перед старшими товарищами. У него почему-то сильно стачивались передние зубы, и, помнится, в Красноярске зубной врач, крупный лысый человек в халате, из-под которого мощно торчали серые брюки, покопавшись у него во рту сильными и сырыми пальцами, буркнул, что сейчас «коронки только назад поставим», а потом придется и весь «прикус повышать». Павел много лет жил в ожидании этого «повышения прикуса», а однажды, взглянув в зеркало, вдруг застыл, ошеломленный, поняв, что *хватит* прикуса. Понял и махнул рукой, как машут, болтнув остатки бензина в бачке: хватит до дому-то, как, глядя на оставшуюся жизнь, знают: хватит, всего хватит — и любви, и терпенья, и воли.

Самолет уже давно набрал высоту, и Павлова голова, сползая по откинутому креслу, клонилась то к Василичу, то канской учительнице. Перед закрытыми глазами все плыла снежная подкрыльная даль, вздутая таежная шкура, дороги, поселки, сибирские и дальневосточные города, а за городами этими, бросая на людей незримый снежный отсвет, стояла кряжма и горной тайгой студеная крепь природы, и продутый ветром парнишка в дражном свитере взмывал на дизельном «хай-люксе» на ледяной бугор, скрежеща шипами и высекая ледяную пыль... А сам Павел уже сидел за рулем своей «короны», и бежал под темно-зеленый капот крупный серый

асфальт, и дорога становилась все извилистей и вертикальней, и била струя пара из серебристой трубы теплотрассы, и в доме из обгрызенных блоков, в коммуналке без телефона, торопливо убирала, мыла посуду и собирала в школу маленького Артему Даша с поблекшим лицом и ясными, как океанская вода, глазами...

А когда прошло это почти непосильное чувство края жизни — жизни, растянутой на полпланеты, нечеловеческого и долгожданного удобства от какой-то наконец уже полной распростертости меж балтийской и тихоокеанской синевою, тогда вдруг все стихло, исчезло и стало казаться Павлу, что он — самолет. Большой дальний самолет, и портовский техник сливает у него из крыла в банку с проволочной ручкой керосин, а он стоит ни жив ни мертв на длинной белой полосе и все думает: «Господи, Господи, да что же это будет, что же будет, если вдруг недостаточно чистой и прозрачной окажется горячая и горемычная моя душа».

Когда подлетали к Красноярску, в родной и спокойной снежной дымке всплывали над серыми пятиэтажками и трубами сопки, и огромный четырехмоторный самолет летел совсем медленно, почти вися на одном месте и тихо снижаясь вместе со снегом. И Павел тоже как будто опускался, тяжелея от пережитого, и, казалось, падал, гиб, но все почему-то не долетал, не разбивался вдребезги, а, наоборот, все больше и больше наполнялся пустотой каждой потери и выносился куда-то вверх, в совсем уже заоблачную режь, где нет ни ушедших лет, ни жалости к себе, а есть лишь великая и горькая ширь жизни.



ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ

*

В ПОТОКЕ ВЕТВЕЙ

* *
*

Разметались по небу локоны облаков,
Спутанных, бесконечных, как череда веков,
Золотых или пепельных — не все ли тебе равно:
Нет у нас настоящего, будущее одно.
Что мы с тобой ни делаем — в воду глядим с моста;
В скользком теле толпы, словно в чреве кита,
Едем ли под землю, ужинаем, молчим.
Ты ли сидишь, качая длинную цепь причин
Невозможности выйти из дому в выходной,
Я ли несу из кухни треснутый заварной
Чайник, лежим ли долго, не зажигая свет,
В сумерках, обрастающих шерстью дурных примет,
Губы ли наши светятся, встретившись в темноте,
Стиснутые белеют пальцы — все это те
Семена грядущего, что, умирая тут,
В тощем суглинке времени, — где-нибудь прорастут,
Где-нибудь нас с тобою примут под сень свою —
Тернием ли в геенне, розами ли в раю.

* *
*

Ни в Граде, ни в миру, ни в пúстыни — ни среди
сумрачных огней,
Которые глазами грустными глядят из-за спины твоей,
Ни тут, на берегу заброшенном, где ржавое мерцает дно,
Скажи, ведь ничего дороже нам негромкой речи не дано.
Одно да будет мне позволено — повсюду говорить с тобой:
Где замусоленными волнами бумажными шуршит прибой
И где серебряною утварью горит намокшая трава,
Да будет речь твоя заутреней и всенощной, и голова
Моя, как темный улей пчелами, роится звуками в ответ —
Рыдающими ли, веселыми, сердитыми, а если нет —
Тогда душа покинет лагерь свой, растаяв
как вороний крик.
Без твоего — зачем мне ангельский и человеческий язык?

* *
*

Как игла в вышиваньи, скользкая взад и вперед,
То к полудню узора, то в ночь узловатой изнанки,
Или рыба, в породе прозрачных рассыпчатых вод
Узкий ход проложившая мимо постылой приманки,

Как синица, снующая в мутном потоке ветвей,
Как в начале строки и в конце промелькнувшее слово,
Разрывая листок, как сияние плоти твоей,
Что, во мраке моем исчезая, является снова;

Словно луч, зажигающий кожи эмаль и финифть,
Огонек алкоголя, дрейфующий темною веней, —
Смерть вплетается в жизнь, как блестящая тонкая нить,
Завершая рисунок и делая ткань драгоценной.

* *
*

Чаша смерти в отцветшие травы
Опрокинута. Вечер угас.
Не деля на виновных и правых,
Всех от времени вылечат нас.

Вон его расцветает проказа —
На щеках и на сгибе руки,
Из любой незаконченной фразы
Выползают его лепестки.

Даже губы к твоим прижимая,
Чую холод ее — между губ.
Куст ольховый, трясась и шаманя,
Заклинает ее на бегу.

И двенадцатью языками
Ворожит водяное стекло, —
Только времени бледное пламя,
Словно платье, меня облекло.

Смерть задует его, вместе с кожей
Совлекая его лоскуты.
На мгновенье сорвать его можешь
Только ты до нее, только ты.

И в сомненьи, в смятеньи, в цветеньи
Мы стоим, как трава у канав, —
Оплетенные временем тени,
Руки тонкие к небу поднят.

* *
*

Раздвижные леса. Елей тугие мехи
 Разворачиваются с хрипом и свистом —
 Старый аккордеон, на котором цветы, и мхи,
 И кусты намалеваны, а по листьям,
 Как по частым клавишам, лупит дождь,
 Но никак не вспомнит мелодию — то ли Баха,
 То ли Генделя, и к полям, запотевшим сплошь,
 Облака прилипают, словно к груди рубаха.
 Дождь уходит. Тонкий шнурок дороги — тyani-тyani —
 Медленно раздвигает занавес пыльных далей,
 Редкозубый гребень берез костяных,
 Черепок пруда, болота поломанные детали,
 Закулисную жизнь, которой живут дома
 Маленького поселка, спившиеся заборы,
 Где дрова навалены кучами, как тома
 Отреченных книг, что запылают скоро.
 Открываются окна. Ангел несет весы,
 Но грехи исчезают — остается одно желанье,
 Так что ты превращаешься в солнечные часы.
 Луч проводит по спинке кровати ладонью. Дланью.
 И, обнимая нагой циферблат,
 Тщетно ища цифры или иной приметы
 Для растущей тени, — мелкими поцелуями все подряд
 Покрываю — поскольку времени больше нету.

* *
*

Не в небе, не в земле — в траве секрет творенья:
 Как трогал Бог ее! Ведь это те движенья,
 Какими ты меня снаружи и внутри
 Касаешься так часто, — посмотри
 На тихие круги мать-мачехи широкой,
 На быстрые толчки — вперед, вперед! — осоки,
 И на тростник крутой, и на лопух пологий,
 На взвихренный щавель — как лик грозы,
 На подорожник, влажный, как язык,
 На сильную ладонь тугого остролиста
 И долгий трепет дудки мускулистой —
 Как бесконечный звук, в преддверьи губ
 Другим достигнутый.

И я, и я могу,
 О смерти позабыв, о боли не заботясь,
 Вот так же трепетать — как слепок твой, как оттиск,
 Касаний каталог твоих, движений опись.
 Вот только голос мой, как некий падший дух,
 Когда я говорю к тебе, в твой гулкий слух,
 Из земляных пустот, где плач и тьма густая,
 Летит семь долгих лет — но нет, не долетает...

* *
*

И когда твои плечи лежат на моих плечах,
Не давая им шевельнуться, и в молоке
Ледяного окна полощется белый прах,
Мы — двуликий Янус — щека к щеке
Смотрим в разные стороны мира сквозь снежный вихрь,
Из единой точки, закрыв глаза,
И мои движения от твоих,
Словно в зеркале, отличить нельзя.

* *
*

Смеркается. Неслышно льется тьма,
Цвет вытравляя, словно кислотой:
Углы окна, каракули письма,
Лес, горизонта обруч золотой,

Овсов голубоватую волну,
Необожженный изразец пруда,
Дороги порыжелую кайму
И даже кровь, пролитую с креста.

И, задрожав, уйти на дно готов
И просиять огнем иных лучей
Мир, сплошь покрытый чешуею слов,
Как зверь библейский — чешуей очей.



БОРИС ЕКИМОВ

*

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ

Рассказы

ПОДАРОК

Утром на хутор прибыли три человека на черной «Волге». Люди были в гражданском, но по всему видно: милиция. Спросили Улановых. А таких на хуторе двое. Разобрались, кто нужен. Подкатили и встали возле Таисиной кухни. Позвали хозяйку, во двор не входя. Что в нем? Малая хатка-мазанка, курятник, базок для коз да огромный огород в зелени и цвету. Но приедем нужно было другое, мимо которого лишь слепой мог пройти, не заметив.

Тетка Таиса, конечно, знала, что просто так все не кончится. Она какой день не спала, не ела — ждала. Всего, даже самого страшного. И потому, когда подъехала черная машина и позвали ее, стали выпрашивать. Все трое — высокие, строгие. А она стояла перед ними — старая, маленькая, вовсе осунувшись и потемнев лицом за эти дни. Она виновато глядела приезжим людям в глаза снизу вверх.

— Вот здесь видно, что была какая-то постройка, — говорили ей. — Или, может, собираетесь строить? Ровная площадка. Бульдозер ли, скрепер на днях работали... Свежая земля.

Она не привыкла, не умела и не хотела врать. И готова была заплакать от жгучего стыда и отчаянья. Но помог ей Господь, вразумил!

— Была постройка, была... голимую правду гутарите... — легко согласилась тетка Таиса.

Приезжие переглянулись и еще раз спросили:

— Вы — мать Виктора Петровича Уланова?

— Родная мама...

— И говорите, что здесь стоял дом?

— Такой был домина. Прямо пароход. Кирпичные низы, галереи. Теплая горница, холодные горницы...

— А кому принадлежал дом и куда он делся?

— Деда моего дом, Исая Абрамыча. Подворье наше родовое. В революцию его сожгли. А вот кто сжег, не буду брехать, не знаю.

— Это давнее, нас не интересует, — перебили ее. — А потом, кто построил дом? Был дом? И куда делся?

— Был. До чего красивый. Не дом, а церква. Отец мой, Матвей Исаич, своими золотыми рученьками... — рассказывала она, будто радуясь, что слушатели нашлись. — Все сам. А в раскулачку забрали и увезли. Больница и ныне на центральной усадьбе. С каких пор-годов? Из нашего дома.

— Но это опять — давнее... — уже сердясь, попеняли ей. — И после ведь было же? Было?

Екимов Борис Петрович родился в 1938 году. Постоянный автор журнала. Лауреат Государственной премии 1998 года. Живет в Волгоградской области.

— Моя сына, ты верно гутаришь, было. Построили хату, круглую. Перед войной. А тут опять началось... Такая страсть, поминать не хочется, — искренне сказала тетка Таиса, потому что невольно, а поднималось от сердца горькое, давнее, но душой не забытое. Как забыть... А тут еще нынешний день с его неминуемой бедой.

— Опять — сказки... — снова остановили ее.

— Для вас, может, и сказки, а для меня — жинзя... — И она заплакала над этой горькой жизнью и стала показывать сухим черным перстом на свою мазанку: — Вот она, хата, забирайте! Меня Господь приютит! Отдохну! Дай мне, Господь, отдыху! Дай мне покою! Ничего не просила! И ничего не прошу! Лишь покою! — молила она уже не этих людей, но родного сына.

Все слезы, на которые прежде была скупа, вдруг пролились. Вся боль и горечь, которые накопились за эти дни, вдруг подступили к сердцу.

Тетку Таису вовремя подхватили, и она не упала. Ее отнесли в хату, позвали соседку.

Холодная тряпка на голову да кисленькое питье — и все обошлось. Тетка Таиса к вечеру уже оклемалась. А потом крепко заснула.

Сколько ночей глаз не могла сомкнуть. Сколько дней маялась, душой болея, а тут, видно, выплакалась, и полегчало. Словом, спала ночь словно молодая. А утром, заспавшись и все на свете запамятовав, тетка Таиса, как всегда, глянула в окошко и не могла понять. Там было пусто: ни белого забора, ни нового дома... Она долго приходила в себя, не понимая, где сон, а где явь... Теперешнее ли ей грезится: пустая земля в окне или то, что было.

Она каждый день, просыпаясь, смотрела в окно на дом. Не ее руками и волей он был построен, этот красавец: красного кирпича низы, а выше — бревенчатый, сияющий солнечной желтизной, и высокая красная крыша с башенками. Церковь — не дом. Не хочешь, да залюбуешься. И ведь не чай-нибудь, а ее — тетки Таисы. Родной сынок построил и ключи отдал: «Живи, мама, владай. Это тебе подарок от сына».

Тетка Таиса долгие годы прожила одна. Мужа схоронив еще в молодости, она вдовела с двумя детишками — Виктором и Таней. Пробовала принять мужика. Не сложилось. Так и осталась вдовой, работая в колхозе дояркой, телятницей, в иную пору — куда прикажут. Так и жила, понемногу старея, в неустанных трудах и заботах. Колхозное и свое. Небольшого росточка, сухонькая, жилистая. Огород и левада — просторные, что колхозное поле. А все — руками.

Детей она вырастила. Хорошие детки. Дочка жила на Севере, в нефтяных краях. Нечасто, но приезжала к матери с мужем, детьми, привозила подарки. Витя и вовсе был золото, а не сын. Он высоко залетел: областной начальник. Как ни глянешь в телевизор, его покажут. Тетка Таиса каждый день телевизор глядела. В семь часов вечера местная областная программа. Все дела прочь, к телевизору. Нажмет кнопку. Вот он, дорогой сынок, сидит: при костюме, с галстучком, живой! Слава богу, здоровый! Иной раз показывали издали, а иной раз так близко и явственно, что хотелось тронуть его и поцеловать. Золотое дитё. А уже тоже — годы. Чернявый был, как галчонок. Ныне волосики седые. Порою сын говорил в телевизоре, и мать слушала его, привыкнуть не могла, изумляясь: откуда чего взялось? Ведь хуторской, а куда улетел, сынок дорогой. И при той власти — в обкоме, и при нынешней — в том же кабинете. Значит, умная головочка. А для матери — сын, такой заботливый, как в сказке.

От города все же далеко: асфальтом больше сотни верст, а потом — проселком. Телефон он давным-давно провел. И каждое утро, лишь в кабинет войдет, сразу маме: «Как дела, дорогая? Как здоровье? Чего нужно?» Долго-то рассусоливать некогда, он посмеется: «Ну, давай работать». — «Буду работать, буду...» — смеется вместе с ним тетка Таиса.

Далекий от города путь, но приезжал сынок. Куда-нибудь едет по делам и завернет. «Волга» на хутор катит, все знают: к тетке Таисе, к кому же еще. Вертолет садится посреди хутора. Пыль до неба. Виктор прилетел. Но это раньше. Теперь с вертолетами трудно. Приезжал. Порой недолго гостил, два ли, три дня.

«Мама, как у тебя с едой?..» — по телефону спрашивает. Она лишь закнется. А порой и не просит. Но чуть не каждую неделю подкатывает машина, и полный холодильник у тетки Таисы. Его тоже сынок привез.

Председатель колхоза подъедет: «Чем помочь?»

Так что жила тетка Таиса как сыр в масле. Но не копылила нос. Такой же у нее огород, как у всех. Такие же курочки. Корову, правда, давно не держала. Возраст. Да и зачем жилы рвать при таком сынке.

И обитала тетка Таиса все в том же старом гнезде: не дом и даже не флигель, а саманная хатка-мазанка, правда, с деревянным полом, шеломистой шиферной крышей. Зимой — тепло, жарким летом — прохладно. По старым годам такое жилье было привычно. А нынче на хуторе мазанок, считай, не осталось. Строились понемногу. Еще при колхозе. Не больно богатые, но ставили дома. И тетку Таису порой упрекали: «С таким сыном — и в мазанке...»

Да и она сама не железная: нет-нет да и позавидует какому-нибудь ладному домику.

Еще в давние годы тетка Таиса как-то обмолвилась сыну: «Может, нанять людей. Лесом колхоз поможет. Флигелек поставить...»

Сын Виктор с полслова все понял:

— Сам думаю об этом. Квартиру в городе или в райцентре хоть завтра. Но ты не хочешь. А вот дом, на хуторе. Абы какой лепить перед людьми стыдно. Хороший построить — тут все как на блюде. Найдутся, пересчитают гвозди и доложат, вплоть до Москвы. Я — на виду. Мараться на грамм нельзя. На арбузной корке можно так оскользнуться, что улетишь — и не сыщут. Потерпи, мать. Все знаю, все понимаю. Сам хочу, чтобы на нашем родовом подворье стоял настоящий дом. Как только будет возможность, сделаю.

Тетка Таиса не рада была, что и затеяла разговор. Если и думала она про новый дом, то лишь для прилику, чтобы не хуже, чем у людей. А для жизни — старая мазанка, лучше ее не сыщешь. Там две печки: русская и грубка с плитой. Протопишь — тепло. А летом в ней холодок и пахнет сухим укропом, полынью. Живи — не хочу. Она и жила и думала помереть в старой хате, привычной, обжитой.

Но человек предполагает, располагает лишь бог.

Новый дом появился как в сказке.

Уже после советской власти, после обкома, когда колхоз развалился, Виктор стал чаще бывать на хуторе. Привозил людей. Говорили про землю. Потом про церковь и про асфальтовую дорогу. Кто-то из хуторских видел в степи геодезистов с треногами.

— Все будет, мама, — коротко объяснил Виктор. — Родной край, казачий, мы возродим. Эти хутора — наша родина. Здесь наши отцы и деды, и наш долг...

Он говорил это матери и в телевизоре несколько раз повторил, тетка Таиса глядела.

— Родной край, казачий... наши отцы и деды... Наша земля...

Он складно умел говорить еще во младости. А нынче — и вовсе. Только вот седенький стал сынок и под глазами — круги. Такая работа.

Новый красивый дом построили за месяц. Тетка Таиса сначала глазам не верила, потом пугалась.

Расчистили место старого дедовского подворья, рядом с мазанкой, и разом началось. Выкопали ямищу, туда не заглянешь. И повезли. Днем и ночью машины рычат. Все гырочет. Прожектора. Дня не хватало. Лю-

дей — муравейник. Словно на доброй опаре, полезли из котлована красного кирпича стены, высокий цоколь и первый этаж, а выше — бревенчатый золотистый сруб этажа второго и башенок. Чешуйчатая красная крыша. Будто сказочный лазоревый цвет поднялся над землей и обернулся красавцем домом, какие бывают лишь в кино, в телевизоре.

Стройка смолкла. Машины и люди убралась. Уехал и сын, напоследок еще раз проведя мать по новому дому от подвалов до верхних светелок и балконов. Комнат было много. Да еще — ванны, туалеты. Кухня такая, что страшно войти: все горит и сияет. Везде кнопки да выключатели. Старой голове не запомнить.

Виктор ночевал в новом доме. Тетка Таиса отказалась. Помылась в ванной, по комнатам походила. Ключи приняла, но попросила: «Дай я, сынок, обвыкнусь».

Она и вправду боялась. После мазанки — да в такой дворец. По утрам, просыпаясь, она первым делом в окно глядела: «Может, лишь приснилось?..» Но красавец дом был на месте.

Богу молилась, завтракала, а потом шла к новому жилью. По утрам тетка Таиса лишь обходила вокруг нового дома по каменной дорожке. Оглядывала его, словно здоровалась, и убиралась к делам обыденным, хозяйским. А вот ближе к вечеру, вместе с соседкой Ксеньей, они ходили, как Ксения говорила, «на экскурсию».

Отпирали все двери и бродили по комнатам, приглядываясь. Купались в ванне, смотрели телевизор, пили чай на просторной кухне.

Соседка Ксения хвалила:

— Рай господний... И нечего ждять. Переходи да живи...

День ото дня тетка Таиса привыкала к новому дому, он все больше нравился ей.

— Может, и впрямь перейти? — спрашивала она соседку. — Виктор звонит, сердчает, велит перебираться. Хоть на краешке лет пожить по-людски. Все мазанки да норы... — оправдывалась она. — А ведь сколько трудились... — раскладывала на коленях плоские, словно клешни, но уже легкие руки.

Это теперь легко вспоминать. А тогда?.. С малых лет... А уж во взрослой поре — и вовсе. Долгое лето не чаешь, когда и кончится. Все руками. Лопата, мотыга, ведро-цебарка, коса да вилы. Все бабьей мочью да жилами. Как не упала, не умерла в борозде, когда тянешь плужок, или под страшным навильником, с хрустом ломающим позвоночник, под тяжеленным мешком-чувалом... Долгое лето. От зари до зари. Высохнешь, почернеешь, как головешка. А зимой — не легче. Три десятка колхозных коров на одни руки. Напои, накорми, обиходи. Привези солому да сено, воду из речки. От холода, снега, воды трескаются и болят руки и ноги. Юбка из мешковины, обувка и вовсе — прах: какие-нибудь чирики. Джуреки из желудей, пареная свекла, пустые щи, тыква... И работа, работа, работа... Вот и вся жизнь.

Легко вспоминать, утирая непрошенные слезы.

— Уж трудились... — вздыхает соседка. — Перебирайся. Будем ходить к тебе в гости. Баниться. Да такой телевизор...

Телевизор был новый. Виктор привез. И антенна, какая весь белый свет принимает.

— В лото будем собираться играть.

Тетка Таиса помаленьку, но убеждала себя: надо переходить в новый дом. Конечно, не просто. Потому что это — новая жизнь. Туда не полезешь в старом ватнике да калошах. Надо все сбросить, словно изопревшую кожу. Одежи много, целый сундук. Да какие красивые есть платки, платья, кофты. Дети надарили. Носить некогда, все — работа, которая прежде была от нужды. А теперь — лишь привычка. Есть пенсия, и дети без помощи не оставят. Все кинуть: огород, картошку, малую, но скотинку. Все

оставить и спокойно пожить хоть на краешке лет. Разве не заслужила?.. Ведь каждая косточка, каждая жилочка ноет, болит, просит покоя.

Надо переходить. Она уже приглядела себе комнату рядом с кухней. Там — покойно. Окошко — большое, весь хутор видать до самого Дона.

Жить словно на отдыхе. Оставить в старой мазанке все прежние заботы: огород, картофельник, птицу. Все — прочь. Научиться подолгу спать, видеть во сне покойных родных и близких, говорить с ними. Развести хорошие цветы во дворе и доме. Ухаживать за ними. Беседовать с Ксеной, разглядывать фотокарточки, вспоминая. Как сладко вспоминать об ушедших, думать о них, молиться, надеяться, что, может быть, даст еще бог встретиться, чтобы уже никогда не расставаться. Там ведь — ни войны, ни голода, ни страха, ни тяжелой, с надрывом, работы. А может, и ничего не будет... Но думать об этом разве грешно?

В конце концов, просто пожить, отдыхая. Недолго. Всего лишь краешек жизни. Но словно в раю.

Она уже была готова к переезду. Ждала его. Остался маленький, последний шаг. Лишь день-другой.

Неожиданно, и уже в сумерках, приехал сын Виктор. Он не крутил, не вилял, а сказал прямо:

— Мама, у меня большие неприятности.

— Ребята?.. Чего?.. — всполошилась тетка Таиса.

— Нет. Все — живые, здоровые. На работе неприятность. Сама знаешь, люди есть ненавистные. Тем более у нас, наверху. Меня пытаются подставить, сделать крайним. Ничего у них не выйдет. Но... Мама, я тебя прошу, не расстраивайся. Нужно убрать дом.

— Какой дом? Мою кухню? Она вроде не мешает.

— Новый дом, мама. Его надо убрать. Чтобы не было.

— Мой сынок... — ушам не поверила тетка Таиса. — Да ты его как уберешь? Либо...

— Это, мама, мое дело. Я приехал специально тебя предупредить, успокоить, чтобы ты меньше переживала. Ты меня ни о чем больше не спрашивай. Не надо. Это для тебя — лишнее, не поймешь. Лишь поверь: это — необходимо. А твой дом вернется. Он будет стоять на том же месте. Это я тебе клянусь. Ты мое слово знаешь. А теперь, наверное, тебе лучше уехать. Чтобы не расстраиваться. Сейчас. Прямо со мной. Поехали.

Сын торопился, а выглядел не больно хорошо. Как всегда нарядный, в отглаженном костюме, белой рубашке, при галстукe, он лицом обрeзался и глаза будто прятал. В них — боль или страх.

— Все делай, как тебе надо... — через силу, но улыбнулась тетка Таиса. — Обо мне чего и гутарить. Лишь бы тебе... Я не поеду, я здесь буду молиться за тебя, чтобы помог тебе Господь... Поезжай.

Сын сразу уехал. И лишь тогда тетка Таиса навзрыд заплакала, понимая, что подступает беда. Страшно было за сына. Всякий день в телевизоре: кого — в тюрьму, а кого — и застрелят. Все люди непростые.

Она молилась за сына, вовсе забыв про дом. А вспоминая о нем, как-то не совсем верила, что его можно убрать. Все же — не одуванчик, на какой дунь — улетит. Такие хоромы.

Святая простота... С утра приехал автобус с людьми. Началась суета. К вечеру подошла целая колонна: тяжелые грузовики, краны, тракторы. Всю ночь светили прожекторы. Что-то стонало и рушилось. Ревели машины. Люди хуторские если и глядели, то издали, из своих дворов. Но что в ночи разглядишь.

Наутро, когда прогоняли в стадо коров, ни дома, ни забора возле тетки Таисиного двора не было. Лишь ровное место, вроде пустыря, но без высокой конопли, репейников да лопухов. Рыхлая земля. И все.

И конечно же, когда утром подкатила на черной «Волге» милиция, тут все было словно на ладони. Но это уже их дело — вынюхивать да узнавать. А тетка Таиса всю правду сказала. Как было за долгий век.

Потом она потеряла память.

Очнулась в хатке своей. На голове — мокрая тряпка, рядом соседка Ксения сидит, спрашивает:

— Очунелась? Ну, слава богу.

— А чего со мной было? — спросила тетка Таиса.

В голове у нее и вправду мешалось: какой-то грохот стоял, стройки ли, разоренья, Виктор, черная «Волга» с милицией, красавец дом, пустая земля...

— Не накину умом... Этот дом...

— Не горься, — сказала соседка. — Господь с ним, с домом. Наша смерть уже на близу, доуликаем.

— Я разве об доме... — тихо ответила ей тетка Таиса и споткнулась; конечно же о сыне думала она. Но и о доме тоже.

И потом, среди ночи проснувшись, уже одна, тетка Таиса вспоминала Виктора.

Она вышла на волю, продышаться. Стояла ночь глухая, как кремень. Ни огня, ни звука, ни голоса птицы.

О сыне думалось. Всегда им гордилась, всегда за него радовалась, отстраняя намеки, молву, черные слова, во злобе ли, в пьяни брошенные. На чужой роток платка не накинешь.

Но ведь не только чужие... Еще он в комсомоле работал, в обкоме, а его родной дядя Алексей, человек городской, сокрушенно качал головой: «Ох, Виктор, Виктор... И в кого? Премудрый...» Дочь Татьяна, в давнем еще разговоре, бросила как-то в сердцах: «Ненасытный он...» Да и сама тетка Таиса, гостюя у Виктора, видела: не по зарплате сынок живет, а порой и слышала сыновий кураж: «Все есть, и все будет... Детям и внукам хватит... В наших руках...» Видно, такой обычай что у колхозного начальства, что выше: «Жить у воды — да не напиться?..»

После обкома, в начале новых времен, Виктор стал вдруг руководить банком, был там главным. А потом — банку конец. И не столько от сына узнавала, сколько доносила молва. Горевала, спрашивала: «Правда, сынок?» — «Мама, — отвечал ей сын. — Не беспокойся. У меня все и всегда в порядке».

Появился у сына магазин да что-то еще. А потом его на прежнее место позвали, руководить. Для Таисы это было спокойнее. Хотя думалось всякое. По телевизору сколь галдят. От сладкой жизни — в тюрьму. Разве не страшно? А бывает — и вовсе... Вот и конец. И тогда ничего не надо.

Думать об этом было несладко, но думалось, собиралось в одно, прошлое, нынешнее.

Ведь шла молва об асфальтовой дороге на хутор. Виктор ее добивался: «Возродим!» Надеялись и уже видели в степи геодезистов с треногами. И про церковь в сельсовете бумаги подписывали. Еще смеялись: уже хутора нет, а они с церковью...

Но ни церкви нет, ни дороги. А у Виктора вроде новый магазин появился. Да еще — дом.

Думать об этом было горько, особенно в глухой ночи, в одиночестве. Но думалось...

Тетка Таиса святой себя не считала. На веку, как на долгом волоку, бывало всякое.

Босоногой девчонкой, потаясь, таскала с колхозных полей колоски. Мама пошлет. Холщовая сумка — через плечо. Рвешь их, хоронишься. Потом — домой. Зеленую кашу варили. Голод был. А иногда налетал объездчик, порол плетью и гнал до самого хутора. Как страшно и больно... Но все равно ходили в поле. Есть хотелось.

Позднее, уж работая, в амбаре ли, на току, за пазуху, в мешочек спрячьешь горстку. Дома — ручная мельничка. Молоты тоже потаясь, чтобы соседи не видели. Было страшно, за это в тюрьму сажали, на десять лет. Но куда деваться... Потом стали сытнее жить. Хлеба наелись. А вот для кур да

скотины ничего колхоз не давал, приходилось брать. Зерно ли, дробленку... В сумку насыпешь. Привезут мешок-другой. Прячешь да хоронишь. В сараях, в подполе, где-нибудь в дровах да в кизяках. И все время трясешься. Вдруг с обыском нагрянут.

Даже теперь, через столько лет, вспоминать тошно. «Господи, прости... — шепчут губы. — Ты все видишь, поймешь...»

Виктор... Он, слава богу, ни голоду, ни холоду не видал. А если все правда... Какая страшная жизнь! По жердочке... Не меня ли ищут, не меня ли ловят...

А если про церковь хоть малая правда, то как замолить такой грех? Да и примет ли Бог словеса в искупление? «Воздастся по делам...» «Надо бы поставить пусть не храм, — думалось тетке Таисе, — а малую часовенку. Когда-то была такая... Но как поставишь? Бабья, стариковская немочь...»

А тогда что остается? Лишь горевать и плакать и ждать для сына беды.

Ночная тьма стала помаленьку редеть. Пробивалась порой белая луна сквозь тучи, озаря спящий хутор, окрестные холмы. Старая женщина пошла в дом, она не хотела, чтобы кто-то увидел ее среди ночи.

В доме она, лишь ступив на порог, узрела светлый луч, словно серебряный перст. Он тянулся через окошко к божнице, но ниже ее. Тетка Таиса подошла ближе, совсем близко и вдруг поняла. Серебряный перст тянулся не к пустому месту. Под божницей, его иконами и крестами, пониже, были прилеплены бумажные картинки: Никола-угодник, Богоматерь и еще одна, которая светила сейчас. На картинке — Христос среди цветущих деревьев; на лице его — умиление, благодать. Христос и цветущие деревья...

Тетка Таиса упала на колени и стала молиться, разом поняв, что велел ей Господь. Прежде на родовом подворье были сады. Это потом все повывелось. А тогда бабушка Устинья молиться в сады уходила. Во снах, когда виделись ей родные и близкие, старое время, там были деревья, в плодах да цветах. Значит, так надо.

Сразу ей сделалось легче. Она крепко уснула, но утром, поднявшись, ничего не забыла. И принялась за труды.

На пустыре, где еще вчера высился дом, она копала ямы, таскала в корыте волоком перепревший навоз, щедро поливала, чтобы принялось молодое деревце несмотря на летнее время.

Углядев новую Таисину заботу, соседка Ксения спросила:

— Ты чего?

— Пустое место. Глядеть гребостно, — уклончиво сказала она, а потом улыбнулась: — На хуторе садов не осталось. Пусть будет.

— Вроде не время, — сказала соседка. — Лучше сажать осенью да весной.

— До осени еще надо дожить, — всерьез ответила Таиса.

На неделе подъехал Виктор, застал мать в той же заботе. Уже зеленели десяток молодых груш, принявшись несмотря на лето. Таиса их поливала да укрывала.

— Мама? Ты чего делаешь?! — спросил Виктор недоумевая. — Здесь будет дом. Я тебе обещал, и мое слово твердое. Разве я тебя обманывал когда? Я сказал — значит, будет.

— Послушай меня, сынок...

— Мама, я же сказал...

Таиса подняла руку, отстраняясь от слов сына, и повторила тверже:

— Послушай свою старую мамку. Никакого дома не будет. Никому он не нужен. Будет сад. Груши тут будут расти, сынок. Раньше у нас на поместье такие были баргамоты, лимонки, черномяски. Детишкам и старикам посладиться. Мягкие да сладкие... — Она улыбалась, светлея ликом; она была там, в годах прошлых, а потом воротилась. — Даст бог, успею. Помаленьку буду глядеть. Это наши садины, казачьи, уцепятся, будут рость. Я помру, — мягко сказала она. — Все помрем, мой сынок... Может, и хутора не будет. А груши останутся, целый курагод. Наше, сынок, поместье...

Груши долго растут. Будут цвести и цвести... Такой сладкий дух, словно в раю, мой сынок...

Виктор стоял, слушал. Мать говорила будто о печальном. Но в голосе ее слышалась радость, и глаза светились добром, и так явственно проступало в лице давнее, полузабытое, но самое дорогое. Словно в детстве, хотелось заплакать, спрятать лицо в материнские теплые руки, в колени ее и замереть.

Но это была лишь минутная слабость, не более. Он легко ее превозмог и, глядя на старую мать свою, на ее трясущуюся голову и перекошенный рот, слыша детский лепет, стал прикидывать. Видно, пришла пора что-то с матерью делать, как-то определить ее. Сестра вряд ли возьмет к себе. На хуторе понадеяться не на кого, даже за хорошую плату. Придется что-то в городе искать.

ВОЗЛЕ ДЕРЕВА

Степное наше селенье летней порою — словно гнездо зеленое. Глянешь с высокого придонского холма: домов не видать, пенится сплошная зелень, укрывая жилье и живье от жаркого солнца да суховея. Во дворах — яблони, груши, гушина смородины, вишен да слив. По улицам с обеих сторон, а порой и посерединке высокие тополя, душистые по весне акации, тенистые клены.

Когда в полуденную пору приходится куда-либо из дома идти, обычай наш — пробираться краем улицы, тенью, от дерева к дереву. И всякий ходок, если он не больно спешит, проходя мимо двора Ивана Вареникова, под развесистым тутовником, непременно ущипнет ягоду-другую, иссиня-черную, сладкую, с живительной кислинкой.

Иван Вареников — неблизкий, но сосед мой, давний знакомый. За последние годы он очень постарел: похудел, из-под кепки седые косицы торчат. Но улыбка на лице все та же.

— Не пойму... — разводит он руками. — Ты вроде к властям поближе. В Москву едешь. К чему идем?

Теперь он уже не работает. Третий год как бросил. Ему — за семьдесят. Всю жизнь плавал на буксирных теплоходах механиком. По Дону, по Волге. Когда стал получать пенсию, из речного порта ушел и устроился в рыбколхоз, снова на буксир, таскал рыбоприемки.

— К дому поближе, — объяснял он. — А на пенсию разве проживешь? Тем более у меня девки... Им помочь.

В рыбколхозе платили плохо.

— Не пойму... — с улыбкой разводил он руками. — Вроде рыбу ловим, сдаем... А зарплаты нет. Берите, говорят, селедкой мурманской... Как-то даже чудно...

Встречаемся мы с Иваном редко и лишь летней порой, когда я приезжаю в поселок. К почте, к магазинам стараюсь идти не улицей, а проулком, на углу которого Иванов дом. Он строил его долго и долго.

— На зарплату... — виновато улыбался Иван, когда его укоряли, — не разгонишься... Тем более девки у меня...

Но все же построил: большой, просторный. В нем и выросли дочери, теперь уже внуки кружатся.

А Иван на старости лет дачей обзавелся, на краю поселка, туда — лишь на автобусе, пешком не дойдешь. Конечно, это никакая не дача, а лишь — земля, огород с картошкой да моркошкой. Снова работа с весны до осени.

— Приходится... — с виноватой улыбкой разводил руками Иван. — Пенсия — сам знаешь какая... А цены... Прямо я удивляюсь... Ты вот бываешь в других местах... Неужели у всех так? А как в городах живут? У нас хоть земля, ковыряем, добываем...

Но эти разговоры нынче везде — про несладкую жизнь. А про Ивана завел я речь, вспомнив иное.

Тутовое дерево растет возле его двора, раскидистое, тенистое. По-нашему — просто тютюна. Все долгое лето на нем — черные сладкие ягоды, они поспевают не вдруг.

В прежние времена, в пору моего далекого детства, в поселке было трудно с водой: колодцы да журавцы — едва хватало на огород. Сады с яблоками, грушами да прочей сладостью — все это появилось потом, при воде вольной, из артезианских колодцев. А прежде лакомились тютюной, пасленом-«бзницей» да грушами-черномясками. Тютюна начинает спеть рано, уже в июне у детворы синие губы и руки, на рубашонках следы спелой ягоды.

Нынче — иная пора. Все растет: от клубники до винограда и персиков. А торгуют и вовсе заморским: ананасы, бананы... Не удивишь...

Но поспевают тютюна — у детворы праздник. Вольная сладость, и прямо с ветки. Правда, тутовника нынче осталось мало. Раньше сажали во дворах. Детворе поклевать да вареников с тютюной наварить. Белая тютюна, красная, черная. Одна — пресная, другая — с кислинкой. Бывает — мелкая, суховатая, а иная — крупнющая, в палец. «Наша сладкая...» — хвалились. «А наша еще слаже!»

Это — в прошлом. Нынче тутовник — в небрежении, а значит — в редкость. И потому Иванова тютюна всему поселку известна. Он посадил ее в давнюю пору, для своих маленьких дочек, чтобы далеко за ягодой не ходили. С тех пор много воды утекло. Иван постарел, дочки выросли, тютюна стала просторным деревом. И знаменитым. Одно дело — ягода крупная, сладкая. Другое — и очень важное — хозяин детишек не прогоняет.

Бывает ведь всякое. Обносят колючей проволокой деревья возле двора, сторожат, ругаются: «А ну кыш отсюда! Идите к своему двору!»

У Ивана тютюна — для всех. Когда росло дерево, хозяин, обреза лишние ветки, оставлял на стволе длинные сучья, словно перекладины лестницы, чтобы всякий малец легко мог взобраться на дерево. Вот и лезут. И расползаются по толстым ветвям. Дерево старое, раскидистое. Хватает всем места. Залезут, усядутся поудобнее, клюют...

Мимо идешь — вроде никого не видно. Лишь зелень листвы. Но вдруг слышишь сверху, из кроны, — детские голоса. Пасутся... Одни наклюются, их сменят другие.

— Айда на тютюну!

— Ты ныне на тютюне был?!

— Мы два раза были!

Порою дерево отдыхает. А порою налетят, словно стая. Щебечут...

Иван со двора выйдет, его не боятся. Знают, что не прогонит. Лишь иногда спросит:

— Сладкая?

— Сладкая!! — отвечают хором.

А рядом с тютюной, вдоль забора, Иван иргу насадил. «Пусть клюют... — говорит он. — А мы не такими были? — спросит у случайного собеседника. — Такими...» — и заулыбается жмурясь.

Смолоду глаза у него были голубыми, всегда в прищуре улыбки. К старости выцвела голубизна, улыбка осталась, теперь уж навсегда. Не помню, чтобы он с кем-то ругался или даже повысил голос.

Иван — моего покойного старшего брата ровесник. Они вместе росли, учились. На войну не успели попасть. Но хлебнули лиха...

Он похож на моего старшего брата, на Славу. Но не лицом, не фигурой. Слава был тучным, круглолицым; Иван — всегда худощавый и ростом выше. А вот похожи... Наш Слава тоже никогда не ругался, голоса не повышал. Допекут, он вздохнет, разведет руками и улыбнется виновато: мол, не стоит...

Брат мой умер десять лет назад. Иван, слава богу, живой. Может, потому, что на воде работал. Все же — воздух. И поспокойней. Брат мой — на тракторном заводе. В дыму, в копоти, а главное — вечная маета. Оттого и сердце болело.

Зимой в поселке я бываю редко. Ивана не вижу. Летом любая дорога — мимо его двора, мимо тютини. В теплую пору, когда спеют ягоды, дерево не пустует. Всегда на нем ребятишки. Одни наедятся от пуза, другие прибывают и сразу наверх.

— Там слаже... — смеется Иван.

Останавливаюсь, кладу в рот ягодку-другую. Терпковатая сладость. Вспоминается детство.

— Веришь, взрослые люди идут, — говорит Иван, — незнакомые, останавливаются, вот как ты, и вспомнят: мол, на вашей тютине выросли. — Он смолкает, а потом добавляет потише, кивая на дом соседний, через улицу: — Выпустили его, пришел, тоже подходил поладиться, говорит, в тюрьме ваша тютинка снилась. Вроде залезу на нее, как в детстве, ем-ем — и никак не наемся. Парень-то неплохой был... — вздыхает Иван.

Я согласно киваю, все понимаю. Речь про взрослого уже сына нашей соседки-пьяницы. Всю жизнь она гулеванила. И сына сгубила. Второй ли, третий раз он в тюрьме. По мелочам... С такой маманей... Горькое дитё. Что он в жизни видал? Оттого в тюрьме и грезилась ему Иванова тютинка, что в детстве его, может, единый свет — это дерево: зеленый кров, теплые ветви, сладкие ягоды, сверстники рядом. Как не вспомнить...

Постояли мы с Иваном, повздыхали над чужой бедой. Сколь ее. А теперь — тем более: работы в поселке нет, зато много воли.

— Не пойму... — виновато улыбается Иван. — К чему идем? Водка дешевле хлеба. Ты везде ездешь, в Москве бываешь... Неужели везде так?..

Что ответить ему?.. Лишь развожу руками. Иван все понимает.

— Надо ехать на дачу, — говорит Иван. — Колорадского жука — аж красно. И жара. Поливаем и поливаем. Дождя-то нет.

— Тютинка будет слаже... — смеюсь я.

Иван соглашается.

Стайка детворы на разномастных велосипедах подкатывает к дереву. Машины — в кучу. Сами наперегонки наверх. И вот уже нет их, пропали в кроне.

Мы с Иваном расходимся. Я — на почту, ему на дачу пора. Сверху, с дерева, птичий переключик: «У меня сладкая!» — «А у меня — еще слаже!»

Ухожу. Лето перевалило за середину. Теперь дни покатят быстрее и быстрее. Не успеешь оглянуться — сентябрь. Я уеду.

Когда от поселка далеко, я вспоминаю о нем, то видится всякое: старый наш дом, зеленый двор, улица, холмы Задонья, разные люди: и те, кто живы, и те, кто давно на кладбище. Порой Иван вспомнется, мой сосед, и, конечно, вместе со своим деревом, с тютинкой. Если про Ивана вспомню, то невольно улыбнусь, словно отвечая на его тихую улыбку, теперь уже вечную.

СМЕРТЕЛЬНО

Летним вечером во дворе хорошо. Кончается поливка, смолкает плеск воды, жужжание и стук насосов, моторов. Освеженные влагой земля и зелень парят, дышат прохладой. И от близкой степи веет ночным холодком. После дневной жары так славно.

Вокруг все видать. Солнце зашло, заря отыграла. Но высокое небо светит ясной прозеленью, словно отражая земное: пышную ботву огородов, купы садов, уличных деревьев: тополей, кленов, акаций, вязов. Поселок невелик, но зелен. Малые домики тонут в листве и ветвях.

Хорошо вечером. Покойно. День отгорел, отшумел. Последние нехитрые дела перед сном. Неспешные разговоры.

У Кадакиных поместье обычное: кирпичный флигель в три окна да летняя кухня в глубине двора. И хозяйство обычное: огород, сад, куры, два поросенка да дворовый вобель Грей. Такое мудрое имя присвоил собаке гостивший городской внук. Сначала язык ломали, потом привыкли: «Грей... Грейка... Грея...»

Поместье у Кадакиных невеликое, но ладное: в палисаднике цветут колокольчики, садовая ромашка, лилии; вдоль бетонных дорожек — розы. В огороде — порядок. Сразу видно, что хозяйка работающая и хозяин не лодырь.

И вечерние разговоры у Кадакиных прежде были обычными: про погоду, про картошку и колорадского жука; про дочкину семью, особенно про внука. Они — в городе. Хоть и близко, а рукой не достанешь.

Но это — прежде. Нынче, который уже день, все по-другому. Днем оба — на работе. Придут — дел полно по хозяйству, некогда языки чесать. А вот потом, когда свечереет, обычно-то возле летней кухни, под навесом — долгий ужин, да чай, да тары-бары. А нынче — все по-другому: наскоро поужинают опустив глаза, да еще радио включат, будто оно кому-то нужно. Поужинают — и опять по двору разбредутся. Хозяйка — к пороссятам да птице, вроде приглядеть да запереть на ночь.

Во дворе тихо, на улице, по всей округе, — вечерний покой, и потому так явственно слышен негромкий голос хозяйки, она свою живность корит:

— Грамотные стали?.. Да... Не хотите абы чего жрать, премудрые?.. Слаженого вам да соложеного? Пирожных? — А потом печальней и тише: — Вот скоро... Без меня... придет вам пост, прижми хвост. Вспомните... — И сбивается голос вовсе на шепот, на слезы, украдкой, с оглядкой на мужа.

Но тот — далеко. Он возле дома сидит на низенькой скамеечке, курит, собаке внушает:

— Грей... Грейка... Ты чего отвернулся? С тобой гутарят, а ты вроде гребашь. Не имей такой привычки, Грея. Ну чего ты? Ты просил, и я тебя искупал из шланга, прохладил. Все по-хорошему. А ты отворачиваешься. Это уже наглость, Грейка. Да, да... Ты меня слышишь, Грея? Ты все слышишь, но ты не хочешь слушать. Эх, Грейка, Грейка... Дурак ты, Грейка, и боле никто. Ничего ты не знаешь, не понимаешь. Лишь с виду вроде премудрый, а дурак дураком. И нечего обижаться...

Хозяин смолкает. Горло вдруг перехватывает, саднит. И глаза... нет, он не плачет. Степану не положено плакать: полсотни лет, сухощавый, крепкий, лучший механик в автохозяйстве, внуку вот-вот десять лет стукнет. Даже пацаном не плакал, а потом и вовсе... Хотя бывало... Всякое бывало. Но плакать не положено. Не баба. Это они — тонкослезые.

Степан от жены своей сидит далеко — огород между ними — и вроде своим занят: курит да с дворнягой беседует. Но слышит жены воркованье: «Девочки мои... Хохлаточки...» Слышит и чуёт все потаенное: боль и слезы. Да и как не чуют?..

Врачи постановили: «Резать». И уже есть направление в областную больницу. «Кадакина Мария... Сорок девять лет...» И ведь никогда не болела, не жаловалась. А тут сразу — «онкология». Степану, конечно, сказали, а Мария сама догадалась, не дура.

Сорок девять лет, а по виду — моложе: лицо — гладкое, телом — не какая-нибудь хворостина, как говорят, все при ней. Работа — в бухгалтерии, это не мешки тягать. Может, потому и сохранилась. Сорок девять... А порою девушкой кличут. И вот тебе — «онкология». А что это, и ребенку ясно. Тем более торопят. А если по-честному, то это, конечно, смертельно. Если не дурить себя, не обманывать.

Такое вот, нежданно-негаданно, рухнуло на Кадакиных, разом жизнь изменив.

Обычно вечерами, после работы, управив дела домашние, огородные, сумерничали на воле. В доме, под крышею, душно и уже темно. На воле — долгий покойный вечер. Тишина, прохлада, зелень. Высоко в небе нежно вызванивают, перекликаясь, золотистые шурки; ласточки прощещебуют, умчатся; молчаливые тяжелые цапли медленно проплывают к ночлегу, сияя снежной белизной и розовым. На душе — покой: день, слава богу, прожили.

В такую пору всегда говорили про хорошее. Про отпуск. От хозяйства не убежишь. Но все же легче. Про дочь, про внука. Должны приехать.

А теперь о чем говорить? Лишь о болезни? Так она и без разговоров из головы не идет. Потому и кончились вечерние посиделки. Ужинали, а потом расходились. Про болезнь говорить тошно, а молчать о ней и того тошнее.

Хозяйка уходила к птице да пороссятам. Поглядеть да проверить запоры. Хозяин курил, с кобелем беседовал. Но думалось, но говорилось в душе только об одном.

И — странное дело — в этих раздумьях, а в первые дни в разговорах не Мария, а Степан терял голову. Плел несусветное, вроде не жене, а ему помирать. Мария знала, какую болезнь у нее определили, и даже приготовила смертную одежду, для похорон; но ее спасало детское ли, птичье неверие, что этот мир может жить без нее. Такое просто-напросто не укладывалось в голове. А Степан словно разум терял.

Он прожил с женою век и так обвыкся, что не мог иного представить. К дочери уедет Мария на день-другой, и уже все — не так. Дело не в том, что скучает. Не маленький. Но в доме все идет куролесом, за что ни возьмись. Получается не жизнь, а сплошное ожидание: когда же она вернется? А теперь чего ждать?

Когда все выяснилось, то в первый да второй день успокаивать и уговаривать приходилось Степана.

— Ну и чего... Ну и помру... — спокойно говорила Мария. — Помру, примешь какую-нибудь бабу. Катерину возьмешь, она пойдет, — сватала она свою вдовую подругу.

— Не нужна мне Катерина!

— Нужна — не нужна, — здраво рассуждала Мария, — а постирать, щи сварить...

— Я сам наварю лучше Катерины, и постираю, и с огородом управлюсь... Ты лишь сиди да указывай... Потому что мне не повариха да прачка, а ты нужна... Понимаешь, ты... — объяснял Степан, пытаясь пробить бабью глупость. — Я к тебе привык... Я без тебя не могу.

— Как привык, так и отвыкнешь.

— При чем тут привычка?! И Катерина твоя...

Тут уж начинала сердиться Мария, спрашивая резонно:

— Кто болеет? Кому операция — тебе или мне?

— Тебе... — соглашался Степан. — Но мне еще хуже... Мне — смертельно... Я лучше сто операций... — И начинал нести несусветное.

Мария — в слезы.

Так получилось раз и другой. А потом стали просто избегать таких разговоров. Что проку...

С работы приходили, сразу — в дела: огород — немалый, цветы — в палисаднике, куры, пороссята, домашние заботы. Так было и нынче. Целый вечер трудились: каждый — свое. Все — привычное. Не надо указывать да подгонять.

Потом пришло время ужина. После ужина начиналось самое трудное: опять разойтись. Мария — к пороссятам да курам: «Девочки мои... хохлатенькие...» А в голосе — слезы. Степан — курить да собаке внушать: «Дурак ты, Грейка...»

Но сегодня Степан протопил баньку, нагрел воды. Обычно душевой обходились. Но два ли, три дня в неделю протапливали баню, чтобы разом и постигнуть.

Вот и нынче. Протопил Степан баню, обмылся, жену позвал: «Иди...» А сам возле кухни устроился, отдыхая.

День уходил. Долгие зеленые сумерки полоняли двор, густая под кронами деревьев, в чаще смородины, вишен. И в этом легком сумраке что-то виделось, а скорее грезилось из прошлого, из дальней дали. Вспомнилось вдруг, как в молодости ждал Марию. Встречались вечерами. И тогда были дела огородные, домашние. Степан всегда оказывался первым и думал с молодым нетерпением: а вдруг не придет? Мария появлялась неожиданно. У нее была легкая поступь и неслышное дыхание. Она словно возникала из летних сумерек. Не было — и вот она. «Ждешь?..» — спросит. И горячая волна радости затопляла душу. Сердце колотилось. Господи, как может быть счастлив человек, даже вспоминая...

День уходил. Над землей клубились сумерки, понемногу затопляя двор. Что-то почудилось Степану. Он поднял глаза и увидел, что по дорожке спешит к нему Мария, летящим шагом, молодая и красивая, с распущенными волосами.

— Ждешь? — улыбаясь, спросила она.

— Жду... — поднялся навстречу Степан, любясь женой. — А мне, веришь, вспомнилось... Вроде как придремал и вспомнил, как у сада встречались. Ты ведь всегда опаздывала, я жду-жду...

— А это так положено... — засмеялась Мария и оправдалась: — Но я всегда приходила. Помнишь.

— Помню... — тихо ответил Степан, опускаясь на стул. Он из прошлого возвращался не сразу. Так неожиданно и так похоже все было: вечер нынешний и те далекие встречи. А душа и сердце так же радуются.

Жена поняла его, присела рядом. А Степан, снова уходя в далекое, взял ее руку и прижал к груди, там, где сердце.

— Вот как оно колотится, когда ждешь, — сказал он. — Когда-нибудь лопнет.

Мария наклонилась к мужу и, убрав руку, поцеловала то место, где тревожась, гулко стучало сердце: «Придет — не придет?.. Любит — не любит?..» И тогда сердце тревожилось, и теперь, через столько лет. Мария поцеловала раз и другой, утишая и успокаивая. Но даже эта редкая, полузабытая ласка не помогла. Сердце не унималось, колотясь все так же часто и сильно.

— Чего ты? — спросила Мария и, не дождавшись ответа, словно озарением поняла то, что нужно было понять давным-давно. Вздорные, нелепые слова мужа про то, что «ему в сто раз хуже» и «смертельно», — все это правда. Былое, давнее: молодая любовь, страсть — все это не могло пропасть, а хранилось в душе, помогая жить да еще прирастая за долгие дни и годы. И как теперь это оторвать от сердца? И впрямь — смертельно. Ей легче: отвезут, будут лечить, операция — тоже не больно, потому что наркоз дадут: заснешь, проснешься — не проснешься... А для него — боль непрерывная.

Мария, все это поняв, принялась успокаивать мужа:

— Чего ты... Разве я помирать собираюсь?.. Сделают операцию. Врачи в области хорошие, их все хвалят. После операции люди живут. Алексеева старая, а живет. Десять лет назад резали. Валя Санаксырова, дядя Тимофей... А наш Афанасич? — называла и называла она имена людей, которых вспомнила в эти дни, чтобы себя успокоить, теперь же убеждала мужа, уговаривая: — Надя со мной побудет, при больнице, отпуск возьмет. Алевтина приедет. Разве я первая... Помогут, вылечат... Будем жить дальше... Слава богу, все у нас есть: дом и хозяйство... — оглядывала она зеле-

ный огород, деревья... — Все у нас ладно. Розы-то как цветут... Нам с тобой еще жить да жить. Жить да жить...

Как сладко было говорить и слушать эти слова... Как сладостно верить им.

Подступала летняя ночь, затопляя округу. Тишина смыкалась от двора ко двору. Ту-у-ур... ту-у-ур... — сонно ворковала горлица, провожая день. Еще один летний день, которых лишь у Господа много.

ДЕД ФЕДОР

— Поблуда! Кошелка старая! Увеляся! Нет его!! — раздается крик на весь хутор. — Я тебя приучу к базу! Арапником! Буду гнать до самого хутора и пороть! И пороть!! Засеку до смерти! И в барак кину! Нехай тебя бирюки гложут, старая падаль!!

Это Вовка орет. Дело вечернее. Скотина пришла с дневного попаса. Старого мерина нет. Наладился он последнее время уходить на хутор Венцы, что в пяти верстах от нашего. Там и хутора давно нет. Один лишь знак. А вот уходит. Нет-нет и убредет. Вовка, хозяин его, орет. И орет не зря, надрывается. Он знает...

— Запорю до смерти! И каргам! В барак! Нехай клюют!

Мы сидим недалеко. Я и дед Федор. На хуторе — вечерняя колгота. Скотина пришла с попаса. Мык да рев. А мы — на скамеечке, руки — крестиком. Я на хуторе — гость, у деда Федора лишь овца Шура в хозяйстве.

— Запорю! — надрывается Вовка.

Лень ему мерина искать. Пешком — ноги бить, верхом — в седле трястись. Вот он и кричит, все наперед зная.

— Ох и дурак... — качает головой дед Федор. — Сгальный. Аж пенится. И вправду заперет, — тревожится старик. — Человека — как муху, а скотину — и вовсе. Останемся без мерина. А мерин — золотой, без него — гибель, — объясняет он мне ли, миру, поднимаясь нехотя.

И вот уже он шагает ко двору Вовки. А там разговор обычный:

— Не пришел, что ли?

— Нету. Увеляся! Найду — запорю!

— Охолонь трошки. Схожу, — говорит дед Федор. — Приведу.

Вовка сразу смолкает, своего добившись. А дед Федор пошагал себе, легким батожком помахивая, через выгон и далее. Путь его не больно и близок.

Летний вечер. Скотина пришла с попаса. В такую пору хутор оживает. Весь долгий день он словно дремал в обморочной жаркой тиши. Народу нынче не много. Остатки люда рабочего с утра до ночи в поле, на бахчах, в степи. Старики гнут спину на левадах, в огородах. Детвора тоже при деле. Или в счастливых заботах на речке, в лесистом займище: рыбалка, купанье, грибы да ягоды.

Лишь вечер всех собирает ко дворам. С попаса скотину встретить, коров подоить, остальную худобу поглядеть, вся ли вернулась. Пригнать с речки гусей да уток, коли сами не идут. Вот и несется переключик:

— Ждана, Ждана! Иди сюда, моя доча!

— Рябого телка заверни!

— Камолая убрела! Сынушка, побеги за ней!

— Кызя-кызя-кызя!!

— Ух, натурная! Шелужины просишь!

Коровье мычание, овечьё да козьё бляенье, насадный бугайный рев. Скотий дух, запах молока и пыли. Красное солнце прячется за холмом.

Народ при деле. Лишь мы с дедом Федором прохладжались возле двора, на скамейке, перекидываясь словом-другим. Теперь мой собеседник увеляся, ноги бьет. Правда, говорун из него — невеликий. В отличие от отца Федора, который не закрывает рот.

Хутор небольшой, три десятка дворов. Есть дед Федор — и есть отец Федор. Чужие иногда путают. А путать тут нечего. Дед Федор теперь ищет чужого мерина. Отец Федор и своего бы не пошел искать. А на погляд они и вовсе — как день и ночь. Дед Федор ростом высок, сухошав, прям как палка, несмотря на серьезный возраст. В одежде он аккуратен, бороду бреет, но имеет усы с острыми, чуть подкрученными верху концами. А отец Федор хоть много моложе, но зарос диким волосом, носит опорки и плетет всякую ахинею. И никакой он не «отец», сам себе чин присвоил, упирая на свою якобы божественность: «Спаси нас и сохрани...» да «грехи наши...». Этому пусть заезжие верят и величают «отцом». Свой народ его, как и встарь, кличет Федей-сусликом.

Но разговор нынче про деда Федора, а про Суслика — это к слову, чтобы не спутали, о ком речь.

Дед Федор пошагал. Теперь он не скоро придет. Но придет, мерина поставит на Вовкин баз и доложит: «Нашел. На Венцы убрел...»

Дед Федор — говорун невеликий. Он знает, что я «пишу в газетах». Кажется, это ценит. И порой произносит со значением:

— Надо бы тебе кой-чего пересказать... Много всего. Жизнь...

Не первый год мы знакомы. Но дальше «надо бы...» дело движется плохо. Даже если на столе самогон от Коли Бахчевника или от Магомада. У Магомада — такая гадость. Но иногда приходится. Когда у Коли Бахчевника простой.

Вечер. Сижу на скамеечке. Хозяева мои — при делах: подоить, напоить всю ораву. Управиться с курами, утками.

Против двора чернеет пустыми глазницами старая хуторская школа. Рядом с ней рушится мазанка бабки Груни, ушедшей лишь год назад. Дальше — кирпичные руины магазина. Лысый бугор, еще недавно заставленный тракторами, комбайнами, сеялками да плугами. Гожими, разоренными, все — ржавлей. Все это лесом стояло. Теперь — голая плешь.

Деда Федора уже не видно. Помахивая батошкой, он скрылся в низине. Минует луг, покажется далеко, на угоре. Недолго помаячит в светлых вечерних сумерках и скроется. Пошагал к хутору Венцы.

Дед Федор на пенсии уже десять лет. Но последние годы даются ему трудно. Прежде, когда колхоз был живой и на Лысом бугре, словно на ярмарке, гнездилась техника, в ту пору старому трактористу тосковать не давали, всякий день призывая на помощь: «Дед Федор, погляди...» А деду Федору это на руку. Жену схоронив, он жил бобылем. Сын — в станице; дочка — на Севере; все хозяйство — овца Шура. «Дед Федор, приди погляди...» И он откликнулся охотно, дни напролет проводя с привычным железом. Иногда и не звали, он приходил: «Ну, чего у вас тут?..»

А потом все очень быстро кончилось. Колхоз начал помирать, усыхая. Еще на центральной усадьбе как-то ворочались, а здесь, на хуторе, в два счета все пропало. Даже останки тракторов, иную ржавую рухлядь словно корова языком слизала.

В райцентре, на речной пристани, день и ночь громяхая, грузили старье на баржи для заграницы. Платили наличными. И бугор, еще вчера щетинившийся от железа, обернулся блестящей стариковской плешью. Там даже полынь не росла, вытравленная соляжкой да бензином.

Остался дед Федор сиротой. Поднимется утром, наскоро перекусит и по привычке в путь. Шагает легко, красный вишневый батожок лишь для вида. Неизменная фуражка. Никаких кепочек. Рубаха и куртка-спецовка застегнуты на все пуговицы. Крепкие башмаки и ботинки. Никаких спортивных шаровар с непонятными надписями. Дед Федор в одежде строг. Он похож на отставного военного. Прямой как жердь. И шагает быстро, легко.

А хутор невелик. Три десятка домов. Чуть не половина — брошенных да разбитых. Много не нашагаешь. Раз-два... И вот он — Лысый бугор, где

полеводческая бригада прежде располагалась. Теперь там плешь. Даже старая кузня исчезла. Ее Коля Бахчевник разобрал и сладил на своем дворе птичник.

Глядеть на пустой бугор мочи нет. Дед Федор отворачивается и плюет в ту сторону.

Раз-два... И вот уже старая школа чернеет глазницами. Памятник погибшим солдатам с выгоревшим добела железным венком. Развалины магазина. Считается — центр. Сюда хлебовозка приезжает.

Раз-два... Надо бы шагать помедленнее, тогда и дорога длинней. Но такая уж привычка: быстро ходить.

Раз-два... Вот уже и хутору конец. Последние дома. Дальше — займище, Дон. Там деду Федору делать нечего.

— Волков боюсь, — говорит он, тараща глаза и усы топорща, когда ему советуют собирать грибы да шиповник, ловить рыбу, чем по хутору блукать. — И водяного тоже боюсь.

Хутору конец — и походу конец. Надо разворачиваться. Непонятно, зачем ноги бил.

Бывает, что кто-то и встретится. Но с молодыми о чем говорить. Сверстников, считай, не осталось. А кто еще дышит, те в делах огородных.

— Здорово ночевали!

— Слава богу.

— Какие новости?

— Жук одолевает. И никакая отравка его не берет.

Дед Федор слышать не хочет про жука и отраву. Он морщится, словно сам ее откушал, и правится дальше. А вслед ему несется неслышное: «Шалается, как бурлака. Картошки бы насажал, лодырюка...» Дед Федор не любит, чтобы его жизни учили. Потому что у него своя правда: «Грядочки ваши... А тысячу гектар на одного не хочешь? А я могу. Меня профессора проверяли. Как штык... Тысяча гектаров. И везде — порядок. И урожайность... Грядочки ваши». Он поначалу спорил, доказывал, потом устал.

Рядом со старой школой, напротив нее, живет мой товарищ с женою — люди приветливые. Дед Федор заглядывает к ним на дню три раза. У них — телефон. Из станицы звонят, из райцентра, а то и вовсе издалека: «Передайте... Скажите...»

Дед Федор заходит во двор, кивая на телефонный аппарат, спрашивает:

— Ничего?

— Не звонили тебе.

— Ну и слава богу.

Старик присаживается, но поутру долго не сидит. Оглянутся — уже нет его. Сначала удивлялись, потом привыкли.

— С причудами... — вздыхает сердобольная жена моего товарища. — Возраст...

— Шестеренки постерлись, — говорит мой приятель, постукивая пальцем по голове. — Проворачиваются. И получается, что дед Федор — что овечка Шура... В одной поре.

У деда Федора живет на базу овечка-перестарка. Давно бы ее под нож. Он не режет. Раньше и покупатели находились, свои, хуторские: «Давай куплю, — предлагали. — Жирку нагуляет, съедим. Тебе она ни к чему». Дед Федор таращил глаза, фыркал: «Интересно... К чему? А волна? Да я с нее шерсти на двое валенок настригаю. Своих заводи да ешь».

Волна — овечья шерсть — складывается в мешки и — на чердак. Там ее уже шашел погрыз.

— Интересно... Моя овечка, а он ее углядел. Еще покойная бабка гута-рила: без овечки — ни варежек, ни чулок. Чем зимовать?

Товарищ мой порою излишне строг, но любит справедливость.

— Кувыркнулся умом старик, — делает он вывод. — Мыкается по хутору. Прибежал, сел, через минуту — подался. Чего приходил, сам не знает. Куда бежит, тоже.

Оно ведь и вправду: у людей — огороды, скотина. У деда Федора — ничего. Но вечно занят. Мне который год обещает:

— Дела поделаем — и сядем с тобой. Много кой-чего есть обсказать. Жизнь...

Садись не раз. Обедали, чаевничали, хлебали уху. Было у нас время потолковать. Но все его обещания «много чего порассказать» укладываются в очень короткое: «Трактор был ломатый. Я его делал, делал. Починил, стал работать».

Сначала про детство: «Три класса кончил и бросил школу. Сто ошибок в диктанте, арифметика — ни киле, ни миле. А здоровый был дурак. Сел на прицеп, встал на сеялку, на жатке... За первое лето хлеба заработал в четыре раза больше отца. Зимой — на ремонте. Потом — на курсы. А потом дали мне трактор ломатый-переломатый. Я его делал-делал. До трех разов раскидывал и собирал. А он не ехал. А потом поехал. Стал работать».

Про войну: «Построили нас в шеренгу. Трактористы есть? Повели. А трактор ломатый. Я ему дал ума. Поехал. Стал работать. Таскал какую-то...»

Потом был немецкий плен: «Построили. Кто трактор знает? Привели. А он — ломатый. Делал-делал. Поехал. Стал работать».

В плен попал он недалеко от дома. Здесь большие бои шли. Изловчился, ушел из плена. Немцев как раз прогнали. Явился домой, на хутор. Опять та же песня: «Трактор вовсе негожий. И запчастей нет. Я его делал-делал. Довел до ума. Стал работать».

Но это было недолго. Арестовали его, дали десять лет «за измену». В северных лагерях тоже трактор нашелся. «Ломатый-переломатый. Делал-делал его. Поехал. Стал работать».

Из лагерей «изменника» отпустили прежде срока. Четыре года отбыл, простили.

А дома, на хуторе, дали трактор. «Вовсе негожий. Одна кабина. С него все снимали, дочиста. Я ему долго давал ума. От рук отстал. Но поехал. Стал работать».

И общее, про жизнь: «Работали... В поле и в поле. Уедем в бригаду, еще снег в балках. И до нового снега. Боронуем, сеем, культивируем, пашем. Уборка подходит. Солому стянули, снова пахать да сеять. А потом зябь — до белых мух. Да еще на целину пошлют. Там и зимой убирали, в тулупах. Всю зиму — на ремонте. И снова — весна. Как белка на точиле. Работали и работали. А ныне?.. Аж чудно... Сколько хлеба собирали... Какие гурты, отары... Молодняк, дойные, матки, валухи. А ныне: ни колосу, ни мыку. Дикое поле... По тысяче гектар на человека обрабатывали. “Кировец” — это машина. Зацепишь три сеялки разом. Он прет. В газете про нас писали. Ордена давали. За хлеб. А ныне...»

Нынче на хуторе два стареньких колесных трактора. «Лягушата», — презрительно хмыкает дед Федор. Но для него великий праздник, когда эти тракторы ломаются всерьез. Помучаются хозяева, идут к деду Федору. Он будет глаза таращить, усы топорщить, ругая новые времена:

— Бывало, съездил в мастерскую, проточил, фрезернул. А ныне?..

Трактор он делает, потом будет всю неделю рассказывать:

— Поломатый... Прибегли. Помоги. А там — чистый утиль. Все на соплях. А чем делать? А где запчасти? Ты мне дай запчасть. Нету... И не откажешь, свои люди. Вот и кумекай. Насилочки, насилочки... Слава богу, кой чего... — Это он про запасы: всяких железяк у него полный двор. — Поехал. Будет работать.

Дед Федор доволен. Жмурит глаза.

Но такие праздники редки. У хуторских тракторят-колесников дел не много. Лишь сенокос: повалить траву, сгрести да свезти. И опять — на прикол. На хуторе тишина. Не то что бывало.

А этому былью целый век: «Три класса кончил и не схотел. Стал работать... В марте уедем в бригаду: боронуем, сеем, потом — просо, подсолнушек, кукуруза, культивация, а там — сенокос. Ни дня, ни ночи не знали. Лишь порты поменять отпросишься. Уборка заходит, озимые, зябрь. В Казахстан запрут... А там — на ремонт. А в марте снова».

Может, поэтому всякий день по утрам ему слышится голос: «Кончай ночевать!» Дед Федор вскакивает и по старой привычке торопится, наскоро завтракает. Но обязательно бреется.

И вот уже он шагает по хутору, словно военный: высокий, прямой как палка, на голове — фуражка, все пуговицы застегнуты.

Раз-два... И всякое утро кажется ему, что все прежнее — сон, а на Лысом бугре — техника лесом стоит. И кричат ему, машут: «Дед Федор, погляди!»

Раз-два... Тихо на хуторе. И лысый бугор — плешь, ветру не за что зацепиться. Глядеть тошно.

Раз-два... Все дальше и дальше. До самого края хутора. Там на чужом подворье, на пригорке, колесный тракторенок стоит. На приколе.словно на привязи. Тоже нудится. Кажется, позови — прибежит. Но как позовешь чужое? Да и зачем?

Дед Федор круто поворачивает и шагает назад. Раз-два...

Приятель мой, добрый друг деда Федора, уже проснулся, вышел на баз, заметив старика, окликнул его:

— Здорово ли ночевал? Откель правишься? Либо от бабки Марфутки?

Дед Федор лишь разводит руками, не умея объяснить, куда и зачем он ходил. И потому в который уже раз слушает журбу:

— Ты бы, дед Федор, обзавелся бы лодкой. Сетей навязал, вентерей наплел. И потихонечку промышлял.

— Ты бы, дед Федор, занялся куриями. Вон Николай занялся. Сотня кур. Полтысячи яиц в неделю. Это минимум. Приехали, забрали и денежку отстегнули.

— Ты бы, дед Федор...

Старик особо не перечит. Но слушает не слова, а высокий голос тракторного «пускатча». Это Чоков каждое утро заводит трактор и едет в соседний хутор, в бригаду. Там — остатки колхоза. Машина, понижая голос, переходит на рабочий режим и не глохнет, огорчая деда Федора. Если бы заглохла, он сразу бы заспешил к Чокову. Но не глохнет...

— Ты бы нашел себе дело... А теперь еще Вова-премудрый за мерином тебя бегать нанял. Он тебе хоть бутылку за это выставил? А? — Товарищ мой, деда Федора старинный приятель, любит справедливость. — Ты — человек старый. А он тебя гоняет. А ты как дитё...

Вот и нынешним вечером, когда дед Федор вернется и обязательно к нам заглянет, товарищ мой будет, жалеючи, укорять его:

— Снова таскался, ноги бил. Цепляет тебя на кукан, как глупого...

Дед Федор оправдывается всякий раз одинаково:

— Он же сгальный. Дурак дураком. Он людей не жалеет. А мерина враз заперет. Как без мерина жить? Зимой за хлебом...

Ведь и вправду зимой да в распутицу, когда хлябь да склизь, мерин выручает. Ездят на нем за хлебом в станицу. Трюшком, потихоньку, но довозет.

— А картошку людям копать? — вспоминает дед Федор. — Другого поставь. Он тебе наварнакает.

Тоже правда. Старый мерин копалку тянет неторопливо и ровно, выворачивая лемехом картофельные гнезда.

— Нет, нам без мерина нельзя. Колхоза нет, а еще и мерина лишимся — вовсе гибель, — заканчивает свои оправдания дед Федор и об ином речь заводит, тоже не в первый раз: — И ты погляди... Ведь он по степи не блукает, он на родной свой хутор идет, на Венцы. А там об хуторе знака нет, одни лишь сады. А он приходит и становится на том самом месте, где был Юдаичев баз. Тут — хата была, тут — летняя стряпка, амбары. Я помню, мы же в соседях жили. Ныне там лишь бурьян. А он помнит. И прямо на конюшне становится, где его мать принесла. — Дед Федор изумленно разводит руками. — Сколько лет-годов... А теперь, значит, чего-то в голове. Вроде он домой идет. Идет и становится... — И, подумав, добавляет серьезно: — Я вот тоже в детский разум вхожу: одно — позабыл, другое — не помню. А свой родной хутор весь дочиста вижу. Ныне дочикилял — уж стемнело. А я все вижу, что было: от Сухой Голубой до Провалов. Калинкины, Мушкетов Исая, Мушкетов Маркей, бабка Хима, Труша Кулюкин, Иван Гулый, дед Лисан, Юдаичевы и тут наша хата.

— Значит, тоже скоро туда... — смеется мой товарищ. — Как мерин, убредешь. Будем искать тебя. И арапником...

Поздний вечер. Густеют сумерки. Коров подоили и снова прогнали с база. Теперь они будут бродить по хутору, по его пустошам, заросшим травой, добирая. А потом, во тьме, снова вернуться и улягутся, каждая у своего база, сыто вздыхая.

Летним вечером долго не хочется в дом уходить. На воле — прохлада. Товарищ мой смотрит телевизор. Жена его спит, за день намаялась — ей рано вставать. Я сижу, перебирая дневное.

Дед Федор, старый мерин... Мать моя, вовсе годами ветхая, тоже в последнее время во сне чуть не всякий день видит далекую родину — Забайкалье. Проснется — радуется: дома была.

А деду Федору снится одно и то же, он завтра придет и расскажет: «Вроде дали мне комбайн поломатый. Я его делал-делал, довел до ума. Стал работать... Хлеб убирать. А пшеница добрая. Молотим и молотим. Весь ток засыпали. Такие бунты лежат высоченные. А мы все молотим и молотим...»



ИВАН АХМЕТЬЕВ

*

ВОТ ДО ЧЕГО ДОЖИЛ

* *
*

я потому так и пишу
что по-другому не умею
я потому так и умею
что по-другому не пишу

* *
*

вот до чего дожил

что на глупости
уже нету сил

* *
*

300 с лишним дней в году
к остановке я бегу
иногда молиться Богу
успевая на бегу

* *
*

серое небо

серый холодный воздух

серый сухой асфальт

* *
*

режь
мажь
ешь

* *
*

не ищите в его лице
особого злодейства
этого нет
он был обычным человеком
отдавал приказы
подписывал бумаги
проводил совещания
(последнее слово за ним
и все ждали
что *он* скажет)
отмечал праздники
в кругу товарищей по работе

но и боялся
испытывал гнев
раздражение
не всегда мог сдержать
мстительное чувство
и болезненную подозрительность

недалекий
плутоватый
он был не лучше
и не хуже окружающих
за это они его и любили

* *
*

актуально поворотный пункт
ежемгновенен

отсюда вытекает
бесповоротная беззаботность

но это крайности

так что приходится
и трудиться
и заботиться

* *
*

не здесь

то есть

не сейчас

и не сразу

но обязательно

* *
*

стать улиткой
и тихонько ползти вниз
под горку

* *
*

эта лирика
казалась мне
уж чересчур тихой

* *
*

Всеволод Некрасов
не крайность
а норма
но
допускает крайности
временами
как всякий нормальный человек

* *
*

конечно
мы не безупречны
и соответственно не вечны

но с Божьей помощью подчас
рождаем нечто
долговечней нас

* *
*

жизнеприязненность
богобоязненность



О П Ы Т Ы

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ

*

СРОК ГОДНОСТИ

Таинство или подлянка?

В том месте, где положено читать всего лишь по несколько строк, в специально для этого составленной небольшой библиотеке, читаю объявление в газете «Русская мысль», что «Русский дом в Сент-Женевьев-де-Буа, в своем историческом окружении с парком, принимает русских пансионеров — как здоровых, так и инвалидов». Под «историческим окружением с парком», по всей видимости, подразумевается кладбище. Короче, по-нашему, все это вместе — комбинат бытового обслуживания. Можно в первый момент аж задохнуться от желания попасть в эти пенаты, хотя бы и стать для этого немедленно инвалидом. Однако наш принцип — после первой мысли обязательно думать вторую. Понятно, что люди совершенно сознательно должны отправиться на, так сказать, предварительное следствие перед Страшным судом. То есть они должны точно знать, что умрут. Кому-то, может, это покажется смешным или даже глупым — такое мое предположение. Будто бы кто-то может не знать или сомневаться. К сожалению или к счастью — тоже непонятно так уж прямо сразу, — очень многие и сомневаются, и не знают, что умрут. Нет, знают, конечно, но — понарошку. Считают в рабочем порядке смерть этойкой подлянкой, что является не менее поверхностным суждением, чем, например, представление о судьбе как об индейке (еще Козьма Прутков возмущался, что судьбу сравнивают с индейкой, а не с какой-нибудь более на судьбу похожей птицей).

Что же мы все-таки понимаем при жизни в этой самой смерти? Недавно этот путь от полного несогласия и непонимания до самых первых мыслей и догадок о ее реальности засняли на пленку и показали по телевизору прямые и сердобольные норвежцы. Мы видим маму затонувшего подводника, учинившую сначала антисоветский «бунт на корабле» — против традиционного, нашего, до боли родного духа лжи и презрения там, где в просвещенном мире давно уже воцарилось и исправно функционирует — признание.

Эволюция состояния мыслей и чувств этой несчастной матери красноречивее любой философской системы. Она происходит у нас на глазах. Сначала мы видим эту женщину еще совершенно не сумевшей умереть вместе со своим сыном (смертью смерть поправ...). Хотя материнская способность жить интересами ребенка и переселяться в логику его бытия, вообще говоря, не имеет себе равных. Но мешала ложь. И хотя, конечно, не вриали, что умерли, но ухитрились так лживо, так по-нашенски об этом сообщить, что не дали отнестись к сокрушительному факту — сразу по-божески.

И вот она, бедная, попав после невыносимого собрания-попрания всего — в квадратные дружеские руки чужеземного водолаза, который просто лил вместе с ней слезы и был готов идти рядом с чужим горем хоть на дно, хоть

Шамборант Ольга Георгиевна родилась в 1945 году в Москве. Окончила биологический факультет МГУ, работает старшим научным сотрудником Института биоорганической химии РАН. Автор книги «Признаки жизни», лауреат премии журнала «Новый мир» 2000 года за цикл эссе «Занимательная диагностика» (№ 4).

куда, — просто такая простая культура без прикрас, — и вот она нетвердо уже и сама ступает на неизбежный путь смерти. Она, прямо глядя в камеру, постепенно, комментируя свою метаморфозу, двинулась к этой душераздирающей тайне. (Вот то, может быть, единственное ценное, но какое достижение новой эпохи, — это не сама по себе даже гласность, а таяние лжи по всей необъятной территории жизни, лжи, которая всегда была таким же неизменным атрибутом нашей действительности, как мороз, которая всегда не только поддерживала всю конструкцию системы, но и на уровне индивидуального сознания сковывала мысль.)

Удивительным образом даже те несомненные и талантливые выразители действительно «народных чаяний» тех времен, даже Высоцкий, например, говорил сердцем и рычал горлом — правду, но — иносказательно. И не художественность или образное мышление требовали всех этих непонятно откуда и зачем взявшихся коней, напоенных по-над пропастью, а все-таки — запрет. Он рычал сквозь опечатанные губы правду, но все равно задрапированную в эзоповы складки языка и — неразборчиво. И так — все. Такое былое обилие высокохудожественной литературы, где отношения между собой выясняли Петры Кирилловичи с Нинами Сергеевнами на фоне таких грандиозных потрясений, как ремонт или обмен, — это тоже урожай с запрета на свободу слова и мысли. Сейчас эта женщина и не помышляет редактировать свои чувства, она не только может сказать, что думает, но более того — она способна сама узнать, что она думает. Свобода. Правда, есть один нюанс. Она говорит, стоя перед норвежской камерой.)

Сначала она сказала, что просто не может смириться, свыкнуться, потом — что нужно, необходимо, чтобы их подняли, чтобы обрести хоть что-то, хоть какое-то «подтверждение» исчезновения с лица земли, причем чувствовалось, что ее устроило бы любое материальное свидетельство, не годится только справка от издевательских властей. (Если даже человек умер мученической смертью, его тело не обладает никакой энергией, а значит, в нем не остается и обиды за эту смерть, и главное, нет никакого упрека оставшимся жить. Именно это так необходимо увидеть, чтобы убедиться, чтобы смириться и хоть как-то успокоиться.)

Она сказала, заливаясь слезами, что ее бы устроила даже трехлитровая банка «этой» воды, чтобы похоронить ее.

Господи! Вот она, единственная наша настоящая государственная тайна. Это только нам с вами понятно, что такое у нас, на нашем постсоветском пепелище, именно трехлитровая банка. Все сразу понимают, о чем речь. У нас это эквивалент, конвертируемая валюта. Даже гнетущее однообразное разнообразие и пестрый попугайник многолетней атаки на нас всех видов и форм упаковки, никакие нарезки, фигурные одноразовые вместилища чудо-продуктов, не сдвинули ни на йоту это божество. В любой деревне — это мера молока, самогона, огурцов, грибов, ягод, — это ценность. Вам простят все, но не заныканную банку (по ценности с ней кратковременно может сравниться только то, что оставалось еще в бутылке, ибо за это могут и убить).

Заговорив о банке, женщина проговорилась, то есть проникла эта стылая вода уже ей и за шиворот, и в сознание, и в подсознание. Потом, уже буквально продвигаясь душой внутри затонувшей лодки, перебирая на ощупь переборки, она жалобно попросила золотую рыбку, может быть, суметь вскрыть как-нибудь каюту, может быть, что-нибудь из вещей... (видимо, отсек, в котором должен был по службе находиться ее сын, не оставлял никаких надежд на тело, хотя и тут она все же просто нечаянно поверила тем, кому нельзя верить ни в чем вообще).

И мы снова видим ее глаза, которые отправились в слепое путешествие, и буквально видим ее душу, начинающую постепенно прозревать, что означает — смерть. Только начинает. Как это трудно нам, людям, совкам, пока еще научившимся молиться только на трехлитровые банки.

И эта смерть, которая для советского человека, как, впрочем, и жизнь, всегда казалась отчасти насильственной, смерть, с неизбежностью которой не спорят даже никакие, еще не усвоенные нами толком, самопровозглашенные права человека, — вдруг у нас на глазах в глазах этой женщины начинает вступать в свои владения и заполнять их, как вода. Бог в роли Феллини, Джульетта Мазина в роли нашей героини...

Вот, вы говорите — телевизор, разврат, ах, кто-то там из наших самых благородных никогда не включает ящик. Ящик можно не включать, но сыграть в него все равно придется всем. Конечно, совершенные обойдутся без телевизионных шоу, на какую бы тему они ни были, но кто узнает, что они обошлись, и как узнают? Я согласна, что и не надо. И даже чем писать, а тем более печатать, лучше вырыть ямку и туда прокричать: «У царя Мидаса ослиные уши!» Собственно, можно ничего другого туда и не кричать, ведь все равно — никто не услышит и не узнает. А еще лучше, помня о возможной дудочке, промолчать, отложить все знания и чувства на стенках сосудов, а когда они станут постепенно закупориваться — все забыть, а когда совсем закупорится где-нибудь в жизненно важной точке — умереть. (Ну, видите, как смерть сродни отгадке!) Конечно, это очень поучительно для тех особенно, кто ничего о вас не узнает и не услышит. Знание все равно прорастет чем-то, Бог знает чем. Как-нибудь, каким-нибудь способом его станет больше. Или нет. Просто восполнится в какой-то новой форме брешь от исчезновения прежних форм знания. Все мученья — это лишь необходимость передачи этой эстафетной палочки, меняющей свой облик, форму, но не смысл, который, впрочем, так и не раскрыт.

Конечно, модно и правильно — ценить искусство, оно и вправду дольше жизни живет, но вульгарное телевидение, документалка-моменталка, пожалуй, на этот раз подошло к тайне поближе, чем гениальная аве-Майя в умирающем лебедь и чем все Фаусты Гёте вместе с предпочитающими им гвозди в ботинке поп-артистами-самоубийцами. Реченное слово есть ложь. Оно, конечно, в каком-то смысле ложь и тут, в этом кинодокументе. (Все ложь. Даже захватывающая дух замедленная съемка деления клетки — этот биобоевик, теперь уже предназначенный только для воодушевления студентов-первокурсников.) Она — мать, уже одним тем, что осталась жить, — согласилась сыграть роль. И все-таки кажется, что степень приближения к чему-то очень важному слегка возросла, а может, это оптический обман, гипноз экрана, одиночество телезрителя. Бог весть.

Может быть, когда-то мы сумеем так хорошо учиться, что научимся умирать и поймем, зачем нужна смерть, и сразу отпадет необходимость жить. Где грань? Религия так охотно учила смерти, особенно христианство, особенно православие. Буквально действуя в жанре рекламы. Вам предлагают — научим смерти, посвятим ей жизнь, научим петь небесными голосами, отпоем и — к стороне. Свобода — это только смерть. Нравится — бери. Но вам никто не отрубит. Брать надо все целиком.

Мы так устали от всех зависимостей, всех пут, от несовершенства человеческих отношений. Но освободиться, рвать эти цепи — значит обретать во все не блаженный комфортабельный покой — но черную холодную гладь, без единой зацепки. Не стоит раньше времени расставаться с любимыми, стоит продолжать терпеть хамство и холодность детей, навязывать им свое участие, терпеть жалобную фанаберию бедных старичков и не отказывать им в участии, наверно, даже крутые причуды людей своего поколения следует сносить по возможности кротко. Мания величия, истеричность, эксцентричность и многие другие малопрятные свойства людей — это их способ противостоять депрессии. Самая дурная энергия инстинктивно предпочитается потенциальной яме. Любая жизнь — смерти. Ворует — хорошо! А то, не дай бы Бог, — повесился.

Не надо освобождаться заранее, не следует умирать, пока не понадобится. Приближают опасность обычно от страха, как в той сказочке про пасту-

шонка, который сперва понапрасну звал на помощь. До всего придется дожить, все увидим и узнаем. А то и поймем кое-что. Французы говорят: жить — значит платить. Это неглупо, даром действительно ничего не дается. Но все-таки — терпеть еще надежнее, потому что терпеть остается, когда и платить уже нечем или некому.

Помните, ведь кое-что было сказано, не менее существенное, чем заповеди блаженства: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Рычаг! Вот условие возможности совершения Работы. Рычагом духовного продвижения человечества служит тот факт, что понято может быть только то, что безвозвратно потеряно, и только тогда, когда уже поздно.

И только если вы намерены заглянуть одним глазком в глаза смерти, чтобы побежать и рассказать живым, «что я видел», только тогда вы не пропали без вести, не оставив ни следа, ни обрывка, ни клочка.

Все цветы мне надоели

Бездарные киноглюки вроде замедленно скачущих коней по травам-муравам на самом деле отнюдь не беспочвенны. В ходе молчаливой жизни — по пути куда-нибудь, то есть когда специально делать ничего не надо, а дело тем временем делается, — так вот, по пути, например, с работы домой, особенно если идешь поздно или несешь уже достаточно тяжело, никуда заходить не надо, можно, а иногда и удается — отлетать по месту жительства души. Я обычно успеваю быстро, как во сне, прибыть в ситуацию, когда я уже сумела каким-то образом поменять как бы свою квартиру в Москве на домик в Псковской губернии. Самого дома я не охватываю внутренним оком, я вижу только — дверь, но не вход, а выход на улицу, то есть из дома — прямо на землю. Такая дверь мне знакома с детства — наверно, я ее вынесла из пожара, спалившего тот многоквартирный деревянный дом в Перловке, где жила «после катастрофы» и многих лет ссылки и скитаний моя любимая бабушка. Я, кажется, слышала, что такой тип жилья называется слободкой. Сначала у бабушки с ее вторым мужем-тоже-князем там было две комнаты, и молодые мои, еще бездетные родители жили там же, а потом, когда тоже-князя все-таки замели, — уплотнили. Бабушка осталась в одной комнате, а в прежней второй смежной, за теперь уже намертво запертой дверью, поселилась темная одинокая женщина по имени Лина. Она была рябая, похожая на неандертальца и на врожденный сифилис, болела чем-то очень тяжелым, какой-то онкологией в области шеи (бабушка, медсестра еще с Первой мировой, постоянно «устраивала» ее к врачам), она была кроткая и неласково добрая. Но при замуровывании стены вследствие ареста князя Линаина комната оказалась в другой квартире, а в бабушкиной жила еще еврейская семья — Гавсюки, с согнутой под прямым углом (она была первая такая в моей жизни) величественной старухой Анной Львовной, средними — мещанскими и смачными мужем и женой и какими-то еще детьми — гавсючатами, а также Седовы — благородный, похожий на лося (может быть, это от него я впервые услышала название станции — Лось?) Константин Михайлович с сухой поперечно-полосатой очкастой Марией Ивановной и с Шуриком Седовым, тяжеловесным, белобрысым сыном, с лицом, запотевшим, как очки в бане. За Линаиной дверью всегда была тишина. Гавсюки жили шумно, но не скандально, Седовы разговаривали так тихо, что требовалось напряжение, чтобы расслышать, а вот за одной из стен, как раз около которой стояла бабушкина огромная кровать, доставшаяся, как и все вещи, от каких-то дальних родственников или близких друзей (от прежнего, естественно, ничего не оставалось, а нового тогда не покупали, окно на ночь бабушка завешивала черным, расшитым каким-то шнуром ковриком, и утром сквозь дырочки, вероятно, проеденные молью, пробивались солнечные лучи, наполненные мириадами частиц), за этой стеной из красивых широких досок жили Гольдманы, у которых все время происходила бурная жизнь, и старик Гольдман комментировал ее на смеси русского с идиш. Он

постоянно поносил непутевых отпрысков, воспитывал жену, а вечером требовал подвести «дер итог». Что имелось в виду? Все жизненные усилия, произведенные за день? Доходы? Траты? Скорее всего речь шла все же про «гелд». Удивительно был устроен этот дом. Сколько там было отдельных выходов — уму непостижимо. Практически у каждой комнаты-семьи был выход на улицу. Откуда-то по своей лесенке по вечерам спускалась Екатерина Ивановна, пожилая красивая смесь Тарасовой с собирательной казачкой, и ее суждение о чем бы то ни было имело особый вес — если уж она похвалила ребенка или погоду, те могут спокойно существовать дальше.

Вот там и тогда я на всю оставшуюся жизнь нанюхалась деревянного коридора-керосина. У бабушки были две керосинки, у Гавсюков — керогаз, был там и чей-то примус, за водой ходили на колонку, сортир был далеко на улице, а вокруг дома небольшой участок прилежащей земли был нарезан между владельцами. Там у бабушки росли доступные ей в тех условиях, любимые ею в тех условиях — цветы: разбитое сердце, самые простецкие флоксы (но именно с тех пор я знаю их слабый и дорогой аромат и сладкий вкус ножки оторванного цветка, именно тот опыт позволил мне сразу и навсегда полюбить Петрушевскую особой нездешней любовью, — это там где-то все мы такие то ли были, то ли окажемся вместе, — за фразу из «Время ночь», где говорится, что у внука голова пахла флоксами), георгины, маргаритки, анютины глазки, чьи, по набоковскому наблюдению, «чаплинские» мордочки не надоело разглядывать на протяжении всего «счастливого детства», настурции — лисички в старинных французских девчочковых шапочках, зимующие левкои, ноготки, бархотки и золотые шары. Три последних сорта расценивались, впрочем, вполне справедливо, моей мамой как пристанционный цветочный социальный слой. А царствовали — казанлыкская роза и жасмин. У всех, конечно, была сирень. Какая у кого — своего рода знаки отличия. Это были крошечные пятячки, последующие шесть соток по сравнению с ними оказались бы огромными, но каким-то чудом эти клумбы вокруг крыльца были гораздо менее убогими, они были просто очень мелкими обломками прекрасного.

Таким образом, несмотря на все ужасы реалий и реальность ужасов тогдашней жизни, я могла с самого раннего детства увидеть и потрогать целый атлас форм истинной красоты, понюхать и впитать навсегда запахи жизни, определяющие все последующие вкусы и узнавания. В те времена жасмин расцветал к середине лета, к моему дню рождения (теперь, мне кажется, он стал цвести раньше — акселерация, а может быть, дело в географии или почве), и я до сих пор принимаю его сладкий земляничный запах на свой счет, как будто получаю по почте (хотя мне, как и полковнику, давно никто не пишет, по крайней мере по почте не посылает) весточку на непонятном языке. Бабушка сама, естественно, копала тощую глину (земля была — глина, за стеной жила Лина), сама таскала ведрами воду и дерьмо под пионы, — значит, были еще и пионы, полола и т. д. Я ассистировала, когда бывала у нее, и уже тогда (а не только по памяти) испытывала счастье надежности бытия от того, как бабушка приступала к любому тяжкому и мучительному трудовому процессу, — с радостным сиянием на лице, как гурман, добравшийся наконец до праздничного стола.

Потом была масса острых «цветочных» впечатлений и переживаний: альпийские луга на Тянь-Шане, вереск в Прибалтике, колокольчики на голых скалах на Белом море, практика по высшим растениям — смесь пионерского похода с прогулкой по собственному имению, в результате которой мы возвращались с «длинными букетами полевых цветов», но вместо того, чтобы класть их на роуль и ложиться в гамак, мы садились с лупой их определять, однако тут к луговой-полевой идиллии примешивалось столько всякой убогой, казенной и коллективной гадости, что вступать в удивительные отношения с растительным покровом на этом фоне было нелегко.

Есть и еще одна бездна души, населенная настолько еще не выкорчеванным из сердца растительным царством, о котором еще больно говорить в про-

шедшем времени. Деревенский дом в костромской глуши, где мощь сорняков достигает таких захватывающих дух значений, их энергия так щедра и беспощадна, что их не забыть никогда. Ночью светится в темноте древоподобный репейник, серебрится полынь выше человеческого роста, глухо чернеет крапива. А ярким или грозно-пасмурным днем (там столько неба, что создается впечатление постоянного симфонического сопровождения) цветут или отцветают непроходимые луга, где все экземпляры крупнее, ярче и махровее, чем на цивилизованных землях. Клевер огромен, темен, благоухан, тысячелистник тоже крупнее, чем под Москвой, и не только белый, но и розовый, и сиреневый. А донник? А кружева зонтичных? А воздушные ямы, надушенные островами кремовой таволги? А басы иван-чая у самого леса? Нет сил забыть и нет возможности добраться. Но душа еще не может отказаться финансировать бальзамирование «труп» этого куса биографии. Единственный случай, когда можно, со всеми оговорками, понять коммуны.

...Потом Перловка была принесена в жертву хрущобе в Кузьминках (нас было четверо, и не хватало пятой — бабушки — для права на картонную квартиру из трех смежных комнат), потом была жизнь на правах бедных родственников у тетки на даче. Тетка была талантлива во многих жанрах и, выйдя замуж на склоне лет за дядю с дачей, развела там королевский сад, где все цветы были аристократами, чемпионами и титулованными экземплярами (на них надо было ходить смотреть, когда они расцветали, и к этому разглядыванию, кроме непосредственного удовольствия, примешивались разные чувства: восхищение хозяйкой, цветоводами-селекционерами, благоговение вообще и в частности). Туда же были перевезены чудом сохраненные бабушкины главные персонажи: казанлыкская роза, жасмин и разбитое сердце. Там в укромном уголке грандиозного сада они переждали до своей последней пересадки, на бабушкину могилу.

Да нет, я знаю, меняются, конечно, не цветы, а мы сами. Это я, я одна виновата — это надо петь. (Однажды мне довелось сопровождать своего друга в психовозке — такой «уазик» ветеринарного цвета колесил по городу, собирая со всего района безумцев, подлежащих в этот день госпитализации. Там была одна крошечная старушка, она уже была, когда мы влезли, так вот она так убивалась, так горестно сокрушалась и говорила, что испортила своей дочке всю жизнь. Я сгоряча приняла это за какую-то адекватную информацию, но потом она постепенно распрямилась, набрала обороты и стала давать показания, которые кончались сакраментальной фразой: «А ведь война-то, Великая Отечественная, тоже по моей вине началась...» Так что увлекаться идеей собственной вины можно все-таки тоже — до известного предела.)

Сейчас, когда всего стало завались, цветы продаются повсеместно. Именно по ним можно судить, насколько предложение должно превышать спрос, чтобы Адам Смит спокойно спал в своей могиле. Эти ларьки напоминают порнуху, ну как бы разрешенную ее часть. Верхний интим. Такие стеклянные придорожные кибитки-бордели для роз и гвоздик, этих профи, участниц любого торжества и сабантуя. Бывают менее распространенные типажи, временные нашествия иногородних тюльпанов, мимоз, иногда даже ирисов, но хоть они и менее примелькавшиеся, но не менее казенные. Я видела, как подстригают завяленные края чудо-роз. Сколько времени они стоят в торговых точках, уму непостижимо. Ну, что они все не пахнут и сколько они стоят, можно не повторяться. Тогда в Перловке вечером благоуханье сводного оркестра всех клумб, кустов и цветущих деревьев не только порождало ощущение жизни на земле, оно даже перебивало запах коммунального туалета типа сортир.

Все кончилось или все кончилось для меня? Вот в чем вопрос. Кто-то ведь и сейчас разводит заветные, может быть, не те же сорта, появились же всякие альпийские горки и прочие цветочно-духовные ценности. Жизнь продолжается. Где-то что-то обязательно благоухает, солнце садится, острее кто-то где-то

что-то начинает чувствовать, не только эти старомодные идиотки из рекламного триллера, которые хотели стать актрисами, а теперь, спасибо, сами готовят себе растворимый кофе. Дай-то Бог. Лишь бы, лишь бы, а то и одуванчики, кажется, задохнулись от газов, которые выпускают обожравшиеся выросшим благосостоянием трудящиеся. Одна пыль и рваные упаковки летят. Ну нечего. Такое огорчение пока еще может проходить, как сердцебиение или головная боль.

А тут, совсем недавно, я видела, как ранним вечером у соседнего дома из машины вышел шикарный полуседой мужчина, как из арабского фильма — еще до сокрушительного предательства или через тридцать лет после, — с большим букетом длинных красных роз и пошел походкой, благоухая парфюмом, к подъезду. Туда, где его, конечно, ждут. Ах, что-то в этом все же есть. Хоть столько уже известно, от возможной мебели из Испании и сантехники из Италии там — до всего, что связано с человеческими отношениями в любом жанре. Ну и что ж, им могут чем-то пахнуть и эти розы, хоть я и знаю чем.

Все цветы мне надоели... Кроме тех, бабушкиных. Но к ним мне не дотянуться никогда. Даже ценой смерти. Некому будет разводить маргаритки с аютиными глазками. Не потому, что у меня никого нет, а потому, что у них в сознании на месте клумб моего детства другие декорации цветут. Даже эту считалочку про садовника никто почти уже не знает.

Красиво почти все. Кроме, пожалуй, свинарникоподобных совхозных поселков позднего советского обскурантизма.

...Так вот, выхожу я из двери, расположенной в торце слепого выступа деревянного дома, успеваю возвести взглядом водосточную трубу, и тут полет шмеля прерывается и откладывается на неопределенное время. Но он определенно повторится, хотя, скорее всего, заново, а не в продолжение. С продолжением всегда напряженно.

Пейзаж

Вот река. Разделяет два способа жить.
Там стоит стылый лес, подвергаясь всему,
и бугры — золотые под снегом — травы,
как головки блондинок под снегом.
Лес опал под влиянием осени,
трава пожелтела по тем же причинам
и поникла под тяжестью снега.
И при этом, прошу обратить вас вниманье,
сохраняют присущий им вид и характер,
изменяясь сугубо в пределах,
обозначенных как бы не просто повыше,
а в совсем высоко им отпущенном диапазоне.
Ну река. Это ясно — лежит и течет.
Сверху, видимо, тоненький лед.
Виден снежный покров, и блестят полыньи.
Если сбоку смотреть, то чернеют, как ночь,
а вблизи — так похожи на очень большой рыбий бок,
с желтизною подкожного жира кисель.
В доказательство рыбных затей
через реку по снегу проходят следы.
Значит, лов совершается с риском для жизни ловца.
Зверь давно убежал.

А на этом — простые, как пробки, —
попытки устроиться жить.
Пятигранники изб и квадраты сараев.

По два дерева каждому дому —
суеверный намек божеству,
что, мол, мы уважаем не только сожрать.
Так просты, неказисты попытки прожить как-то жизнь,
приютиться, укрыться, согреться.
Эти борозды в пойме под снегом еще угадать удастся.
Это просто следы их труда, чтобы просто питаться.
Сколько надо вертеться, извечно вставать раньше радости утра,
колотить-молотить — просто чтобы до завтра дожить,
чтобы как-то его обеспечить.
Как заело пластинку, пока не иссякнет терпенье.
У сосудов, у сердца, у печени или у почек.
Иногда иссякает терпенье других —
буйных особей этого вида.
Иногда не хватает усердия жить своего.
И попытка покинуть сей мир
может точку поставить в попытке
исполнить невнятное чье-то задание.

Человек есть орудье попытки.

Промежуток

Как бы там ни было, но те, кто после жизненной бури встречают штиль в одиночестве, те имеют шанс, правда, это не чистый опыт — уж очень «до опыта» и «после опыта» напоминают картинки из медицинских учебников — «до лечения» и «после лечения», только в обратном порядке. И все же есть шанс вчерне допереть, в чем состояла цель плавания. Чем оно кончается, ясно. А вот — для чего? Каков улов? И если обломки после кораблекрушения в виде большой развесистой семьи или чего-нибудь аналогичного не заслоняют горизонт — то видно, что дала буря. Зачем было весь практически жизненный потенциал тратить на то, что само пройдет, зачем, зачем и почему? Эта тренировка в условиях, близких к естественным, была нужна именно для того, чтобы вымотать и оставить наконец наедине с мирозданием без прикрас, уже с абсолютной очевидностью бессмысленности всяческих форм корысти. Правда, так мудро, для чего-то опять же, все устроено, что возможность уже понять и способность еще соображать буквально лишь пересекаются в некой точке во времени, а на то, чтобы «воспользоваться» пониманием, времени вообще не отпускается. А вот это и есть главная отгадка. Знанием невозможно воспользоваться. Только недопонимание — стимул, только непонимание развязывает руки. С первым криком младенец начинает ничего не знать. С последним вздохом мы перестаем знать все. Промежуток всей жизни поделен на отрезки, и, как в математике, на таком ограниченном отрезке может помещаться бесконечное множество чего угодно. И в том продувном пространстве и времени, где действуют непреложные законы и о которых нам давным-давно пытались вдохновенно или твердолюбо поведать всклокоченные или подтянутые учителя, — в этом пространстве-времени вы наконец оказываетесь, как в пустом классе, где все стулья перевернуты и вознесены на столы, кроме того, на котором вы засиделись, — то ли в качестве дедушки-бабушки после родительского собрания, то ли — во сне, то ли — по состоянию духа. И этот отрезок ложного ощущения близости к пониманию и к разгадке — тоже тщетен, он тоже весьма ограничен по возможностям и бесконечен по задаче. Единственно, что можно извлечь сладенького, — это умение испытывать спокойное счастье оттого, что все так, как есть. Это чисто эстетическое переживание, как, впрочем, всякое счастье.

Законы перспективы

Кто их открыл, эти законы? Это один закон или нет? Он, может, и один, но как всеобъемлющ и сколь многообразные факты описывает и объясняет. Мало того, что чем ближе, тем крупнее, а чем дальше, тем мельче. Уж одного этого хватило бы на всю мудрость жизни. Однако этой мудрости мало по сравнению с самой жизнью, потому что эта мудрость — лишь мудрость пространства. Но из этого же закона вытекает, что путь, в начале которого мы стоим, собственно, всегда вначале, — он будет постепенно сужаться по мере продвижения, все будет становиться меньше и всего меньше — будет меньше сил, меньше времени, меньше чувств, меньше поводов для всего этого. А вот это уже мудрость пространства и времени. Мы же с самого детства испытываем эту неясную страсть — уйти в картину, висящую на стене по сужающейся дорожке, как у Набокова в «Подвиге». Мы знаем, ведь сначала мы прекрасно знаем, как будет, но — без слов, и мы даже хотим, чтобы так все и было, инстинктивно мы правильно хотим, а главное, хотим, чтобы — было. Потом мы начинаем действительно узнавать, что так и будет, и уж особенно когда так и станем, — почему тогда нас все так не устраивает? Почему нас перестают устраивать законы перспективы? Ведь они — законы. (Смешно, а ведь юридические законы названы законами почти что в шутку.) Так что же, мы из них вырастаем? Может, мы так круто развиваемся, что нам становится тесно в рамках этой картины? Да нет, если честно на себя взглянуть, увидеть, как мы угасли, не важно, сошлись при этом или расплылись, затихли или расшумелись — все равно истаскались, измучились, измочалились и угасли даже самые мощные источники питания для окружающих. Ведь это — просто правда. А мы обычно как реагируем? Если нам хоть слово правды, сразу — клевета. Сойти на нет трудно, никто не спорит. Но никто не заикался даже о легкости, кроме м-ка, сочинившего словосочетание — «невыносимая легкость бытия». Ей-Богу, или переводчик подвел, или сам не понимал, о чем это. Или понимал, но невыносимо легко. Вот что это за сорт людей, которые так радостно клюют на приблизительность? Страстные поклонники в очень разной степени великих — Пастернака, Окуджавы, Пелевина и других хреновых снайперов пера... Им, видимо, кажется, что если промазал, то в этом что-то есть, что нарочно промазал, типа предварительных эротических игр — возбуждает тем, что не попал. Нет, они, наверно, думают, что литература должна быть выше и ходить мимо. А она вообще никому ничего не должна. И даже те, кто ее пишет, при этом никому не должны. На них, между прочим, распространяются те же законы. Они так же сначала бурлят, но не знают что, потом еще булькают, но уже много чего знают, а потом знают все и не могут выдать ни слова. Как-то, принимая душ, я сочинила и пела на тот же мотив, на который поется «Выхожу один я на дорогу», — «Человек всегда имеет пра-а-а-во — исписаться и омаразме-еть». Действительно, это право обеспечено законом перспективы. И не важно, с какой точки вы на него смотрите и с какой его строчки вы его читаете. У него свой путь, который неизбежно сужается, а у вас — свой порядок чтения, на пути которого вы сами по себе сужаетесь. Надо быть справедливыми. Закон, как нам сказали наши власти, один для всех. Самое-то главное, что закон невозможно преступить, если это действительно закон.

С приветом. Ольга Шамборант. Оля. Или уже почти что точка О на картине жизни.

Срок годности

Ну в чем могут выразиться благие намерения? Ну, допустим, вам дали возможность, средства, право. Ну и что? Образуются сплошь и рядом какие-то Программы-2000 типа — «Каждому слепому ребенку — книжку в подарок!». То есть когда что-нибудь делается не по страсти, общепризнанно порочной

или субъективно чистой, все равно — получается бездарность, доходящая порой до полного идиотизма. Объясняется она не бесталанностью, не отсутствием каких-то там способностей, а надуманностью мотива. Помните, да нет, никто ничего не помнит. Никто не помнит крылатых строк из «Евгения Онегина». Мой невольный опрос нескольких «совершенно интеллигентных» людей очень разных возрастов показал, что слова «краса ногтей» не вызывают у них никаких ассоциаций. То есть те, кто точно знает, уже вообще ничего не помнят, а те, кто еще помнит, уже ничего не знают. И я задумалась. А была бы не жизнь, а сказка какая-нибудь скандинавская — я бы обязательно превратилась в скалу или еще в какую-нибудь остолбеневшую деталь неживой природы.

Спрашивать дальше? Зато если процитировать любую фразу из до блевотины бездарной рекламы — все радостно подпрыгнут. Как раньше школьные карьеристы тянули руку с отчаяньем, что не дадут сказать. Да... Двести лет, видать, достаточно даже для Пушкина. Битову Пушкина еще недостаточно. Ну Битов-то точно про ногти помнит, он ведь личный врач-реаниматолог Александра Сергеевича. А Пушкину, видимо, захотелось уже взаправду — «покая и воли». И видимо, все-таки нельзя быть дельным человеком и думать о красе ногтей. Пушкин ошибся ради красного словца. Вот и про всю литературу можно так сказать. Очень даже плодотворно некоторые ошибались ради красного словца. Они-то, может быть, и не так уж ошибались, но — срок годности. Срок годности.

Я теперь понимаю, что и для таблеток, и для кефира — эти сроки ошибочны. Халтура. Для таблеток — наверняка дольше, для кефира — полагаю, меньше. Так вся деятельность человеческая, даже великая, — такая все же шалость-малость, если честно. Даже великие так же точно малы, и тут Пушкин опять ошибся. Велик — не так, как другие, а мелок — так же. Нечего подключаться к движку таланта при решении «ну очень» личных проблем. Они решаются неталантливо. Или не решаются. Или не являются проблемами.

Так вот, если о Ком-то и о чем-то помнят все «ну очень» долго — это было или не было? Что наварили хорошо, это ясно, а вот на Ком, на чем? Есть стержень, есть ось, есть точка отсчета? Или только точки перелома всемирного облома?

Эх, снова новые времена, снова пора купюры обменивать. Хоть на зайчики. И только Битов то ли в России, то ли в Ирландии, то ли в Исландии, и Резо Габриадзе то ли в Грузии, то ли во Франции — будут помнить, что зайчики — это тоже про Пушкина. Но пользоваться в обиходе будут, как и все, — СКВ.

Молитва как жанр

Еще недавно я могла многословно и затейливо, с литературными реминисценциями наперевес, пускаться в долгие рассуждения о сущности жалобы. Сейчас бы я только и смогла бы по этому поводу сиплым голосом сказать: «Не жалуйся, не дай Бог, твои жалобы будут услышаны». Так ясно — как день. Значит, наступил вечер. Да что там пускаться во все тяжкие о трудностях литературного жанра! Помолиться — и то кажется грехом! И чего ж тут удивительного? Ведь как удержаться от навязывания Господу своих идеалов, от желания подкупить своим смирением или хотя бы от тщеславных попыток сделать смирение заметным? Как пройти этим невидимым путем, не запутавшись в самом себе? Помолиться молча? Хитрость. Но если мы и подбираем очень тщательно искренние слова, ведь мы же сами их и оцениваем — значит, опять грешим, грешим всем, что указано выше. Или перед необходимостью обратиться к Богу надо очиститься от всего, кроме этой необходимости, но как и в этом случае не покрасоваться — перед Ним. А ведь есть прекрасные молитвы. Только их очень мало — за всю историю человечества. Жанр непродуктивный. То ли дело малогабаритный любовный роман или вечно разочаровывающий вор времени — детектив. Все-таки следует, наверно, обращаться ко

всем и ни к кому, тогда когда-то у кого-то получится что-то. Ведь есть, есть такие литературные произведения, и сейчас есть, которые можно смело приравнять (я заговорила голосом Козьмы Прутков...) к молитвам. У одной только Петрушевской я знаю как минимум две такие вещи: «Время ночь» и «Мамонька-мама». Они, конечно, больше заклинания, но и молитвы.

А впрочем, искренняя страсть (душа) и удачная форма ее выражения (талант) — это к Богу. Нам ведь вообще — туда. Типа: «Вы куда?» — «Туда, а куда же еще!»

Границы жанра

Мое собственное впечатление от того, что я теперь в состоянии написать, как от некой гущи, оставшейся в кастрюльке после борща, например. Все мои мысли и чувства, впечатления и ощущения пропитались друг другом от многократного кипячения, побурели, потеряли яркость, а выбросить жалко. Почему-то этот остаток тревожит душу хозяйки. Вот я и пишу.

Я не пушусь сейчас во вполне перспективные попытки сравнить все ингредиенты этого борща с обрывками разного рода воспоминаний, ассоциаций или умозаключений. Боюсь, что читателя вырвет. Конечно, это был бы настоящий перформанс. Но кто бы к этому стремился. Бывает у вас, да, конечно, бывает — в своих телесных страданиях мы гораздо ближе друг другу, чем по духу. Бывает у вас вечером или в другое время суток такое неурочное томление типа голода? Но это ни в коем случае не обычный голод. Имея кое-какое образование и будучи по необходимости начитанной в некоторых областях, я предполагаю, что не хватает нам в этом случае какой-нибудь крохи, микроэлемента или в крайнем случае небольшого какого-нибудь активного компонента нашей жизнедеятельности. Адаптогена какого-нибудь. Но ведь большое неповоротливое глупое человеческое тело не знает, не умеет понять, чего именно ему не хватает. И вот совершается какая-нибудь ошибка, ладно, если только диетическая, да и та может случиться в особо крупных размерах. Я уж не говорю о тех, кто может напереться каким-нибудь соленым печеньем, чтобы восполнить этот неясного происхождения дефицит. Даже умный развитый человек часто не может разобраться, что его так разбирает: душевное или физическое томление. Глух, глух человек. Слеп и бесчувствен. Ну вот йоги всякие предлагают науку, как справляться с такими делами. Сколько фиников в день надо съесть за сколько раз, в какую сторону света смотреть, предпочтительно закрыв глаза, как и когда правильно принять позу трупа, чтобы успешно расслабиться, а по-нашему — просто отдохнуть. Я не посягаю на исчерпание этой темы и никакого «взгляда свысока» на это не имею. Напротив, не только уважаю, но и побарахталась несколько раз за жизнь где-то на периферии этого весьма продвинутого способа взаимодействия человека с образом мироздания внутри себя. Культура. Любая культура помогает жить. Ведь она не то чтобы учение на ошибках, а следование такой ошибочной системе, которая предохраняет от других, более страшных, как вам кажется, ошибок. Насчет иерархии грехов, например, какое-то у меня образовалось весьма путаное представление. Так я, признаться, и не знаю, признается какая-либо иерархия грехов или все равны. Что убить, что обожраться. Такая логика директора школы — сегодня обожрался, а завтра, гляди, уже и убил. Хотя сейчас это неудачный пример. Директора, погрязшие во взяточничестве и коммерции, теперь уже так не скажут скорее всего. Тут вам не военный коммунизм. Хотя при военном коммунизме убить выглядело бы гораздо меньшим грехом, чем обжираться. Да, будая у нас история. Ни слова нельзя утверждать безоговорочно. Просто беда. Ну все равно, если еще сохранились ежи не только в мультфильмах, но и в природе — ежу ясно, что иерархия грехов в человеческой практике существует. Что тогда говорить об иерархии ошибок. Из-за одной ошибки может не помочь таблетка от головы, а из-за другой — рухнуть самолет с пассажирами. Хотя нет, невежество в первом случае и какая-то из форм халтуры —

во втором, разные вещи. А если смотреть на все это с очень большой высоты, может быть, невежество и халтура и сольются в один цвет. Не нам судить. Ну ладно, пусть не судить, но как удержаться, чтобы не предполагать, какое может быть суждение?

Береженого Бог бережет

И вот так бы и дальше продолжать — все на одну букву. Целый рассказ. Боюсь, безответственно братья, бедные буквы... Нет, я не справлюсь. Вернее, почему же, наверно, справлюсь. Но в том-то и дело, что мне-то как раз хочется обругать форму против обыкновения. Хочется успеть, почему-то по-быстрому (почему-то я всегда отчаянно спешу, как будто опаздываю или за мной гонится страшный дядька), поведать о своей неприязни ко всем непонятно кем и чем навязанным человечеству играм, к детективу как жанру во всех его проявлениях и о его близости такому «виду искусства», как высокая мода: и там и там манипуляция баранами, успешная затея пустить по ложному следу все ресурсы, — внимание, время, порыв, утлые остатки какой-то внутренней энергии, непонятно для чего предназначенной, которую кому-то проще просто вечером загасить о кроссворд, чтоб спать не мешала, или же направить неловким ударом куда подальше, где мы все равно безнадежные профаны, — поискать, растерянно озираясь, гармонии — в абажурах, цепях и капканах, предложенных нам в качестве образца красоты невообразимо жеманными порочными добряками кутюрье. Почему-то убили только Версаче, а не всех вплоть до Юдашкина. Уж там-то свой сложный космос и ультраструктура. Это для нас они все — вот это и «про это». А внутри — одни сплошные различия. Смешно. Я ведь вовсе не об этом трепетала, схватившись почему-то за перо. Береженого Бог бережет. Почему люди боятся совершить ошибку, пойти не своим путем, оступиться, попасть не в свою историю? Уж как бы и ежу ясно, что моральные принципы — это не причина, а способ реализации. Чего? Страх Божьего? А он-то кто? Что мы так прилежно бережем? Бессмертную душу? Чего тогда ее беречь, все равно никуда не денется. Детородную функцию? Все равно имеется свой срок годности у всего. Почему мы какие-то жизненные явления так яростно отторгаем? Может, все мы бескорыстные борцы с энтропией в рамках своего восприятия?

Вот, произошла трагическая история. Один бывший коллега, большой охальник, остроумец и вполне настойчивый ходок по своей стезе, был убит ночью в своем деревенском доме из его же охотничьего ружья. Ну ясно, что не без того. Убил, конечно, пьяный мужик, кто-то из «паствы» сего старшего научного миссионера. Но вот он убил и, как это водится в деревне, на другой день пришел с повинной. Как много из этого следует, просто руки опускаются. Ну и бежать некуда, и нет умения жить где бы то ни было (у себя дома — тоже). Деревенские и сейчас уж совсем рядовые необученные, да еще и ошарашенные телевизором, углубившим пропасть между неподвижным пейзажем их бытия и инопланетными делами в «цивилизованном мире». Это все понятно. И что тюрьма не так далека и страшна на фоне их прозябания. Удивляет только, как узок промежуток между каким-никаким элементарным положительным жизненным усилием и полным отказом бороться с зашкалом бессмысленного зла и хаоса. Вот убил. Просто так. В грудь выстрелил спящему. Тот, конечно, рисковал. Рисковал отчасти намеренно. Пустившись «в народ», он воплощался, Царство небесное. А во что можно воплотиться наверняка? Только в труп.

Каково?

Нам все кажется, причем весьма настоятельно, что все устроено не так, все устроено жестоко, несправедливо, что поправны наши права, не говоря уже о чувствах. При этом очевидно, что мы бы, например... А вы вот представьте себе на минуту, что царят этаким естественным образом несколько иные пра-

вила и порядки. Что у людей, к примеру, так повелось, что женщины отдают годовалых или пусть даже трехлетних детей куда-то навсегда, как раздают котят и щенков. Даже в этих двух последних случаях — сколько мучений, не утолимой ничем, кроме времени и отупения, боли. Вспомните эти кафкианские бездны бессилия между неотвратимостью и неприемлемостью. Сначала безнадежный поиск желающих взять, потом муки сомнения в «хорошести» тех рук, в которые попадет уже родная, трогательная, вымотавшая все силы человеческие звериная мордашка. Вот это убийственное для души подавление собственного неравнодушия — каково? А представьте, что все матери испытывали бы всю гамму чувств, связанную с обрядом отдачи ребенка. Я даже удивляюсь, что высшие силы дали такую промашку — оставили нам почему-то нескладных, неуправляемых и невменяемых молодых малых и девиц. (Правда, армия, армия...) А так бы — после чудовишной опустошенности, незатягивающихся ран, разрывающих душу ночей — постепенно возникал бы вопрос о новом ребенке, которого тоже придется полюбить и отдать. Жизнь, даже самая дикая, берет свое.

Страшно даже воображать такое. А в сущности, наш миропорядок ну разве что только в этом вопросе — помятче. Да и то если забыть про всякое и не учитывать многого. А раньше ведь и вправду сплошь и рядом детей отдавали на воспитание, в учение и т. д. — в том же смысле отдавали.

От чего сподручнее мучиться — от разбитого сердца или от бессилия справиться с грузом ответственности? Ну, оставили вам всех ваших детей, котят, щенков, и скоро появятся новые все — каково?

Красота

Когда человек перестает от жизни ждать, он перестает видеть красоту. Наконец-то мне кажется, я поняла про красоту. Нет, конечно, «красиво» остается «приятно», но того окутывания прекрасным окружающим миром, как красotka кутает свои там плечи или что там еще в меха или во что там еще, — нет. А ведь это было, было при любой тоске, погоде, измученности, нищете. Стоило не только поехать на природу, об этом и говорить нечего, — красота начиналась за каждой помойкой, отступя один шаг, нет, стоило просто двинуться на работу, пойти к автобусной остановке вдоль нескончаемого девятиэтажного дома в стиле баракко, особенно если идти не вдоль фасада, а сзади — вдоль незатейливых палисадников и газонов. Сколько там было на каждом шагу: куст, согнутый аркой, да еще какой-нибудь фиолетово-багряный или, лучше того, перекинувшийся через проблески ассоциаций с Прустом цветущий шиповник — или растрепанная дилетантская клумба. Да просто — роса, туман, утренний блеск травы, взлет птичек, как брошенная горстка камешков, и т. д. и т. п. Микрорайон с любым почти ландшафтом снабжал красотой бесплатно, не сказать чтобы щедро, тут вам не море, не горы, не дюны, но все равно — знаки красоты, вести о ней не утихали. Это было все еще ожидание жизни. Добросовестный «положительный настрой». Ощущение красоты — это еще и такая смесь небескорыстного восторженного приятия данности в обмен на обещание быть принятым в игру.

Не красота спасет мир, а мы вас будем считать-таки красавцем, если вы так нас спасете.

Душа и тело

Вот. Как раз, коль мы такие идеалисты, все о душе да о душе — мы должны, обязаны признать, что душа бессмертна, вечна, и тогда поклоняться следует, как это и делается в действительности, вовсе не ей, она и так никуда не денется, — поклоняться следует телу. И душа, кстати, этим вполне занята. Душа обслуживает тело. Чудо — это как раз тело. Оно — дефицит, оно — чудо, оно дается нам один раз. Традиционное неуважение к материи на словах абсолютно лживо и несправедливо. Мы любим свое тело, жалеем его, и душа

наша в основном и есть эта любовь. Только телу станет плохо по-настоящему — душа превращается в сиделку. Ее дело тазик подносить, когда вас тошнит. Не я хочу, не тело мое мне служит и помогает осуществлять мои желания, а совсем наоборот. И — не надо. Наша душа — это любовь к нашему телу и к окружающим телам, к окружающей природе. Наши охи и ахи все-таки — по поводу.

Когда тело страдает, вся душа-аптечка уходит на поддержание жизни в нем. Все силы духа уходят на то, чтобы встать на больные ноги, дойти до сортира, не упасть, стерпеть, справиться с весьма телесными задачами. Душа — служанка, без которой не обойтись. Если она отлетит, тело развалится вмиг. Если она скалтурит, смертельная опасность наступает почти сразу. Тело стареет, а все силы души уходят на его починку, заботу, уход.

Или — вот. Шурик на прогулке в лесу все норовит говна пожрать или хоть потаскать во рту какую-нибудь тухлую рыбку голову, найденную на пепелище пикника. А я, вместо исполненных смысла говна и рыбьей головы, подсовываю ему бессмысленную палочку. Обманываю его «духовной пищей», и он слушается и, несмотря на страстное желание неинтересную палочку закопать и снова приняться за всякую гнусную вонь, — он несет, по виду радостно, эту мною выданную палочку. Это и есть — духовное общение. Сговор. Мы оба обманываем друг друга. Я просто брезгую чисто физически и боюсь к тому же, что он отравится, заразится, заболит, а вид делаю, что палочка — это восторг, и я буду его любить за несение палочки. А он тоже идет на компромисс, чтобы не ссориться, а то вдруг «бабушка» рассердится, выгонит, отлучит от благополучной жизни. Душа в душу. Читай — ложь плюс ложь. Ради душевного спокойствия — основы телесного комфорта.

Причина смерти

Очень давно хотелось обстоятельно подумать об отложенном приведении в исполнение смертного приговора. Когда время от времени нам вдруг по телу показывают каких-то немногочисленных, бледных, бритых, уверовавших или так и не раскаявшихся, или еще что-нибудь, человеческих существ, мы, конечно, по-быстрому и без подробностей — содрогаемся. Ах! Ах! Ах! Как это — человек знает, что его в любой момент могут того! Но опомнитесь, подождите вытаскивать хронически набухшую заскорузлую сиську своего сочувствия. А сами-то? Мы-то что? Не умрем в любой момент? А Конец Света, к которому мы радостно подтягиваем ряды? Если не мы, то дети, не дети, так внуки, правнуки — ну хоть кто-нибудь да будет иметь это счастье. Или мы не знаем, что умрем? Может быть. Но тогда и эти столь очевидные для нас белые смертники точно так же — могут не знать. Как? А вот так. Мы все умираем в результате какой-то ошибки. Если думать буквально о теле, медицине, болезнях — это ошибка биохимическая. Ну там какой-нибудь фермент у нас изначально не так пашет, как следовало бы, и вот — накапливается эта неправильность, накапливается, наступает критическая масса ошибки — и понеслась. Скачок — болезнь, снежный ком растет, сами знаете. Или гормона какого-то не хватает всю жизнь, а страдают самые даже отдаленные от его мишени органы и ткани. Да и в образе жизни, если не смотреть так физиологически на жизнь и смерть, в образе жизни — то же самое. Человек обычно всю жизнь совершает одну и ту же ошибку, попадает на одно и то же, без конца как бы не знает про себя совершенно очевидных вещей. Его ошибка и есть в конечном счете его индивидуальность. Ну почти что надевает каждый день рубаху наизнанку — всем видно, а ему нет. Или там курит, хотя Минздрав предупреждает, летает самолетами, ходит по подземным переходам, отправляется покорно защищать конституционный строй или все остальное делает, такое же безнадежное в плане радужных перспектив. Он что, не знает? Не верит? Или, наоборот, так верит? Ну хотя бы не прямо в дедушку Бога с определенным планом или в заговор посвященных, а просто — в то, что не от него

зависит. Не сам себя родил, не сам выбирал время, место и прочие обстоятельства.

У бабушки была подруга Наталья Ивановна, которая, по рассказам, довела свою образцовопоказательность до того, что сыну, а потом внуку варила геркулесовую кашу не как все — ать-два, а 45 минут на водяной бане, — и каша получалась прекрасная и не пригорала. И все же она умерла. И в детстве у меня два этих факта объединились. Вот она делала что-то не так, как все, — и умерла.

А теперь, если вам дорого купить кастрюльку с антипригарным покрытием, что вполне реально, то выходите из положения, как хотите, — или отскребайте каждый раз, или откажитесь вовсе от этого полезного диетического продукта. Короче, сами, пожалуйста, живите таким образом, от которого вы в конце концов умрете. Ну допустим, вы сделаете все, чтобы не погибнуть от отскребания кастрюль, и сделаете все, чтобы у вас были такие замечательные кастрюли, к которым не пригорает и, более того, они сами доваривают и чуть ли не за вас переваривают. И все это — при комнатной температуре, без образования канцерогенов. Короче, сплошная, тотальная профилактика достигнута — умрете от того, как вы этого достигали. От тех злодеяний, от того бессердечия, которые вы проявили на пути к этим кастрюлям, и от той опустошенности, которая вас таки настигла, когда вы ими овладели. Ясно?

Негодные средства

По пути с работы обгоняю на узкой дорожке молодую современно одетую во что-то сверху широкое и надутое, а снизу узкое и длинное маму с маленьким детенышем. Вечерняя прогулка или путешествие из яслей-сада домой. Она разговаривает со своим ребенком. От ее пронзительного, не имеющего аналогов даже в области самой нарочито бездарной рекламы голоса, состоящего из одних только фальшивых звуков, — дурно. Спешу обогнать, не причинив им неудобства, зачерпываю слякоти и думаю. Отчего? Это же так же глупо, как, пытаясь объясниться с иностранцем, не знающим ни одного слова по-нашему, говорить с акцентом и коверкая слова. Как в старых советских фильмах. Почему? Ведь молодая, еще недавно сама, можно сказать, под стол пешком ходила. Почему ей так категорически ясно, что ребенку, да, видимо, и любому другому живому существу, — ни слова правды. В чем же тогда состоит ее правда, что ее нельзя произнести? От незнакомого, даже абсолютно не различимого во мраке чужого существа совершенно отчетливое впечатление, — человек не на своем месте.

Но нет, все, видимо, не так уж и просто. Ведь тут нет какого-нибудь ужасного злодеяства. Эта юная леди не выдергивает руку из плеча у отчаянно орущего ребенка — на ходу. Она не делает больно, не тащит его как обузу. Она только добросовестно выстраивает непреодолимую преграду лжи, только исключает возможность человеческого контакта между «отцами и детьми». То есть делает в принципе необходимую, черную и даже, вероятно, полезную работу. Ведь нет огромного дома с детской наверху и с полноценной шумной взрослой жизнью внизу, с нянями и гувернантками, драгоценным поцелуем маман перед сном, нет у матери своего, захватывающего почти всю ее целиком, призвания-занятия, не отделен ее мир ни волшебным скрипом балетной сцены, ни даже какими-нибудь многочасовыми заседаниями-коллегиями, — нет какого-либо иного способа установить дистанцию, кроме — фальши. Отчуждение, одиночество, «совершенно не к кому обратиться», — что еще может создать истинный душевный комфорт полноценного «детского мира». Так надо, так должно быть всегда, меняются, видимо, только средства достижения этой цели. Чтобы не быть натасканным, не видеть мир глазами измученной и бодрящейся ради возлюбленного детеныша матери-одиночки, нужна, нужна дистанция. Простим ей ее режущее слух слепое следование инстинкту «правильного мироустройства». Других средств не нашлось.

А тут еще недавно, уходя от своих старичков, в их чужом и безжалостном дворе вдруг слышу то, чего всегда так боялась услышать, — писк котенка. Всю мою жизнь эта страшная музыка приносила мне новое роковое испытание и снабжала меня новым, сначала крошечным и больным, а потом вдруг увеличивающимся на глазах, как гармошка, — подобранцем. А теперь я, пригнув голову от ветра, буквально бегу, уношу ноги от угрозы вполне естественного поступка. Можно найти кучу объяснений, и даже оправданий, и даже моральных обоснований этого галопа. Нельзя взять, нет сил, денег, времени, места, возможности маневрировать с такой кучей, и это было бы в ущерб уже имеющимся, нет, наконец, желающих принять это приданое в случае пусть даже не смерти, но хотя бы серьезной болезни, которая все более вероятна с годами. Но ведь эта ситуация в полном объеме уже и так имеет место в связи с вышеупомянутым уже имеющимся любимым и чрезмерно обильным поголовьем. Значит, все-таки истек срок годности души. Я так и подумала на бегу: «Все, человек перестает быть живым, когда он убегает от котенка, отворачивается от нищего бездомного ребенка, отказывается расширять зону своего участия, привыкает к дурному смирению. Смирение-то тоже небось грех — как посмотреть...»

Один батюшка в беседе со своим безумным прихожанином кивал ему, соглашался, что больна душа из-за грехов, что все это — Бог и т. д., а на прямой и резонный вопрос хитрого страдальца, стоит ли в таком случае пить таблетки, которые прописал районный психиатр, ответил: «А таблетки надо пить — в порядке смирения». Все-таки церковь — великая культура умирания, этикет ухода. (Активизация церковной жизни — признак надвигающейся потребности в массовых отпеваниях.)

Вот так, все боятся конца света, обрыва, бездны. А ведь жизнь может стать не мила, перестать вовсе устраивать, превратиться в сидение на кончике стула в неестественной позе (в лучшем случае). Так стоит ли со страхом ожидать обрыва, когда сам собою уже случился облом.

Новая природа

Когда жизненный опыт уже убеждает, что где бы то ни было жить придется все тому же человеку, то есть тебе каков ты есть, — мечтать видеть поутру из окна первым делом Эйфелеву башню, Тадж-Махал или даже канал с гондолами, — уже как-то не получается. Он-то будет синий и с гондолами, а ты его будешь видеть бурым и с гандонами. Ну нет, конечно, камни тоже поднимают дух, да еще как, но вкупе, вкупе с собственными мечтами. А вот природу никто пока не отменял. И как хотелось всегда животнo и страстно иметь дверь из дома, хоть какого, в сад, хоть какой, хоть обнесенный ржавыми отбросами былых эпох, лишь бы земля была под ногами, лишь бы ветерок что-нибудь шевелил, лишь бы листья, лишь бы ветки, а уж если по дороге куст встает, особенно рябина... Так ведь и продолжает хотеться. Ох, это боль настоящая. И вот, будучи запихнута в некий бетонный ящик на бетонной полке общего шкафа, в, так сказать, предварительный ящик, — что мы имеем для души? Какие ландшафты? Что заняло место шелеста, листопада, ветра, безветрия — всего того, что мы так любим не только благодаря откровениям Тарковского? Что — что! — телевизор. Все теперь — оттуда. И мы — переучиваемся на старости лет. Смотрим на компьютерный листопад или водный поток — в заставке к рекламе на канале ЭН-ТЭ-ВЭ. Ведь набор чувств от ах до ох — все тот же. Хотя неправда, есть какая-то первая ступенька, с которой могла бы начинаться жизнь, ну что-то вроде единства и реальности происходящего и ощущимого. Но, пожалуй, давно уже даже эта первая ступенька не скрипит и не гнется под отяжелевшим от шлаков шагом, не прогибается, а только предполагается.

Почему наша жизнь воспринимается как нечто навязанное нам, как и где формируются правила тех «игр, в которые играют люди»? Почему мы постоян-

но возмущены? Кто нас так-таки завел в лес, а заведомши, там бросил? О заговоре тоже людей смешно, глупо да и самоуверенно даже подозревать. Смешно.

В хрущевские времена больших перемен мне пришлось сменить школу — в моей старушке, притаившейся в деревянно-тополином уголке Москвы, ввели сапожный уклон. Я готова была стерпеть и это — ради детской страсти к неизменности бытия, но родители взбунтовались и победили. Я попала в удивительно прекрасную, не по тем временам, а по самым разнузданным мечтам об идеале, многопрофильную школу, в математический класс. И вот началось некое фантастическое плавание, которое, конечно, потом довольно скоро закончилось, правда, не «титаником», так как и директор, и основной состав все равно были на высоте, — идолу всеобщего обязательного несовершенства пожертвовали математика. Но это случилось потом, а вначале, в девятом классе... Тогда у нас с первого сентября начался матанализ из рук и уст влюбленного в математику дядьки. Он был смешной, ненормальный, патологический и все, что хотите. Но это мимо и потом. А урок начинался его сдобными, совершенно сознательно выделенными особой интонацией словами: «Договорились считать...» Ну, дальше там, конечно, речь шла про «а» и «в», про функцию или множество, бесконечно малую или бесконечное приближение к оси абсцисс. Или — неопределенность вида ноль на ноль, или бесконечность на бесконечность. Не важно. Все эти понятия сами по себе — подарок уму, сердцу, душе. Но сам оборот дела! Он правильно нас ориентировал в нашей юношеской неопределенности вида бесконечность на ноль, дорогой Михаил Иосифович, кажется! Полноватый, с лицом бывшего красивого ребенка, а теперь — не то сладковат, не то пошловат. Я помню, мы от страсти к нему, вернее, к открытой им для нас математике разглядывали его, сравнивали с чем-нибудь все его черты. Помню, его волосы, по нашему заключению, были похожи на металлическую мочалку для мытья кастрюль. У него был замечательный тембр голоса. Бархатные портьеры его глотки приоткрывались, и мы заглядывали в счастливую безмятежную бесконечность. Он был волшебником. Главное, он сам обожал, что — «договорились считать» и то, «что» договорились считать, и щедро, с помощью всех доступных ему гипнотических сил и полей и прочей, теперь так модной «энергетики», — передавал это нам. Скрипел мел (мело во все пределы), и знания о структуре мироздания становилось много — мгновенно, как это бывает только от правильного стихотворения, от математического рассуждения или от первого же звука великой музыки. Это вам не братья Черепановы, не Павлов с Мичуриным, даже не прославший свое радио Попов. И даже не наместник Господа Бога Ньютон — «открыл». Это великое понимание без потери достоинства, что именно так — «договорились считать». Эта неопределенно-личная форма! Эта неопределенная личность, которая нам помогла правильно подойти к возможности познания! Наш математик мягко и вкрадчиво давал нам шанс и ключ — правильно воспринимать бытие.

Это сейчас мы можем походя, грубо и жестко выносить приговор жизни — мол, сговорились, а жизнь-то сама по себе бессмысленна. Так-то так, да ведь забыли, чай, что уже попользовались вовсю всеми щедрыми безднами даров, только, как показалось, без толку. Ну и потом. Сговор сговору рознь. Одно дело то далекое, прекрасное и почти не использованное «договорились считать», а другое — сговорились. Воровать или считать Филиппа Киркорова элементом бытия. Да, конечно, есть разница в сущности сговора. Но не следует забывать и того, что в принципе у человека все — одно и то же. Все раздражители, все впечатления, ощущения любого сорта — попадают собственно в одни и те же сети. Механизмы нашего восприятия конечны. Все те же комбинации из двадцати аминокислот и четырех оснований. Ну еще всякие углеводные слизи и пикантные вкрапления микроэлементов. Забыла про жиры. Как-то не до жира.

Да, да. Я возвращаюсь, как кто-нибудь уже догадался, — к телевизору, заменившему нам все: все интонации, зрительные, слуховые и прочие ощущение

ния, в том числе и острые, все почти впечатления, сделав нашим уделом подглядывание с проводником и снабдив нас даже еще и вполне иррациональными приправами в виде рекламы. Поискать ей эквивалент вне электронной цивилизации? Что соответствует рекламе в условиях дикой природы? Восход солнца? Закат? Ведь вполне сжатая форма. Чем не реклама мудрости? Ведь настоящая мудрость обязательно содержит в себе намеки на собственную бессмысленность. Возьмите все эти коаны. Тоже — реклама. Ничего не случилось, получается. Все функции сохранены. Только природа ушла не обернувшись. И это — произошло. Не пахнет, не шелестит, работает от сети.

Колыбельная

Когда вечером наконец ложишься спать, может показаться, что ради этого и жил. Выстоять, выдержать, все требующееся совершить, справиться с каким-то примитивным уходом за собой, чтобы наконец на законном основании — уйти. Лечь, спрятаться, вытянуть ноги. Только когда удастся наконец проделать именно это — суметь, действительно эффективно и добившись таким образом облегчения, вытянуть-таки ноги, — только тут можно почувствовать слабое, дежурное, но все же соответствие *действительного* — *желаемому*. Ради чего же колотились весь день-деньской, спрашивается. Долги-долги. А как долги образовались? — Ловушки-ловушки. А на чем попались? — На том, что думали, будто хотели чего-то еще, не только ноги вытянуть. А оказалось? — Только сильнее стала потребность вытянуть. Ну что ж. Получили образование, завели детей, поработали на славу (не ради, а изрядно), давно уже только прорехи в этом стройном здании едва успеваем, даже все же не успеваем, затыкать.

Как-то раз в консерватории я сидела на таких плохих местах, так высоко и неудобно, да еще против обыкновения — пришла не на пианиста, а на органиста, — так вот, я сидела так, что мне была видна вся его кухня, он был чех какой-то, а может быть, эстонец, одно из двух. Так вот, он явно не успевал затыкать свои поддувала, его деятельность так мало походила на вдохновенное исторжение божественной музыки. Он метался, как хозяйка, впервые затеявшая пироги. Все мы, впрочем, плохие органисты. И если даже исторгаемая вами музыка кому-то нравится и даже чем-то считается и почитается, самоощущение все равно такое — броски от поддувала к поддувалу, впопыхах и как минимум не совсем вовремя.

Зато когда, спасибо Земле, которая «все-таки вертится», — когда наступает ночь, можно остановиться по закону жанра. И в этот краткий момент мимолетного контакта с собой еще в сознании перед погружением в себя без сознания — мелькает легкое удивление, — что же это происходит, неужели — жизнь? Но непреодолимое желание вытянуться и убыть мешает пообщаться с кем-то вроде себя по поводу жизни — при жизни. Самонеощущение почти достигнуто, удалось разложить болевые точки по удачным местам, занавес падает. Наступает желанный и плодотворный перерыв, а в чем — так и не успеваешь выяснить.



М И Р Н А У К И

ВЛАДИМИР ЛОПАТИН

*

РУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ: ЗАДАЧИ КОРРЕКТИРОВКИ

За последний год в числе излюбленных тем общественного обсуждения оказалась предстоящая «орфографическая реформа». Порой даже пишут и говорят, путая язык и правописание, о реформе русского языка — формулировка явно некорректная. В самом деле, можно ли реформировать язык, который развивается по самому ему присущим законам? Зато правописание, орфографию (в широком смысле, включая сюда и пунктуацию) реформировать действительно можно. Правда, до сих пор реформы русского письма касались в основном графики — состава букв. Петр I ввел у нас новую, гражданскую азбуку (вместо церковно-славянской). Всем известная реформа 1917 — 1918 годов, на которой я несколько подробнее остановлюсь ниже, тоже затронула главным образом графику.

Орфография — это внешняя, письменная оболочка языка, иногда ее еще называют одеждой языка. Грамотность как важная составная часть культуры, культурного уровня человека, конечно, несравненно шире, чем просто грамотное письмо: она предполагает правильное владение самим языком, всем богатством языковых средств. И все же — «по одежке встречают», судят о человеке в первую очередь.

Вот эту одежду языка приводить время от времени в порядок — просто необходимо. Дело в том, что правописание — это отнюдь не только результат нормализаторских усилий и не совокупность раз навсегда установленных общеобязательных правил. Это еще и саморазвивающаяся система, требующая регулярной и постоянной корректировки, упорядочения с учетом и развития самого языка, и существующей практики письма, в котором тоже происходят спонтанные изменения. Отслеживать эти изменения, фиксировать их в орфографических словарях и в тексте правил правописания — прямая обязанность специалистов.

Об этом же говорит и исторический опыт, пройденный нашим письмом. Нынешнее правописание — продукт длительного исторического развития. Вплоть до конца XIX века русское правописание основывалось исключительно на узусе, и, хотя многие частные вопросы русского письма активно дискутировались в печати, никаких систематизированных сводов правил письма не было. Правила русского правописания выкристаллизовались спонтанно, в первую очередь под пером писателей-классиков. Знаменательной вехой, обозначившей систематизацию правил письма, стало появление трудов академика Я. К. Грота «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого до ныне» (1873) и «Русское правописание» (1885; 22-е издание — 1916). По «гровтовским» правилам учились и до революции, и (с поправками на реформу 1918 года) после нее.

Лопатин Владимир Владимирович (род. в 1935) — доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Орфографической комиссии РАН.

Редакция намерена вернуться к освещенной в этой статье проблеме.

В 1956 году вышли в свет официально утвержденные «Правила русской орфографии и пунктуации», сохраняющие свою законную силу до сих пор. Правила эти были итогом длительной работы, готовились они еще с 30-х годов, а после войны работа над ними была завершена. Они сыграли свою важную роль, поскольку в них впервые регламентировались многие закономерности современного русского правописания. Но давно уже стало ясно, что эти правила устарели. Прошло почти полвека, за это время развивался сам язык, в нем появилось множество новых слов, новые типы слов и конструкций, да и практика письма в ряде случаев стала противоречить сформулированным правилам. В лингвистической науке появилось немало разработок, позволяющих по-новому трактовать языковые основы того или иного правила, обобщающих новые особенности правописания. Достаточно скоро после утверждения правил 1956 года стала обнаруживаться и их неполнота: некоторые закономерности правописания были сформулированы в них слишком кратко, без должной детализации, либо слишком фрагментарно, необобщенно, многое было недосказано или не упомянуто вовсе. С другой стороны, явственно давала о себе знать (особенно в разделе об употреблении прописных и строчных букв) односторонность, обусловленная директивными требованиями и запретами идеологического характера. Неудивительно, что сам текст правил 1956 года сейчас мало кому известен, ими давно не пользуются, да они фактически и не переиздавались уже около тридцати лет. Их заменили различные справочники по русскому правописанию для работников печати и методические разработки для преподавателей, а в этих изданиях нередко можно найти (как отмечают сами преподаватели, редакторы, корректоры) противоречивые рекомендации.

В этих условиях подготовка нового, современного, полного, общеобязательного текста правил русского правописания — задача давно назревшая и даже, можно сказать, перезревшая. Проект такого текста и подготовлен в Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук, он одобрен Орфографической комиссией Отделения литературы и языка РАН и в конце прошлого года опубликован небольшим тиражом для специалистов под названием «Свод правил русского правописания. Орфография и пунктуация». С ним ознакомлены вузовские преподаватели, методисты, представители учительской общественности. Состоялись обсуждения проекта, получены письменные отзывы. По итогам этих обсуждений, с учетом сделанных замечаний, текст свода доработан, и теперь предстоит его официальное утверждение.

Должен признаться всем тем, кто с трепетом ждет реформы русского правописания: то, что подготовлено нами, — вовсе не реформа. Речь идет о новой, переработанной и значительно дополненной, редакции «Правил русской орфографии и пунктуации» 1956 года. Эта новая редакция правил отвечает сложившемуся к концу XX века состоянию русского языка и современной практике письма. Да, конечно, текст правил написан фактически заново, в нем появились новые разделы, полностью обновлен иллюстративный материал. Однако кардинальных орфографических изменений в новом тексте правил не предусмотрено. Предлагаются отдельные изменения, в основном касающиеся двух разделов свода: во-первых, слитных, раздельных и дефисных написаний и, во-вторых, употребления прописных и строчных букв; устраняются некоторые исключения.

Занимаясь вот уже двенадцать последних лет вплотную проблемами русской орфографии — составлением орфографических словарей, подготовкой нового текста правил, участвуя в обсуждении этих правил Орфографической комиссией РАН, я все больше убеждаюсь в том, с каким уникальным объектом мы имеем дело. В этом объекте две составляющие — с одной стороны, собственно научная, лингвистическая, а с другой — общественно-культурная. Обе составляющие принципиально равноправны, они должны уравновешивать друг друга, перекося в ту или другую сторону недопустим. Именно поэтому при выработке предложений по изменению правописания так важна сугубая осто-

рожность, взвешенность. Ведь многие из орфографических правил опираются на длительную историческую традицию.

Вообще говоря, любые орфографические изменения означают определенный (более или менее масштабный) конфликт поколений. Для кого эти изменения принимаются? Уж конечно, не для нынешнего поколения грамотных людей, а для поколений будущих, начиная с сегодняшних младших школьников, еще только обучающихся грамотному письму. А вот для тех, кто уже владеет грамотным письмом, это — несомненное неудобство, дискомфорт, повод на какое-то время (по крайней мере на ближайшее) почувствовать себя «малограмотным». Не случайно так болезненно реагирует на орфографические изменения интеллигенция. А наиболее консервативен по отношению к любым предложениям по изменению орфографии такой слой изощренных словесников, как писатели, — и это тоже вполне естественно. Оговорюсь сразу, что большие писатели — выражаясь высоким штилем, художники слова — имеют право на индивидуально-авторскую орфографию (есть такое понятие у лингвистов). Вот недавно издатели солженицынского «В круге первом» пожаловались одной из моих коллег, что Александр Исаевич упорно требует писать слова *лакать*, *лакнуть* с буквой *л* после *л*. Что ж, вопрос спорный, но в данном случае надо, видимо, уважить автора...

Говоря об орфографических изменениях, не могу не вспомнить, как сам я, будучи тогда студентом, болезненно воспринимал в 1956 году те немногие изменения, которые содержались в только что обнародованном тексте новых правил русской орфографии: писать *панцирь*, *цирюльник*, *цинга*, *цинковка* с буквой *и* вместо *ы*; *по-видимому*, *по-прежнему*, *по-пустому* — через дефис вместо принятого раньше слитного написания, а *вовремя* — наоборот, слитно. Но достаточно скоро (не могу сейчас сказать, сколько именно лет спустя) новые написания стали привычными. А недавно даже произошел конфуз: воспроизводя в титрах нового фильма «Сибирский цирюльник» дореволюционное написание этих слов, авторы забыли, что второе писалось с буквой *ц* (о твердом знаке на конце слова, разумеется, все помнят, он ведь так моден!).

Кстати, сейчас мы не предлагаем менять *ы* на *и* в корнях еще нескольких слов, оставшихся с буквой *ы* после *ц*: *цыган*, *цыпленок*, *цыпочки*, *цып-цып*, *цыкать*, *цыц*. Слова этой группы, кроме *цыган*, имеют специфические междометные корни, что оправдывает их особое написание (вот вам собственно лингвистический аргумент), а *цыган* — слово с богатой культурно-исторической традицией (поэма Пушкина, особая роль цыганщины в истории русской культуры), и допускаю, что многим трудновато будет воспринимать его с буквой *и*... Зато наше предложение писать с буквой *у* слова *парашют* и *брошюра* (пишущиеся до сих пор с *ю* как исключения), думаю, не должно быть настолько же шокирующим: оба слова — сравнительно поздние иностранные заимствования, буква *у* отражает в них мягкость предшествующего шипящего согласного в языке-источнике (французском) — не более того; произносятся они давно с твердым шипящим (в отличие, например, от слова *жюри*, все еще произносящегося нередко с мягким *ж*), обрусели, обросли производными словами: *парашютный*, *парашютик*, *парашютист* и т. д. Вряд ли нанесет особый ущерб для культурно-исторических традиций и предлагаемая нами унификация написания сложных существительных с первой частью *пол-*: писать через дефис не только *пол-листа*, *пол-лимона*, *пол-апельсина*, *пол-яблока*, *пол-Москвы*, но и *пол-дома*, *пол-километра*, *пол-мандарина*; не только *пол-одинадцатого*, но и *пол-двенадцатого*, *пол-первого* и т. п. По правилу, действующему до сих пор, различаются написания с *пол-* перед согласными, кроме *л* (слитные), и перед гласными, согласной *л* и перед прописной буквой (дефисные). В данном случае упрощение правила, как представляется, диктуется не столько даже лингвистическими соображениями (известной самостоятельностью компонента *пол-*, близкого к отдельному слову), сколько обычным здравым смыслом.

Однако должен сказать, что упрощение орфографии вовсе не было для нас самоцелью. Наша русская орфография не сложнее, чем, например, английская

или французская, а в некоторых отношениях и легче их: каждая буква в русских словах обычно соответствует определенному звуку, чего нельзя сказать о словах английских или французских. Основной принцип нашей орфографии, называемый в лингвистике чаще всего фонеморфологическим, предполагает единообразную буквенную передачу значимых частей слова — морфем (корней, приставок, суффиксов). Правда, в современном русском правописании немало отступлений от этого принципа. Достаточно привести для примера написание приставок типа *без-* (*бес-*), *из-* (*ис-*), *раз-* (*рас-*) или *роз-* (*рос-*): мы пишем в этих приставках *з* перед буквами, передающими звонкие согласные, и *с* — перед буквами, передающими согласные глухие, а в приставке *раз-* (*рас-*) еще и пишем без ударения букву *а*, хотя под ударением — *о*. Кстати, этому особому правилу написания приставки *раз-* предлагается сейчас подчинить прилагательное *разыскной*: его надо писать именно так, с буквой *а*. Написание *розыскной* было единственным и неоправданным исключением из правила. Проверка словом *розыск* здесь некорректна: ведь мы пишем *ропись*, но *расписной*; *росыпь*, но *рассыпной*; *рôзлив*, но *разливной*; *розданный*, но *раздать* и т. п.

Устранение сложных случаев, различного рода традиционных отступлений от общих принципов письма, которых в нашей орфографии достаточно, — вряд ли целесообразно, а на практике едва ли осуществимо. Не следует стремиться к «дистиллированной» орфографии, принципиально изгоняя из нее все исключения и сложности. Позволительно даже утверждать, что орфография естественного языка не может быть абсолютно чистой, непротиворечивой, «причесанной», поскольку она, как уже говорилось, является в значительной степени результатом длительного историко-культурного саморазвития.

Не менее важен и неизменно актуален другой аспект этой проблемы: надо ли стремиться к упрощению орфографии в целях облегчения процесса ее усвоения, как к некоей панацее от неграмотности людей? Вопрос серьезен и не раз в истекшем столетии вставал со всей остротой.

С этой точки зрения нельзя не обратиться прежде всего к опыту Орфографической комиссии Императорской академии наук, работавшей с 1904 года и окончательно сформулировавшей свои предложения по упрощению русского письма в 1912 году. Комиссия более чем авторитетная — в ее состав входили крупнейшие лингвисты того времени: Фортунатов, Шахматов, Бодуэн де Куртенэ и другие. Предложенная комиссией реформа сводилась главным образом к упрощению графики: устранить буквы, не обозначающие никаких звуков, как *ъ* на конце слов, и буквы, обозначающие те же звуки, что и другие буквы («ять», «и десятеричное», «фита»); прочие изменения были немногочисленны: введение в именительном падеже множественного числа имен прилагательных единого окончания *-ие* (*-ые*), в родительном падеже единственного числа прилагательных — окончания *-ого* (*-его*) вместо *-аго* (*-яго*) и некоторые другие.

В чьих интересах было все это предложено? Разумеется, прежде всего в интересах школы, что в стране с преобладающим неграмотным населением было очень и очень немаловажно. Чего стоило в старой школе одно только запоминание многочисленных корней с буквой «ять»!

И все же споры сторонников и противников орфографической реформы продолжались до 1917 года, и сейчас трудно сказать, состоялась бы эта реформа или нет, не будь революционных событий. Среди «консерваторов», противников реформы, были тоже весьма авторитетные люди, и их аргументы были весомы. Коренной вопрос был задан поэтом, филологом, мыслителем Вячеславом Ивановым: должна ли орфография упрощаться в угоду потребностям школы? Ведь педагогика — *ancilla vitae* (служанка жизни), а вовсе не наоборот...

С тех пор много воды утекло. Летом 1917 года министром просвещения Временного правительства Мануйловым было разослано на места распоряжение о постепенном (!) переходе на новую орфографию, ну а после Октябрьской революции большевики, оперативно воспользовавшись готовым проектом, немедленно и повсеместно ввели новую орфографию своими революци-

онными декретами. И, думается, так называемая всеобщая грамотность была достигнута при большевиках за столь короткие сроки в немалой степени благодаря орфографической реформе.

В наше время острота дискуссий по этой проблеме (как бы ни хотелось некоторым ее реанимировать) давно прошла; старая орфография напоминает о себе разве что репринтными переизданиями дореволюционных книг; и русское зарубежье, и такой консервативный по своей внутренней сути институт, как Русская Православная Церковь (естественно, в текстах на современном русском языке, а не на церковно-славянском), пользуются в подавляющем большинстве случаев новой орфографией. А вот вопрос, сформулированный почти сто лет назад Вяч. Ивановым, живет, он по-прежнему актуален, и тезис «школа — служанка жизни» продолжает по разным поводам испытываться русистами на прочность.

Новую актуальность вопрос об упрощении русской орфографии приобрел в 1963 — 1964 годах. Все началось с публикации в газете «Известия» статьи на тему о низком уровне грамотности в стране и о необходимости упрощения орфографии. Вскоре, в мае 1963 года, постановлением Президиума АН СССР была создана Комиссия по усовершенствованию русской орфографии. В постановлении особо подчеркивалось «настойчивое требование советской общественности» — «внести усовершенствования и упрощения в систему правописания». Комиссии были даны весьма сжатые сроки — «завершить работу и представить свои предложения в Президиум АН СССР в 1964 году». Некоторые предложения комиссии носили достаточно радикальный характер: например, писать *ноч, мыш; заец, платьеце; огурци* и т. п.; вовсе отказаться от буквы *ѣ*. Опубликованные в «Известиях» в 1964 году предложения комиссии вызвали бурную реакцию протеста, выразившуюся в ряде публикаций в тех же «Известиях» осенью 1964 года. Прекращение обсуждения совпало со снятием Хрущева. В дальнейшем, в «эпоху застоя», об этих предложениях постарались забыть, но о них до сих пор вспоминают при каждом удобном случае представители интеллигенции, весьма подозрительно относящиеся теперь к любым попыткам «вмешательства» в правила правописания, а некоторые журналисты преподносят такие попытки как бесценный «жареный» материал.

В последующие годы работа в области правил русского правописания (и, кстати, орфографических словарей тоже — академический «Орфографический словарь русского языка» переиздавался после 1974 года только стереотипными изданиями) была практически законсервирована. Возобновилась она только при перестройке, в конце 80-х годов.

Оглядываясь сейчас на предложения комиссии 1964 года, думается, что, при всей чисто научной, лингвистической обоснованности многих предложений, авторы того проекта упустили из виду неизбежный общественно-культурный шок, вызванный реакцией на ломку ряда традиционно (исторически) сложившихся правил и принципов письма и основанных на них устоявшихся орфографических навыков.

К некоторым предложениям той комиссии можно предъявить и лингвистические претензии. Так, предложенный тогда отказ от разделительного знака перед буквами, обозначающими «йотированные» гласные, в тех словах, где им предшествовал твердый согласный (то есть отказ от *ѣ* в словах типа *сверхъестественный, межъярусный, трехъярусный, трансъевропейский, панъевропейский*), противоречит одному из основных принципов русского письма, обычно называемому слоговым. В соответствии со слоговым принципом буквы *я, ю, е, ё* после согласных букв не обозначают «йотированных» гласных, и при этом буквы *я, ю, ё*, а в исконно русских, незаимствованных словах — и буква *е*, служат обозначению мягкости предшествующего согласного. Не учли авторы этого предложения — вовсе устранить букву *ѣ* — и того факта, что твердый знак абсолютно необходим при транслитерации иноязычных собственных имен (город *Хэньян*, поселок *Торъял*, озеро *Ювясьярви*, писатель *Дзюньтитиро*

Танидзаки и т. п.): без него правильно прочитать такие имена, по преимуществу редкие, попросту невозможно.

С позиций сегодняшнего дня напрашивается, наоборот, предложение о расширении употребления разделительного *ъ* в тех случаях, где все еще «йотированность» гласного в середине слова никак не обозначается. Я имею в виду прежде всего сложнокращенные слова типа *Минюст, иняз, детясли, госязык, партячейка, спецьеда*: в нашем проекте предлагается писать *ингяз, Мингюст, спецьеда* и т. п. Все принятые до сих пор написания слов этой структуры не точно передают их звуковой состав, в них не хватает сигнала прочтения букв *е, ё, ю, я* как сочетаний «йота» с гласными, а таким сигналом в традиционно пишущихся слитно сложных и сложнокращенных словах может быть только разделительный *ъ*. Отсутствие его в подобных словах может тоже приводить к затруднениям в прочтении и понимании некоторых, довольно редких, сокращенных названий: такое, например, слово, как *облюст*, с ходу правильно и не прочтешь, не сразу догадаешься, что это областной отдел юстиции. Не случайно такое короткое слово, как *иняз*, фиксируется словарями новых слов (см.: «Словарь новых слов русского языка. Середина 50-х — середина 80-х годов». СПб., 1995) в трех орфографических вариантах, реально встречающихся в печати: *ингяз, иняз* и *ин-яз*. Эти варианты, конечно, вызваны все тем же стремлением прояснить внешним видом слова его звучание, противоречащее принятому до сих пор слитному написанию без разделительного знака.

Да, конечно, сложнокращенные слова — особый тип слов, но он и очень молодой, не имеющий большой орфографической традиции — все это главным образом «советизмы» XX века, и подчинить их написание общим закономерностям нашей орфографии — ничуть не зазорно. Думаю, что и корректоры в этом вопросе нас поддержат, хотя они сейчас и стараются соблюдать запрет на *ъ* в сложнокращенных словах. Так, можно было заметить, что в первой публикации повести Андрея Платонова «Ювенильное море» («Знамя», 1986, № 6) в том месте, где герой узнаёт, что его попутчица «работает секретарем гуртовой партячейки», последнее слово напечатано именно так, с *ъ*, и это, вполне возможно, отражает орфографию автора; однако в последующих изданиях повести буква *ъ* была здесь снята корректорами.

Хочу остановиться еще на одном предложении 1964 года — убрать конечную букву *ь* в существительных женского рода 3-го склонения (*мышь, ночь*), в формах инфинитива (*беречь*), 2-го лица глаголов (*несешь*), повелительного наклонения (*режь, спрячь*), в наречиях (*сплошь, настезь*), вообще во всех словах и формах, кончающихся на шипящую. Предложение это, с фонологической точки зрения безупречное, все же не учитывало того факта, что конечная буква *ь* отмечает (по-научному — маркирует) в современной орфографии определенные грамматические типы и формы слов, в то время как другие типы слов и форм не имеют после шипящей конечного *ь*: это и существительные мужского рода (*нож, мяч*), и формы родительного падежа множественного числа существительных женского рода (*туч, роц*), и краткие формы мужского рода прилагательных (*свеж, хорош*). Таким образом, буква *ь* несет здесь хоть и не фонологическую, но явную морфологическую функцию. В этой связи уместно сослаться на Дмитрия Сергеевича Лихачева, который в своем, теперь уже хорошо известном, докладе 1928 года о русской орфографии (том самом, за который молодой ученый поплатился пятью годами Соловков) отмечал: чем больше в словах графических знаков, тем легче они при чтении, так как «каждое слово становится характернее, индивидуальнее, приобретает определенную физиономию». Контрастность написаний разных грамматических типов слов и форм с этой точки зрения, несомненно, полезна. В частности, она помогает избежать омографии (одинакового написания) таких разных слов, как, например, *туш* (мужского рода) и *тушь* (женского рода), *овоц* (мужского рода — единственное число от *овоци*) и *овоць* (женского рода, собирательное, см. у Некрасова: «*Вся овощь огородная / Поспела. Дети носятся / Кто с репой, кто с морковкою...*»).

Обо всем этом можно было бы не писать, если бы до сих пор наиболее радикальные предложения комиссии 1964 года не имели своих активных сторонников среди специалистов и если бы некоторые газеты не приписывали сейчас нам предложений писать *мыш*, *огурци*, *заец* и т. п. Однако сказанное вовсе не означает, что все предложения той комиссии представляются нам неприемлемыми. Некоторые из них использованы и в нашем проекте — например, унификация написания сложных слов с первой частью *пол-*, о которой уже сказано выше, или написания причастий и прилагательных от бесприставочных глаголов: предлагается писать в словах типа *гружёный*, *крашеный*, *жареный*, *стриженный*, *раненый* всегда одно *н* независимо от того, имеются при них синтаксически подчиненные слова или нет.

Какие еще новшества, кроме упомянутых, предлагаются в подготовленном нами своде орфографических правил? Приведу только несколько примеров.

В целом ряде случаев правила отражают существующую практику письма, противоречащую тем или иным формулировкам правил 1956 года. Так, всем хорошо известно, что существительные на *-ий*, *-ия* имеют в определенных падежах (слова на *-ий* — в предложном, на *-ия* — в дательном и предложном) особое окончание *-и*, а не *-е*, как у всех остальных существительных этих типов склонения. Мы пишем: *о гении*, *на станции*, *к станции* и т. п. Но оказывается, что этому правилу не подчиняются слова на *-ий* и на *-ия*, если у них односложная основа, — такие, например, как *кий*, *змей*, *Пий* (имя римских пап), «*Вий*» или женские имена *Ия*, *Лия*, название реки *Бия*. Недавно в одной из газет употреблен дательный падеж мужского грузинского имени *Гия*. Написано так: «Гие Канчели зал аплодировал стоя». С точки зрения правил 1956 года написано неправильно: по этим правилам надо было бы писать *Гии*. Но вот я смотрю новое (1994) Полное собрание сочинений Гоголя и вижу, что в комментариях к повести «*Вий*» сплошь и рядом написано *в «Вие»*, а не *в «Вии»*. Не подчиняется общему правилу и дательный падеж имени *Ия*: в газетах встречаем только *Ие*. И подобные написания — отнюдь не новшество последнего времени. Еще у М. О. Гершензона в его книге «Мудрость Пушкина» можно прочесть: «По хрие полагалось наполнить первую половину поэмы отступлениями» (*хрия* — термин риторики); то же написание — в новейшем переиздании книги. Название иконографического сюжета «Чудо св. Георгия о змие» принято писать с конечной буквой *е*. Таким образом, сама практика письма подталкивает к уточнению более общего правила для слов на *-ий*, *-ия* с односложной основой.

Другой пример: в правилах 1956 года установлено, что во всех словах, образованных от слов, основа которых кончается на удвоенную согласную, эта удвоенная согласная перед суффиксом сохраняется, например: *группа* — *группка*, *программа* — *программка*, *программный*, *класс* — *классный*. Но есть одна группа слов, которая явно не подчиняется этому правилу, — уменьшительные и фамильярные личные имена типа *Алка* (от *Алла*), *Римка* (от *Римма*), *Кирилка* (от *Кирилл*). В таких общепринятых написаниях нарушается существующее старое правило, где эта группа никак не оговорена. Это и есть саморазвитие орфографии. Здесь изменением захватываются небольшие, узкие группы слов.

А вот случай, охватывающий уже достаточно большую и постоянно пополняемую группу образований: это написание сложных прилагательных — слитное либо через дефис. В правиле 1956 года противопоставляется написание прилагательных с равноправным отношением частей сложного слова (такие сложные слова полагается писать через дефис) и с неравноправным, подчинительным отношением частей (их полагается писать слитно). Но есть множество слов, которые не подчиняются этому правилу, пишутся иначе. Даже в самих правилах 1956 года приведено слово *глухонемой* в слитном написании. В академическом «Орфографическом словаре русского языка» (1974 года и последующие издания) мы видим написания: *нефтегазовый*, *газопаровой*, *пароводяной*, *водовоздушный*, *буровзрывной*. В этих сложных словах

явно равноправное соотношение основ, но они пишутся вопреки действующему правилу слитно. В то же время есть много примеров, когда при подчинительном отношении частей прилагательные пишутся вопреки правилу через дефис: *буржуазно-демократический* (ср. *буржуазная демократия*), *парашютно-десантный*, *жилищно-кооперативный*, *государственно-монополистический*, *научно-исследовательский*, *научно-фантастический*, *ракетно-технический*, *гражданско-правовой*, *стрелково-спортивный* и др. Если большой ряд слов — *ядерно-энергетический*, *партийно-номенклатурный* и др. Если большой ряд слов, включающий десятки образований, не подчиняется правилу, значит, правило это не действует. Его следует заменить другим правилом, найти какой-то другой критерий разграничения слитных и дефисных написаний сложных имен прилагательных.

В новом своде предлагается такой критерий: если в первой части слова есть суффикс имени прилагательного (суффикс *-н-*, *-ов-* или *-ск-*), то такое сложное прилагательное надо писать через дефис — независимо от того, равноправное в нем или неравноправное соотношение частей. Иными словами, смысловый критерий выбора написания заменяется формально-грамматическим. Эта закономерность спонтанного развития русской орфографии подмечена нашими специалистами уже давно.

По этому новому правилу предлагается всегда писать через дефис сложные прилагательные с первыми частями *северно-*, *южно-*, *восточно-*, *западно-*, *центрально-*, например: *западно-европейский*, *южно-американский*, *северно-причерноморский*, *восточно-средиземноморский*, *центрально-азиатский*. Раньше подобные прилагательные писались через дефис только в составных (географических или других) наименованиях с двумя прописными буквами. Теперь предлагается их писать единообразно — не только *Западно-Сибирская низменность* или *Западно-Сибирский металлургический комбинат*, но и *западно-сибирская природа*, *растительность* и т. п.

Предлагается расширить сферу применения дефиса в сочетаниях с приложением: писать через дефис не только сочетания с однословным приложением, следующим за определяемым словом (*мать-старуха*, *садовод-любитель*, *Маша-резвушка*), но и сочетания с предшествующим определяемому слову приложением — таким, которое, по определению свода 1956 года, «может быть приравнено по значению к прилагательному» (*старик-отец*, *красавица-дочка*, *проказница-мартышка*), в том числе и с приложением, предшествующим собственному имени (*матушка-Русь*, *красавица-Волга*, *резвушка-Маша*). Обе последние группы в своде 1956 года предлагалось писать раздельно. Практика печати показывает, что правило это в ряде случаев не соблюдалось, особенно в классических текстах — например, в таких случаях, как: *Старуха-мать ждет сына с битвы* (Лермонтов), «*Красавец-мужчина*» (название пьесы Островского), *матушка-Русь* в известных словах из поэмы Некрасова.

Таким образом, утверждение правил 1956 года, что «дефис не пишется в сочетании имени нарицательного со следующим за ним именем собственным», на самом деле верно только для сочетаний типа *город Москва*, *река Волга*, но абсолютно неприменимо в тех случаях, где собственному имени предшествует оценочное приложение.

Изменения последних лет, происшедшие в общественном осознании священных понятий религии, потребовали включения в новый свод особого раздела «Названия, связанные с религией». В основе его — практика употребления прописных букв, существовавшая в дореволюционное время и установившаяся за последнее десятилетие (после снятия идеологических запретов) в современной печати, — например, в словах *Бог*, *Господь*, *Богородица*, в названиях религиозных праздников (*Пасха*, *Рождество*, *Крещение*), священных книг (*Библия*, *Евангелие*, *Коран*) и др. Однако вводятся существенные уточнения: о написании со строчной буквы слов *бог* и *господь* в выражениях междометного и оценочного характера, употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с религией (например, *ей-богу*, *бог знает что*, *не бог весть что*, *не слава богу* — «небла-

гополучно», междометия *боже мой, господи*), об употреблении прописной буквы в названиях народных праздников, связанных с церковным праздничным циклом, — таких, как *Святки, Масленица*, и ряд других уточнений.

В некоторых отзывах на новый проект правил уже прозвучало возражение: а как же быть атеистам? На это можно ответить только одно: до революции 1917 года даже самые отъявленные атеисты писали Бога с прописной буквы. Дело здесь не в том, веришь ты в Бога или нет, а в том, что *Бог* (в монотеистических религиях), *Господь, Богородица, Аллах* — индивидуальные названия, являющиеся фактически собственными именами¹.

Еще одно изменение, касающееся употребления прописных букв. В официальных названиях органов власти, учреждений, обществ, научных, учебных и зрелищных заведений, политических партий и т. п. предлагается писать с прописной буквы всегда только первое слово (а также входящие в их состав собственные имена), например: *Всемирный совет мира, Государственная дума, Федеральное собрание, Российская академия наук, Военно-морской флот, Союз театральных деятелей России*. Такие слова, как *Дума, Академия наук*, должны писаться с прописной буквы лишь в тех случаях, когда они употреблены вместо полного официального названия. Тем самым отменяются директивные рекомендации старого свода, согласно которым предлагалось писать с прописной буквы все слова, кроме служебных и слова *партия*, в названиях высших партийных, правительственных, профсоюзных учреждений и организаций Советского Союза — таких, как *Верховный Совет, Совет Министров СССР, Советская Армия и Военно-Морской Флот*.

Предлагается писать со строчной буквы любые названия должностей и титулов, а прописную букву использовать при именовании высших государственных должностей и титулов только в текстах официальных документов — указов, соглашений, коммюнике и т. п. Таким образом отменяется правило, предусматривавшее писать с прописной буквы наименования высших должностей в СССР и со строчной — наименования других должностей и титулов.

Несколько слов о правилах написания аббревиатур. Вряд ли верной уже изначально была рекомендация правил 1956 года писать строчными буквами звуковые аббревиатуры, «обозначающие имена нарицательные». Так пишутся (в виде исключений) только немногие из звуковых аббревиатур — *вуз, роно, дот, дзот, нэп, загс* (у последних двух есть вариантные написания прописными буквами: *НЭП, ЗАГС*). Однако правило, давно уже реализованное на практике, заключается как раз в обратном — в том, чтобы писать любые звуковые аббревиатуры прописными буквами: так пишутся, например, *ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ВТЭК, РОЭ*, из старых аббревиатур «раннесоветского» периода — *ТОЗ, ЧОН*, из более поздних, новых — *НОТ, СПИД, ЖЭК, ОМОН, ТЭК, ВИА, СМИ, УЗИ* и многие другие. Ничего не сказано в старых правилах о том, как писать слова, производные от аббревиатур, — о несохранении в них прописных букв, например: *мхатовец, мидовский* (от *МХАТ, МИД*). Это приходится впервые формулировать в новом своде правил, особо подчеркивается, что формы буквенных аббревиатур и производных от них слов надо писать только по названиям букв, например: *бэтээры, кагэбэшный, кавээнщик* (от *БТР, КГБ, КВН*).

В необходимых случаях в свод правил введены целые новые блоки или новые подразделы. Так, впервые сформулировано общее правило правописания букв на месте безударных беглых гласных. При склонении на месте беглого гласного в именных основах пишутся: после твердых согласных — буква *о*

¹ Реплика И. Б. Роднянской. Представляется, что нормативность в этом вопросе несколько опрометчива. Меня, например, никакими запретами не заставишь в восклицании «Боже мой» писать первое слово со строчной буквы — ведь я помню, к Кому обращаюсь. И, с другой стороны, покуда я имею прикосновенность к редактированию, не стану понуждать атеиста к букве прописной: ведь для него *бог* монотеизма — такой же мифологический персонаж, как *боги* Перун или Гермес. Не следует ли в такой шекотливой области допустить свободный выбор вариантов?

(*банка — банок, кухня — кухонь*), после мягких согласных и шипящих, но не перед *й*, — буква *е* (*спальня — спален, башня — башен*), а перед *й* — буква *и* (*гостья — гостей, третья — третий*). То же в производных словах: *суточный, горечь, неженка, чаечий* (от *чайка*), *келийка* (от *келья*).

В разделе о слитных, раздельных и дефисных написаниях впервые сформулированы так называемые корректирующие правила, или правила координации. Здесь предусмотрены различные случаи корректировки написаний, вытекающих из основных правил, если такие написания затрудняют понимание смысловых отношений соединяемых языковых единиц. Например, если часть слова, пишущаяся по общему правилу слитно, соединяется с дефисно или раздельно пишущейся единицей, то ее следует писать (соответственно) через дефис или раздельно: *радио-мюзик-холл, экс Советский Союз*. Если в конструкции с приложением один из членов (первый либо второй) является сочетанием слов, то дефис должен быть заменен знаком тире: *директор — художественный руководитель, научный сотрудник — космонавт, государства — члены НАТО* и т. п.

Еще одна особенность нового свода — допущение в ряде случаев разных, вариативных написаний. Этим обусловлены, в частности, уточнения стилистического характера. Например, допускается в художественной речи, прежде всего в поэтической, написание форм предложного падежа с окончанием *-и* вместо общепринятого *-е* типа *в молчаньи, в раздумьи, в ущельи* (именно такими написаниями пользовалось несколько поколений русских поэтов от Пушкина до Пастернака). Указываются как не требующие исправления некоторые устаревшие написания суффиксов, встречающиеся в художественной литературе — в таких формах, как, например, *Марфинька, Полинька, Фединька, Володичка, Ваничка* (отмечается и обычное в современных текстах написание *Веничка Ерофеев*). Допускается написание с прописной буквы прилагательных на *-ский*, образованных от собственных имен, если эти прилагательные имеют значение индивидуальной принадлежности, — см., например, у Пастернака: «В Варыкино влетели засветло и стали у старого Живаговского дома, так как по дороге он был первым, ближе Микулицынского».

В ряде случаев пишущему предоставляется право осознанного выбора между раздельным и дефисным написанием. Отсюда, например, возможность двойных написаний в случаях типа *кричаще яркий и кричаще-яркий, детски беспомощный и детски-беспомощный, томительно жаркий и томительно-жаркий, болезненно ревнивый и болезненно-ревнивый*. Если пишущий считает такое сочетание соединением наречия с прилагательным, то пишет его раздельно, если же видит в нем сложное слово, имеет право написать его через дефис.

Возможность выбора написания, допустимая в некоторых особых случаях, отмечалась орфографистами прошлого, но в своде 1956 года она фактически игнорировалась. Разумеется, такая возможность ни в коей мере не отменяет общего принципа обязательности правил и единообразия письма.

В новых правилах переноса тоже сняты некоторые ограничения, предусмотренные сводом 1956 года. В ряде случаев правила, прежде предлагавшиеся как обязательные, признаются лишь предпочтительными. В частности, это относится к разделению групп согласных при переносе: признаются допустимыми не только такие переносы, как *под-бросить* (с обязательным учетом границы между приставкой и корнем), но и такие, как *подб-росить*. Отчасти это обусловлено новыми техническими условиями компьютерного набора текстов. Впрочем, основные запреты — на перенос одной буквы, на отделение гласной от предшествующей согласной и др. — естественно, остаются.

Большая вариативность по сравнению со сводом 1956 года допускается новыми правилами пунктуации. Так, перед перечислением, перед второй частью бессоюзных сложных предложений, имеющей значение причины, и в некоторых других случаях теперь признается правильным не только двоеточие, но в равной степени и тире. Вообще правила пунктуации стали более разнообразными в связи с широким использованием в современной письменной речи

разговорных конструкций. Изменилась и сама композиция раздела «Пунктуация»: материал в нем расположен не по знакам препинания, как прежде, а по типам синтаксических конструкций.

По поводу нашего проекта не раз уже приходилось слышать от самых разных оппонентов, что заниматься орфографией сейчас не время. До орфографии ли теперь, когда бастуют учителя, а целые города замерзают без тепла и света? Позволю себе с такими доводами категорически не согласиться: эта работа сейчас очень даже нужна. Орфография — один из важных элементов национальной культуры, и наличие общеобязательного, реального, а не фантомного свода правил правописания — особенно в нынешнее смутное время, время падения нравов, культуры и грамотности, — это некоторый просвет, намекающий на культурное здоровье общества.

Такая работа для цивилизованной страны просто необходима. Кстати, наши ближайшие родственники — белорусы и украинцы, невзирая на собственные трудности, занимаются сейчас аналогичной работой. Новая редакция правил белорусского правописания готова к утверждению. Во Франции еще в 1990 году принят и выполняется закон «о ректификации орфографии», предусматривающий частичные орфографические изменения (и это при всей традиционной консервативности французского письма). Вот только в Германии устроили перебранку по поводу принятых два года назад новых правил немецкой орфографии. Очень надеемся, что у нас такого не случится.

Что же касается возникающих иногда в связи с нашим проектом рассуждений о том, сколько это будет стоить нашей стране и ее народу (имеются в виду необходимые переиздания словарей и учебников), то это, простите, демагогия. Словари у нас и так выходят ежегодно десятками изданий, учебники тоже переиздаются каждый год, и средства на это откуда-то находятся. Издатели будут только рады новому поводу переиздать кое-что из словарей, а более фундаментальные вещи типа энциклопедий и не потребуют срочного переиздания.

К тому же с принятием нового свода правил обязательно будет объявлен переходный период (два или три года), в течение которого не будут считаться ошибками старые, не соответствующие новым правилам написания. Это особенно важно для оценки грамотности выпускников средней школы и вузовских абитуриентов. Вообще принятие нового свода правил правописания — хороший повод для того, чтобы ведущие организации системы образования пересмотрели принципы оценки орфографических ошибок, обновили их классификацию, выработали на этот счет точные критерии, так необходимые для учителей-русистов.

Новая редакция правил русского правописания — не каприз лингвистов, а веление времени. Разработчики правил, члены Орфографической комиссии РАН и все, кто участвовал в обсуждениях и в совершенствовании текста правил, надеются на понимание этого самой широкой общественностью. Наведение порядка в правилах письма, четкие орфографические рекомендации, выверенные новые орфографические словари — очень важный фактор повышения грамотности, и не только русских людей, но и всех тех, кто пользуется русским языком как неродным, кто изучает этот язык, остающийся и сейчас, в переживаемое нами время, великим и могучим.

БОРИС РАУШЕНБАХ

*

ИЗ КНИГИ «ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ»

Реальность, наука, мечта

Читал какую-то статью в газете и наткнулся на фразу, которую автор обозначил как высказывание Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, биолога: «Ничего, никакая наука не дает действительных знаний».

Ну, прежде всего никто никогда не утверждал, что наука дает истинные, действительные знания, ибо наука есть некое приближенное описание действительности. Все знают это, посему высказывание, приписанное Тимофееву-Ресовскому, конечно, банальность. Разумеется, он имел в виду не банальность, а что-то более серьезное; думаю, цитата выдернута из контекста, как это часто бывает, когда автору статьи не хватает «подпорки».

Но фраза запала в голову, мысль заработала...

Не знаю, как наука поэтическая, а вот точные науки и впрямь не дают истинных знаний. Ученому необходимо выразить какую-то отвлеченную истину, он передает, описывает, изучает и так далее некую объективную реальность, в которой его «я» никакого значения не имеет. Если художник неизбежно пропускает материал через себя, поэтому всегда остается в нем, даже когда пытаются этого избежать, то ученый просто не обращает на это внимания, ему совершенно не важно выразить себя в материале, его «я» решающей роли, во всяком случае, не играет, и это разумная точка зрения.

Если, следя за каким-то явлением, наблюдатели увидят одно и то же, тогда это наука. Если увидят разное — не наука, а поэзия, еще что-нибудь, что угодно. Но таких идеальных ситуаций, как правило, не бывает, так как не может быть ничего совершенно независимого. И современная физика сейчас поняла, что результат наблюдения зависит и от наблюдателя, а не только от явления.

Возьмем работы физиков — не буду уточнять, кого именно, — начала XX столетия, до первой его половины, скажем, 20 — 30-е годы. В физике начала прошлого века, даже до Первой мировой войны, много занимались этим вопросом и добились интересных результатов насчет того, что мы, ученые, отображаем.

Раушенбах Борис Викторович (1915 — 2001) — действительный член РАН, лауреат Ленинской и Демидовской премий, действительный член Международной Академии астронавтики, Герой Социалистического Труда. В минувшем, XX веке кроме основной работы в области космической и ракетной техники издал ряд книг мировоззренческого, философского, богословского характера. Первая книга, не относившаяся к его прямой профессии, — «Пространственные построения в древнерусской живописи» — вышла в 1975-м, вторая — включающая в себя примеры из мировой живописи — в 1980 году. Математическому обоснованию общей теории перспективы посвящена третья книга, изданная в 1986 году. Четвертая, «Геометрия картины и зрительное восприятие», опубликована в 1994 году. Сборник «Пристрастие», в который вошли документальная повесть о Германе Оберте и статьи, охватывающие круг интересов автора от иконописи до космогонии, был выпущен в свет в 1997 году. Биографическая книга «Постскриптум», завершившая столетие, издана в 1999 году. В последнее время академик Раушенбах работал над книгой с несколько ироническим названием «Праздные мысли».

Литературная запись зафиксированных на магнитной ленте бесед с Б. В. Раушенбахом осуществлена *ИННОЙ СЕРГЕЕВОЙ*.

Очень многое зависит от того, кто отображает. Но есть в этом процессе кусок, который не зависит от наблюдателя, а есть кусок, который зависит и передает какое-то свойство ученого, его состояние. Когда говорят, что не бывает абсолютно объективных данных, имеют в виду именно это. Всегда во всем все объективно — так не бывает.

К примеру, берешь утверждение «дважды два — четыре», таблицу умножения, там ни от кого ничего не зависит, всегда одно и то же, но это же не наука! А если берешь какой-то большой кусок науки, то в нем всегда присутствует наблюдатель в той или иной форме. И это нормально, так и должно быть.

Хотя в физике процесс как раз не зависит от того, *кто* наблюдатель, а зависит от того, что наблюдает *человек*. Не важно, кто — англичанин, француз, африканец. Человек влез в процесс и тем самым его изменил; он вмешался и тем самым процесс «испортил». В результате процесс стал другим. И конечно, поэтому наблюдатель в результатах отражается. Отражается он, пожалуй, каким-то образом и в объективных данных.

Но оставим это тем, кто профессионально занимается философией науки. (Иногда я говорю, и, разумеется, неправильно, что, если у человека не получается ничего путного в самой науке, он берется за историю ее, за ее философию и прочее... Шутка. Но есть в ней и доля правды.)

Когда я читаю любой научный трактат, я чувствую не индивидуальность наблюдателя, а точку зрения эпохи, школу. И думаю: ну, это типичная школа такого-то. Или угадываю время примерного написания трактата: типично, скажем, для XIX столетия, в XX веке писали уже по-иному.

Подобные вещи видны всегда, когда знаешь эту науку и в каком-то смысле живешь в ней.

Мою последнюю книгу «Постскрипtum», которая вышла в свет в 1999 году, я закончил довольно мрачным предположением: далеко не уверен, что человечество сохранится еще сто лет. Оно упрямо идет к той грани, где возможность самоуничтожения становится реальной и вероятно даже *по ошибке*. Люди все глубже изучают природу разрушения, ставят все больше физических опытов, и я — в который раз! — скажу сейчас глупость с точки зрения современной физики, но скажу ее, чтобы было понятно: представьте себе, что физики в процессе экспериментов сделали шаг, после которого стала гореть вся материя. И сгорела Земля, сгорели люди — сгорело все!

Это из области опасений, но не предсказаний. Попробовать угадать, куда пойдет наука, — самое дурацкое дело. Я с этим столкнулся, когда читал, как предсказывали ее развитие в конце XIX века, имея в перспективе, конечно, наш, только что ушедший, XX. Большого бреда в своей жизни не читал, хотя авторы были люди ученые и уважаемые. Но подумайте сами, что они могли предсказать, если им даже не снилось, что появятся радио, электроника, компьютеры, Всемирная Паутина — Интернет?..

Что поражало умы в XIX веке? Паровозы. В фильме братьев Люмьер — кажется, он назывался «Прибытие поезда» — паровоз с экрана буквально «наезжал» на зрителей, многие вскакивали и убежали, дамы падали в обморок. Вот ученые и предположили, что в XX веке очень большие паровозы поедут по очень большим рельсам по всему миру — дальше этого их воображение не шло. В те времена только зародилась авиация, и я помню некоторые карикатуры конца XIX века: по улицам плывут дирижабли, люди при помощи каких-то фантастических летательных аппаратов сигают с балкона на балкон в гости друг к другу... Чепуха, конечно, невообразимая, но она показывает уровень того времени, в том числе и уровень предсказаний по поводу развития науки.

Так что еще раз повторю: предсказывать — глупейшее занятие. Что бы ты ни вообразил, все будет наоборот. Человеческий разум приспособлен предвидеть на ближайшие час-два, ну, на сутки. Нужна ли была первобытному человеку способность предсказывать, что произойдет через десять лет? Ему в голову не приходило гадать — конечно, все останется, как при нем, пещерному

обитателю это было очевидно. А вот на час-два он предвидел: пойду в лес, убью зверя, приволоку дров, накормлю свое племя... Мало что мог планировать наш далекий предок, и только на бытовом уровне, очень коротеньком. Потому что жизнь для него не менялась.

Сейчас, наоборот, она стремительно трансформируется. Если раньше можно было знаниями, полученными в молодости, пользоваться, условно говоря, всю жизнь, то сегодня подобный стереотип абсолютно исключен. Я учился в 20-е годы теперь уже прошлого века; представьте себе, что я так и остался бы на уровне 20-х годов, когда не существовало ни полетов в космос, ни современных электронных устройств, ни космической станции «Мир», — можно сказать, человечество вообще почти ничего не знало об этом. И я был бы дурак дураком...

Значит, раньше — и сравнительно совсем недавно, в юные годы — можно было как бы загрузиться знаниями на всю оставшуюся жизнь (я, конечно, сознательно преувеличиваю; постепенно знания приумножались опытом), а сейчас человек в течение своей жизни должен переучиваться примерно три раза, причем не по такой вот системе: каждые пятнадцать лет он куда-то идет и переучивается! Нет, он учится непрерывно все время, каждые пятнадцать — двадцать лет кардинально обновляются его знания по сравнению с тем, что он делал раньше, и, вспоминая то время, он кажется себе наивным чудаком с предельно малыми возможностями.

Человеческая жизнь развивается по очень сложным законам, нелинейным, как выражаются математики, а предсказывать мы умеем только линейно и только то, что является прямым продолжением происходящего сию минуту, а не развитием влево-вправо, вверх-вниз, туда-сюда; прямое продолжение годится на пару лет, ну, лет на десять, не больше. Поэтому ничего предсказывать нельзя даже профессионалу в научной сфере: через десять — двадцать лет появится что-то, о чем профессионал понятия не имеет, он даже придумать этого не может, настолько оно будет неожиданным. А предвидеть неожиданное невозможно, на это у человека ума не хватает.

Меня могут спросить: что же, наука развивается непредсказуемо? Наука развивается сама собой, но что касается предсказаний, то они всегда строятся по нехитрой схеме — я помню, что было в прошлом году, я знаю сегодняшнее положение вещей, значит, могу представить, что будет через год. Подобный метод годится на малые отрезки времени, он удобен, реален, ибо, разумеется, если я знаю события прошлого года, то могу предположить, какие пассажи ожидают нас в будущем году. То, что произойдет через двадцать лет, тоже можно предположить, но это наверняка окажется глупостью.

Я бы сказал так: то неожиданное, что случится через двадцать лет, я себе представить не могу, и этого никто представить не может, тем более в науке. Да, она продолжит развитие, все в ней пойдет своим чередом, люди будут активнее технизировать свой быт, свой труд. Развитие науки, как известно, остановить невозможно, и мы будем свидетелями все больших достижений и новых Нобелевских премий. То есть все будет происходить нормально, выражаясь по-современному, а вот *что* и *как* — этого ни я и никто другой не знает.

Фантастам легче предсказывать будущее и развитие науки, чем ученым; фантасты, как правило, не связаны по рукам и ногам современной наукой, над ними не маячат никакие современные законы физики, математики и прочего. Они фантазируют, фонтанируют, и никто не вправе их обругать — на то он и писатель-фантаст, чтобы придумывать самые невероятные коллизии, попробуй упрекни: «Ты, недоумок, что ты там понаписал?!» — «А я фантаст, я просто вообразил себе...» — и так далее. Если же ученый вообразит и сморозит нечто подобное, он — псих.

Французский писатель-фантаст Жюль Верн обладал хорошим чувством будущего. Не в деталях — в них он тоже наерундил, хотя, в принципе, каким-то десятым чувством ощущал направление развития науки и соответственно многое угадывал из того, что случилось на самом деле. В этом смысле он, конеч-

но, был много выше других фантастов, которые не стремились к попытке отразить то, что будет, а тшились удивить, ошеломить читателя чем-то невероятным.

Жюль Верн был технически грамотным человеком, умел, фантазируя, отсеять явную чепуху от того, что может произойти в действительности, и, в общем, довольно верно предвидел многое, но не как ученый, а как писатель, тонко реагирующий на развитие техники, скажем так. Он все придумывал, не собираясь сам ничего делать — ни путешествовать вокруг света, ни лететь на Луну, хотя схемки для того, чтобы написать тот или иной роман, у него имелись. Чертеж межпланетного корабля приходится набрасывать даже писателю, иначе он заврется; нужно представлять себе действие аппарата, чтобы все было логично, но ничего не нужно *разрабатывать*. Жюль Верн ничего и не разрабатывал.

Известный ученый, пионер ракетной техники и космонавтики Герман Оберт, наоборот, все разрабатывал, считая, что в мире нет невозможного, «надо лишь обнаружить те средства, с помощью которых оно может быть осуществлено». Оберт пытался разработать ракеты сначала на бумаге, потом взялся их строить. Жюль Верн ничего не строил, никаких опытов не ставил, а Оберт ставил опыты, конструировал и так далее. То есть разные классы. Оберт был ученый тире инженер, а Жюль Верн — ученый тире писатель.

Это пример всегдашнего соприкосновения мечты, науки и реальности, о котором в свое время писал Циолковский, фигура в науке очень сложная. В детстве он перенес тяжелое заболевание, по-моему скарлатину, практически оглох, поэтому был очень замкнут, но зато обладал повышенной фантазией и придумывал — правильно или неправильно, не в этом дело — многое в области техники, в том числе и ракетной.

Сейчас вдруг возникла такая точка зрения, которую отстаивают некоторые ученые: Циолковский, мол, был в значительной мере дутой фигурой, то есть сделал-то много, но несущественно, его подняли на невероятную высоту в интересах советского государства и советской пропаганды, после чего он стал играть большую роль, а если говорить всерьез, то был пустым местом в науке.

Это крайняя точка зрения, и развивает ее в своих книгах бывший секретарь научной комиссии Циолковского, человек, профессионально изучавший его творчество и в свое время рьяно воздвигавший ему монумент. Я не говорю, что он прав или не прав, я просто рассказываю, к каким он пришел выводам: Циолковский — дутая величина.

В какой-то мере, вероятно, Циолковского незаслуженно подняли так высоко. Он не великий ученый, он просто умный, интересный человек, много сделавший в направлении ракетной техники, но написавший и много сомнительных работ. Сложная фигура, но не нулевая, не пустое место.

Возвращаясь к теме соприкосновения мечты, науки и реальности, подчеркну: Циолковский писал, что сначала идет мечта, потом разработка, потом осуществление. Три этапа. Мысль не оригинальная, почти все так перечисляют. Я предпочитаю начать с реальности, поэтому поставлю так: реальность, наука, мечта. Но кто-то иногда занимается и чем-то нереальным — это могут быть я, это можете быть вы, в некоторых случаях, например, это был Сергей Павлович Королев.

В ранней молодости, когда все мы увлекались планеризмом и ездили в Крым, в Коктебель, чтобы там, на его холмах, испытывать свои модели, помню, нас всех поразила «Красная звезда» Сергея Павловича, планёр, абсолютно неперспективный с точки зрения развития планеризма, но... способный к высшему пилотажу! «Красная звезда» — единственный планёр для высшего пилотажа *до сих пор!* Все удивлялись — зачем? А Королеву это и нравилось, он всю жизнь хотел удивлять мир, удивлять ученых, инженеров, коллег по работе. Ну кому, скажите на милость, понадобился бы планёр для высшего пилотажа?.. Так что мечта вполне может быть и никому не нужной. Зато множество реальных идей Сергея Павловича получили воплощение и мощно двинули вперед отечественную и мировую космонавтику.

В связи с публикацией «мрачных мыслей»¹ мне часто задают вопрос, не превращается ли результат научных разработок — в данном случае речь опять идет о физике — в какой-то момент из положительного в отрицательный? Нет, не превращается, но может превратиться по недомыслию: ведь с каменного века в человеческом мозгу ничего не изменилось, и теперь получается страшный раздраз — людям с интеллектом каменного века дают в руки невестную энергию.

Сознательно никто не хочет тотального бедствия. И тем не менее была сделана и взорвана атомная бомба. Конечно, ученым, авторам этой бомбы, в процессе работы было интересно решить научную задачу, они не думали о морально-этических последствиях, а рассуждали, вероятно, так: *где-нибудь* «она» взорвется, мир ужаснется, враги капитулируют. Зачем иначе делать бомбу, если ее не взрывать? Глупо.

Наука не виновата, что бомба взорвалась над Хиросимой, наука ни при чем — мораль может быть у конкретного ученого, наука не моральная категория — я имею в виду физику, химию, а не этические науки, — она *никакая*, не знаю, к сожалению или к счастью. Нелепо ставить вопрос о морали, скажем, в таком случае: тела при нагревании расширяются — морально это или не морально? Грубый пример, но понятный всякому. А в большинстве случаев наука занимается именно такими задачами: тела при нагревании расширяются... и так далее.

Еще пример. Мы приняли решение затопить космическую станцию «Мир». Что это — вопрос нравственности? Нет, финансирования, и только финансирования. В «Мир» вбухано большое количество научных идей, труда, денег, но дальше бухать нет средств. Надо топить? Это далеко не очевидно. Здесь более чем уместна поговорка «семь раз отмерь, один отрежь». Тем паче, что до сих пор не ясно, будет ли наша страна занимать достойное место в новой, интернациональной программе. Международная станция станет совершеннее, потому что ее выведут на орбиту, уже учитывая громадный опыт работы «Мира». Все равно его жалко...

Можно ли было предсказать, что «Мир» когда-нибудь окончит свое существование? Бесспорно. Можно ли было предсказать развал такой мощной державы, как Советский Союз, и то, что мы окажемся с пустыми карманами? Вряд ли. Прямое отношения к науке это не имеет. Имеет косвенное. И не в области предсказаний.

«Ненаписанная биография» Леонида Леонова

Это были годы, когда я еще работал на королёвской фирме. Своих ближайших сотрудников Сергей Павлович распределил по газетам, каждого на определенный орган печати, с тем, чтобы его доверенное окружение давало соответствующую информацию о запусках или о каких-то форс-мажорных обстоятельствах в космическом деле без всякой «развесистой клюквы». Себе Королев взял газету «Правда», где писал под псевдонимом «профессор Сергеев», а меня, понятия не имею почему, прикрепил к «Известиям». Именно так я познакомился с Евгенией Николаевной Манучаровой, ведущим корреспондентом отдела науки, которая тогда занималась космической тематикой: освещала в «Известиях» пуски спутников и ракет, в связи с этим частенько звонила мне. Как правило, мы с ней встречались на собраниях Академии наук, короче, работали, как тогда говорилось, в тесном контакте.

На одном из таких собраний Евгения Николаевна спросила меня: «Хотите, познакомлю с Леоновым?» — «С каким Леоновым?» (Я думал, что это может быть кто угодно, ведь и космонавт такой есть, фамилия-то расхожая.) — «С писателем Леонидом Леоновым». — «А-а, — несколько неопределенно ска-

¹ Эссе «Мрачные мысли» см. в кн.: Раушенбах Б. В. Пристрастие. М., 1997.

зал я, — хочу». И она действительно подводит меня к Леониду Максимовичу, знакомит нас, конечно, формально, потому что он обо мне равным счетом ничего не знал, я, к стыду своему, знал о нем еще меньше, далеко не все его произведения читал и вообще мало интересовался советской литературой. Но сам факт знакомства состоялся.

Надо сказать, что в Академии наук с давних времен существует традиция избирать в члены академии крупного писателя. Разряд «изящной словесности» был основан при академии в апреле 1899 года по случаю 100-летия со дня рождения Пушкина. Первыми академиками стали Лев Толстой, Чехов, Владимир Галактионович Короленко и поэт А. М. Жемчужников. В феврале 1902 года почетными академиками по разряду изящной словесности были избраны Максим Горький и драматург А. В. Сухово-Кобылин. На сообщении об избрании Горького царь Николай II начертил: «Более чем оригинально», и президенту академии, великому князю Константину Константиновичу, было велено от имени академии составить заявление о признании избрания Горького недействительным: дескать, академия не знала, что писатель состоял под следствием по политическому обвинению. Два академика, Короленко и Чехов, сразу же в знак протеста сложили с себя звание, демонстративно вышли из академии: вот какие традиции были заложены в существование нынешнего Отделения языка и литературы РАН — кроме знатоков литературы, литературоведов иметь в своем составе еще и крупного живого писателя. Всегда искали такого достойного человека, который не испортил бы лица академии, и было решено — не мною, конечно, — что Леонид Леонов подходящая фигура, что он пройдет, его все признают, и действительно, так и получилось. Избран он был в Академию наук СССР на семьдесят четвертом году своей жизни.

Не помню сейчас, как и почему мы с ним сблизились. Сначала это были обычные: «Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — «Как сегодня чай?» — «Неплохо заварен». Потом наметились контакты по двум вопросам. Первый — устройство мироздания, вопросы космогонии. Леонова страшно волновала проблема Большого Взрыва, после которого возникла наша Вселенная, и, таким образом, мир был *созданы*, а не существовал вечно. Это его очень будоражило, потому что идею сотворения мира он, как писатель, воспринимал поэтически, а не грубо математически, как мы, ученые.

Это была одна линия нашего общения, я назвал бы ее астрономической. Он на эту тему любил порассуждать, поспорить со мной, говорил, например: «Как это так, не может быть скорости, превосходящей скорость света!.. Нет, здесь у вас в науке что-то не то...» Его собственные физические теории были, как правило, несостоятельны, ему все время, как писателю, хотелось изменить законы физики, так что у нас было много пустых для науки разговоров, но по сути очень интересных. Я был представителем иного, не литературного мира, и именно это Леонову было во мне занято.

А другая линия была, как это ни странно, богословская. Леонов считал меня знатоком богословия. Не я его, а он — меня! Правда, к этому времени у меня вышел ряд книг, в которых, в частности, речь шла о древнерусской живописи, об иконописи. Иконы, да и классическую живопись, во многом основанную на евангельских сюжетах, нельзя понять, не занимаясь богословием, и я углубился в богословские трактаты, напечатал несколько работ в этой области — к 1000-летию крещения Руси, о Троице и по некоторым вопросам богословия иконопочитания. И был хорошо знаком с ректором Духовной академии, который помог мне консультациями.

Леонид Максимович об этом знал, поэтому у меня дома часто раздавались его телефонные звонки, и он спрашивал, к примеру: «Если бы священник такой-то сделал то-то, а дьякон бы сделал то-то, как вы думаете, может такое быть или нет?» Это ему было нужно для романа «Пирамида», над которым он тогда усиленно работал. «Могут ли они сказать такое, или это нелепость?» И я ему отвечал: «Не лезет ни в какие ворота потому-то и потому-то...» Или наоборот: «Очень хорошо получается!» — «А если вот так?» — «Надо подумать...»

В общем, мы с ним многое обсуждали по телефону, но, конечно, не художественную суть. Я его консультировал по части того, что допускает и чего не допускает традиционное православие, потому что у него в «Пирамиде» герой — священник, а персонажи — дьявол, ангел и прочее; то есть ему это надо было знать досконально, а он разбирался нетвердо. Плохо даже, к моему удивлению. Может быть, он знал это дело практически, ну, как, скажем, вести себя при посещении церкви. Меня всегда умиляло, как он перед входом в церковь крестился и кланялся. А более тонкие вещи, теоретические, ему были ни к чему, когда он посещал церковь как прихожанин, но для работы над романом они ему понадобились.

Кроме этих двух линий он «использовал» меня еще следующим образом: ему очень хотелось бывать в Троицкой Лавре, в монастыре. Но как член Союза писателей, да еще один из секретарей Союза, он находился под бдительным оком, и ему несподручно было ехать туда одному — он просто не имел права этого делать. Как так — известный писатель Леонов вдруг пошел молиться! Это ужасно было, немисливо в те годы. Это конец! А со мной оказалось очень удобно, потому что я в Сергиев Посад — тогда Загорск — ездил часто, моему начальству было плевать, что я туда навещаюсь, потому что я занимался ракетами, а не идеологической работой. Вот Леонов и «примкнул» ко мне: формально еду я, а он как бы в моей «свите». Это смешно звучит, но фактически мы с ним так и ездили — я и какая-то странная, никому неведомая персона. И когда мы приезжали в Лавру, то, входя в храм или выходя из него, он крестился — незаметно, но крестился, показывая, таким образом, с каким великим почтением относится к этому делу. Я бы сказал, это делало ему честь.

Я всегда предупреждал в Духовной академии, что приеду с Леоновым, и нам устраивали шикарный прием, потому что я часто там бывал — к тому времени, повторяю, я уже серьезно работал над темой иконописи, иконопочитания, занимался проблемами богословия, коротко сошелся не только с ректором Духовной академии, но и с его помощниками, ко мне хорошо относились не потому, что я такой замечательный человек, а потому, что ни один нормальный советский ученый к ним не ездил, боясь за свою репутацию. А я был неким выродком, который ездит и не боится — во-первых, потому, что не работает в идеологической сфере, а во-вторых, мне уже пришлось хлебнуть разных разностей и побывать за решеткой — страха я не испытывал. Тем более, что нашим ракетчикам было решительно все равно, езжу я в Лавру или нет, главное, чтобы ракеты взлетали. Поэтому и получалось, что я — неподотчетный субъект, которому ни перед кем не надо «тянуться», не член Союза писателей, для которого подобная поездка могла означать гибель карьеры. Поэтому Леонов и ездил со мной как бы случайно: академик, мол, ехал и меня захватил. Все это сейчас звучит смешно, но так было на самом деле.

Обитатели Лавры были польщены тем, что их посещает известный писатель, — меня-то они мало принимали во внимание, просто знали: вот, появляется у них какой-то чудаковатый человек, имеет отношение к ракетам... Это ведь Церкви не столь уж интересно, а вот знаменитый писатель!.. Леонова встречали с почтением, кормили нас вкуснейшими обедами, потом мы часами сидели в кабинете ректора Духовной академии, ходили по церковному музею, посещали ректорские апартаменты в частной квартире ректора, прямо из музея, даже на улицу не надо было выходить.

Ректором тогда был Александр, до него — Филарет, потом еще кто-то. Я там подвизался много лет, и за время моего пребывания ректоры академии менялись не потому, что плохо работали, а, наоборот, их повышали за хорошую работу. Ректор Духовной академии обычно бывал архимандритом, то есть в высоком чине, но не в епископском. Не «генералом», если выразиться более понятным нам языком, а полковничьего звания, скажем так. И когда он созревал для получения генеральского звания, ему приходилось оставлять акаде-

мию и получать епархию, потому что, лишь работая в епархии, он удостоивался епископского чина. Александра отправили куда-то на юг, и я его потерял из виду. А Филарет из ректоров академии стал сейчас митрополитом Белорусским.

Служил среди них и очень, я бы сказал, практичный клирик — не помню, был ли он ректором или кем-то в ректорате, — так он, чтобы занять высокое положение, согласился стать епископом в Южной Америке, в русских приходах. Климат оказался для него губительным, нездоровое сердце дало себя знать, и уже через год он оказался епископом в России, правда не в центральной губернии, а где-то в удалении.

Так что всякие движения и передвижения в Духовной академии происходили на моих глазах, я в них косвенно участвовал как свидетель. Таким свидетелем невольно стал в ряде случаев и Леонид Леонов, «нечаянный» мой попутчик, который всегда мог сослаться на академика Раушенбаха: поехал, мол, с ним, и невзначай завернули в Лавру...

Леонова интересовала не только внутренняя жизнь Церкви, как интересуется она всякого православного человека, его все интересовало как материал для творчества, он хотел наблюдать эту жизнь, видеть ее, говорить о ней. Возможно, он получал какие-то полезные советы, потому что задавал, помню, епископу вопросы: «А может ли быть так вот и так?» — и епископ укорял его: «Ну что вы, нельзя, потому что это обусловлено тем-то и тем-то».

Леонида Максимовича тяготила его церковная безграмотность, он не хотел, чтобы в романе (в той же «Пирамиде») была написана богословская или церковная чушь. Чтобы какой-нибудь священник, читая, сказал: «Да что он, с ума сошел, что ли? Разве такое может быть!» Писатель этого опасался, он недостаточно знал жизнь Церкви изнутри, чтобы самому доходить до всех тонкостей, часть этих тонкостей он узнавал от меня, звоня по телефону и спрашивая об устройстве мироздания и о церковных правилах. Ну, и кроме того, еще больше он получал от прямого контакта с Церковью. Не просто с рядовыми священниками, а с профессорами Духовной академии. Самый высокий уровень. Но тем не менее постоянно упрекал меня, что я редко звоню и редко у него бываю.

Тогда я был очень плотно занят своей работой, и мне было, честно говоря, не до визитов. А сейчас я жалею, потому что очень много интересного пропустил, не узнал от него. Помню, например, фразу из его романа «Скутаревский», которая меня зацепила, там один брат говорит другому, что наука открывает только то, что душа уже знает. Очень тонкое наблюдение, и хотелось бы с ним об этом подробно потолковать, но... И еще, помню, меня поразило его умозаключение о том, что у каждого человека есть как бы две биографии: одна, которой он живет, — его должность, семья, дача, машина, квартира, карьера; другая — его *ненаписанная биография*. И такие ненаписанные биографии есть у всех. Как я понимаю, те, которые человек проживает внутри себя, в воображении, но не может прожить в реальности по ряду обстоятельств. Мне это очень понравилось. И конечно, если бы не моя невыносимая загруженность по работе, я общался бы с ним чаще, а так — я жил на окраине Москвы, он в центре, у Никитских ворот, а дача у него была в Переделкине. То есть нужно было долго и далеко добираться, особенно обратно. У меня же времени всегда катастрофически не хватало, и при всем желании чаще с ним видеться у нас получалось вынужденно редкое общение. Хотя Леонид Максимович явно стремился к общению.

При таком взаимном стремлении нам все-таки удавалось встречаться несмотря на всякие препятствия, не идеологические, а житейские, несколько раз в год. И проводить время в беседах или поехать в Лавру или в Переделкино. Причем, когда мы ехали за город, он всегда говорил: «Я вас довезу, я вас довезу!» — и мы добирались не электричкой, а машиной, очевидно, обслуживающей его как секретаря Союза писателей.

Дома у него была вполне заурядная обстановка, единственно, что поражало, так это растения. Цветы. Даже в городской квартире. Цветы и растения были необыкновенные, хотя, конечно, главный цветник располагался у него на даче. И об этом постоянно велись разговоры — он был страстным растениеводом, цветоводом. Не знаю, можно ли его назвать профессионалом в этой области, но большим любителем — бесспорно, что, может быть, даже важнее. Тут можно было бы многому у него научиться, если бы меня это интересовало, но, увы, эта сфера мне совершенно неинтересна, и когда Леонид Максимович показывал свою знаменитую оранжерею с коллекцией кактусов в Переделкине, мне все это было явно ни к чему, а он ею так гордился! И придавал всему растущему особое значение.

Леоновы у нас никогда не бывали, ибо мы с женой жили очень скромно и не были убеждены, что можем принять их достойным образом. А недостойно жена не хотела их принимать. Такая вот ситуация. Моя супруга, Вера Михайловна, была знакома с писателем по Историческому музею, где она занимала пост директора музея по науке, а Леонов там много работал и был членом разных комитетов по охране памятников русской старины. Поэтому, когда мы с ним встречались, он всегда передавал приветы моей жене.

Звонили мы друг другу только по мере необходимости, то есть не на тему, как вы себя нынче чувствуете, какая погода... Чаше звонил он, всегда по делу: «Вот у меня такой вопрос: может ли быть скорость больше скорости света?» Я привел эту фразу просто в качестве примера, но скорость света его действительно почему-то очень волновала. Не исключаю, что после моих консультаций он что-то менял в своем романе, в «Пирамиде», которую толком и не кончил. Жаловался иногда, что всю жизнь пишет этот трудный роман, где один из персонажей — дьявол. Хотелось бы наделить его высшей мудростью, да нельзя: он антипод Богу. Поэтому приходится изобретать особый строй речи, особую лексику для дьявола, чтобы показать его высокомерие.

Надо сказать, что Леонов всегда как бы соединял бесчисленное множество отрывков в единую ткань. На мой взгляд, иногда ему это удавалось, иногда — не слишком. Но он очень ревностно относился к физическому процессу писания — писал только от руки, считая, что мысль перетекает через руку на бумагу. Судя по тому, что он мне все это подробно рассказывал, он мне в какой-то степени доверял. Хотя вообще-то старался держаться на значительной дистанции от всех, особенно от братьев писателей. У него не было оснований мне не доверять, во-первых, потому, что я не имел никакого отношения к писателям и даже случайно не мог его подвести. Он знал, что никакой «протечки» быть не может. Во-вторых, как всякому человеку, ему хотелось с кем-то поделиться, тем более что он делился со мной вещами, в которых я мог оказаться ему полезным. Он мне не рассказывал того, где я не мог вмешаться и сказать: это так, это не так, это хорошо, это плохо, это правдиво, это неправдиво. Эпизод, где кто-то кому-то объяснялся в любви, он со мной не обсуждал — что я мог ему по этому поводу советовать? А вот там, где дело касалось мировоззрения, астрономии, физики, конечности скорости света, начала мироздания, — тут он меня использовал на сто процентов.

Наверное, у него имелось много подобных источников информации, и я был только узко направленный информатор. Мы с ним болтали о чем угодно, это само собой разумелось, но как источник информации и не прямой участник в его творчестве я был консультантом по особым вопросам. Консультантов по вопросам литературного, художественного творчества в те годы, когда мы с ним познакомились, ему не требовалось: он был абсолютно в себе уверен, за его плечами уже стояли десятки опубликованных книг, он был удивительно тонким художником-стилистом, на редкость точно чувствовал слово. Даже писатели-эмигранты отмечали яркость его роскошного русского языка, пышность и свежесть его речи, редкие, диковинные присловья. Кто-то даже выразился так: его узорный язык напоминает старинные русские вышивки.

Удивительно! Взять хотя бы фамилии: Грацианской, Шатаницкий... Вихров... Какой подтекст. Или вот такая фраза: «Огорчение ремесла с мотивировкой — с наилучшими связаны наихудшие последствия». Огорчение ремесла с мотивировкой! Разве сейчас кто-нибудь так напишет? Разве кто-нибудь из писателей интересуется сейчас всерьез проблемой метагалактики? Может быть, поэтому Леонова так мало сейчас переиздают, так невнимательно читают, если вообще читают.

Конечно, «Пирамида» — первоначально роман, по-моему, назывался иначе — задумывалась как более впечатляющее произведение. Но автор вдруг понял, что не успевает завершить работу над своим произведением так, как его задумал, и незадолго до смерти кое-как, с чужой помощью, не всегда попадающей в цель, собрал роман, что называется, из кусочков, стремясь к тому, чтобы швов не было видно. Как у хирурга, говаривал он, который пришивает оторванный палец: нужно не только соединить суставы, кожу, мышцы, но и сшить мельчайшие сосуды, чтобы по ним запульсировала кровь и палец ожил. И остается впечатление, что роман все-таки не кончен. Это было не то, что задумывал Леонов и написал бы сам от начала до конца. Но все пересилило предсмертное желание кончить то, что должен был сделать в жизни, что всю жизнь мечтал сделать, но так и не успел, и решил хоть как-то, хоть чем-нибудь завершить. Все ждали выхода этого романа, и когда он вышел — а издавался он при жизни Леонова, — то наступило некое разочарование. Растерянность.

Сказалось, конечно, постороннее вмешательство, пусть и с добрыми намерениями; но разве нашелся бы редактор, соответствующий по уровню такому писателю? Поэтому существование «Пирамиды» странное: роман есть — и его как бы нету. За ним не гоняются, не обсуждают, не переиздают. Тем более в наши дни, когда читатель не желает или не может вникать в нутро произведения, смаковать его лексику, стиль, усваивать не торопясь мысль автора, проникаться замыслом Леонова в истинном смысле этого слова. Теперь ведь проскакивают по сюжету, не обращая внимания на пейзаж, портрет, нюансировку чувств — все, что подарила мировой литературе литература русская, русская классика. Теперь это считается даже не модным, стыдным, как в мои юные годы считалось неприличным писать безупречно грамотно, что свидетельствовало о непролетарском происхождении.

Иные времена. О богатстве языка и невероятном многообразии прозы, ее приемов, тонкостей почти никто не думает.

Вот был крепкий писатель, очень популярный в свое время, хоть и не великий мастер, Алексей Николаевич Толстой. Кто сейчас его помнит, кто гоняется за его книгами? В лучшем случае смотрят по телевизору «Гиперболоид инженера Гарина» или «Хождение по мукам». Горького вообще растоптали, и это несправедливо, он хороший писатель. Думаю, растопчут и Пушкина. Его даже не нужно растаптывать, он как бы вычеркнут из жизни молодого поколения, потому что в школе изучение Пушкина ведется, как правило, формально, только немногочисленные энтузиастки словесницы заставляют учеников читать что-то пушкинское сверх той скудной программы, которая отпущена на «эту тему». Можно сказать, что Пушкин уже не присутствует в сознании юного человека. Уж не говорю о Лермонтове... Поэтому судьба «Пирамиды» в общем-то закономерна.

По-моему, отрывки из нее были опубликованы чуть ли не в журнале «Новый мир»², причем эти опубликованные фрагменты, мне кажется, в окончательный текст романа не вошли, а, на мой взгляд, они очень интересны. Думаю, были в романе какие-то линии, с которыми Леонид Максимович уже не мог в отпущенное ему время справиться.

² Леонов Леонид. Мироздание по Дымкову. Фрагмент романа. — «Новый мир», 1984, № 11.

Одна из таких линий — история Ангела, который прилетел на Землю в командировку как некто Дымков. Это Леоновым очень хорошо придумано, особенно то, что Ангел рассказывает студенту, выгнанному из учебного заведения за неуспеваемость, устройство мироздания, рисуя схему его пальцем на снегу! И при этом рассказчик говорит, что не может отвечать за ее истинность, потому что студент вроде как шибко неумный, да еще и схема-то рисуется пальцем на снегу, так что возможно, что все в пересказе напутано.

Леонову надо было выразить свое представление о мироздании, которое он, конечно, придумал сам, надо было эту выдумку защитить, потому что она входила в явное противоречие с наукой. И Леонов не мог сказать: а я считаю, что это так! Это было бы нелепо, его бы высмеяли. Но если некий тип рассказывает все бездарному студенту, от имени которого ведется повествование, автор не несет никакой ответственности, потому что студент мог здесь все переврать.

Бедный Ангел, посланный в командировку из небесных сфер, замерз, пошел, чтобы согреться, в планетарий — хороший ход, что и говорить! В окончательном варианте романа я не помню этого эпизода в том виде, в каком мне рассказывал автор, а позже — в каком это было напечатано отрывком из будущего романа. Значит, какие-то потери есть.

На мой непросвещенный взгляд, первую главу романа просто нужно отрезать от всего остального текста, и получится независимая повесть. Потому что то, что происходит дальше, к первой главе отношения не имеет, намечены только весьма косвенные связи через некоторых действующих лиц. То есть они действуют и тут и там, но по делу не сочетаются.

Конечно, в романе описываются вещи, которые Леонов, наверное, сам переживал, наблюдал, о которых слышал. Недаром же Берия про Леонова сказал: «Неясный человек!» Еще бы! В «Пирамиде» дьякона совершенно затюкали, ему ни туда ни сюда, и чтобы сохранить свою жизнь, свою семью, он вынужден отречься от сана, причем не просто отречься, а публично, на большом собрании. Отрекся. Пришел за справкой, что он отрекся, а ему сказали, что бланков нет, кончились бланки, приходите в другой раз. Можно себе представить, что творилось в душе у этого дьякона. И можно понять фразу Леонова, которую я однажды от него слышал: скользить или врать неохота. Он часто говорил о себе, что вечно ходит с подмоченным задом — возьмите хотя бы историю с его молодым произведением «Вор». В конце 30-х годов этот роман был запрещен и изъят из библиотек, переиздали его только уже после смерти Сталина. И кто-то видел, что роман «Вор» лежал в 30-е годы на столе у вождя, весь исчерканный красным карандашом.

И это при том, что внешняя сторона биографии Леонова сложилась как бы благополучно: Леонид Максимович был лауреатом Ленинской и Сталинской премий, имел ордена, был избран депутатом Верховного Совета, много издавался, занимал солидное место в руководстве Союза писателей, уже при жизни считался классиком... И одновременно — «неясный человек», «вечно хожу с подмоченным задом», «неохота скользить или врать»... И эпизод, рассказанный когда-то мне Леоновым — потрясающий эпизод! — уж не знаю, знаком ли он широкой писательской общественности: Сталину не понравились пьесы Леонова «Унтиловск», «Волк» и «Половчанские сады». Автор, конечно, сразу почувствовал это: «Унтиловск» был снят с репертуара, а на «Волка» и «Половчанские сады» были написаны беспощадные по тем временам рецензии. И Леонов почувствовал, что его могут взять «под белые руки». И все писатели это поняли, по каким-то неведомым признакам.

Сейчас-то мы знаем, что без санкции Фадеева пишущего человека не сажали, а тогда об этом можно было только догадываться. И вот Леонов поведал мне, что решил узнать у Фадеева, насколько плохи его дела: что, уже все или есть еще какая-то надежда? Фадеев побоялся пустить его в дом, и Леонов стоял в саду, а мэтр говорил с ним с балкона второго этажа своей дачи. Многие утверждают, что под балконом стояла жена Леонида Максимовича, а не он

сам, но мне он рассказывал об этом эпизоде именно *от себя*, видимо, как художник, приняв все унижение, пережитое женой, в *свою* душу.

Позже Леонид Максимович включил эту сцену в роман «Русский лес», помню, что, читая этот эпизод, всегда мысленно усмехался и вспоминал реплику Леонова, что Фадеев поступил так, чтобы никто не мог его обвинить в *личном контакте* с сомнительным коллегой.

А потом Сталин позвонил Леонову домой и сказал: что-то я давно ваших пьес на театре не видел... Как будто от Леонова это зависело! И тут же, рассказывал мне Леонов, к нему мгновенно выстроилась очередь из писателей, и первым в этой очереди стоял Фадеев!

Мои воспоминания о Леонове для прекрасной книги, которую собрала дочь Наталия к 100-летию со дня рождения отца, получились совершенно скудные и неинтересные, гораздо суше, чем то, о чем я вспоминаю сейчас. Память капризная штука — когда надо, она умолкает, и ничего путного сказать или написать не можешь, а когда сидишь на досуге, в праздности, вдруг перед тобой встают картины, которые ты и сам-то давно забыл, а все так ярко и живо, как будто происходило вчера.

Леонов произвел на меня впечатление ужасно одинокого человека, казалось, что рядом с ним никого нет, кроме семьи, жены. Поэтому-то он так трагически и воспринял ее смерть и последние пятнадцать лет своей жизни вдовел. Он был одинокий человек, сознательно желающий быть одиноким. Поставил на дачном участке деревянную башню, уединялся там для работы, весь поселок ядовито подшучивал, называя ее «башней из слоновой кости». Это еще сильнее подчеркивало его желание уйти, отгрести от себя все ненужное.

Разумеется, он мог заполучить в друзья — искренние или неискренние, это другой вопрос — почти любого человека. Всякий почел бы за честь быть с писателем Леоновым в близких отношениях: «Я — друг Леонида Леонова!» Любой бы ходил, выставив пузо. Кроме того, он был очень интересный человек, незаурядный собеседник, так что с ним было не скучно любому, не только мне. Но он почти никого не хотел видеть в друзьях, я так понимаю.

Кроме того, он хорошо знал и видел жизнь, остро наблюдал за всем, что происходило вокруг, видел, как исчезают внезапно люди, сам слышал в трубке голос вождя после того, как подвергся необъяснимой опале, поэтому я чувствовал в нем элемент некоей осторожности. Тогда все боялись, так или иначе. А если учесть его родословную, то было чего бояться.

Деды Леонова были купцами, причем не мелкими: Леон Леонович Леонов, дед по отцу, владел бакалейной лавкой в Китай-городе; другой дед — по матери предки Леонида Максимовича были Петровы из Ярославской губернии — предприятием под названием «Торговый дом Петрова». Женился Леонид Максимович на дочери Сабашникова, Татьяне Михайловне, тогда было два брата Сабашниковых, создавших знаменитое по сей день издательство. До Октябрьской революции они считались людьми весьма состоятельными, потом, конечно, у них все отобрали, издательство разорили, и судьба Сабашниковых в конце концов закончилась трагически.

С такими родственниками, да еще будучи беспартийным, удивительно, что Леонов уцелел, ни разу не был посажен, хотя есть сведения, что доносы на него писались регулярно, пьесы, как я уже сказал, снимались с репертуара многих театров. Удивительно и то, что в такой обстановке он полностью сохранился как художник, ни в чем не уступая требованиям литературных канон того времени. И среди писателей был не просто стилистом или «мовистом», как выразился бы Катаев, он был художником с парадоксальным порой мышлением, но всегда знающим, ради чего он пишет именно так, а не иначе.

Любопытно, что всем, в том числе и мне, особенно нравится его повесть «Evgenia Ivanovna». Я считаю ее лучшей не потому, что она лучшая на самом деле, а потому, что она наиболее мне доступна, скажем так. Написана очень просто, бесхитростно, для самых непритязательных читателей. Любая домохозяйка, которая в руки не брала произведений Леонова (а читать его романы —

это интеллектуальная работа!), прочтет «Evgenia Ivanovna» с большим интересом. Это, конечно, «выпавшая точка» в его творчестве. Она не похожа на классического Леонова. И он даже мне как-то объяснял, что это как у Романа Роллана, который после тяжелого, вязкого по стилю «Жана Кристофа» почувствовал потребность освободиться и написал блестящего, остроумного «Кола Брюньона», замечательную книгу, как бы разрядку, реакцию на предыдущую сложную и во многом утомительную работу.

Да, «Жан Кристоф» — сложная, мучительная вещь, где описаны отношения французов и немцев через судьбу композитора, которую Роман Роллан смог написать еще и потому, что сам был хорошим музыкантом. А «Кола Брюньон» как бы блистательный перевод со старофранцузского на современный французский, веселый, легкий, легкомысленный, с соблазнительной Ласочкой, с воспеванием земной крестьянской любви.

Леонов считал, что его «Evgenia Ivanovna» — это как бы отдохновение от плотности и некоторой мучительности «Барсуков», «Вора», «Соти», «Скутаревского», «Дороги на Океан», «Русского леса»... Интересно, что повесть эта написана Леоновым в 1938 году, а опубликована в 1963-м. Он не спешил печатать свои произведения, тщательно их дорабатывал, перерабатывал. Как говорил он о «Пирамиде», «писал всю жизнь».

Он многое рассказывал по этому поводу, надо было бы записывать, но раньше я не придавал этому значения, поэтому многое забыл, но то, что «Evgenia Ivanovna» была как бы разрядкой, прыжком в сторону, чтобы отдохнуть, оглянуться на сделанное, он говорил часто. Эту повесть и нельзя поставить в ряд его крупных произведений, что вот она стоит между этим и этим. Просто прыжок в сторону; у немцев есть такое понятие «Seiten Sprung», то есть отпрыгнул в сторону и сделал что-нибудь другое.

Можно сказать, что на моих глазах происходили и трагедии его жизни. Не в прямом смысле, а косвенно. Я был знаком с его женой Татьяной Михайловной — когда мы приглашались к Леоновым на обед, она всегда за столом тактично держалась «на втором плане», и только если ей хотелось о чем-то меня спросить, говорила: «А вот можно...» Меня это всегда трогало и чуть смешило, потому что Леонид Максимович серьезно отвечал: «Можно». Когда ее не стало, это в какой-то мере сказалось и на наших отношениях, ну, не прямо, конечно. Просто у Леонова изменился общий тонус жизни. Если живешь с человеком рядом десятки лет, то потом, когда он умирает, многое ломается в собственной душе. Поэтому, наверное, Грин часто кончает свои рассказы: «Они умерли в один день». Это мечта: «Они жили счастливо и умерли в один день». По-моему, так кончается его рассказ «Пятьдесят верст по реке»...

Несколько раз Леонид Максимович ездил к знаменитой прорицательнице Ванге. Он был крупным человеком в Болгарии, возглавлял советское общество дружбы с этой страной, был награжден болгарским орденом Кирилла и Мефодия. Но не все высокие чины, которые тогда охотно ездили в Болгарию, стремились к Ванге. Леонов много слышал о ней еще до пика ее популярности, поэтому, когда он выразил желание с ней встретиться, болгарские власти пошли ему навстречу. Они были по-своему правы, всячески оберегая Вангу от ненужных посетителей, от непрерывных журналистов, любителей сильных ощущений и прочих. Болгары сделали ее, формально, конечно, старшим научным сотрудником какого-то научно-исследовательского института, по-моему, психологии. Она получала там зарплату, имела статут, ее можно было «закрыть», к ней можно было «не пускать» случайных людей. Если бы она оставалась частным лицом, государство не смогло бы так ее охранять. А так она была научным сотрудником специального института, и ее ограждали. Все равно у нее был огромный ежедневный прием, но введенный в разумные рамки. Не думаю, что государство с этого что-то получало в свой карман или как-то ее затирало, специально ориентировало — ни в коем случае! Просто все было разумно организовано.

По рассказам Леонида Максимовича, а он посещал Вангу трижды, она его потрясла. Прежде всего тем, что знала о нем больше, чем он сам. Например, спросила про сестру: «Где Ленча (Лена по-болгарски) твоя?» Он удивился: «Какая Ленча?» Забыл, что в раннем детстве у него была сестра, которая умерла маленькой. И тогда Ванга ему говорит: «Ну что ты врешь, я же вижу, что она рядом с матерью стоит!» И он вспомнил! И рассказывал, что был совершенно сражен этим обстоятельством — Ванга знала, а он забыл.

Он не был дубово-глупым материалистом, каким у нас тогда полагалось быть, поверил Ванге вполне, ее слова убедили его лишний раз, что Ванга не просто какая-то шарлатанка, легенда, созданная досужей молвой. Ведь он приехал к ней, чтобы убедиться, жульничает она или нет, грубо говоря. Хотел посмотреть — что же это такое? Одни говорят вздох, другие, пятые-десятые... Ему, как писателю, было даже просто интересно посмотреть на эту чудо-женщину, о которой столько говорили и писали. И она его убила своими словами о сестре — это даже не предвидение, не провидение, это что-то необъяснимое. Ну откуда ей было знать, что у него в детстве была сестра, которая умерла совсем маленькой и которую звали Лена?

По поводу скончавшейся жены Ванга ему сказала: «Она недовольна, что ты убрал цветок. Поставь его на место». Откуда ей было знать, что Леонов убрал с подоконника постоянно красовавшийся там большой цветок? Конечно, ей могли рассказать о советском писателе Леониде Леонове, сообщить какие-то подробности его биографии, но не могла же она знать то, что он сам забыл? И как только Леонов вернулся домой, он поставил цветок на место.

Все это произошло за несколько лет до его смерти. Он еще видел, но уже с трудом. В последние годы жаловался, что писать сам не может, приходится диктовать, ему это очень трудно, ведь он даже машинкой пишущей никогда не пользовался, все писал от руки. Считал, что машинка — это механическое творчество, неживое, а диктуя, он не чувствует материала.

Без возможности писать, что главное для меня, часто повторял Леонов, приходит пустота и бесцельность жизни, и это ее укорачивает...

Сложное было время, и можно понять Леонова с его стремлением к одиночеству и нежеланием иметь друзей в писательских кругах. Как-то я сказал одному человеку, который возмущался, что его подвели почти под арест или по крайней мере под увольнение какие-то приятели. Я спросил: зачем же он треплется? Как же так, ответил он мне, я же говорю только ближайшим приятелям! А что такое предатель? — парирую я. Предатель — это приятель. Врага вы знаете, опасаетесь его, потому что он должен вам вредить. А предателем, обратите внимание, может быть только близкий вам человек. Враг действует по законам врага. Предатель только тот, кому вы доверились, то есть приятель.

Если бы Леонов откровенничал и прятельствовал со своими друзьями по перу, не сомневаюсь, что его посадили бы. Но он не откровенничал, и это его спасло. Спасло его и заступничество Горького, который его как бы «благословил» в молодости, на Капри. Леонов рассказывал об этом скупое и отрывисто, потому что Горький его хвалил, и передавать эти похвалы другому человеку Леонову было неудобно. Поэтому рассказывал он о своих поездках в Сорренто фрагментарно и неэмоционально. Но Горький заметил его сразу, по первым произведениям, выделил среди всей молодой писательской поросли. Тогда ведь много народа хлынуло в литературу, но только о Леонове Горький сказал Сталину: «Имейте в виду, Иосиф Виссарионович, Леонов имеет право говорить от имени русской литературы...»

Невооруженным глазом видно, что у Леонова была очень сложная жизнь. Не зря незадолго перед смертью он сказал, что ему о жизни известно все: смерть — это уже кульминация человеческого познания, когда известно все и остается последнее, таинственное...

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ



ПОСЛЕ КЛИНТОНА

Разговоры о «наследии», которое достанется Америке после ухода Билла Клинтона, начались задолго до конца его второго срока, и похоже, что он же сам и был инициатором этих разговоров. Никогда еще в американской истории вопрос о наследии того или иного президента не возникал столь рано. «Клинтон, пожалуй, более любого другого американского президента одержим тем, какую картину напишет с него грядущее поколение историков», — писал журналист Дэниел Гловер.

Напомним, что Билл Клинтон был избран на пост президента США в ноябре 1992 года, собрав всего 43 процента от общего числа голосов. Главным фактором, определившим тогда победу Клинтона, было участие в выборах третьего кандидата, техасского миллиардера Росса Перо, получившего около 19 процентов голосов, в основном за счет Джорджа Буша-старшего. Поражению Буша в значительной мере способствовали и американские СМИ, постоянно указывавшие на якобы очевидные признаки экономического спада, в ответ на что Клинтон обещал «выправить положение». На самом же деле уже в президентство Буша начался экономический подъем, а вся кампания была лишь предвыборной акцией. Политический обозреватель Джордж Уилл пишет: «Величайшее достижение Клинтона было негативным. Ему досталась растущая экономика, и хотя он проводил президентскую кампанию 1992 года так, как будто страна находилась в рецессии, она кончилась за полтора года до того, как он вселился в Белый дом».

Таким образом, сам приход Клинтона к власти имел некий привкус обмана. Последовавший за этим ряд скандалов, вызванных полузаконными действиями членов его новой администрации, скоропалительными решениями (например, о полной легализации гомосексуалистов в армии или о введении всеобщей системы медицинского страхования, инициатором которой была жена Клинтона Хиллари) настолько снизили популярность президента и демократической партии вообще, что очередные выборы в Конгресс в 1994 году ознаменовались сокрушительной победой республиканцев, впервые за сорок лет захвативших большинство мест как в палате представителей, так и в сенате. Поражение было настолько глубоким, что в тот момент никому не могла бы прийти в голову мысль о каком-либо позитивном наследии. Даже члены ближнего президентского круга, молодые, наглые, энергичные, верившие в своего шефа и его великий потенциал, махнули рукой и готовились тянуть ляжку еще два года, до конца президентского срока, без радости и вдохновения.

Известно, что Клинтон еще со студенческих лет решил посвятить себя политической деятельности и мечтал стать президентом. Несмотря на то, что он происходил из провинциальной семьи с весьма скромным достатком, Клинтон все же смог получить прекрасное образование и очень рано начал восхождение по карьерной лестнице — сначала юридической, затем политической, став самым молодым из американских губернаторов. Заменой большим деньгам,

Ошеров Владимир Михайлович — публицист. Живет в США.

обычно открывающим доступ во властные элиты Америки, были рано проявившиеся природные способности Билла, его честолюбие и упрямство. Все эти качества сочетались у будущего президента с изрядной инфантильностью и недостатком самоконтроля в личных делах, ярко проявившихся еще в период его деятельности в родном Арканзасе. Но до поры до времени ловкость и шнорвка позволяли не только выходить сухим из воды, но с успехом исполнять возложенные на него официальные обязанности, отделять личные дела от общественных, как говорят в Америке — to compartmentalize (то есть раскладывать по отдельным полочкам, по разделам; от слова compartment — отдел, ячейка), что помогало ему сохранять впоследствии доверие значительной части американцев, хотя они ясно видели, что имеют дело с человеком с весьма сомнительными моральными принципами.

Здесь нет нужды вдаваться во все детали скандальных дел, связанных с именем Клинтона. Несомненно одно: Америка никогда еще не была такой богатой и процветающей. Появилось множество новых миллионеров, а прежние стали еще богаче. Снизился уровень безработицы, увеличилось число рабочих мест. Инфляции практически не было. Дефицит бюджета был сведен на нет, и государственная казна наконец стала пополняться реальными деньгами. Даже учитывая спад, ознаменовавший последний клинтоновский год и ускоряющийся в данный момент, у американской экономики сейчас громадный положительный потенциал. С этим никто не спорит.

Другое дело — кого за это благодарить? Клинтон, разумеется, стремится присвоить лавры себе или своим сторонникам. Много хвалят председателя Резервного банка Алана Гринспэна; он вообще стал некой полумистической фигурой, изредка снисходящей до публичных заявлений, весьма двусмысленных и порождающих множество интерпретаций, резко влияющих на курс акций и состояние финансовых рынков. Говорят о значительном повышении производительности труда и эффективности, об улучшении менеджмента, о возросшей роли компьютеров, автоматизации. Еще говорят о consumer confidence, то есть о «потребительской уверенности», о том, что американцы сегодня тратят много, стимулируя таким образом рост производства.

Вполне возможно, именно Клинтон произвел на народ такое позитивное впечатление, что люди стали больше покупать и инвестировать. Что же касается каких-то конкретных, особо изобретательных методов управления экономикой, то назвать их практически невозможно, кроме сокращения государственных расходов и невмешательства в бизнес. Однако в этом Клинтон руководствовался принципами республиканцев, всегда бывших сторонниками минимальной роли государства в хозяйственных делах. Делал он это вопреки сильному сопротивлению собратьев по демократической партии, и здесь ему безусловно следует отдать должное. Но если бы в Белом доме был республиканец, результат был бы тот же.

Известно, что для роста экономики, помимо потребительского спроса, необходим неослабный поток инвестиций, который зависит и от состояния биржи, и от перспектив научного и технического прогресса. В американских СМИ крайне редко упоминается о весьма значительном прямом инвестировании в экономику США, идущем из-за рубежа — из Европы и Японии, вызванном низким уровнем налогов по сравнению с другими индустриальными странами. А ведь низкие налоги — опять-таки заслуга Рональда Рейгана и республиканцев, а отнюдь не Клинтона. Если он что-то здесь и совершил, так только в обратном направлении, в сторону увеличения налогов.

И уж совсем ничего не говорится в СМИ о сотнях миллиардов долларов, поступающих из России, Алжира, Нигерии и других вовсе не благополучных стран, почему-то помогающих Америке, а не самим себе. Не в этих ли инвестициях отчасти секрет чудесного взлета американской экономики в 1990-е годы?

Известный телевизионный обозреватель Тед Коппел заметил недавно, что президентство Клинтона было похоже на выступление иллюзиониста — на-

столько не ясно было, что же происходит на самом деле. А пока это выяснялось, пока проходили долгие месяцы всевозможных расследований, как журналистских, так и судебных, ситуация уже существенно менялась. Вторя Коппелу, Джордж Уилл пишет, что президентство Клинтона можно уподобить человеку, «идущему по заснеженному полю и не оставляющему за собой следов».

Эта любопытная особенность может объяснить многое в клинтоновской Америке. Иллюзионизм Клинтона — только малая доля общего иллюзионизма телевизионно-виртуальной цивилизации. Например, качество товаров, прежде чем его можно по-настоящему оценить, уже утверждено рекламой: чем она ярче, изобретательнее и назойливее, тем выше спрос. Кассовый успех фильма определяется уже не его качеством, а числом миллионов долларов, отпущенных на рекламу. Нет денег на рекламу — никто ваше кино смотреть не будет, будь оно хоть трижды гениальным. То же самое — с избирательными кампаниями. Репутация уже не зарабатывается — ее создают имиджмейкеры, технологи.

С экономикой происходит нечто схожее: когда состояние экономики определяется настроениями потребителей и инвесторов, то никаких денег, никаких мер не пожалеешь ради формирования этих настроений. По радио, по телевизору с утра до вечера безостановочно говорят и говорят всевозможные эксперты, аналитики, политологи и т. д. У большинства цель одна: не сказав ничего определенного, не испортить при этом настроение обывателю, чтобы он, не дай Бог, не сократил свои расходы. Таким цирковым номером занимается многочисленная армия специалистов высшей квалификации — от университетских профессоров до вышеупомянутого председателя федерального Резервного банка Гринспэна. Разумеется, не Клинтон придумал все это, но при нем иллюзионизм достиг новых вершин.

В позорные для Америки дни «дела Моники» все опросы общественного мнения показывали неослабеваемую поддержку Клинтона со стороны большинства американцев, желавших, чтобы он оставался на посту президента. Страницы газет и журналов пестрели самыми издевательскими карикатурами на Клинтона, он стал посмешищем телевизионных комедийных шоуменов, переплюнув по количеству анекдотов о нем даже Рейгана, бывшего до этого чемпионом. Но на публику не действовало ничто. Порой это походило на какое-то волшебство.

В «Нью-Йорк таймс» регулярно печатается Морин Доуд, журналистка радикального толка. Она, конечно, сторонница демократов и не упускает ни малейшей возможности поиздеваться над республиканцами и консерваторами вообще. Но репутация «enfant terrible» для нее дороже всего. Доуд писала в марте 1998 года в статье под названием «Сочувствие к дьяволу»: «Избиратели просто закрыли глаза и заключили свой пакт с дьяволом: обеспечивай нам процветание, а мы не будем требовать с тебя соблюдения никаких моральных норм». Она сравнивала Клинтона то с Мефистофелем, то с Фаустом, то с Дорианом Греем.

«Самый большой эффект, произведенный Клинтон, — пишет Дж. Уилл, — касается его партии. Он поставил ее на службу комфортабельно устроенному среднему классу, жаждущему еще большего комфорта». Дело еще в том, что Клинтон сумел не только угодить богатым, но и не спугнуть при этом тех, кто считает себя обездоленными. Чтобы понять динамику политической жизни в США, важно сознавать, что главным водоразделом в идеологии, несмотря на очевидное торжество «рыночной демократии», по-прежнему остается отношение к вопросу социального неравенства. Не важно, как американские политики сами себя или друг друга называют: «либералы», «консерваторы», «рыночники», «социалисты», республиканцы, демократы и т. д. Для одних Америка — страна неограниченных возможностей, где любой может стать богатым и знаменитым. Для других — это страна вопиющих несправедливостей, страна, делящаяся на богатых и бедных, имущих и неимущих, *haves and have nots*. Большинство политиков демократической партии, в том числе и прагматик Билл Клинтон, не только верят в то, что перераспреде-

ние богатства — долг государства, но и умело оперируют в своей политической борьбе, своей риторике приемами определенно социалистического толка.

Как пишет в еженедельнике «Тайм» Лэнс Морроу, в Америке этот водораздел еще можно условно выразить как спор между идейными последователями француза Алексиса де Токвиля и итальянца Антонио Грамши. Токвиль, посетивший США в 1831 — 1932 годах, утверждал, что уникальность и преимущество Америки — в ее приверженности религии. Грамши, как известно, был марксистом, обогатившим «всесильное» учение рассуждениями о правах расовых меньшинств, женщин и даже «преступников», которых он всех считал потенциальными союзниками пролетариата в борьбе за власть (не отсюда ли Сталин заимствовал свою идею об уголовниках как «социально близких»?). Последователи Грамши любят пользоваться понятиями классовой борьбы, противостояния привилегированных и обездоленных, то есть именно той демагогией, к которой прибегал Билл Клинтон и демократы вообще, хотя число миллионеров среди них мало уступает республиканским показателям.

Но демагогия действует безотказно, и именно поэтому в Америке наблюдается такой социальный раскол, такая неутрачиваемая ненависть негров к белым, такая обида и жажда если не мести, то — компенсации в баснословных размерах. Клинтон очень умело играл на этих чувствах, раздувал их, ничего по существу не сделав, чтобы исправить положение, да и вряд ли собирался что-либо делать, потому что негры уже давно пользуются многими привилегиями и даже, как показывают последние статистические данные, по среднему уровню заработков превосходят белых. Но это не помешало им считать Клинтона «первым черным президентом» США, не помешало им поддержать А. Гора и провести кампанию протеста по поводу «ущемления их избирательных прав» во Флориде. Они так и не признали Джорджа Буша законным президентом Америки.

Но Клинтон не только сыграл на человеческих слабостях, он и сам стал жертвой постоянно растущих appetитов среднего класса. Он пришел к власти на волне чрезвычайной озабоченности американцев своим материальным благополучием, удержался там только потому, что успехи экономики были приписываемы ему лично, а когда в момент его ухода выяснилось, что начинается спад, то вину за это тоже возложили на него.

Снова Джордж Уилл: «Американцы очень быстро научились воспринимать удовольствия как нечто положенное им по праву, а когда бурная экономическая экспансия наталкивается на препятствия, они кажутся не просто оглушенными, но оскорбленными... И крики ужаса у многих инвесторов — это то, как звучит „мягкая посадка“ экономики у избалованного народа, который превращается в хныкающего младенца западного мира».

Исподволь копившееся недовольство было еще подстегнуто президентским помилованием некоего Марка Рича, миллиардера, осужденного в США 18 лет назад за злостную неуплату налогов в сумме нескольких десятков миллионов долларов и нашего убежище в Швейцарии. Клинтон даровал ему помилование, не проконсультировавшись ни с кем в Департаменте юстиции, как это положено по традиции, и проигнорировав тот факт, что Рич не только не выказал никакого раскаяния, но, судя по данным Департамента, продолжает и в Европе заниматься теми же махинациями, что и когда-то у себя на родине. Это решение сразу же связали с тем, что бывшая жена Рича, проживающая в США, входит в число самых щедрых жертвователей в пользу супруги Клинтона — Хиллари. Вслед за этим почти сразу же выяснилось, что среди других «помилованных» неуместно высок процент весьма состоятельных людей, за которых хлопотали влиятельные друзья Клинтона и даже родственники (брат Хиллари, Хью Родэм), и хлопотали, судя по всему, не бескорыстно. Другими словами, деньги и связи были решающим, если не единственным фактором. Даже сторонники и поклонники Клинтона (как, например, некоторые конгрессмены-негры) были ошеломлены тем, что прощения удостоились богачи (забавно, что Rich и значит «богатый»), в то время как именно демократами постоянно поднимается тема бесправия томлящихся в тюрьмах бедняков,

пренебрежения к их участи. Попутно выяснилось, что лоббированием в пользу помилования Рича активно занималось правительство Израиля и влиятельные еврейские организации в США. Учитывая всю сложность позиции США на Ближнем Востоке, скандал приобрел размеры международного.

И как по команде, многие бывшие из сторонников и сотрудников Клинтона стали выступать с всевозможными критическими «воспоминаниями» и комментариями об ушедшем президенте. Что же произошло? Почему раньше и публика, и политические союзники готовы были прощать Клинтону все его проделки и ошибки?

«Уолл-стрит джорнэл» дает следующее объяснение: «Изменилось не то, что Клинтон наконец совершил ошибку; просто он наконец-то не у власти. Его бывшие сикофанты неожиданно говорят правду, потому что им уже не нужно говорить ее в лицо власти». Пегги Нунэн, известная публицистка, писала: «Никогда еще репутация уходящего президента не была так мгновенно сломлена и раздавлена. Мы все знаем хорошо разрекламированные причины этого, но удивительно тем не менее видеть финальное бегство его друзей, некогда уважавших его представителей медиа и тех, кто любил фотографироваться вместе с ним на мероприятиях по сбору денег».

Когда Клинтону угрожал импичмент, американские левые, социалисты, феминистки, либералы встали горой на его защиту — лишь бы не дать победу консерваторам. И вот теперь у них тоже раскрылись глаза. Кристофер Хитченс, журналист ультралевого толка, пишет: «Он обошел стороной своих же собственных руководителей армии и разведки для того, чтобы осуществить скандально надуманную бомбежку Хартума в угоду своему придворному календарю. Он лгал самым откровенным и вульгарным образом своему кабинету, Конгрессу, судам и Большому жюри». И прочая, и прочая... Напрашивается вопрос: а где же вы были, когда это происходило?

Но Клинтону особенно не пристало жаловаться. Его завидная способность жертвовать не только принципами или идеями, но и людьми была подмечена уже давно. Упомянутая выше Морин Доуд фантазировала о «мефистофельском сценарии»: «Это могло бы объяснить чрезвычайный уровень человеческих жертв вокруг Билла Клинтона — почему столько людей из его окружения оказываются мертвыми, заключенными в тюрьму, в кандалах, в изгнании, под следствием, в депрессии, в унижении, разоренными и оклеветанными». Путь Клинтона усеян следами его прагматических предательств — по знакомому нам из рассказов О. Генри выражению: «Боливар не вынесет двоих!»

Из всего наследия Клинтона, пожалуй, самой неудачной сферой оказалась внешняя политика. Он никогда не был большим специалистом в этой области, но включился в международные дела со свойственной ему энергией. Последние годы на посту президента он постоянно разъезжал по всему миру, явно получая удовольствие от шумихи, окружающей подобные мероприятия. Но внешнеполитические успехи Клинтона, раздувавшиеся американскими СМИ, оказались очередной иллюзией. Конфликт между Израилем и арабским миром только усугубился, мир в Северной Ирландии так по-настоящему и не восстановлен, Африка остается зоной непрекращающегося кровопролития. Иллюзией обернулась сама идея о том, что конфликты возможно решить путем кулуарных сделок, от которых «всем будет хорошо», так называемых «win-win situations». На самом деле в любой ситуации будут выигравшие и проигравшие, и для того, чтобы уладить многолетние, а то и многовековые конфликты, нужен не расчет на материальные выгоды, а прежде всего решимость враждующих сторон во имя мира по-настоящему жертвовать, смиряться, прощать. И силовые методы тут тоже не помогают.

Вообще при Клинтоне отношения Америки с окружающим миром, в частности с Европой, заметно осложнились. Они никогда не были простыми, во многом двусмысленными, но наличие общего врага — СССР — приглушало противоречия. Сейчас этот фактор улетучился. Зато претензии на гегемонию, никогда не нравившиеся никому, стали вызывать открытое осуждение, осо-

бенно из-за некомпетентности людей, определявших внешнюю политику США в клинтоновский период. Европейцы всегда с благодарностью принимали американскую защиту и помощь, но когда защищаться стало не от кого, а высокомерное желание учить других осталось прежним, положение заметно изменилось. Признаков растущей оппозиции много.

Это и постоянно возникающие конфликты в сфере торговли между Америкой и Европой, и шаги к формированию независимых от США и НАТО европейских военных формирований, и настороженность в отношении американских планов создания системы противоракетной обороны, и недовольство таких стран, как Италия и Греция, действиями НАТО в Косове. Определенная оппозиция косовской авантюре наблюдалась, пусть и не на официальном уровне, в Англии, Германии, Бельгии и даже Венгрии и Чехии, не говоря уже о России, Украине, Болгарии и Румынии. Антиамериканизм Франции, политический и культурный, был и остается постоянным фактором во всех атлантических делах. Политика Клинтона только усугубила его.

Одним из симптомов растущего антиамериканизма явился и скандал по поводу применения обедненного урана. Все это — тоже наследие Клинтона, с которым придется разбираться новой администрации. Заявление нового государственного секретаря США Колина Пауэлла о том, что американцы пока не собираются уходить из Косова, — прямая иллюстрация того, что американцы уже не диктуют, как при Клинтоне, а прислушиваются к своим европейским союзникам. Кашу в Косове заварил США, и европейцы не собираются ее расхлебывать.

О нереальности претензий США на единоличное мировое лидерство уже давно предупреждали многие, прежде всего гарвардский профессор Сэмюэл Хантингтон. Эти предупреждения были совершенно проигнорированы, но сейчас они оправдываются с поразительной точностью, особенно если сравнить положение семи-восемилетней давности, когда Хантингтон впервые обнаружил свои прогнозы, с тем, что сложилось в результате международных действий США при Клинтоне.

Помимо всего прочего, активистская внешняя политика клинтоновской администрации, при всей ее назойливости, принесла не так уж много плодов в смысле «улучшения ситуации с правами человека», то есть именно того, что так убежденно проповедовалось. «Пропаганда социальной и культурной глобализации — американского пути экспрессивного индивидуализма, поп-культуры и дисфункциональной семьи — породила неприязнь и сопротивление в широком спектре стран на Ближнем Востоке, Южной Азии и Восточной Азии», — пишет политолог Джемс Курт.

Да, к России относятся настороженно, уже не надеются на дружбу, а только лишь на взаимопонимание и сотрудничество в вопросах, по которым может существовать близость позиций. Другими словами — на корректные, цивилизованные отношения. Понимают, что у России, у ее народов, свои законные интересы, не всегда совпадающие с интересами США, с американскими понятиями о том, что хорошо, а что — плохо.

Касаясь перспектив на будущее, Хантингтон в интервью газете «Бангкок пост» от 28 января 2001 года сказал: «Европейский союз и Китай будут ведущими актерами. В урочный час Россия тоже встанет на ноги, и Индия может проявить себя в качестве влиятельного участника. Долгосрочная тенденция — определенно в сторону большего равенства среди главных держав и меньшего доминирования США, чья сравнительная мощь будет размываться. У США уже нет воли руководить всем миром, а у всего мира будет все меньше и меньше желания терпеть попытки США это делать». И даже соглашаясь с тем, что двадцатый век был «американским», сомнительно, что таковым будет век двадцать первый. Билл Клинтон не только не продлил период величия Америки, но, похоже, сократил его. Вот такое наследие.

Нью-Йорк.

ПОЛЕМИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ

*

КРАСОТА ДЬЯВОЛА

*По поводу литературных очерков Владимира Бондаренко**

Поверх барьеров. Это всегда привлекает. Со времени Розанова Василия Васильевича это — привлекает. Разбить все яйца, левые, правые, монархические, большевистские, истинно народные, подлинно аристократические — чтобы яичница зашкворчала. Встать над схваткой, взглянуть поверх барьеров — чтобы увидеть не демаркационные линии, но — общие корни... или общую крону. Увидеть не то, что разъединяет, допустим, Валентина Распутина и Венедикта Ерофеева, но то, что их объединяет. Прекрасно! Что может быть лучше? Одно только смущает — почва, в которую вырастают корни «объединения»; небо, под которым «объединение» имеет место быть, совершаться. Почва? Почва тридцать седьмого... Ангелов в этом небе — ни одного! Как было сказано у Михаила Гефтера в лучшем его тексте на схожую тему: «Уступить бы рады, но что и ради чего? Согласиться всем нам, чего бы лучше, — но на чем?»

Эпиграфы на выбор.

«Я пью за военные астры, / За все, чем корили меня...» (Осип Мандельштам).

«Я поднял тост за Сталина как создателя репрессивного механизма, благодаря которому я состоялся как писатель» (Владимир Сорокин).

«Коитус лени и стали! Ласковый мой мезозой! / Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой. / Сменою беглому маю что-то клубится вдали. / Все, узнаю, принимаю, истосковался. Пали!» (Дм. Быков, «Тоталитарное лето»).

«„Ну, с полем тебя, Егорыч“. — „С полем, с полем, Сережа”» (Владимир Сорокин, «Открытие сезона»).

Обложка. На черном фоне — фрагмент из «Герники» Пикассо. Бычья морда над орущим от ужаса человеческим обрубок. Белыми буквами по черному над красным: «Время Красного Быка. (Еще одна загадка 1937 года)». Загадка — очень простая. В этот год родилось много талантливых людей, в особенности — писателей. В этот год было создано много замечательных произведений искусства, что окрыляет надеждой автора книги про «детей 37-го года». Ведь «Гернику» Пикассо нарисовал тоже в 1937 году. Поместив на обложку фрагмент этой картины, Бондаренко тем самым предложил притчу, каковую хочется передать в слове. Картина, как известно, посвящена уничтожению немецкой авиацией древней столицы басков — Герники. Так вот, к Пикассо однажды явились немецкие офицеры и, ткнув в картину стеками, пальцами, уж не знаю чем, с возмущением спросили: «Это вы сделали?» Маэстро поклонился и вежливо отвечал: «Нет. Это вы сделали!» Согласитесь, что эта история

Елисеев Никита Львович (род. в 1959) — литературный критик и эссеист, историк. Постоянный автор и лауреат премии «Нового мира».

* Бондаренко Владимир. Время Красного Быка. (Еще одна загадка 1937 года.) М., «Палей», 2000.

как-то очень «ложится» на мистико-пассионарный пафос первооткрывателя загадки (еще одной) 37-го года. Ведь если бы не налет германской авиации на Гернику — Пикассо ни за что бы не создал свою «Гернику»!

Памятник 37-му. С первых строк книги про четырнадцать писателей, родившихся в 1937—1938-м, что-то знакомое ударило в душу, — нет, не то чтобы прежде читанное, буквально читанное, — какое-то иное дежа вю на ином, знаете ли, уровне. Еще только преамбула, еще и к эссе своим о Маканине-Распутине-Ахмадулиной-Битове-Вампилове-Шпаликове-Аверинцеве-Высоцком-Ковале-Проханове-Бородине-Петрушевской-Шкляревском-Венедикте Ерофееве не приступил Бондаренко, а уже кое-что вспомнилось.

«Годы массовых репрессий, расстрелов — для одних очевидцев. Пушкинское время, когда печальный юбилей — столетие со дня гибели русского гения — отмечали как важнейшее событие в жизни каждого гражданина. (Сегодня праздник — Пушкин умер! — так, что ли? — *Н. Е.*) И именно после 1937 года Александр Сергеевич Пушкин стал по-настоящему народным поэтом в России... Памятником 1937 года навсегда останется знаменитый академический шеститомник, полное собрание сочинений великого поэта». Я не о том, что в первых же строчках своей амбивалентной апологии 1937 года Владимир Бондаренко, пардон, ошибся... Что шеститомник Пушкина — памятник не тридцать седьмому, а тридцать шестому. Ибо вышел этот шеститомник в 1936 году в издательстве «Academia». В 1937-м же началось новое издание Собрания сочинений. В 1949 году работа была окончена. Вышел последний, шестнадцатый том Полного собрания сочинений Пушкина... Но, повторю, я не об этом. Стиль у Вл. Бондаренко — пафосный, экстатический. Ошибся в мелочи, в детали. Если бы не ошибся, если бы уточнил все обстоятельства издания Пушкина в годы свирепых репрессий и кровавой войны, то это бы только сработало на его концепцию. Не просто 1937 год, но весь сталинский период уложился бы в академического Пушкина — с 1937-го по 1949-й! От годовщины гибели поэта до юбилея вождя! Шестнадцать томов Полного собрания сочинений поэта — памятник этому времени. А? Ну хоть еще один эпиграф подбирай: «Бежит и слышит за собой — / Как будто грома грохотанье — / Тяжело-звонкое скаканье / По потрясенной мостовой».

И даже не о том я, что рассуждения Бондаренко напоминают такие, к примеру, гипотетические рассуждения какого-нибудь гипотетического немца: «Для одних очевидцев предвоенные годы Рейха — это время „хрустальной ночи“, бессудных арестов, погромов, костров из книг, подготовки к агрессии, а для других — время Олимпиады, убедительных побед немецких спортсменов на самом представительном международном соревновании, когда спорт — действительно — вошел в каждую немецкую семью». Это дешевое западническое зубоскальство пришло на ум позже, уже после того, как очертилось мое дежа вю. Перед моим мысленным взором нарисовалась картинка под названием «Памятник 37-му году», соединились, так сказать, видеоряды одних и других «очевидцев». Стало быть, бескрайнее снежное поле, концлагеря, проволока-колючка, расстрельные подвалы — и над всем этим имперским державным великолепием — великолепие культурное: шеститомник или там шестнадцатитомник Александра Пушкина!

Появление Владимира Сорокина. Эта картинка мне сразу и подсказала, где искать причину дежа вю, где я такой оксюморон (такое сочетание убийств и изящных искусств) уже наблюдал воочию. «Годы массовых репрессий, расстрелов... Интересно читать газеты этого года. Там видишь еще один лик времени. Индустриальный. Лик великих строек. Энергия молодых тоже определяла это время». Несколько напоминает стиль лекций по истории советского общества во времена моей юности: конечно, были отдельные ошибки и... репрессалии, но — лик великих строек! но — энтузиазм молодежи! Однако

только несколько напоминает. Все-таки через запятую расстрелы с очень интересными газетами никто не ставил. Нет, здесь позабавнее переключка, поострей. «Интересные газеты» 37-го года — вот настоящий «пуант», «момент истины» во всем этом удивительном панегирике. Ничего фальшивее и скучнее советских газет и фильмов 37-го я не видывал... Но это — я... Со своими убогими, приближительными представлениями об искусстве. Вы лучше других людей послушайте: «Шестидесятники воспринимают искусство тоталитарного периода как некую черную дыру в истории мировой культуры. Но так не бывает... Сталинские фильмы... на мой взгляд, являются вершиной советского кинематографа. Для меня важно, чтобы явление было цельным, чтобы его структура была монолитной, чтобы не было лакун. Я предпочитаю „Кубанских казаков” Тарковскому, у которого я вижу лакуны, а „Кубанские казаки” — совершенное произведение». Узнаёте? Владимир Сорокин! Бывают странные сближения, но они вовсе не странны, если вчитаться в текст Вл. Бондаренко. Это — настоящий постмодернистский текст. Текст такого же наследника соцреализма в его декадентском, бесчеловечном изводе, каковым наследником является и сам Вл. Сорокин. Главный сюжетный ход книги Бондаренко, ее «мистическая» подоплека — в полной мере сорокинские. «...неосуществленная энергия погибших, того же Николая Клюева, Павла Васильева, Осипа Мандельштама, передалась детям 1937 года». Стреляют, стреляют, в тюрьмы сажают, на работу под конвоем гонят — рядом возрастает великая литература. Чем не сюжет для романа Сорокина? «Я получаю колоссальное удовольствие, играя с различными стилями... слова как глина. Я физически чувствую, как леплю текст. ...Когда мне говорят — как можно так издеваться над людьми, я отвечаю: „Это не люди, это просто буквы на бумаге”». Эти слова Владимира Георгиевича Сорокина я бы поставил (опять-таки) эпиграфом ко всей книжке Владимира Григорьевича Бондаренко. Даже не эпиграф — мотто, надпись над входом: «Lasciat ogni speranza». Добро пожаловать, так сказать, или Посторонним вход воспрещен. Не ищите логики, ибо вы ее не обрящете.

В начале книги о 37-м годе сообщается: «Многие уцелевшие дворяне... вздохнули с облегчением, по крайней мере не они одни уже стали бояться ночных звонков, скорее наоборот». Надо полагать — ночные звонки стали бояться уцелевших дворян. Ну, не будем снова придирааться... Очевидно, автор книги скорбит о репрессиях против дворян и приветствует то обстоятельство, что в тридцать седьмом году начали брать не одних только дворян, а и всех остальных тоже. Это не может не радовать. Это, несомненно, явилось серьезным основанием для создания новой исторической общности — советского народа. Но это в начале книги — скорбь о дворянстве, а в середине, в очерке о Валентине Распутине, — там другое, там — берегись, «офранцузившееся дворянство» вместе с «картаво говорящими комиссарами», истинно народного гнева: «И тогда, как в семнадцатом году, не от троцкистских листовок, а от мужицкого взорванного долготерпенья полетят в Бангкоки и бананово-лимонные Гватемалы все новые псевдоимперские аномалии». И останутся тогда мужики-долготерпеливцы на комариной плещи, что и случалось уже не раз, заметим... Как же так? В начале книги — восторг по поводу 1937-го как года пусть и жестокой, но постреволюционной стабилизации, а в середине книжки — не меньший восторг по поводу революционного взрыва? Да еще какой восторг! Молчание, мол, народа взорвется «пулеметной яростью, безжалостным огнем напалма, цветными радугами бомбовых разрывов». Как-то не по себе становится. Хочется подвинуть очки по переносице поближе к глазам и уточнить объект бомбометания. Извините, кого на этот раз будем напалмом? Выборочно? Или, как в тридцать седьмом, всех подряд?

Нет — этот вопрос задавать не будем. Зададим другой: как же так? В начале книги, в преамбуле, если можно так выразиться, с таким задыхом искренности — «яркие, звонкие стихи Михаила Кульчицкого, Павла Когана», а в середине текста презрительное — «картаво говорящие комиссары». То есть если человек любит ифлийскую поэзию, то как-то антисемитизм глядится у него —

странно. Как же он, высоко ценящий такие строчки (яркие и звонкие): «Только советская нация будет / и только советской расы люди», — может позволить себе быть антисемитом?

А в эссе об Андрее Битове — такой гимн пропет космополитической империи! Ничего страшного — не волнуйтесь, в эссе о Валентине Распутине — грозим новым и старым имперским образованиям истинно русским бунтом.

Анафема шестидесятникам за то, что «при коммунизме они наверху — в элите, при антикоммунизме все там же, в тех же салонах». Про Распутина вроде бы еще хлеще: «Его — наперекор ему — втаскивали во все имперские затеи, к пятидесятилетию присваивали звание Героя Социалистического Труда... Его делала системным Советская власть: лауреатом абсолютно всех премий, Героем, Секретарем и пр.; его делала системным антисоветская власть: он сидел на совещаниях у Лужкова, был членом Президентского совета у Горбачева». Не поздоровится от этаких похвал. Но тут же выясняется: Вл. Бондаренко забыл свою ругань по адресу шестидесятников. Мол, при коммунизме — наверху, при антикоммунизме — там же! Ему и помнить не обязательно. Это же «просто буквы на бумаге». Зато пусть кто-нибудь вообразит следующую картинку (Распутину посвященную): «Он ускользал от системности, шел дальше распутинской звериной поступью... как древний тунгус, он останавливался иногда посреди Москвы и пел свою родовую песню». Дальше лучше: «То ли это был медведь, недобитый Черномырдиным, то ли уссурийский тигр (не подстреленный Наздратенко. — *Н. Е.*), то ли гордый волк, собирающий сородичей». Мощный образ — Юрий Лужков нагибается к своему заместителю: прости, мол, дорогой, а кто это у меня в шубе сидит? А тот ему тем же шепотом: «Это — не в шубе. Это — медведь, недобитый Виктор Степанычем». Образность не имеет никакого отношения к реальному жизненному опыту кого угодно, хоть Бондаренко, хоть любого другого человека. Юрий Карачивевский, вспомнив лихие стихи Маяковского: «Сегодня надо кастетом кроиться у мира в черепе...» — и еще: «А нам предложи на старье меняться, родного отца обольем керосином и пустим в улицы для иллюминаций» (так, кажется?), задал вопрос: «А он вообще видел то, о чем писал? Например, кастет, раскраивающий череп, или родного отца, объятые пламенем?» У Вл. Бондаренко — та же проблема «невидения мира, о котором пишешь». Можно еще и такую метафору сотворить: «Но как тунгусский метеорит, Валентин Распутин врезался в любую системность, советскую ли, антисоветскую, да так врезался, что дубы и пихты официоза рушились, вырванные с корнем, объятые пламенем до самых до вершин». Смысла в этой метафоре будет ровно столько же, сколько в «медведе, недобитом Виктор Степанычем, сидящем на совещании у Юрий Михалыча». Текст, слепленный, как из глины, из просто слов, просто букв и звуков. Дыр-бул-шил. Убещур.

Трах-та-ра-рах. Сама концепция 1937 года как года плодovitого и плодотворного (одного расстреляли, зато десять родилось!) выросла у Владимира Бондаренко из звуков и слов. Психологические и мистические объяснения пришли потом. «...те, кто жил под ежедневной угрозой ареста, жили в трагическом эмоциональном напряжении. Отсюда этот мистический период рождения за короткий период 1937 — 38 годов практически всех лучших писателей России, поколения, целой эпохи. Чуть раньше Николай Рубцов, чуть позже Анатолий Ким и Владимир Личутин, а от Распутина до Высоцкого — все остальные попали в красное „яблочко“ 1937 — 38 года». Ну чем не тема для Владимира Сорокина? Вообразите себе картинку волнующего процесса роста рождаемости в 1937 — 1938 годах по Бондаренко. Значит, так: соседи чекисты хватают (ночами), увозят на расстрел, в концлагерь, в пыточный подвал, а оставшиеся неарестованными, закрывшись на все крючки и запоры, вспотев от «трагического эмоционального напряжения» — трахаются, трахаются, трахаются — печатают новые талантливые кадры! Духо(чтобы не сказать точнее) подъемная картинка. И какой гениальный совет не только политикам России,

но и Швеции, Нидерландов, Германии — у них там тоже с рождаемостью неважно. Запретите-ка, друзья, аборт и несколько миллионов — трах-та-ра-рах, — зато оставшиеся восполнят недостачу сторицей! Слышите, откуда родилась эта гениальная концепция? Ну конечно! Конечно! Однозвучность звукоподражания «трах-та-ра-рах» эвфемизму «трахать, трахаться» помогла Владимиру Бондаренко открыть еще одну тайну 37-го! Понимаете, когда одних трахают по зубам кулаком или пулей в затылок, другие (получив заряд энергии от трахнутых кулаком или пулей) трахаются сами.

Объяснение эпиграфа. С сожалением вынужден констатировать, что сюжетобразующая мысль книги Владимира Бондаренко — благодаря репрессиям образовалась великая литература — выражена Владимиром Сорокиным лаконичнее и точнее, конденсированнее и честнее, и я с удовольствием еще раз процитирую знаменитого постмодерниста: «Я поднял тост за Сталина как создателя репрессивного механизма, благодаря которому я состоялся как писатель». Цинизм в этом высказывании — откровенен и потому беззащитен и невинен. Сформулировавший эту максиму писатель оставляет открытыми фланги (как сказал, если не ошибаюсь, Вадим Кожинов по другому, разумеется, поводу). Любой может взять писателя за грудки, сильно встряхнуть и нежно поинтересоваться: «Это что же получается, а? Это, выходит, Осип Мандельштам для того загибался от дистрофии в лагере, чтобы ты... одарил меня шедевром про то, как мой однофамилец сожрал какашки своего нежно любимого учителя?» Писатель в ответ пожмет плечами: «Не нравится — не ешьте, то есть, тьфу, — не читайте!» Цинизм Владимира Бондаренко — прикровенен, он и сам не понимает, что это — цинизм. Он ведь не о своем творчестве говорит, что вот, мол, не будь 37-го, не было бы моих пламенных бунтарских статей. Нет! Он ставит проблему! Проблему преемственности поколений. Битов — хороший писатель? Хороший! Когда родился? В 37-м. А? А! Это его «сбрызнула» кровь Мандельштама, Клюева, Клычкова, да что там Клюев-Мандельштам-Клычков — возьмите любой мартиролог (благо почти в каждой области издаются расстрельные списки стараниями местных отделений «Мемориала») и поглядите, кровь скольких людей «сбрызнула» Битова-Петрушевскую-Ахмадулину-Маканина-Шпаликова-Ерофеева-Вампилова-Коваля-Распутина-Высоцкого-Аверинцева-Шкляревского-Проханова... Понимаете, в чем великолепный «сорокинский» фокус такого цинизма? Когда сам писатель говорит о себе, что его великое творчество выросло на основе репрессивного механизма, созданного товарищем Сталиным, то он свою щеку подставляет — без не хочу. А когда он вместо себя другого писателя выпихивает, мол, если бы не террор 37-го года, не было бы у нас великих книг «Дерево в центре Кабула» или там «Чеченский блюз», то получается, что ответственность за связь своего творчества с мудрой демографической политикой товарища Сталина несет лично товарищ Проханов. Причем товарищу Проханову нипочем не оправдаться. Допустим, товарищу Проханову — в силу общегуманистического, космополитического пафоса его прозы — не хотелось бы оказаться в одной компании с империалистом Андреем Битовым или с антисемитом и русским шовинистом Венедиктом Ерофеевым, но его же никто не спрашивает! Родился в 37-м — вали, ступай в команду высокоодаренных, возросших на крови расстрелянных! Вперед!

Дьявол и его красота. Конечно, подлинной идентичности с текстами Сорокина Владимир Бондаренко добивается в эссе о своем герое — об Александре Проханове. Начиная с афоризма, записанного старшим товарищем в альбом младшему: «Из всех театров мне интересен театр военных действий» — и кончая коллекцией бабочек, пойманных «театралом» на местах недавних боев и пожаров, все наполнено такой этико-эстетикой зла, таким терпким грубым кислым запахом расейского декаданса, что рядом с этакой манифестацией Владимир Сорокин вместе с Виктором Ерофеевым — просто сентиментальная

Агния Барто под ручку со слезливой Лидией Чарской. Афоризм — хорош и волит продолжения. «Из всех театров предпочитаю театр военных действий. Из всех яблок — глазные. Из всех раковин — ушные». А бабочки? До такого Виктор Ерофеев не додумается: по недавнему полю боя мечется пожилой господин, героический коммуноид с рампеткой! А объяснение энтомологической страсти нашего Че Гевары? «...когда он летел на резиновой лодке по стремительным протокам, готовясь стрелять уток, вместо уток взлетел журавль. И он, не разобравшись, подстрелил журавля. Это Проханова страшно потрясло. Он отложил в сторону ружье... Больше он никогда не проливал живую теплую кровь. Но... страсть к самому процессу охоты осталась. И он стал охотиться за бабочками». Позвольте... Это о ком сказано: «Никогда не проливал живую теплую кровь»? Не о том ли, кто «из всех театров предпочитает театр военных действий»? Не о том ли, кто, по уверению автора, является «идеологом двух путчей — августа 91-го и октября 93-го годов»? Какой великолепный вырисовывается герой! Какой узнаваемый персонаж! Лично, сам кровь проливать не может, но от военных действий, от массового, умело или неумело организованного убийства придет в восторг! Вегетарианец-вояка, дурновкусный эстет, политик, соединивший в себе революционный порыв большевика, национализм консерватора, стремление к социальной справедливости социалиста и антисемитизм... — ...ну до чего похож! Замечательный английский поэт Роберт Лоуэлл в тяжелые для себя периоды жизни снимал с полки книгу этого персонажа и объяснял фраппированным друзьям: «Он — это я!» Да что там Лоуэлл! Томас Манн посвятил означенному персонажу эссе и назвал своим братом того, кто выгнал его из Германии и приказал сжечь его книги. Александр Сокуров снял об этом «братце» фильм и со свойственной этому режиссеру и человеку деликатностью объяснил: «Вы можете с ним столкнуться, спускаясь по лестнице дома, в котором живете». Хуже! Гораздо хуже! Вы можете с ним столкнуться в злую для вас минуту, поглядев в зеркало. Он живет в каждом неприкаянном интеллигенте, давшем волю своей обиде, своей зависти. А какой интеллигент не неприкаян? Мандельштам знал, о чем говорил, когда сформулировал: «Две лишь краски в мире не поблекли: в желтой — зависть, в красной — нетерпенье». Владимир Бондаренко поет как птичка, не подозревая, что за образ он вылепил, — энтомолог в погоне за прекрасными бабочками на пожарище. Если бы я вздумал изобразить кого-нибудь из крылато-копыто-летучей братии, у меня бы так, честное слово, не получилось бы.

Тоска по хунвейбинам. Все-таки хочется вышелушить из текста что-то важное — действительно, а не фальсифицированное. Привычка.

Владимир Бондаренко в самом деле согласен на тридцать седьмой. Но что это за психологическая готовность — жить «в трагическом эмоциональном напряжении»: арестуют? не арестуют? стоять в очередях, сидеть на всевозможных собраниях, читать газеты, в которых — сплошной энтузиазм молодых и лик великих строев?

Мне вспоминаются дивные дни армейской службы. Вдоль строя ходит комроты. Очень расстроенный. Собирается с силами и... выдает: «Политинформация! Слушать всем! Да! Я знаю, что живу по горло в дерьме! Да! Я знаю, что какой-нибудь засратый бельгиец живет лучше меня! Но я знаю и то, что я могу сто раз сожрать этого бельгийца и двести раз высрать, а бельгиец меня сожрать и высрать не может! И — поэтому я горд, я счастлив, я рад, что живу по горло в дерьме, но зато никакой бельгиец...» — et cetera. Комплекс, с такой впечатляющей сюрреалистической силой выраженный моим командиром роты, узнается мной в творчестве Владимира Бондаренко. Он, ей-ей, на многое согласен, только бы знать, что он — этой силы частица, что его никто сожрать не может, а он кого угодно, и сколько угодно, и куда угодно. Впрочем, здесь еще мотивчик, такой под сурдинку насвистанный, но очень, очень важный для понимания «комплекса 37-го». Я бы назвал этот мотивчик «тоской по хунвейбинам». Цитирую: «Они пересидели в креслах свое время, в

нужный момент не нашли себе замену и оказались бессильными перед катившейся с запада волной либерализма. *Не нашлось в свое время хунвейбинов для оживления государственной крови...* (Курсив мой. — Н. Е.) А сверстники прохановского поколения [дети 37-го года], не допущенные вовремя до рычагов государства, в массе своей отвернулись от государства и поддержали капитуляцию империи...»

Все эти рассказы про доброго Юрия Коваля, и про космополитично-имперского Андрея Битова, и про умученного подлыми шестидесятниками Высоцкого, и про высокообразованного Аверинцева, скорбящего о потере значимости в наше время, — все это так... постмодернистская болтовня, литературоведческие слова, слова, слова. Настоящее здесь — скорбь по отсутствию в нужное время озверевшего хулиганья, орущего: «Огонь по штабам!», «Разобьем их песьи головы!», «Ротация кадров!». Эти ребята нравятся Бондаренко, поскольку он уверен: его-то голову не разобьют (она же не песья, она — человеческая), огонь не опалит его крылышек, а ротация кадров позволит вспорхнуть в опустевший, выжженный дотла — штаб. Социально-политическая мысль Владимира Бондаренко на удивление проста и мила (как платье Маши Мирановой, капитанской дочки). Детям 37-го года не достало своего «37-го». Засидевшаяся в штабах старичье не постреляли как следует в нужное время — и талантливые люди оказались сдвинуты на обочину — в литературу, поэзию, алкоголизм, наркотики. Вот было бы у нас как в Китае... Глядишь, и Венедикт Ерофеев департамент бы получил, и Высоцкий бы не пил, и пьесы Вампилова во всех театрах бы ставили. Когда видишь ясно бондаренковскую схему бытия империи, просто дух захватывает от величественного державного ритма: через поколение, когда начинают наблюдаться «застойные явления» и становится ясна необходимость «оживления государственной крови», — хунвейбины открывают огонь по штабам. На опустевшие штабные места рассаживаются молодые таланты, зачатые во время предыдущего очистительного огня. Так оно и движется бодро-кроваво, имперски значительно — до нового Иерусалима, разумеется, как говаривал Родион Романович Раскольников немного по другому поводу. То, что есть какие-то иные методы «ротации кадров», опробованные в других общественно-политических системах, Бондаренко и в голову не приходит. Не так воспитан. Не на таких примерах.

Возвращение билета. Между тем, взгляды на судьбы и тексты выбранных Владимиром Бондаренко «детей 37-го года», замечаешь, что можно было бы и другой «пафос подпустить». Как раз таки благодаря бондаренковской тоске по хунвейбинам понимаешь, что система, созданная Сталиным, была системой для артистов, поэтов, художников, композиторов — в общем, для эстетов. В каком еще государстве писатели жили на государственном довольствии? В каком еще государстве писатель был так социально защищен, как в советском? Где писатель мог не заботиться ни о тиражах своих книг, ни об их раскупаемости? Попал в «обойму» — напечатают. Напечатают — значит, прочтут! Но даже если не попал в «обойму», если выпал, вывалился из тележки на крутом повороте, так ведь не из-за жалкого обывателя с его дрянным вкусом, а благодаря государственному, державному гневу. Вочеловеченная держава остановила взгляд на стихах, на книжке! Да об этом только мечтать может писатель! Вы сами подумайте, кто выше оценил литературу — аятолла Хомейни, приговоривший к смерти за книгу, или Букеровский комитет, выдающий за книгу 12 тысяч 500 долларов? Разумеется, Хомейни! Остановить на себе зрачок воплощенной власти! Да это же... Представляете себе Черчилля, который набирает номер телефона Одена, чтобы спросить у Одена, как быть с Лоуэллом? Отказывается служить в армии по пацифистским убеждениям. Немецкие самолеты утюжат бомбами Лондон, а он выкалчивает... но он ведь мастер, мастер! А Оден Черчиллю в ответ: «Знаете, нельзя у одной балерины спрашивать про другую. И вообще я бы с вами хотел встретиться, поговорить о жизни и смерти...» Рай, рай для писателя.

Так вот от этакого рая «дети 37-го» отказывались! Почтительно билет свой возвращали! За исключением, пожалуй, Проханова... Да и тот на Алтай ездил, разрушенные церкви фотографировал, какие-то у него неясные мистические порывы вырисовывались. Причем «возвращение билета» происходило не в осознанной, вызывающей, декларативной форме — за исключением, пожалуй, только Леонида Бородина, — а естественно, душевно, что ли. Ну вот не получалось вписаться в систему, созданную 37-м годом, ни орденосцу Валентину Распутину, ни алкоголику Венедикту Ерофееву. Лучшее, что «детьми 37-го года» создано, создано как раз на энергии отказа, на неприятии «рая для эстетов». И эту-то «энергию отказа» Владимир Бондаренко претворяет в оправдание «великой эпохи», «великого времени». Как там писал Венедикт Ерофеев: «Кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет, — „превратно“ бы еще ничего! — но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично».

Строго наоборот. Я всегда был уверен в том, что из текста невозможно вычитать то, чего в нем совсем уж нет, но иные интерпретации повергают меня в полную прострацию, в ступор, так сказать. Бондаренко упрекает либеральных критиков, как это они не разобрались в прославляемой ими поэме Венедикта Ерофеева. «И вольно же им было додумывать за писателя всяческие пропагандистские небылицы? Самая, по-моему, нелепая из них — это версия о четырех убийцах с шилом, как о четверке классиков марксизма-ленинизма: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин... Откуда знать всем этим „Московским комсомольцам“, что классический профиль... был, естественно, у четверки римских легионеров, участвовавших в казни Христа. А именно с Христом постоянно сравнивает себя герой поэмы в прозе „Москва — Петушки“». Ну откуда нам, демшизе окаянной, знать, что именно шило, громадное шило с деревянной рукояткой, которое вытаскивает из кармана один из четверки («с самым свирепым и классическим профилем»), является типичным, знаковым, узнаваемым орудием и оружием римских легионеров? Нам известно другое, а именно: громадное шило с деревянной рукояткой — орудие сапожника. Тогда совершенно естествен жест самого свирепого и самого классического из всей четверки — выхватить из кармана шило. Сын сапожника, ставший некоронованным императором (поэтому «самый классический профиль») и величайшим преступником (поэтому «самый свирепый профиль»), носит с собой шило. Это его геральдический знак, его герб, если можно так выразиться. Разумеется, четверо мучителей Венички могут быть и четырьмя легионерами, участвовавшими в казни Христа, и четырьмя всадниками Апокалипсиса, и — даже — четырьмя возрастами человека (детство, юность, зрелость, старость), да хоть четырьмя стадиями опьянения, но все эти толкования нимало не противоречат нашей «демшизоидной» интерпретации, тем паче что сам Ерофеев подсказывает нам именно такой вариант. Веничка смотрит на четверку и думает: «Где, в каких газетах я видел эти рожи?» Как-то не припоминается, чтобы в советских газетах печатали профили римских легионеров, а профили МЭЛС сопровождали Венедикта Ерофеева все детство и юность. Он бы и рад их забыть, не видеть их, да вот не получается.

Впрочем, это не грубая ошибка. Скорее — наоборот. Уточнение. Действительно, в Евангелии от Иоанна сказано: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части...» И потом: будь Владимир Бондаренко посноровистей, будь в нем побольше сорокинского постмодернизма, он бы и с этой «демшизоидной» трактовкой поработал во славу 37-го. «Они вонзили мне свое шило в самое горло... Я не знал, что есть на свете такая боль. Я скрючился от муки. Густая красная буква „Ю“ распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду». Результатом этого «неприхода-в-сознание» оказывается великая поэма «Москва — Петушки». А что такое буква «Ю», которая дрожит перед глазами Венички? И почему для него так важно, что эту букву

узнает его сын? Это же главная, «несущая» буква в слове «люблЮ!» Шило, вонзившееся в горло Венички, исторгло... признание в любви! (Как там у Иосифа Бродского? «Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность».) Кабы не Сталин и не его репрессивная система (шило! сапожное шило — в горле поэта!), не было бы у нас смешной и страшной поэмы «Москва — Петушки». Словом, великие несчастья созданы для того, чтобы о них были написаны великие книги. Ура!

Нет, до таких «зияющих вершин» интерпретации Владимир Бондаренко не поднимался или не опускался (как вам будет угодно). Но волноваться не следует — в своем анализе «Вальпургиевой ночи...» он взял реванш за неистолкованный финал «Москвы — Петушков». Знаете, о чем написана эта трагедия, по мнению Бондаренко? О сатанинской энергии и своеобразном героизме зловредного еврейского племени! О том, что гнусное влияние означенного племени на добрый русский народ кончится тем, чем и должно «кончиться». Превращением (русского народа. — *Н. Е.*) в некоего Шарикова — Прохорова, восхищенно исполняющего все команды Швондера — Гуревича и восхищенно гибнущего со всей компанией восторженных идиотов». Заступиться хочется за всю «компанию восторженных идиотов». Уж очень они смешны, обаятельны, нелепы — в отличие от властвующего над ними «медперсонала». «Медперсонал» — страшен, отвратителен, поскольку он — власть, он — насилие. Ну, не будем спешить. Послушаем дальше тракточку: «Эрудит и алкоголик Гуревич, регулярный пациент... психбольницы, влюбляет в себя медсестру Натали, крадет у нее чуть ли не ведерную бутылку со спиртом и устраивает грандиозную пьянку в палате. Спирт оказывается метиловым, о чем Гуревич чуть ли не сразу догадывается, но продолжает подливать соседям по палате. Сам сплывает, все остальные обитатели — трупы. „Всех ведь опоил, сссрань еврейская. Всех!“ — кричит Гуревичу медбрат Боренька...» Позвольте, он не просто кричит, он дело делает! Он, можно так сказать, за весь опоенный русский народ мстит опившему русский народ жиду. Надобно всю цитату привести, чтобы стал ощутим контекст крика медбрата: «*Боренька (за ноги втаскивает Гуревича в середину палаты. Слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все)*. Ну, как поживаем, гнида? Тоскуем по крематорию? Вонючее ваше племя! (*Серия ударов в бок или в голову тяжелым ботинком.*) Мало вам крематориев! Всех... (*При каждой его реплике... вторгается музыка, которая, если переложить ее на язык обоняний, — отдает протухшей поросятиной, псиной и паленой шерстью.*) Ослеп, говоришь? ссучье вымя!... Раньше ты жил как в Раю: кто в морду влепит — все видать. А теперь — хуй чего увидишь!.. (*Со все возрастающим остервенением.*) Душегубки вам строить надо, скотское ваше племя! (*Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение медбрата.*) Пидор гнойный! Тварь ебучая! Ссскотобаза!»

Вопросы из серии «школьное литературоведение»: на чьей стороне автор? кого жалко в этой сцене — ослепшего Гуревича (который «всех опоил, срань еврейская») или зрячего здорового медбрата Бореньку? Вопрос из серии «литературоведение-посложнее-чем-школьное»: какая самая главная ремарка, ремарка-символ в этой сцене? Ответ: «Самая важная ремарка — слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все». Она важна не только потому, что Венедикт Ерофеев следует обыкновению древней классической трагедии — самое страшное не должно быть показано зрителю, но и потому, что этой своей ремаркой Ерофеев уравнивает зрителя и слепца Гуревича. Зритель должен понять, кто хозяин в этом мире, кому в этом мире — все видно. Садист, жлоб, хам, тупица, фашист — вот кто хозяин, всевидящий хозяин! Разумеется, на такой «безумный мир ответ один — отказ». Об этом и написана трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», в которой веселые, смешные, нелепые, остроумные люди — это обреченные издевательствам и избиениям ненормальные, а нормальные люди, люди, облеченные властью, — тупы, неостроумны, жестоки... Владимир Бондаренко и сам мог бы это заметить. Он же пишет: «...я вижу, как щедро он разбрасывает авторские реплики

всем героям пьесы: и Прохорову, и Алехе, и Стасику, и... тому же Гуревичу». Конечно, потому что все это ерофеевская компания маргиналов, аутсайдеров, плюющих снизу на всю нашу «общественную лестницу», поскольку, «чтобы по ней подняться, надо быть жидовской мордой без страха и упрека, пидором, выкованным из чистой стали с головы до ног», тогда, глядишь, и орден получишь, и госпремию, и на места недавних боевых действий допустят... бабочек половить, а Венедикт Ерофеев и его герои — Веничка, Гуревич, Прохоров — они не такие.

Валерия Новодворская. У каждого есть свой любимый враг. Тот, кого на дух не переносишь, но на кого в самой глубокой глубине души хотел бы походить. Пусть это будет «чтением в сердцах» (но в конце-то концов, чем же еще и заниматься критику, как не «чтением в сердцах»? — сволочное занятие, согласен... Нам в текстах душу и комплексы свои раскрывают, а мы их вслух читаем — сволочи...) — однако рискну: любимый враг Владимира Бондаренко — Валерия Новодворская. Как я дочитал до «цветных радуг бомбовых разрывов», так меня сразу волной родного политического романтизма и обдало — только отфыркивайся... Идеология тут ни при чем. Национал-большевистская идеология Владимира Бондаренко — широка и безбрежна, как море, как грудь той дамы, о которой у Гейне сказано: «При одном взгляде на все это подступает морская болезнь». Самое главное, что Бондаренко хотел бы писать так, как пишет пламенная Валерия, — язвительно, фанатично, образно, плюя на политкорректность... Не получается. Вместо язвительности — разобиженная ругань, вместо фанатизма — истерика, вместо образности — «медведь на заседании у Юрий Михальча» или того лучше: «Своим лбом поэтесса еще по инерции устремлена в прежний мир избранничества, но в потылице у нее уже крепко держатся архаизмы».

Отчего же не получается ни язвительности, ни образности, ни-ни-ничего? Здесь хочется перейти на разговор Луки из горьковской пьесы: а это потому, мил человек, что слово у Валерии Ильиничны поверено жизнью. За слова-то свои она посидела да пострадала, потому и слова у нее тяжелые, а твои слова — легче пуха. Оно бы и хорошо, если бы эти слова гирями не прикидывались: «Почвой поколения 1937 года оказались застойные времена семидесятых — восьмидесятых годов. Когда в тишине и стабильности вызревала гигантская тотальная порча партийной верхушки, сотворившей империю лжи...» Уй! Страсти-то какие говоришь в 2000 году, уй, смелости-то сколько надо набраться, чтобы вот так: «империя лжи», «тотальная порча партийной верхушки»... А слова-то все не свои, все заемные слова-то у либералов, «дерьмократов», «демшизы» огоньковского разлива. Вот бы в те годы, в семидесятые — восьмидесятые, смело — «империя лжи»! Боязно было? Такая империя, держава такая — и вдруг какая-то козявка, моська какая-то твякает, вякает... Лучше намеком, обходным маневром: в личную жизнь-де уходят сорокалетние, личностное превалирует над общественным. Тогда самой большой репрессалией будет укоризненная статья Юрия Суровцева. И прекрасно, и правильно — каждому свое. Бойцу — на амбразуру, а кто потрусливее — в литературу. Смешивать два эти ремесла не надо. А то при «геронтократии» особо голос не напрягал, зато при «кровавом диктаторе» о хунвейбинах заскорбел. Что так? Начальство позволило? Ийэх, мил человек...

Теплая нора и северное сияние. Что это меня так хунвейбины разволновали? У Владимира Бондаренко ведь немало и других странных утверждений, кроме здоровой идеи касательно «оживления государственной крови». Как вам, например, такой афоризм: «Лучше верить в „Спартак“, чем ни во что не верить»? По-моему, нарушение заповеди «не делай себе кумира». Из этой заповеди (по-моему) совершенно иной вывод следует: конечно, плохо ни во что не верить, но это лучше, чем верить в «Спартак»... или в «Зенит». Потребность в вере тем самым удовлетворяется суррогатом, заменителем; тоска по вере ути-

шается ложно, несправедливо... И все одно — самым значительным для меня были и остаются — не появившиеся в свое время, к великому сожалению Вл. Бондаренко, хунвейбины. То ли я за очки опасуюсь и голову (песью), то ли меня все тот же удивительный «сорокинский» оксюморон интригует. С одной стороны — жестокая кровавая политика, а с другой — литература как большая дружно-недружная семья, где все друг друга знают, где друг с другом по имени: «Юра Коваль», «Володя Крупин — знаток православия», «Миша Ворфоломеев» — ну все свои, чего там. В этом мире можно публиковать чужие письма, когда отправитель жив и здоровствует и вроде бы согласен на такую публикацию не давал. Причем в письмах речь идет не об общественно значимых вопросах истории и современности, а о собственном творчестве, допустим. В эссе об Игоре Шкляревском Владимир Бондаренко обильно цитирует воспоминания Станислава Куняева о поэте. Ну и дела! Мемуарист посчитал: он и его (куняевская) поэзия настолько общезначимы и общественно необходимы, что грех не познакомить широкую публику с таким, например, письмом, к нему обращенным: «Держись, родной, и люби себя, потому что ты — один из самых умных людей в России и поэт не меньше Баратынского». Завет «любить себя» Станислав Куняев выполняет со всей возможной тщательностью. Как надобно относиться к себе, чтобы в воспоминаниях о друге такое процитировать? Мол, не знаю, кто тот, о ком я вспоминаю, но я-то — Баратынский, какие могут быть сомнения?

И у Бондаренко на этот счет тоже никаких сомнений не возникает. Это ведь знак «семейственности» литературы, такое «взаимообманывание», такое примеривание чужих, уже отыгранных ролей: ты, мол, Баратынский, а я, допустим, Вяземский... или Аполлон Григорьев. Что в самиздатской среде, что в советской — проблема, оказывается, была одна и та же: тесный круг «своих», где все друг друга знают и потому шкала оценок сбита. А и не надо! В семейном-то кругу и без того хорошо! «Параллель между последними книгами Юрия Коваля „Суер-Вьер“ и Виктора Ерофеева „Пять рек жизни“, по-моему, неплохо проследил автор рецензии в „Дне литературы“ Григорий Бондаренко, мой сын, большой почитатель Юриного таланта еще с детства... Эту рецензию я помещаю после своей статьи». Вот она, пожалуйста, — преемственность поколений! Просто сердце радуется. В этом семейственном тесном, теплом, надыханном кругу можно эдак по-отечески сурово, но со скрытой нежностью обратиться к писателю: «Виктор, что же ты уже столько лет стоишь добровольно за воротами русской литературы? Какой бес тебя не пускает? Убей его в себе и вырвись на свободу добра...» А? Ну прямо — семейный совет! Нет! Комсомольское собрание! Как комсомолец, как русский человек, как крещеный православный, как писатель русский вот здесь, сейчас, перед своими товарищами, глядя им в глаза, скажи: какой бес тебя не пускает?

Немалому числу людей было хорошо «под ласковым взглядом отца». У Дмитрия Быкова отличное стихотворение есть, «Тоталитарное лето», — о поразительной неразрывной связи великодержавной психологии с психологией милой семейственности, уюта, чуть ли не комфорта. Именно так — «коитус лени и стали». До чего славно в теплой, надыханной норе литературы, вокруг которой полярная ночь. Так это опять же для кого-то — полярная ночь, а для кого-то — во всю ширь неба — северное сияние! Красиво...

С.-Петербург.

Постскриптум отдела критики. Не поспевают, увы, наши журнальные отклики вслед за нынешней бурной издательской деятельностью. Полемиические заметки Никиты Елисеева уже сдавались в набор, когда у нас в руках оказалась вышедшая вскоре после бондаренковского «Быка» капитальная книга того же автора «Дети 1937 года» (уже без «загадки» в подзаголовке), помеченная годом 2001-м. В ней 639 страниц; на массивном переплете вместо штучек Пикассо — мелкокалиберные фотографии ее героев, вмонтированные во внушительную багряную цифру «37».

Автор благодарит генерального директора ИТРК (?) Александра Титова и сотрудников издательства «Информпечать» за «поддержку моего не самого коммерческого проекта, ибо они заботятся о будущем России» (деликатная оценка собственного труда...).

И есть за что благодарить. По сравнению с «Красным Быком» в расширенном издании появилось много новых персональных очерков: Владимир Гусев, Ольга Фокина, Эдуард Успенский, Олег Чухонцев, Валентин Устинов, Борис Примеров, Владислав Крапивин, Борис Екимов. Как видим, «яичница», о которой в начале своей полемики пишет Н. Елисеев, обогатилась не только разнокачественными (разумея «идеологию»), но отчасти и разнокалиберными (разумея творческий калибр) ингредиентами. Второе, вероятно, — ради поддержания идейной симметрии.

Нам очень жаль, что в руки петербургского критика попал малый, а не большой вариант труда Владимира Бондаренко. Возможно, пространный вариант побудила бы Н. Елисеева не только к взгляду «с птичьего полета», но и к реакции на некоторые конкретные философские пассажи. Например, на такой: «Опаснейший соблазн русской интеллигенции — путь Чаадаева, путь Печерина — близость к католичеству Вячеслава Иванова. Как тянет образованнейших русских литераторов на эту красиво оформленную гранитную дорожку... Заигрывал с католичеством Сергей Аверинцев, не избежали этого соблазна по-разному и Андрей Битов, и Олег Чухонцев. И надо четко отделить этот соблазн, это искушение от борьбы с властью, от противостояния советскому режиму». Цитата взята из очерка об Олеге Чухонцеве, названном «Плач проходящего мимо Родины».

Сам Бондаренко, конечно, мимо Родины не проходит и соблазнов избегает, ибо, как мы узнаём из послесловной заметки «Об авторе», «соединение казачьей и поморской крови» определяет его «своенравный боевой характер» и делает его, в терминологии Л. Н. Гумилева, «пассионарным типом».

Короче говоря, читателю было бы интересно узнать, как проводит Вл. Бондаренко хирургическую операцию «различения духов» и соблазнов в отношении каждого из тех, кого угораздило родиться в кровавую отметину. Но это естественнее было бы сделать, имея перед глазами не книжку немногим более двухсот страниц, а книжищу почти в шесть с половиной сотен. Не получилось.



П Р Е М И Я

А. СОЛЖЕНИЦЫН



СЛОВО ПРИ ВРУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ КОНСТАНТИНУ ВОРОБЬЁВУ И ЕВГЕНИЮ НОСОВУ

25 апреля 2001 г.

Чрез жизни и литературные труды Константина Воробьёва и Евгения Носова, уроженцев Курской земли и невдали друг от друга, — Великая война пролегла несмываемыми, многопоследственными полосами.

У Носова в «Усвятских шлемоносцах» — эпическое озарение: первый зов и сплошной уход крестьянского народа на войну — с той покорностью и мужеством, с каким он уходил и уходил век за веком на столькие войны и войны. Ощутима эта неоспорная поступь и её былинный смысл. Это впечатление усиляется тем, что хотя в повести формально и даны черты колхозной жизни, но в какой-то расплывчатости, а проступает вечность мужика на земле, в своём родном краю и грозность предвоенного расставания с семьями, с детьми: сколько ли вернутся?

Тема переходит к Константину Воробьёву — ноябрьскими боями 41-го года под самой Москвой, которых он был участник, высокий момент грозности для всей страны, когда маячило едва ль не обрушение её. Только чтобы написать о тех днях — автору предстояла многолетняя выдержка: там-то, под Москвой, он попал в немецкий плен.

Это новое разящее, уму не представимое бытие, по сути грозившее в тот год любому воюющему, бытие, смертную жестокость которого нельзя было и близко вообразить тогдашней советской молодёжи, воспитанной в победных обещаниях, — врезалось в грудь молоденького лейтенанта по сути как тема всей его жизни. Захватило не только обречённое тело пленника-новичка, но в первые же недели и мысль его: этого никто у нас не представляет! об этом — непременно рассказать, если только выживу. Лагерь подо Ржевом: среди снежного поля он — тёмное прямоугольное пятно, оттого тёмное, что губами ползающих военнопленных «съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега» — чтоб утолить жажду: ведь им не привозят воды.

Дальше пленная судьба Воробьёва, прошедшего и другие лагеря, развивалась драматически: когда их повезли в Литву — на ходу поезда он вылез из окошка товарного вагона, повис на привязанной портянке — и спрыгнул. Товарищ ушибся насмерть, а Воробьёв повредил ногу. Схоронив товарища, он несколько дней бродил по литовским лесам, но потерянная подвижность обрекла его на новый, повторный плен. Теперь он узнаёт и страшные тюрьмы в Паневежисе и Шяуляе — смертники в камере «в одном исподнем белье сидели, тесно прижавшись один к другому. Глаза каждого казались дегтисто-чёрными: зёрна зрачков были неправдоподобно велики, распираемые предсмертным осмысленным ужасом»; и худо знаменитый Саласпилсский лагерь под Ригой, где, в косячке соснового леса, все сосны, сколько может дотянуться рука человека, обглоданы военнопленными от коры — а выше того на стволах кора осталась. — Наш автор находит мужество и умение бежать из этого лагеря и свыше года, до прихода советских войск, пробыл в лесных партизанах,

составленных из бежавших военнопленных и поддержанных из Москвы. За это время Воробьёв на месяц укрывался на конспиративной городской квартире — и в нервности не успеть и под ежедневной опасностью захвата, то, что называется «репортаж с петлёй на шее», — освободил душу от неразделённого бремени, написал повесть «Это мы, Господи!» — первую да и последнюю в советской литературе, о немецком плене — только бы наши узнали, знали об этой судьбе совсем ничтожной малости — пяти миллионов советских воинов! И написанное — зарыл в землю.

Однако советское *освобождение* несло бывшим советским пленникам новое недоверие и допросы. «С каким полуночным вниманием ящеров глядели на нас смершевцы, когда задавали вопросы, почему мы остались живы». В героическое сопротивление — у смершевцев не было веры. И Воробьёву, может быть, не удалось бы избежать лагеря, теперь уже советского, если б его следствие не шло в прямом соседстве с партизанскими местами и, значит, десятками свидетелей.

Но теперь-то, хоть по концу войны, мог он наконец рассказать соотечественникам, что такое был немецкий плен, о чём никто в Союзе не имел понятия? Свою повесть он послал в «Новый мир». Но она была, конечно, отстранена: власть победителей не хотела знать, кому и во сколько досталась Победа. Повесть отбросили — и этим «ударом в спину ножом», как назвал Воробьёв, он был ранен надолго, надолго — больше он не пытался печатать её до конца жизни — по полной безнадежности. Лишь два коротких его рассказа, связанные с пленом, много позже увидели свет — «Немец в валенках» и новеллистически отточенная «Уха без соли», — оба просвеченные человечностью. Да тема-то оставалась неисчерпаемой: а кто когда расскажет о жестокой борьбе между пленными за выживание на краю гибели, и сколько зла и низости обнажалось при этом? или об измождённых процессиях под конвоем — как пленных гонят за повозкой с трупами закапывать своих умерших? — «Это мы, Господи!» напечатали — лишь через 40 лет, уже в «перестройку».

А человеку, жаждущему правды, невозможно брести в реке лжи. Воробьёв читал и читал, что полилось в печати о фронте, о войне, — и приходил в ярость от перекажения, от облыгания. Даже честные публикации были искажены утайками и полуправдой. И при начале общественного оживления, в 60-х, Воробьёв написал две прямодушные повести о подмосковных боях — «Крик» и «Убиты под Москвой». В них мы найдём, при всём скоплении случайностей и неразберихи любого боя, и нашу полную растерянность 41-го года; и эту немецкую лёгкость, как, при лихом закатанных по локоть рукавах, секли превосходными автоматами от живота по красноармейцам; и тупость неподготовленных командиров; и малодушие тех политруков, кто спешил свинтить шпалы с петлиц и порвать свой документ; и засады за нашей спиной откормленных заградотрядчиков — уже тогда, бить по своим отступающим; и ещё, ещё не всё поместилось тут — и об этом тоже целые поколения не узнают правды?? — Повесть «Убиты под Москвой» безуспешно прошла несколько журналов и была напечатана в начале 63-го в «Новом мире» личным решением Твардовского. И концентрация такой уже 20 лет скрываемой правды вызвала бешеную атаку советской казённой критики — как у нас умели, на уничтожение. Имя Воробьёва было затоптано — ещё вперёд на 12 лет, уже до его смерти. Он жил эти годы со «вторым ножом в спине», в состоянии безысходности.

Да судьба одного ли Воробьёва? Сколько талантливых и неведомых нам писателей мы потеряли и в боях той войны (мы знали только о потерях на видных журналистских должностях) — и в нечистой, вымаривающей обстановке советских издательств.

А Евгений Носов, на шесть лет моложе, со своих 19 лет был взят к противотанковым пушкам, всегда на переднем краю пехоты, под танковым огнём вчетвером-впятером управлялись с пушкой в тонну двести килограмм. И в те недели зимы на 1945, когда в Литве следователи ещё терзали Воробьёва, Но-

сов не так вдали, в Восточной Пруссии, был тяжело ранен. И месяцы Победы, и самый день Победы встречал в госпитале. И обвершил военное четырёхлетие рассказом «Красное вино Победы» — о госпитальной жизни, с мучительным тлением там израненных и обезрученных, в смутной неизвестности выздоровления или смерти.

А затем вся жизнь Носова полвека текла в переструйке с негромким течением послевоенной — и никогда уже не поднявшейся к силе — русской деревни. Таковы и обычные его резкие, «неслышные», задушевные рассказы. Иные из них я подробнее разобрал в «Новом мире» в прошлом году, лишь немного повторю здесь.

В каждом рассказе Носова сюжет просочен затопляющим настроением, тёплой любовью к людям, их обстоятельному быту и неутихающей привязанностью к природе. Ощущение часто сравнимо с ощущением от рассказов чеховских: как и малозначительный эпизод ласково высвечен, лучится от пропитанности теплотой. Немало и лирики, какой покорны все возрасты: тут — и затаённое ожидание молодой крестьянки; и первая любовная смута сельской старшеклассницы; и одиночество старого неудачника; и возбуждение детской души от весеннего паводка. Тут — и добродушные рассказы о природе — с благоговейностью к её множественным силам и тайнам, доступным только внимчивому глазу, уху, обонянию, осязанию.

В рассказах Носова крестьянская жизнь — до того натуральная, будто не прошла через писательское перо. Крестьянское осмысленное понимание каждого бытийного хода, и поэзия ремесла, неизмышленная простая народность, самый тип народного восприятия. И десятилетиями Носов удержался, не давая согнуть себя в заказную советскую казёнщину. — Довёл он деревенские картины и до страшного послесоветского состояния: dokonечный колхозный развал; деревни, заросшие бурьяном, — знак последней гибели; даже мостики разворованы на дрова, а яблони жгут; беспомощные смерти, до лекаря не дотянуться; лёг мужик отдохнуть на лугу — беспечный парень раздавил его трактором-мастодонтом, а старуху его слепую, потонувшую в невылазной дорожной грязи, чуть не застрелили приезжие горожане-охотники, приняли за кабана («Тёмная вода»).

К сельской теме в 60-х годах не раз обратился и Воробьёв. Его юность, прожитая в деревне, дала ему многое оживить, и он свободен и естественен в сельском материале. Обо всём растущем, живущем и народном обиходе — у него и слова природные и звучит непринуждённый разговорный язык. Отметное достижение здесь, — правда о разоре русской деревни, повесть «Друг мой Момич», в которой автор сумел *изнутри* показать и раннесоветскую коммуны (всю мертвечину её обряда и образа мысли — очень свежо); и закрытие церкви (священника заставили перед мужиками отрекаться от веры, разгром иконостаса); и — конокрад председателем сельсовета — начало раскулачивания, первые конвойные отгоны, сперва по паре выхвачиваемых, — при общем замирании села. Повесть написана с характерной для Воробьёва чёткостью эпизодов, языка, фраз и большой мерой в недосказанностях. В ней — десяток ярких весьма своеобразных фигур. Мужик-богатырь Максим Евграфович, а по кличке Момич — твёрдый, хозяйственный, мужественный и вместе с тем добродушный и сочувственный к слабым, — из лучших крестьянских образов в нашей литературе. Когда-то пойманный им конокрад и отпущенный — теперь, в будёновке, с милицией, приходит выгрести всё его имущество, нажитое собственными неутомимыми руками. Момич, однако, с этапа уходит, обзаводится ружьём и скрывается в лесу, в землянке — непобедимый тип. А в войну — он и в партизанах.

К этой повести подтолкнула Воробьёва невыносимая фальшь «Поднятой целины», с её шукарским балаганом. И он отнёс рукопись в «Новый мир», это было уже в 65-м году, кажется, приосвобождённое время? Никак нет, в самой благожелательной редакции он услышал: повесть имеет несостоятельную пре-

тензию сказать новое слово о коллективизации, это — ограниченность взгляда. Затем её принимали в московском издательстве — но набор велено было рассыпать. Это был — третий удар по автору, после которого он уже не оправился до своей тяжёлой смерти. «Не могу представить себе дальше свою судьбу как писателя». Напечатали повесть только в 1988 году.

С наступлением гласности твердел и голос Носова. Теперь, но без всякого политического жара, несвойственного ему, свидетельствовал он и о советском обезумелом отступлении 41-го года, о поджигальщиках сена в стогах и немолоченого хлеба в копнах, обливателях керосином складской пшеницы — своё бросаемое население обрекающих на голод. И недосказанное прежде: штабеля мёртвых красноармейцев в госпитальном дворе и свалку их сотнями в колхозные ямы из-под картофеля.

И, донося через 40 лет всю ту же военную тему, с горькой горечью всколыхивает Носов то, что больно и сегодня, что досталось никому уже не нужным ветеранам-фронтовикам, израненным, больным и нищим, когда невежественная молодёжь высмеивает их боевые ордена, пренебрегает их терпеливой скромностью, чужа их воспоминаниям и датам.

Этой неразделённой скорбью замыкает Носов полувековую раму Великой войны и всего, что о ней не рассказано и сегодня.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МЕЙНСТРИМ И МЫ

Стор двух петербургских восьми(девяти?)десятиков

СЕРГЕЙ ЗАВЬЯЛОВ

*

ОПРАВДАНИЕ ПОЭЗИИ

1

Петербург, кажется, все более и более беднеет на поэтические имена и не-тривиальные художественные жесты. Все более становится историей блестящая плеяда «Клуба-81» (Виктор Кривулин, Елена Шварц, Сергей Стратановский, Аркадий Драгомощенко), все более одинокими чувствуют себя (и это стало так горестно-явственно после гибели Василия Кондратьева) поэты среднего поколения. Не видно вменяемых молодых. Неизменна лишь прославленная петербургская фанаберия. Петербуржцам, видимо, все продолжает казаться, что они — столица, не то культурная, не то криминальная, не то неофициальная. Главное — столица, а при имперском сознании все прочее — провинция и потому неинтересно.

Ну ладно, пусть и нестерпима, но хоть объяснима, как некое неизбежное зло, Москва. Но в России заявляют о себе, пусть пока еще не в полный голос, новые культурные центры — Воронеж, Саратов, Челябинск, Ростов, Самара.

Поэтическая карта изменилась, и это данность. Тут есть и чисто географические причины (в России двумя поколениями ранее было два миллионных города — теперь их полтора десятка), и причины политические, социальные и экономические (из трупа империи пробиваются ростки гражданского общества подобно тому, как из трупа убитого быка в поэме Вергилия вылетали юные пчелы). Но главным результатом этих изменений стало отчетливое присутствие новой генерации, генерации тридцатилетних, совершенно не подходящих друг на друга, но в то же время отчетливо демонстрирующих свое отличие от предыдущего поколения — поколения Шварц и Седаковой, Кривулина и Гандлевского, Драгомощенко и Рубинштейна.

Смена декораций на исторической сцене настоятельно требует осмысления законов той драматургии, в которой замыслен спектакль (цитата, см.: «Гамлет»).

Естественна (то есть нормальна) ситуация в поэзии, когда шестидесятилетние (и старше) почивают на лаврах и изучаются в школах, пятидесятилетние получают по очереди Главную премию страны и изучаются в университетах, сорокалетние находятся в центре внимания и переводятся на иностранные языки, тридцатилетние заставляют о себе говорить, а двадцатилетние обращают на себя внимание читателей и критиков. Естественно, чем старше возраст, тем уже круг. И дело здесь не столько в том, что люди смертны, сколько в том, что поэты сходят с дистанции: спиваются, исписываются, просто глупеют.

История поэзии разных стран иллюстрирует различные (где больше, где меньше) отклонения от этого идеала, но только в очень больших литературах ставится под сомнение он сам. Таким образом, поддерживается жизнеспособное состояние мейнстрима, границы которого с областью радикального в искусстве постоянно находятся под вопросом.

Пожалуй, главная беда (прямо скажем: тяжелая болезнь) современной русской поэзии заключается в затвердении и омертвлении этого самого мейнстрима, в его неспособности к жизненно важному обмену (диалогу) с областью радикализма. Это и привело к тому, что и семидесятилетний Геннадий Айги, и шестидесятилетний Дмитрий Александрович Пригов, и пятидесятилетний Лев Рубинштейн всё, как мальчики, гуляют в радикалах. То есть исполняют роли, которые им уже не по возрасту. То есть, если совсем откровенно, занимают чужое место.

Пригову нужно на Олимпе предаваться гомерическим радостям, раз в году (в день рождения) быть героем телепередачи по Главному каналу и поставлять темы для сочинений на аттестат зрелости, как-то: «Поэзия Пригова: вызов позднесоветской лжи», «Маленький человек: герои русской литературы от гоголевского Акакия Акакиевича до приговского Милицанера» и проч., а он все, как молодой, кричит кикиморой. Ему пора в школе быть изучаемым, а он, словно двоечник, обстёбывает стихи из школьной программы:

Безумие его хранило
 Безумная за ним ходила
 И неземной ее сменил
 Ребенок был безумн, но мил.

Это не упрек Дмитрию Александровичу. Это упрек литературе. Вернее, диагноз.

Итак, омаразмевший старый мейнстрим отказывается инкорпорировать в свой состав, скажем, поэтов «Личного дела», а те в свою очередь не освобождают (и их можно понять, так как некуда деваться) место следующей генерации.

Однако как за политикой КПСС стоял многомиллионный советский народ, который, при всем его ворчливом недовольстве, действительно на уровне ментальности был един со своей партией, так и за либеральными шестидесятиниками, олицетворяющими теперешний мейнстрим, стоят тысячи интеллигентных читателей, бескорыстно любящих стихи. Беда в том, что их архивные вкусы (остановившиеся по европейским меркам накануне Первой мировой войны) не оставляют места для заключения новой конвенции о ценностях.

Ситуация же тем временем меняется не в лучшую, а в худшую сторону. Еще можно допустить, что после некоторого упорства общеинтеллигентное сообщество примет Кривулина, Жданова, Гандлевского или Айзенберга, как оно приняло в свое время Бродского. Можно предположить, что для Рубинштейна с Приговым найдется в нем экологическая ниша, как она нашлась для Хармса (пусть при, отчасти или полном, непонимании его творческой доминанты), но вообразить стареющих поклонниц на вечерах Елены Фанайловой или Александра Скидана я не в состоянии.

Можно сколько угодно говорить о конце эры логоцентризма (и это будет во многом справедливо), но раньше чем как лет через сто от начала какого-либо культурного феномена не стоило бы делать глобальные выводы. В позапрошлом веке, например, поэзия как таковая более пятидесяти лет была вне сферы общественного интереса (от гибели Лермонтова до революции 1905 года). Какой режущий лягушек нигилист, какая идущая «в народ» курсистка могли предугадать серебряный век? И не посередине ли этого периода молчания в Москве с помпой откроют памятник Пушкину?

Поэзия изначально, вечна и, видимо, связана с какими-то фундаментальными свойствами человека как биологического вида. Радикально различны формы ее бытования, скажем, в неолитическом обществе и при дворе тоталитарного диктатора, в греческом полисе и даосском монастыре.

Ничто так не живительно для исторического мифа, как хвала поэта. Но и ничто так не уничтожающе, как его хула. Можно сколько угодно восхищаться Соединенными Штатами Америки, но таким же несмываемым, как и работорговыя, пятном позора на этой стране останется добровольная эмиграция двух лучших ее поэтов ушедшего столетия — Томаса Стернса Элиота и Эзры Паунда, в особенности же работа второго в органах военной пропаганды противника. С нами такого не бывало. Мы пока были (парадокс) много благополучней.

Россия продолжает разваливаться. Налицо кризис национальной идентичности, который пытаются преодолеть наиболее ошибочным для тотально метизированной страны способом. Поэзия ей теперь тоже не нужна. Как бы у России не появился наконец реальный шанс догнать и перегнать Америку.

2

Каждая генерация поэтов, если она на что-то претендует, должна быть в силах сказать: «Да, это я, я такая», и есть поэты, имена которых становятся символами этих генераций. Часто какое-то время спустя одни имена заменяются на другие (Блейк становится на место Байрона, Китс на место Шелли), какое-то время спустя интерес концентрируется на оппонентах (Уильямс в противовес Элиоту, Бодлер — Леконтю де Лилю), но от самого принципа имен-символов, восходящего к эллинистическим канонам, при всей его несправедливости и даже, может быть, жестокости, отказаться, за исключением разве что академического дискурса, вряд ли возможно.

Очертим несколькими штрихами три имени из формирующегося канона поколения, повзрослевшего в последнее десятилетие советской эпохи и вошедшего в литературу в первое десятилетие постсоветской.

Лауреат премии Андрея Белого за прошлый год Елена Фанайлова (Воронеж) даст читателю едва ли не наиболее отчетливое представление о тех процессах, которые сегодня протекают в поэзии. Для предыдущей генерации было актуальным что-нибудь в поэзии обновить: тематику или метрику, лексику или визуальную сторону. Для нового поколения это уже неинтересно. Мы путешествуем в новых временах, не то чтобы уж особенно скорбных, но в меру трагичных, как трагично само человеческое бытие. Я бы сказал, что стихи Фанайловой в равной мере и с той же степенью надежности, что и другие приметы этого бытия (вот оно, преодоление логоцентризма), свидетельствуют об экстремальных состояниях на порогах Верха и Низа, являя адекватный настолько, насколько это возможно для поэта, анализ духовного состояния поколения.

Все, бл., Лили Марлен.
Воздуха больше нет.
Слышно, как предают.
Стоит ли жить в плену?
Кто заключает в плен?
Я до сих пор живу.

— Я тебя прокляну, —
Жизнь говорит врачу.
Вызова не приму.
Если она опять
Клеится, бл., ко мне,
— Я ее не хочу.

Надеемся, читатель расслышал в этих стихах диалог с «Натюрмортом» Бродского, при всей правде о боли и неврозе кончавшимся тем не менее, вполне в духе предыдущего поколения, явлением Богородицы:

Мать говорит Христу.
Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,
не узнав, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив?

Боже мой, какая архаика! И это написано всего лишь тридцать лет назад!
Приведу еще один, на мой взгляд убедительный, пример.

Стихи о русских поэтах прошлого для предыдущего поколения были примером героического сопротивления мертвечине и лжи советизма. Вот как выглядел образ Бориса Пастернака в стихотворении Виктора Кривулина:

душа добытчика чиста
омытая в лучах Всеобуча
но вырастает нищета
от скорости и с ростом добычи

добра подземного на свет
и рвется слово, птица редкая,
сказавши «да», воскликнуть «нет!»
нет, я не мерюся пятилеткою!»

Новому поколению не до героических мифов. Но это и не то чтобы какая-то сугубая дегероизация, эдакое «срывание всех и всяческих масок». Это просто следующая степень честного познания человека. Елена Фанайлова пишет (спустя пятнадцать лет):

Ходасевич умирает в клинике,
А Поплавский колется и пьет.
Алкоголики, калеки, циники
Отправляются в ночной полет.

Солнце, заколоченное досками.
Желчегонные ады палат.
Русский бог и счастье жидовское.
Тает плоть, облатка, мармелад.

Встречу назначай под сикоморами.
С крыльями стрекоз совокупи
Малые берцовые, которыми
Юноши играют в городки.

Имя Григория Дашевского (Москва) — не самое громкое на литературном слуху, однако у этого поэта имеются, на первый взгляд незаметные, черты, ставящие его в первый ряд тех, кто привлекает внимание. Это проявляется и в биографии (а куда мы от нее денемся?), и в стихах.

Предыдущее поколение уходило в котельные (Драгомощенко), работало где-нибудь и как-нибудь (Гандлевский), гордилось отсутствием среднего образования как символом негибамости (Бродский) в то время, как, вообще-то говоря, мировая практика являла нам поэтов-дипломатов (Сен-Жон Перс, Георгос Сеферис, Октавио Пас), профессоров (Чеслав Милош, Шеймас Хини, Дерек Уолкотт), крупных чиновников или менеджеров культуры (Томас Стернс Элиот, Эудженио Монтале, Уильям Батлер Йейтс).

В русской поэзии чудовищен дефицит образованных людей, а в академической среде — людей с тонким художественным вкусом (исключение — таргустские русисты). Дашевский, филолог-классик, преподающий в неоспоримо интеллектуальном заведении страны — РГГУ, поневоле привлекает к себе внимание.

Впрочем, дело не в регалиях (петербуржцы Всеволод Зельченко и Полина Барскова тоже классики, но это не задело их творчества), а в том, как это выглядит при работе с материалом.

Все знают и (многие) любят Тимура Кибирова, поэта предыдущего поколения, ставшего в каком-то смысле классическим мастером пастишной и цен-

тонной техник. Кибиров пользовался ими как бы для установления факта смерти многих пластов традиционной русской/советской (в данном случае не важно) культуры, разлагающихся, смердящих и требующих погребения с помощью иронии (стёба):

Виновата ли ты, виновата ли ты?
 Может, Пушкин во всем виноват?
 Ты скажи, Натали, расскажи, Натали,
 Чем не люб тебе кавалергард?

Целовал-миловал, целовал-миловал...
 Но и Пушкин тебя б целовал!
 На балы б отпускал, ревновать бы не стал
 И Мадонной тебя он назвал.

В Дашевском можно увидеть ученика Кибирова, но насколько же утонченной, трагичней его мир. Вот перед нами римейк знаменитого стихотворения Саффо, известного также в переложении Катулла:

Тот храбрей Сильвестра Сталлоне или
 его фотокарточки над подушкой,
 кто в глаза медсестрам серые смотрит
 без просьб и страха,

а мы ищем в этих зрачках диагноз
 и не верим, что под крахмальной робой
 ничего почти что, что там от силы
 лифчик с трусами.

Это совсем другой мир, где нечто зловещее изображается пастишированием одного из самых трагических текстов античности. Но если у Саффо Эрос изводит героиню до того состояния, когда она уже не в силах отличить его от Танатоса, а у Катулла за всей его дурашливостью слышно биение сердца, подозрительно рано остановившееся (мы не знаем обстоятельств его смерти), то у Дашевского Смерть (по-русски в отличие от греческого существо женского пола) является в больничную палату в обличье сексуально влекущей молодой медсестры. И как бы ни были простодушны молодые поклонники попсовой героини, даже у них нет ни малейшего повода усомниться в том, с кем (с чем) они имеют дело.

Александр Скидан (Петербург) — едва ли не наиболее радикальный среди тридцатилетних. Резко изменивший свою манеру год назад, он словно вступил в некий разговор, некую беседу о «злых и последних» (Катулл) вещах, где *поэзия/не поэзия* — несущественно. Скорее *поэзия только* — нестерпима, постыдна, как некая благоглупость, за которую приличному человеку должно быть неловко. Стихи Скидана более всего могут служить неким символом, может быть, тектонического разлома, может быть, резаной раны, которая распорала не только поэзию, но и все тело нашего бытия в культуре.

Это не значит, что мы не найдем то, из чего он вышел. И Всеволод Некрасов, и Рубинштейн, и Драгомощенко, и американские поэты многому его научили, но поэзия Скидана нервней и лаконичней, в ней есть тот слегка раздраженный тон, когда мы понимаем, что жизнь коротка, что завтра — смерть, и нам некогда тратить время на пустую болтовню.

в «Бытии и Времени» (на странице
 163) X утверждает:

как словесное озвучание
 основано в речи

так акустическое восприятие
 в слышании

что же он слышит?

скрипящую телегу
мотоцикл

северный ветер
стук дятла

потрескивание огня
колонну на марше

<в этом месте мы закрываем глаза
и прислушиваемся к сердцебиенью>

Собственно говоря — вот оно, то место, которое нашла себе сегодня поэзия: только она умеет слышать скрип телеги и стук дятла как небанальное, непрофанное, но значимое. И в этом ее оправдание как участницы серьезного разговора серьезных людей.

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ

*

КОФИЙ ИМПЕРАТРИЦЫ

1

Для начала надо отделить наши местные проблемы от всероссийских. А говоря о домашних питерских делах, разделять литературный быт и литературу как таковую.

Я пишу эти ответные заметки под впечатлением вечера Александра Миронова, состоявшегося в Музее Ахматовой. Один из ведущих поэтов того замечательного поколения, которое Сергей Завьялов несправедливо называет поколением «Клуба-81» (как будто создание официальной организации неофициальных писателей, под колпаком у КГБ, было вершиной их жизненного пути), он все постперестроечное десятилетие жил уединенно, не печатался, не выступал публично. Его единственная книга включала стихи, написанные до 1983 года. И вдруг выясняется, что этот поэт продолжает работать — много, интересно, в непохожей на прежнюю манере.

Принадлежит ли творчество Миронова петербургской поэзии 90-х? Конечно, принадлежит. Кто виноват, что оно не было востребовано? Сам поэт, его замкнутость, нелюбовь к публичности, какие-то, будем надеяться, преодоленные уже психологические проблемы? Отчасти да. Истеблишмент, которому «ничего не нужно»? И он, конечно, тоже. Я готов согласиться с очень многими упреками к ленинградской (до сих пор все равно — ленинградской) казенной и полуказенной литературной среде. Не обком, не КГБ, а некоторые представители вполне либерального официоза, до сих пор составляющие «гордость культурной столицы», больше всего препятствовали в свое время легализации андеграундной литературы. Но — даже с учетом скудости в Петербурге литературных журналов — так ли уж важно это сегодня? Разве есть такая культурная позиция, которая в принципе не может быть сейчас заявлена и донесена до сколь угодно широкой публики? Разве истеблишмент сегодня не вклю-

Шубинский Валерий Игоревич — поэт и критик. Родился в 1965 году в Киеве. Автор книг «Сто стихотворений» и «Имена немых», а также публикаций в московских и петербургских журналах, в том числе в «Новом мире» (стихи, эссе, рецензии).

чает нас самих? Почти у любого из нас — тридцатипяти-сорокалетних поэтов с пятнадцатилетним стажем работы — есть возможность прямо или косвенно влиять на публикации в том или ином периодическом издании, или на программу поэтических чтений в том или ином зале, или на размещение текстов на том или ином сайте. Так что за ситуацию ответственны и мы.

Какова же эта ситуация? Петербург провинциализировался, в нем все меньше интересного, центр переместился в Воронеж или Саратов? В Воронеже я помню двух поэтов — поминаемую моим уважаемым оппонентом Елену Фанайлову и Александра Анашевича. В Саратове была Светлана Кекова (сейчас, по-моему, живет в Москве) и Николай Кононов (давным-давно в Петербурге). Остались Олег Рогов, Сергей Рыженков и Илья Малякин. Думаю, Сергей Завьялов согласится со мной, что в Питере (пока) больше двух и даже больше пяти заслуживающих внимания стихотворцев.

Прежде всего все перечисленные им поэты-семидесятники (от чрезвычайно высоко ценимой мной Елены Шварц до совершенно чуждого мне как читателю Аркадия Драгомощенко) много и продуктивно работают. Если их творчество и стало историей, анахронизмом оно никак не стало. Проблема в том, что всем им (и Миронову, которого мы добавим в этот ряд) за пятьдесят. И если главным предметом спора остается творчество поэтов такого возраста — это опасный симптом. Тут я с Сергеем Завьяловым согласен. Провинциализация происходит, но не географическая, а хронологическая. Современная поэзия провинциальна по отношению к своему прошлому. Это гораздо важнее соотношения сил между регионами. Поэтическая культура общая, и проблемы общие.

Простейший симптом: какие поэты способны сейчас в Петербурге собрать зал в сто человек и больше? Елена Шварц, Виктор Соснора, Кушнер, Кривулин¹. Еще — Глеб Горбовский. Больше никто. Всем перечисленным поэтам от пятидесяти до семидесяти лет.

Каковы причины? Завьялов считает, что шестидесятники-консерваторы «не пускают» авангардистов-семидесятников (хотя в каждом поколении есть свои традиционалисты и авангардисты) в вожделенные генеральские эмпирии, а те не хотят освобождать следующему поколению полковничьи апартаменты. Мне кажется, что это не так. Это не совсем так даже в Петербурге, и это вовсе не так в Москве.

К сведению моего оппонента: Пригов уже включен в школьную программу — пока в хрестоматию для внеклассного чтения. И по телевизору с ним была не одна передача. Том «Русская литература XX века» из Детской Энциклопедии «Аванты» украшает большой портрет Кривулина. Статья про Айги есть в изданном еще десять лет назад Российском Энциклопедическом Словаре (статья про Михаила Кузмина, к примеру, там нет). Правда, Айги-то как раз шестидесятник. Но и Пригов мог бы при желании присутствовать на лицейском экзамене.

Почему же он кричит кикиморой? Потому что иначе он перестанет быть Приговым. Он ведь и пытался стать нормальным живым классиком. Подписывал (по старому русскому обычаю) серьезные письма — протесты против войны в Чечне, к примеру... Однако подпись «Дмитрия Александровича Пригова» так же точно превращает любое письмо в фарс, как превратила бы, скажем, подпись Козьмы Пруtkова. Пригов — жертва эстетической концепции, не разделяющей текст и жизненное поведение. Так смеялись над Бенедиктовым (байронический поэт, а сам служит в Министерстве финансов), и этот смех породил великую карикатуру — Козьму Пруtkова. Так смеялись бы над старым Байроном, вернувшимся в лоно семьи и церкви и примыкающим в палате лордов к тори. У байронического поэта был выход — умереть молодым, а какой выход у Пригова?

Положим, если у Кибирова читателей меньше, чем у Евтушенко, то лишь потому, что вообще круг читателей поэзии (к счастью!) уменьшился. Пропор-

¹ Статья написана до кончины В. Кривулина. (Примеч. ред.)

ционально паре Евтушенко — Кибилов Пригов приблизительно соответствует Ахмадулиной. Или, с поправкой на возраст в момент успеха, Арсению Тарковскому. Или Давиду Самойлову. Но в следующем поколении Ахмадулиной и Тарковскому не соответствует никто. Количественное уменьшение читателей переросло в качественное.

Итак, два вопроса: 1. Почему старых поэтов предпочитают молодым и 2. Почему поздние 60-е годы выбрали патетическую неоклассику (хотя было и другое), а поздние 90-е выбрали стёб и пофигизм (хотя есть и другое).

На первый вопрос Завьялов пытается ответить. Второй в данном случае вне его интереса.

2

Спорить о поколениях скучно, хотя, на мой взгляд, поколение 90-х — это те, кто родился после 1968 года, кто закончил школу в дни Перестройки. Те, кого Завьялов называет тридцатилетними, с настоящими тридцатилетними имеют мало общего. Фанайлова — 1962 года рождения, Скидан — 1965-го (мой ровесник), Дашевский — примерно тех же лет.

Это существенно. Мы (и сам Завьялов в том числе) помним, как все было в прежней жизни. Мы знаем, что именно изменилось (помимо исчезновения цензуры и очередей).

Почему Завьялову кажутся архаичными евангельские стихи Бродского? Архаика? Что именно — архаика? Евангелие? Христианство? Но помимо прочего, готовы ли мы отлучить от современности целый ряд поэтов, по крайней мере не менее значительных и известных (а значит — представительных), чем Фанайлова, — и притом православных христиан. Но для них христианство, православие — это вопрос личного выбора. Это вопрос веры, а тридцать лет назад это было вопросом культуры. «Сейчас всякий культурный человек — христианин» — эти слова молодого Мандельштама спустя полвека с лишним были подняты на щит. Существовала иллюзия, что есть некая «культура вообще», включающая в себя и христианство и противостоящая подлой советской власти.

Когда же подлая советская власть рухнула, оказалось, что нет единой «культуры вообще». Что есть много культур и много языков. Что, в частности, нельзя пользоваться христианским языком, не будучи христианином. Что необходимо выбирать. Очень характерный пример, касающийся в данном случае другой конфессии: в одном из стихотворений Фанайловой слово Бог пишется без гласной: Б-г. Так, калькируя ивритскую форму, пишут по-русски многие (кстати, не все) верующие иудеи. Нигде больше приверженности иудаизму Фанайлова не обнаруживает. Ну так и не играй с этим! Острое понимание того, что *это* — не объект эстетических игр, как раз и отличает наше время от предыдущей эпохи. Двадцать лет назад можно было произвольно соединять христианство, иудаизм, буддизм, оккультизм, гомосексуализм и гражданскую доблесть. Сейчас надо выбирать. Необходимость выбора и страх перед ним как раз и привели к моде на клоунаду — как универсальному способу культурного уклонения, эскапизма, бегства.

Стихи Фанайловой и Дашевского, процитированные Завьяловым, совсем неплохи. Но они — в той же эстетике стёба, в ее смягченном варианте (не случайно в пару Дашевскому Завьялов подобрал стихи Кибилова). Или точнее: стёб служит «охранной грамотой» для вполне старомодного лиризма. Но такой способ самозащиты, как все сопутствующие языковые игры, стар если не как мир, то как мы.

Нет для короны большего урона,
чем с кем-нибудь случайно переспать.
(Вот почему обречена корона;
республика же может устоять,
как некая античная колонна).

.....
 В своем столетии белая ворона,
 для современников была ты блядь.

«Сонеты к Марии Стюарт» — кстати, иронически перепетые Фанайловой в ее первой книге («Мари была женой поэта Б...»). Та же мрачно-разухабистая ирония. И даже обценная лексика та же. Если мы рассмотрим стихи Фанайловой в целом, мы увидим, что и ритмические фигуры, и языковые ходы, и взаимоотношения между ритмом (довольно традиционным и строгим) и языком (брутально сниженным) и между языком и нарративом (житейски обстоятельным) — все восходит даже не к семидесятым, а к шестидесятым годам, к кругу Бродского. То, что ценно для меня в ее лирическом высказывании (экзистенциалистское богоискательство/богоборчество), — тоже. То, что «ново», скажем, отражение опыта богемной тусовки, так же мало занимательно, как опыт работы в сталелитейном цеху.

Вопрос: почему Бродский вызывает больший отклик, чем Фанайлова? Почему у Елены Шварц больше поклонников, чем, например, у Марии Максимовой? Почему Всеволод Некрасов интереснее Ивана Ахметьева? Почему Соноору ценят больше, чем Анджея Иконникова-Галицкого?

Ответ, по-моему, самоочевиден...

Разумеется, следует различать эпигонство и высокий римейк. «Репейник» Дмитрия Воденникова, вызвавший столько откликов, — и в самом деле замечательная книга, шедевр римейка. Как для своего времени гений римейка — Вагинов (соотносящийся с Мандельштамом так же, как Воденников со Шварц и другими семидесятниками). Но римейк, как бы высоко ни был он оценен в профессиональном кругу, может удостоиться внимания публики лишь по окончании породившей его эпохи — таковы законы восприятия. Тогда дойдет речь и до «стареющих поклонниц» (для тех, кто доживет, — как Тарковский).

Императрица Екатерина Великая пила кофий такой крепости, что опивки заново варили и пили лакеи, а их опивки еще раз варили и пили истопники. Чье время на дворе — лакеев? истопников?

Вагинов и Тарковский учились у Мандельштама и стали самостоятельными (и очень разными) мастерами.

То есть кофия императрицы может хватить не на одну переварку. И, скажем, Елену Шварц тоже можно будет «переваривать» несколько десятилетий. А вот концептуалистская поэтика ветшает, превращается в ничто мгновенно. И не в том дело, что подражателям несподручно, а в том, что и иное, неподражательное, творческое развитие *этой* традиции невозможно.

Другая проблема эпохи — кризис такого понятия, как творческая индивидуальность. Несколько лет назад московский литератор Х. при знакомстве подарил мне книжку своих стихов — гладких и звучных, «понятных», не хуже, чем у людей. На следующий день мы встретились с ним на большом поэтическом чтении. «Здесь другая аудитория, — объяснил он, — и я буду читать другое». И прочитал с десяток вполне «авангардненьких» опусов. Тоже — не хуже, чем у людей.

Это проблема и людей по-настоящему одаренных. Трудно отрицать дар, положим, Александра Скидана, а его статьи и рецензии свидетельствуют о тонком и глубоком понимании чужой поэзии. Но многие вполне «традиционные» тексты его первой книги как будто написаны одним поэтом, а отмеченная влиянием американского постмодернизма вторая — другим. Человеком — одним (премственность персонального опыта ощущается), а поэтами — разными. Такие мутации, конечно, бывали: вспомним Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого. Но вот последние тексты Скидана (опять «резко изменившего свою манеру»): с одной стороны, вещи, воспринимающиеся (вероятно, помимо воли автора) как пародия на концептуализм с его каталогизацией бессмыслицы и пустословия; с другой — сильный, внятный и трагический цикл «Кондратьевский проспект» («Новая русская книга», 2000, № 5). Не в том дело, что одно — удачно, другое — нет. Различно отношение к процессу и смыслу творчества.

Можно придумать тысячи обоснований такой эклектики. Про «смерть автора» мы слышали. Что-нибудь поновее? И поновее найдется, только ведь тогда и темы для разговора нет. Не говорить же о стихотворческих «техниках», ставших общим достоянием.

3

Что же из созданного в эти десятилетия может с той или иной степенью несомненности быть воспринято завтра? Точно на этот вопрос не ответит никто. Возможны лишь некоторые предположения.

Олег Юрьев, один на один споря с эпохой, сумел в начале 80-х противопоставить языковой игре — сюрреалистическую точность и осязаемость образа, самовлюбленной исповедальности и безответственному стёбу — сверхличностную по происхождению и направленности, одически напряженную речь, расслабленному автоматизму — подлинную дисциплину формы. Метафизике предыдущего поколения, в основе которой — индивидуальный этический выбор, противопоставляется метафизика, основанная на дихотомии Божественного присутствия/отсутствия в мире. Это не ново? Думаю, Юрьев никогда и не стремился создать нечто «новое», но новизна (по крайней мере ситуативная) вытекает из неповторимости конструкции. Такого сочетания Державина с Анненским, кажется, еще не было:

Жизни я не знаю, знаешь...
 Страшно, знаешь, мне ее... —
 В капле каждой раздвижная ж
 Сердцевина у нее, —
 Где прорезан иль просверлен
 Алчно тянущий извне,
 Рот — всеяденем осквернен,
 С красной трапезой на дне...

Как не было и подобной «плывущей» пластики, основанной на остром чувстве относительности материального «здесь-бытия» предметов:

Пустили йодный газ магнольные кусты;
 Взлетели сцепленные в шиколотках тени;
 Взмахнули девять раз небесные косцы,
 И — дождь упал на все свои колени.

Сейчас голос Юрьева, когда-то чувственно-влажный (несмотря на жесткость, на ощущение «сдавленного горла»), звучит глуше и резче:

Сколько будет еще длиться этот вечер-до-войны,
 Сколько будут еще виться щебетанья и шелчки,
 Сколько виться еще будут ангелочки сатаны —
 Наконечники без копий и воздушные волчки?

Другой поэт, Николай Кононов, начинавший тогда же, стал холодным эпиком, бесстрастно фиксирующим, как акын, детали «быстротекущего мира», чтобы прийти в конце концов к горячей и чувственной лирике. Обратный путь...

Боинг, выдохнувший о аллах
 Дымом пиниям в облаках,
 Черемухам в белых чалмах,
 Ночи, поднимающей вуаль
 Звезд, — вот чего жаль.

Я назвал двух поэтов, которым уже перевалило за сорок. Со мной, тридцатилетним, именно они, а не тридцатилетние принадлежат к одному по-

колению; да и Сергей Завьялов (чья поэзия по-своему тоже противостоит «духу времени») — к нему же. Назвал же я именно их в том числе и потому, что в этом году оба они претендовали на Букеровскую премию как прозаики (и книга Кононова прошла в финал). Поэту надо стать прозаиком, чтобы удостоиться славы или хотя бы широкой известности.

Теперь немного о собственно тридцатилетних — и тех, кто моложе.

Премия Андрея Белого за этот год присуждена стихотворцу и прозаику Ярославу Могутину, которого всерьез называют «русским Рембо». В заслугу Могутину ставят новизну авторского «я», дерзкий антибуржуазный пафос, нарушение конвенций и т. п. Любопытно, что похвалы обходятся без цитат. Дело в том, что тексты Могутина — обычная brutальная молодежная лирика 90-х. Ну, с гомосексуальной тематикой. Что же касается дерзкого бунта и т. п. — простите, Рембо уехал в Африку, а не просил политического убежища в Америке, как антибуржуазный бунтарь Могутин, и зарабатывал там тяжелым трудом работаровца, а не жил на университетские гранты.

Это — еще одна примета времени: фальсификация бунта и радикализма, конформизм под видом нонконформизма. Тонко просчитанное «нарушение конвенций» (разумеется, фиктивных, то есть именно предназначенных для нарушения) облегчает карьеру. К тем, кто нарушает конвенции настоящие, кто ведет себя «неправильно», «неприлично», истеблишмент, в том числе (и в первую очередь) авангардный истеблишмент, безжалостен. Пример — судьба петербургского поэта Виктора Ефимова. Между тем Ефимов (я отвечаю за свои слова) в сто раз талантливее и культурнее Могутина. Задачи, которые решает он в своих стихах — соединение неповторимого индивидуального опыта с коллективным опытом мифа, — требуют серьезной работы со словом на микроуровне. Вот лишь один пример:

Вечность

Ива — значит жить отшельницей в темной избушке,
Алена — быть юродивой тенью Алеши
да крестной сестрою Ивана,
где из ландышей черных ткет платье немая Светлана,
а зачем, да кому, ответить боится, не может.
Василисою быть — иметь вместо друга змею в сердце,
быть Еленой — ночью в лесу заблудиться
да кликать из елей Психею,
а сказать кому: брат — выдать себя же Кошею.
Лишь в Несмеяниных царствах вместо дверей пещеры бед,
да в колодцах окон расквакались звезд лягушечки,
да сестрицына речь о водичке, речь-Антигонушка,
а водица — и речи и речки еще переливчатей,
где среди цветов и трав — полевой Магомет
да пастушкой гуляет с флейтой бога черничного
посреди пастбищ и ив — черная Золушка.

Другой петербургский поэт этого поколения — Игорь Булатовский — напротив, сторонится окололитературных скандалов, живет замкнуто, не стремится к публикациям. Его манера эволюционировала за десять лет очень резко, и, казалось бы, пропасть между его ранними текстами, печатавшимися в журнале «Сумерки», и неоклассическими вещами последнего времени огромна, но те упреки в «эклектизме», которые я выше обратил ко многим современным поэтам, к нему неприменимы: в его эволюции есть отчетливый (хотя и сложный) внутренний алгоритм, независимый (что особенно важно) от воздействий литературной моды, проявляющийся на уровне строчки, строфы, словосочетания. Сложно переплетенные энергетические токи внутри текста идеально сбалансированы — но баланс нарушается еле заметным движением, придающим системе «тайную свободу» и жизненность:

Срезает угол день, пробегая дворами,
 На желтые углы из прищура косясь,
 Под арками бежит, как в зашторенной раме
 Диафрагмы на миг засветясь.

Срезает угол день, от бородки прицела,
 От снайперских прямых уходя прямоком
 К засадам кирпича и намокшего мела,
 Стекол, жести незлым языком.

Деревья на ветру, как оксидные арфы,
 Магнитофонных лент колтунами шуршат,
 Под ними на земле офицерские шарфы
 Размокают портнею солдат.

Деревья в шенкелях ледяного потопа,
 И пеною с удил догорающий снег,
 Из люков прущий пар городского сиропа
 Прикрывают косящий побег.

Он выбелит кирпич, поджигая известку,
 И окна затемнит, и выходит на связь,
 Выходит напрямик, напролом к перекрестку,
 Позывными своими давясь.

Он что-то прокричал, микрофонное рыло
 Сжимая в кулаке, и в наушник стучит,
 Пока его спина сразу вся не остыла,
 Волны мелкие плещут в зенит,

Пока его спина в непросохшем и сером
 Январской волной мелко не зарябит,
 Прогнув еще сильнее всем скупым глазомером
 Непросохший и серый зенит.

Уже состоявшихся, реализовавших себя Юрьева и Кононова и находящихся в процессе самореализации Булатовского и Ефимова (и других поэтов — Дмитрия Болотова, Ольгу Мартынову, Евгения Мякишева — я мог бы назвать еще два-три имени) объединяет обращение к опыту модернистской поэтики через голову постмодернизма и авангарда — но с учетом их опыта. Может быть, это и есть знак эпохи — или, точнее, один из приемлемых для эпохи вариантов творческого поведения? Во всяком случае, это — *выбор*.

В этих стихах нет ничего «революционного». Но в них — попытка нащупать ходы, которые могут быть востребованы в будущем. На закате большой поэтической эпохи (а мы живем «перед заходом солнца») — попытка найти то, что может быть полезно эпохе следующей.

Когда она настанет, неизвестно. Возможно, Россия стоит на пороге более длительного и глубокого кризиса поэзии, захватившего многие страны мира. Впрочем, на уровне мировом разговор еще более затруднителен. Я знаю несколько поэтов из Новой Англии, которые делают — на своем языке и в своей культуре — нечто очень родственное процитированным мной русским авторам и радикально отличающееся от наших представлений о современной американской поэзии. Их поиск внешне противоположен работе, которую почти сто лет назад начинали Элиот и Паунд (хотя на сущностном уровне эта противоположность «снимается» внутри каждой поэтической вселенной). Но невостребованность — та же, что заставила некогда классиков покинуть свою страну. Американских поэтов рубежа XX — XXI она, похоже, огорчает меньше.

Может быть, взять с них пример?



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ ШКОЛУ ПОМНЮ Я

Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия. — «Знамя», 2000, № 10 — 11.

«Роман-идиллия» — так старомодно, в пандан с заглавием — «Ложится мгла на старые ступени» — определил Александр Павлович Чудаков и жанр, и тональность своей ностальгической прозы. При первом чтении этот акцент (и намек) *к размышлению не ведет*, даже к сведенью не принимается. Какая идиллия, ежели действие разворачивается в Северном Казахстане сталинской поры, в поселке городского типа, битком набитом «неполноценным» репрессированным народом! Первая волна — ссыльнопоселенцы: кулаки из Сальских степей, последняя — чеченцы. А в промежутках между волнами (кроме эвакуированных): корейцы с Дальнего Востока, «несколько дворян» из Ленинграда, после убийства Кирова, привлеченные по шахтинскому, по платоновскому делам, по делу славистов (эти «небольшими группами»), плюс «единичные изгнанцы» — актеры, юмористы, режиссеры et cetera, et cetera...

Правда, ближайшие родственники мемуариста к деклассированному большинству чебачинского некоренного населения де-юре не принадлежат. Сюда, в Чебачинск, они самосослались добровольно, дальновидно рассудив: затерявшись в глуши, сокроются от всевидящего ока НКВД¹. И затерялись. И построили Дом. И вырастили Сад. Разумеется, и их шарахнуло: двое из четырех братьев хозяина дома Леонида Львовича Стремоухова (патриарха огромной семьи), а также муж старшей его дочери сгнули в топке красного террора. Но мемуарный роман Чудакова не о сгнувших — об уцелевших.

«Напорюсь (по ТВ) на старый, из ультрасоветских фильм — и сам себе удивляюсь: да как же мы жили тогда? Жили, однако...» Эти (примерно) слова академик Бонч-Бруевич произносит в телеочерке о Сергее Ивановиче Вавилове. Сразу же после поразительных по драматизму кадров из кинохроники 1948 года: знаменитая сессия ВАСХНИЛ; Вавилов-младший, уже три года как президент академии, жмет руку погубителю Вавилова-старшего — Трофиму Денисовичу Лысенко.

И в самом деле — как? Уцелели? Жили? Выжили?

С жертвами и палачами вроде бы ясно в общем и целом, на уровне приведения к общему знаменателю, но понятно. Вот у выживших — что ни судьба, то особый, частный случай и ни единого очевидного факта, из которого ищущая истину мысль способна с лету, с первой попытки извлечь хоть частицу *общего всем*. Впрочем, на *общее всем* Чудаков как бы и не претендует, ему вроде бы достаточно «подробностей частной жизни». Марк Масарский, вручая Александру Чудакову годовую премию «Знамени» «За либеральные ценности», уточнил, что речь идет не о высоких материях, а о подробностях частной жизни. От себя добавлю: разрешающая способность памяти Чудакова столь высока, а степень сохранности подробностей так удивительна, что это уже не просто свойство, но и дар: дар долгой памяти.

¹ Отец Антона, рассказывая сыну, как он «перехитрил» НКВД (узнав об аресте брата, завербовался на стройку социализма и не мешкая выехал из Москвы в Семипалатинск), оканчивал рассказ риторическим вопросом: «Люди, вокруг которых уже пустота, уже замели начальников, заместителей, родственников, — почему они сидели и ждали, когда возьмут их, ждали, будучи жителями необъятной страны!» Думаю, что «хитрованов» было не так уж мало. Мой свекор, к примеру, едва по Костроме поползли слухи, что в ГПУ составляются списки лиц «нехорошего» происхождения, «сделал ноги» и десять лет петлял по Средней Азии, изменив профессию и меняя место работы и жительства каждые полгода. А старший брат моей матери, воспитанник Горьковской сельскохозяйственной академии, увидев, что студенты, у которых он вел практические занятия по садоводству, снимают портреты Вавилова, вернулся домой и приказал жене срочно собирать в дорогу детей. Уезжали налегке, как в гости, — чтобы соседи не догадались.

«Мальчик (двадцатидевятилетний мерин, комиссованный, со съеденными зубами, которого отцу Антона удалось узаконить как тягловую силу преподавательского кооператива. — А. М.) и корова Зорька были основой мощного и разветвленного хозяйства Саввиных — Стремоуховых. Выращивали и производили все. Для этого в семье имелись необходимые кадры: агроном (дед), химик-органик (мама), дипломированный зоотехник (тетя Лариса), повар-кухарка (бабка), черная кухарка (тетя Тамара), лесоруб, слесарь и косарь (отец). Умели столярничать, шить, вязать, копать. Стирать, работать серпом... Бедствиям эвакуированных не сочувствовали: „Голодаю"! А ты засади хотя бы сотки три-четыре картошкой, да капустой, да морковью — вон сколько земли пустует! Я — педагог! Я тоже педагог. Но сам чищу свой клозет". Самой низкой оценкой мужчины было: топора в руках держать не умеет. В этой стране, чтобы выжить, все должны были уметь делать все».

Каюсь, в этом самом месте я отложила журнал и мысленно задала автору вопрос на засыпку: интересно, у кого бы эти «эвакуированные» могли позаимствовать: а) лопаты и тяпки, б) семенной картофель? А также личное лишнее время для возни на своих делянках? Ведь их сразу же, всех, и врачей, и педагогов, и пианисток, гнали на колхозные работы, естественно, за «палочки»... «Бедствиям эвакуированных не сочувствовали»? Свидетельствую: Чудаков не наговаривает — глухо запертые ворота достаточных хозяйств, в которые тщетно стучались «выковырянные» в надежде купить молока для самых слабых и маленьких, встречали нас именно в русских селах. В «инородческих» деревнях засовов и частоколов не помню. Совсем другое не могу забыть! Прикрепленный к нам возчик, татарин, останавливается возле какой-то избы, исчезает в ней, снова появляется, уже не один, а с маленьким стариком (кунак, башкир). Без шапки, в чем-то домашнем и светлом, старик берет из рук моей матери кулек с задыхающимся Женькой. Это из-за его крупозного воспаления легких мы, отстав от своей партии-порции эвакуированных, задержались в Туймазы и вот теперь едем по дикому морозу в назначенную разрядкой татарскую деревню. Совсем немного проехали, а Женька опять хрипит и горит... В избе у старика теплынь. Я засыпаю. Белобородый хозяин колдует над моим братом: чем-то натирает, поит из ложки и бормочет, бормочет... Когда через несколько дней за нами приезжает уже знакомый, татарский, возчик, Женька улыбается, улыбается и хозяин. Мама, смущаясь, пытается дать ему деньги — не берет. Сани трогаются, старик идет рядом, наклоняется, быстро засовывает в солому, под мой локоть, что-то завернутое в белую-белую тряпицу. Оказалось — твердый как камень кусок меда. Почти черного цвета. От диких пчел.

Заранее прошу у автора прощения за не-лирическое отступление. Но «Ложится мгла на старые ступени» — первый мемуарный роман, написанный человеком моего поколения, который при всем старании не хочу — не могу — воспринимать только как текст, отчужденно-профессионально. По-над семейной историей, какую рассказывает (отнимая у забвения) Чудаков, вроде как параллельно, однако же в самых неожиданных точках пересекаясь и аукаясь с чудаковской, после первых десяти — пятнадцати страниц проступает *другая*, моя собственная... Предполагаю, что именно так прочли, читают и будут читать чудаковские «Старые ступени» многие из «совместников» автора по поколению, то есть те, кого война, выгнав из «детства», сдала «в люди». Но об этом ниже. А пока, прежде чем вернуться к тексту романа, хочу добавить: в отличие от меня, мама не осуждала укрывшихся за тесовыми воротами, оглохших к чужой беде: «Наверное, они из раскулаченных». Ей, сельской учительнице, слишком было памятно, как и за что раскулачивали справных мужиков. В ее классах, в год сплошной коллективизации, из восемнадцати осталось три ученика.

Впрочем, не исключено, что я ломлюсь в открытую дверь и Чудаков вовсе не из сентиментальной солидарности с людьми своего очага оставил без комментариев столь шекотливую информацию, хотя это (*не-сочувствие к эвакуированным*) отнюдь не единственная неллицеприятная подробность частной жизни семейства Саввиных — Стремоуховых. На мелочах, даже ежели они и отбрасывают тень на чисто выскобленные ступени их основательного, свято чтящего христианские ценности Дома, задерживаться не буду. А вот перед историей Вовки, двоюродного брата Антона, любимца Стремоухова-деда, стоит, по-моему, задержаться по-

дольше. Вовка — малец двумя годами старше Антоши, первенец той самой Антоновой родной тетки, мужа которой (инженера-путейца) за дерзость и честность «разбронировали», отправили на фронт, а там, обвинив в преднамеренных действиях против Красной Армии, расстреляли. Затем Татьяну Леонидовну Стремоухову-Татаеву с тремя детьми как ЧСИР (члены семьи изменника родины) отправили в ссылку, в казахстанский совхоз, где они и проработали в телятнике, по месту работы матери-доярки, десятилетие с хвостиком. В первый послевоенный голодный год бабка (заметьте, бабка, а не дед, а не родители Антона — «шкрабы» с университетским образованием!) выписала старшего внука в Чебачинск. Мальчика (переростка) взяли лишь в первый класс — ЧСИР не умел ни читать, ни писать, однако к весне уже не только бегло читал, но и считал в уме быстрее своего «уменького кузена». Много позже его первая учительница скажет Антону, «что такого способного ученика не помнит за тридцать лет». Между тем по истечении года Вовку почему-то отправили обратно в совхоз, откуда он, кончив курсы трактористов, так никогда и не выберется... Что же выходит? Выходит, что Стремоухов-дед, которого Чудаков подает нам как воспитателя божьей милостью, не разглядел в родном и обделенном судьбой внуке того, что заметил и оценил чужой человек? А Антон? Казалось бы, и он должен разделить с дедом тяжесть вины за искаленную судьбу двоюродного брата, однако... Однако это уже сюжет для психологического романа, а Чудаков, как и предупредил, написал роман-идиллию, причем слово это имеет в «Ступенях» не одно, а два значения: и расхожее, современное — идеализация, и благородно-устаревшее — похвала сельской скромной жизни. Отсюда и выбор главного героя (дед). Отсюда и авторский угол зрения: в какой точке распаханного под роман пространства ни останись, видеоискатель (прожектор авторской памяти) развернут так, чтобы повествователь, он же свидетель и очевидец, даже замешкавшись, не смог упустить из поля зрения крупную и властную фигуру своего деда. Его парадным портретом повествование открывается, а конечной кончается:

«Дед был очень силен. Когда он в своей выгоревшей, с подвернутыми рукавами рубахе работал на огороде или строгал черенок для лопаты (отдыхая, он всегда строгал черенки, в сарае был их запас на десятилетия), Антон говорил про себя что-нибудь вроде: „Шары мышц катались у него под кожей” (Антон любил выражаться книжно). Но и теперь, когда деду было за девяносто, когда он с трудом потянулся с постели взять стакан с тумбочки, под закатанный рукав нижней рубашки знакомо покатился круглый шар, и Антон усмехнулся. «Смеешься? — сказал дед. — Слаб я стал? Почему ты не говоришь мне, как герой вашего босяцкого писателя: „Что, умираешь?” И я бы ответил: „Да, умираю!”» А перед глазами Антона («помнившего эти руки лучше, чем материнские») «всплывала та, из прошлого, дедова рука, когда он пальцами разгибал гвозди или кровельное железо».

Даже композиционно роман сработан так, что при любых разворотах именно дед оказывается в центре авторского внимания; прочие домочадцы, включая мать и отца, вынуждены оставаться персоналом второго плана. В том же не первом ряду экрана памяти отведено *место* и самому повествователю, у которого для несения службы наблюдения за уходящим объектом, кроме лица собственного («я»), есть и другое, запасное: Антон. (Вроде как псевдоним, взятый, похоже, не без оглядки на Чехова.) И если один из них (иногда «я», иногда «Антон») физически или мысленно перемещается за границы страны детства, отрочества, первой юности (допустим, уезжает в Москву, чтобы поступить на истфак МГУ), другой, второй, как бы остается навсегда там, возле деда, в степях Казахстана. И вот что еще бросается в глаза: в сравнении с провинциальными главами, добротнотщательными, сцены из столичной жизни начала шестидесятых эскизно-пунктирны и, кажется, написаны лишь для того, чтобы удлинить *расстояние*, отделяющее Антона от «первоначальных впечатлений». От того, что увидено *«лицом к лицу»* и намертво, на всю оставшуюся жизнь, запечатлено в памяти. В прямом библейском смысле запечатлено: *положи меня, яко печать на сердце...*

Перелистываю дочитанный роман в обратном направлении — от конца к началу, стараясь поставить в типологически значный ряд образ главного героя «Ста-

рых ступеней». Беловский «Лад»? Нет! Чистейшая идиллия, даже без попытки романизации. Есенинский «Отчарь»? Минимум на «два тона выше»... Вот разве что хрестоматийный в Армении «Дед» Амо Сагияна?

На все руки —
И швец, и жнец,
Первый каменщик и кузнец,
Садовник и пахарь,
Плотник и знахарь —
Все на свете умел мой дед...

Когда-то в беседе с Грантом Матевосяном² я попыталась породнить и его знаменитых стариков (на которых мир держится, хотя они не подозревают, что мир именно на них-то и держится), и сагияновского деда Хачипапа с распутинской Дарьей да солженицынской Матреной. Гранту Игнатовичу сие не понравилось: ваши, мол, — праведницы, наши — работники. Не той (не солженицынско-распутинской) породы и дед из «Старых ступеней», хотя самому Чудакову (на сей счет) ничего похожего, думаю, и не мерещилось. Тем паче, что старик его выбора — в отличие от своих армянских и не армянских двойников — агроном лишь по второй, вынужденной профессии, а по первой — выпускник Виленской духовной академии, да и родом он не из *земледелов*, а из семьи священников, потомственных, «до Петра Первого, а то дальше». Больше того, судя по вынесенной в заглавие строке, автор хотел, чтобы мы непременно вспомнили раннего, «молитвословного» Блока (для восполнения объема и понимания «длинной мысли»):

Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятн колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив — и ждет твоих шагов.

Сказать, что этот «зов» в романе Чудакова недостаточно внятн, не могу, и все-таки, на мой взгляд, самый «высокий» из его ностальгических колоколов звонит-вторит иной «прощальной обедне»:

«И мой дед (цитирую Г. И. Матевосяна. — А. М.) принадлежал тому же племени — людей, умеющих разговаривать с землей. Лица его почему-то не помню, хотя он умер, когда мне было пятнадцать лет. Зато хорошо помню его сад, похожий на чистые и подробные акварели европейских натуралистов... А еще мой дед... мастерил всякого рода инвентарь. И женщины, на которых в военные годы лежало тяжелое бремя, выбирали его грабли, его лопаты, потому что они были легкими и красивыми, удобными в работе... И когда я думаю о своем писательском долге и перед этой великой земледельческой культурой, и перед могиками старого Лори³, где еще во время Туманяна не было ни сантиметра невозделанной, не превращенной в земной рай земли и где теперь нет даже диких ореховых деревьев, то я его, то есть свой писательский долг, понимаю так: Лори (...как духовно-нравственный мир) не должен исчезнуть с лица земли...»

Судя по беглому, на ходу, обмену вопросами (моими) — ответами (его), автор «Старых ступеней» тоже не хотел ничего иного, как выполнить свой сыновний и писательский долг перед могиками навсегда миновавшей жизни, проводив ее и их «полным парадом чувств». Дело, однако, в том, что Чудаков, вовсе к этому не стремясь, а ргрос, между прочим, почти случайно, но — «чем случайней, тем вернее», почти «разрешил» ставший в нынешние дни, в пору уже не предварительных итогов, злободневным вопрос: откуда есть пошли так называемые шестидесятники, столь сильно раздражающие многих? (Я имею в виду конечно же не идеологическую общность, а возрастную, то есть тех, кто родился в семилетнем промежутке между 1931-м и 1938-м. В этом смысле Михаил Горбачев и Борис Ельцин, Андрей

² См.: Матевосян Грант. Поэзия языка. — «Вопросы литературы», 1980, № 12.

³ Лори — местность окрест Лорийского ущелья, родина Гранта Матевосяна и Ованеса Туманяна.

Тарковский и Александр Кушнер, Валентин Распутин и Василий Аксенов, Владимир Маканин и Василий Белов, Людмила Петрушевская и Евгений Евтушенко, Игорь Дедков и Александр Проханов — горошины из одного стручка.) И почему именно они, достигшие к середине восьмидесятых первого юбилейного рубежа, а то и перевалившие через него, затеяли перестройку и вытянули-таки страну победившего социализма из коммунистического котлована? Грубо, на авось, надрывая не столько ум, сколько пуп, но выволокли? Силою каких вещей из замызганного, недокормленного, затюканного поколения вышло так много ярких и незаурядных личностей? Внешние обстоятельства столь сильному выбросу творческой энергии никак не способствовали! Наоборот... Об этом «наоборот» на редкость жестко и точно написал Игорь Дедков: «Подумал вот о чем: духовная атмосфера (обстановка), в которой проходила юность — моя, нашего поколения, — была бедной, однородной, способствующей бедному, сжатому мышлению — в узком диапазоне. То есть вырваться за пределы этой навязанной обстановки — было можно (через библиотеку, через каким-либо образом совершавшееся ориентирование), но это было индивидуальным актом. Обстановка к этому старалась не побуждать. Надо бы дать ясное представление о кругозоре и миропонимании юного человека конца сороковых — начала пятидесятых годов — именно ясное, то есть как бы обвести контур и беспощадно описать то, что в нем, т. е. все содержание. Пора бросить умиляться таким добродетелям, как „чистота“, „вера в высокие коммунистические идеалы“, „патриотизм“ и т. д. Пора и пожалеть тех, т. е. нас — за бедность и однолинейность нашей судьбы» («Новый мир», 2000, № 11).

Игорь Александрович Дедков обвести безжалостный контур не успел, хотя, судя по его дневниковым записям, публиковавшимся в «Новом мире», был к этому готов. Александр Павлович Чудаков, к счастью, успел. Вот только обвел он контуром не столько бедную юность (свою, нашу), когда «обстановка» без передышку работала в режиме на сжатие кругозора, сколько детство, когда «юный человек конца сороковых — начала пятидесятых годов», будущий шестидесятник, учился совсем в другой школе, где и историю, в том числе и новейшую, и экономику, в том числе и капитализма, изучали не по наркомпросовским учебникам... И преподавали в этой Главной Начальной Школе совсем другие наставники. Во-первых, сама жизнь, а она, в войну, запросто обходилась без высоких коммунистических идеалов, во-вторых, деды и старшие, уже не призывного возраста, дядя, угадавшие родиться задолго до социалистической революции... Их безыскусные рассказы про старые годы были нашими волшебными сказками... А потом, в 1942-м, 1943-м, в 1944-м, стали возвращаться искалеченные войной старшие братья, чтобы ужаснуть иными сюжетами — страшными сказками, ставшими былью. Отцы, даже если и заезжали после госпиталя на побывку, молчали как партизаны, большие мальчишки не молчали, им нечего было терять и уже некого было бояться, и они навечно впечатали в наше девственное сознание весь свой гнев и всю свою ярость. За изуродованное тело. За будущее, которого не будет.

Чтобы снять подозрение, будто я, как и Чудаков, переписываю былое по былинам нового времени, позволю себе процитировать, полностью, без изъятий, стихи, которые в августе 1944-го моему будущему мужу, тогда двадцатилетнему младшему сержанту, прочитал (один раз вслух, на бегу) случайный попутчик, такой же солдатик, — они отстали от эшелона, набитого подлеченным, годным для дальнейшего использования пушечным мясом. Своего имени автор не назвал, а стихи доверил. Так, со слуха, муж их и запомнил:

Мы фронтовики, кандидаты в покойники,
Стоящие в очередь за своей судьбой.
Но мы не завидуем счастью спокойненьких,
Оставшихся в стороне и довольных собой.

Что им до того, что продрог ли, промок ли ты,
На них не каплет и с них не течет.
Но всем им, будь они трижды прокляты,
Предъявим солдатский загробный счет.

Он даст им свой ВУС⁴ и свою категорию,
 Он дотом станет на их пути
 И этим мерзавцам не даст в историю
 По трупам погибших солдат войти.

Впрочем, в военную пору регулярно-настырных уроков патриотического воспитания не было и в обычных начальных школах, особенно в сельских. Началось потом, в Москве, в 1948-м, 1949-м, но к тому времени те из моих ровесников, кто этого хотел, уже опробовали и свой, индивидуальный, способ правильного ориентирования, и приемы уклонения от отвратительных прикосновений «холодной руки циклопа» (И. Дедков). И всё-всё понимали. Естественно, это было лишь «предошущение истины», и тем не менее... Во всяком случае, того священного ужаса, с каким переживалось отцами письмо Хрущева XX съезду партии, мы, их дети, не испытали. Ничего не меняет 1956 год и в духовной атмосфере мемуарной прозы Александра Чудакова, и это, убеждена, не понятное в его ситуации (немолодой автор первого романа!) желание — во что бы то ни стало обойти стороной общие места — а точный глаз и верный слух прирожденного исторического писателя. Недаром же он, серьезный и известный филолог, позволил своему двойнику — Антону — «переквалифицироваться» в историки.

Алла МАРЧЕНКО.

*

И СЛОВО ВСЕГДА БУДЕ(И)Т МЫСЛЬ

Владимир Новиков. Сентиментальный дискурс. Роман с языком. — «Звезда», 2000, № 7—8.

Пожалуй, самое подходящее определение для романа Владимира Новикова — эпатажный.

В старину, лет десять назад, читателя эпатировали всякими непристойностями, наркоманским бредом и погружением вглубь канализации. Сейчас все это унылая банальщина, удел малоначитанных невращенников, пытающихся обратить на себя внимание элементарной нецензурщиной, что в связи с отменой цензуры неактуально, и засаленной до голубизны чернухой; в лучшем случае — это обслуживание определенной категории профессиональных читателей. В наше время оскорбить общественный вкус столь примитивными средствами невозможно, общество не просто претерпелось, а каталогизировало все проявления аморальщины, подвергло изучению на международно-академическом уровне и объявило неотъемлемой, а по некоторым направлениям даже изрядно выдающейся частью русской культуры.

Так чем же обидел читающую публику Владимир Новиков? Во-первых, он обозначил свой роман как филологический (роман с языком!) — а это вызов. Я бы даже сказал — откровенный вызов. Газетные критики, из числа шустрых и безапелляционных, клеймят, как ветинспекторы с колхозного рынка, чернильным штампом «филологический роман» то, что им особенно пришлось не по вкусу. А во-вторых, Новиков действительно написал филологический роман. Если в коммерческой газетной критике это словосочетание имеет ругательный оттенок, то во всякой прочей — невразумительно-извинительный. Имеется в виду, что произведение ожидается несколько занудное, непригодное для быстрого чтения, устроенное слишком сложно — в общем, если кому и интересно, так только узкому кругу специалистов-филологов. Точно так же какое-нибудь полужесткоккрытое насекомое интересно только специалистам-энтомологам.

Вообще-то сам Вл. Новиков в статье «Филологический роман. Старый жанр на исходе столетия» («Новый мир», 1999, № 10) дал такое определение: «Филологическим по преимуществу, наверное, можно считать такой роман, где филолог ста-

⁴ ВУС — военно-учетная специальность, обязательная графа в солдатской книжке.

новится героем, а его профессия — основой сюжета». Неуверенная формулировка «по преимуществу, наверное, можно считать» указывает, что автор допускает иные точки зрения. Действительно, если следовать логике, то должен существовать роман шоферский, шахтерский, вахтерский и далее по реестру профессий. Апофеозом, разумеется, станет роман писательский, поскольку именно писатель — самый распространенный герой современной прозы. Скорее всего деление прозы по профессионально-тематическому принципу не приживется. Это в масскульте по причине разности читательских предпочтений необходима уточняющая внутрижанровая градация: шпионский и полицейский роман как направления детектива, а тот в свою очередь входит в обширное поле криминального романа, который — в поле приключенческого. Понятие филологического романа как ответвления производственного не получило поддержки масс. В сообществе профессиональных читателей стихийно сложился образ отнюдь не романа, а *филологической прозы*. Мол, не роман, а упражнение в грамматике и лексике.

Владимир Новиков прекрасно понимал, на что идет, когда писал роман, где филолог становится героем, но его профессия не становится основой сюжета. История жизни, рассказанная от лица немолодого профессора, где собственно научной (производственной) деятельности героя отведено не так уж много места, удивительным образом переключается с романом Александра Мелихова «Нам целый мир чужбина», даже и напечатанном в параллельных «Звезде» седьмом и восьмом номерах «Нового мира». В нем о своей жизни рассказывает профессор-математик. Оба романа уже можно группировать под общим названием «исповедальная проза пятидесятилетних». (Ау, филологи, кто на докторскую?) Но за рамки исповедальной, бытовой или психологической прозы «Сентиментальный дискурс» выводят постоянные авторские отступления в область языка, особенно *пять теорем эквивалентности*, в основном сюжете никакой роли не играющие. Возникнуть они могли по одной причине: критик Вл. Новиков в процессе творчества прозаика Вл. Новикова пересмотрел свои взгляды на филологический роман. И пошел наперекор среднечитательским интересам — нагрузил роман дополнительными сложностями, ввел суровый образовательный ценз. И даже не стал камуфлировать под какие-нибудь философские искания. (Впрочем, камуфлируют обычно пустоту.) Налицо злостное пренебрежение мнением читательских масс, совершенное с особым авторским цинизмом: не врубаешься? проваливай! В наше время, пожалуй, только так и можно эпатировать привычную ко всему публику.

Дав своему произведению подзаголовок «Роман с языком», Владимир Новиков распространенную негативную оценочную характеристику «филологический роман» трансформировал в позитивное жанровое определение. И явил пример жанра. И предназначен он отнюдь не для одних только филологов. Смешно представить, что, например, шпионские романы интересны исключительно шпионам, а исторические — историкам. И точно так же как исторические романы читают любители истории, так и филологический роман предназначен для тех, кто ценит свой язык и его литературное воплощение. По сути, главным героем такого романа является как раз язык — как водится, великий, прекрасный, могучий, а главное, вмещающий национальное сознание.

Тут необходимо отступление. Претензии на внимание со стороны ценителей русского языка периодически проявляют и авторы, этим языком не владеющие. Так в интервью дамскому глянцу «ELLE» некто С. Кладо (Сергей Обломов) заявил, что главным героем его романа-сказки «Медный кувшин старика Хоттабыча» является русский язык. Несчастливого главного героя на протяжении всего произведения изощренно истязают. «Хоттабыч» вовсе не филологический роман, а случай клинической филопатологии. Тем и может быть интересен специалистам. Это готовый задачник типа: «Найдите в предложении шесть стилистических ошибок». Ну сами посудите: «Накануне он до поздней ночи посещал родительскую дачу, где объяснил предкам, что нашел хорошую работу недалеко за границей и будет звонить». Или вот еще: «...избитого узника вывели репрессировать на расстрел...» В общем, не следует равнять хрен с железной дорогой.

Для читателя, привычно пропускающего сложные места, в «Сентиментальном дискурсе» имеется история трех неудачных браков филолога Андрея Языкова. Фа-

милія прочитывается как знаковая. Склонный к анализу Андрей классифицирует своих жен как жену-мать, жену-сестру и жену-дочь. Последнюю он отыскал в образцово-показательном борделе, какими их описывают лоббисты легализации проституции («Заплати налоги — и спи с клиентом спокойно!»). Умна, образованна, обаятельна — настоящая боевая подруга, какая обязательно присутствует в голливудском боевике или российском бандитском романе. Правда, спасает ее от бандюка-бойфренда не профессор-филолог, а добрый крестный отец мафии, что уже является стопроцентной литературщиной. Подруга эта больше похожа на вполне приличную учительницу (кем и является по сюжету), вынужденную торговать на толкучке турецкими шмотками и запутавшуюся в попытках устроить личную жизнь. Впрочем, перековавшаяся нетипичная проститутка легко бросает филолога, узнав о его измене. Так же легко его бросили и две предыдущие жены, обе, кстати, тоже с богатым прошлым. Вл. Новиков хорошо разбирается в женской психологии и показывает замечательные типажи от номенклатурной дочери до себе на уме полупролетарочки, но одинаково расчетливых. А вот классификация жен героя-рассказчика и его рассуждения об идеальных супружеских парах для продвинутого читателя новизны не содержат. Все это регулярно излагается на страницах глянцевого дамского журнала, да и мужские «плейбои» не отстают. Гораздо больший интерес вызывает вопрос: почему жены с такой готовностью его бросали, словно только ждали повода? А вторая жена и вовсе ушла без повода к другому, хотя и пообещала, что может когда-нибудь вернуться. Причина конечно же в самом Андрее, целиком погруженном в свою немужественную профессию. Первая жена и вовсе служила ему филологической натурщицей: «Достаточно было взглянуть на линии, особенно на переход от подмышки к груди, чтобы сообразить, как устроено все правильное и щедрое в этом мире, и язык в том числе». У него постоянный роман с языком, как у одного моего знакомого филологического доцента. Его тоже жена использовала как пересадочную станцию, ушла к другому и дочь увела. И он точно так же постоянно в разговоре сбивается на любопытные языковые случаи, на этимологию и уточнение терминов. Тем и интересен. Вот этим же в первую очередь интересен роман Вл. Новикова. После него чувствуешь себя приятно поумневшим.

«Милый Эмиль Бенвенист — он ведь хотел как лучше, когда противопоставил объективному повествованию (*récit*) этот самый *discours* — как „речь, присвоенную говорящим“, нами с тобой присвоенную в том числе. Идея хорошая — опрокинуть язык в жизнь и посмотреть, что из этого получится». Рассуждая далее и сокрушаясь о судьбе слова «дискурс», Вл. Новиков хочет, чтобы мы раскодировали название его романа. Ну да, автор всегда хочет от читателя больше, чем тот может, а читатель всегда берет у автора меньше, чем тот пытается ему отдать. Сколько человек употребляет многострадальный «дискурс», столько у него и значений. Когда же останется одно, общее для всех, то словосочетание «Сентиментальный дискурс» будет значить, возможно, нечто совершенно противоположное тому, что вложил в него Вл. Новиков. Простой пример: сто раз на дню слышим «плохая экология», прекрасно понимаем, о чем речь. А ведь экология — это наука такая особая, а эколог — ученый, а вовсе не истеричная тетка с плакатом «Долой тепловозы — причину глобального потепления!».

Вл. Новиков не язык опрокинул в стихию жизни, а, наоборот, жизнь в языковую стихию. В его романе слова, подобно людям, рождаются, вступают в различные отношения, конфликтуют, обладают характером и активно вмешиваются в события. Герою проще дать явлению имя, чем разбираться в его, явлении, сути. «Словарь новой лексики» может вспухнуть и лопнуть под напором «Сентиментального дискурса». Но западнические устремления Вл. Новикова способны отпугнуть ревнителей славянской чистоты национального лексикона. Беда новоявленной иноязычной терминологии в провокационном наличии знакомых созвучий. Скажем, вводит Вл. Новиков понятие «арrogантный», а из него так и прет «ах ты, рогатенький». Если оно и приживется, так в качестве интеллигентного ругательства. Не напишешь ведь в газетной колонке «самодовольное мелкое рогатое животное», а «арrogантный НН» — запросто. Зато «междунамие» (междунимие, междувамие) так и хочется стащить. Его и объяснять никому не надо, каждый поймет тонкий

интимный смысл. Короче говоря, если оценивать роман Вл. Новикова с точки зрения ввода в обращение новых слов, чем всегда так гордятся писатели, то он бьет все рекорды.

По-моему, очень хорошо, когда прозаики начинают писать критику, а критики — прозу. Пусть будет улица с двусторонним движением. Пусть теперь, после того, как Вл. Новиков в творческих муках заложил основы филологической романистики, кто-нибудь попробует без веских оснований обозвать чей-нибудь роман «филологическим». От него можно будет потребовать доказательств и легко уличить в невежестве, отягощенном излишней arrogance. И сделать из него гастронему (см. «Сентиментальный дискурс», гл. XV) — например, отбивную котлету. Так же как и из писателя, не уважающего Слово. Всех же студентов-филологов, до конца семестра не осиливших «Сентиментальный дискурс», немедленно отчислить за полную профнепригодность.

Виктор МЯСНИКОВ.

Екатеринбург.

*

ОТРИЦАЯ ПЛАТОНА

Вера Павлова. Линия отрыва. СПб., «Пушкинский фонд», 2000, 45 стр.
Вера Павлова. Четвертый сон. М., «Захаров», 2000, 111 стр.

Первая книга Веры Павловой «Небесное животное» — такая, какой и должна быть первая книга поэта. Она написана резко, выпукло, даже грубо. В ней названы основные направляющие и образующие. Несколькими карандашными штрихами выполнен набросок поэтического мира, обрисован его контур. Предельно кратко вся поэтика сведена к формуле, вынесенной в заглавие — «небесное животное». Небесное животное — это женщина. Женщина как центр вселенной и основа мироздания, точка предельного наслаждения и боли, и из этой точки Вера Павлова выращивает свою целую вселенную, или эту точку выращивает до размеров мира.

Название книги «Четвертый сон», с явным намеком на героиню Чернышевского, не кажется мне удачным. То, что этот сон «четвертый», понятно — четвертая книга поэта. Но сама прямая отсылка к роману «Что делать?», хотя и может найти какое-то объяснение, кажется не только не обязательной, но мешающей и лишней. Игра слов, затеянная ради игры. Другое дело — «Линия отрыва». Канцелярит, который, против своего основного значения, оказывается границей, откуда начинается свобода. Той границей, за которой «отрыв» (от жаргонизма «оторваться» — освободиться, выйти за рамки, «улететь»). Это — по делу. Это точно в стилистике книги.

Вера Павлова всегда говорит коротко — буквально все ее стихи выговорены на одном выдохе. «Если всем существом вдохнешь, / выдыха хватит на *Отче наш*». Она говорит коротко, но сказать успевает много.

В ее поэзии совершенно отсутствует даже малый намек на усилие. Говорит, как дышит. Ей как бы невдомек, что стихотворчество — это работа над словом, ей ничего не стоит сломать ритм или оставить строку нерифмованной. Не это главное, не это насущно. Слово нужно дослушать, впитать его порами кожи, распробовать его вкус. Его нужно трогать пальцами, ощущая каждую ушербинку, каждую шероховатость, тогда оно заново наполнится смыслом, тогда оно станет поэзией. Слова не выстраиваются в строки и строфы, они слипаются и срстаются. Никакого намека на внешнюю, внеположную слову структуру в ее стихах нет. Ее стихи — это фигурки из красной глины, не прошедшие обжиг, не окаменевшие, оставшиеся мягкими и податливыми. Отсутствие затверженной формы позволяет стихам прилепляться и облеплять, принимая и проникая, не анализирующий интеллект, а теплое податливое тело.

Вере Павловой не очень важно, *как* писать. Даже если она пишет «венок без магистрала» — цикл сонетов или берет форму акафиста — «Акафист грешнице», «завет-

ный дар жеста» остается неотъемлемым. Она может писать афористической прозой, верлибром или пятистопным ямбом, ее слово расковано, оно плавает в расплаве.

Стихи Павловой — это открытый мир, в котором не прекращается движение и перетекание смыслов и слов. Это мир телесный, плотский. Для того чтобы его выстроить, Вере Павловой понадобилось начать с постулата: «С начала было тело».

Мораль есть нравственность б/у,
 весьма поношенное платье.
 Я видела ее в гробу,
 она меня — в твоих объятьях.

Мораль — это внешнее правило, стертое до неразличимости. Мораль — это нравственность, приспособленная для повседневной носки. Она безнадежно мертва. Тело, соитие, вкус продольных и поперечных губ — это тот первичный изначальный опыт, с которого начинается открытие мира. Мораль — здесь раздражающая помеха, и от нее необходимо отказаться. Нравственность — другое. Нравственность начинается там, где побеждает непрекращающаяся самоотдача, непрерывное даренье себя — «Если всего себя отдаешь, / всего себя ни за что не отдашь». Плоть безгрешна, греховно его.

Стихи Веры Павловой — традиционно о любви и о смерти. Но ни такой любви, ни такой смерти в русской поэзии еще не было.

Любовь в ее стихах удивительно целостна. Нет никакого разделения, тем более непроходимой пропасти между любовью тела — Афродитой Пандемос — и любовью небесной — Афродитой Уранией. А после платоновского «Пира», где они далеко разошлись, объединить их в одно очень не просто. Но любовь одна, и соитие возможно, например «за пианино, / играя Баха, / почти не сбиваясь, / вздыхая на сильную долю», и Баха это не унижает.

Мораль (во всяком случае, та, против которой восстает Вера Павлова) — список внешних соглашений (кодекс), который устанавливается людьми и их отношения регулирует. Нравственность — это заповедь, это — внутреннее табу. С точки зрения морали — «не пойман — не вор», поскольку презумпция невиновности. С точки зрения нравственности — «не укради», и не важно, поймали тебя или не поймали, поскольку ответственность ты несешь не перед кем-то, а перед собственной совестью и/или Богом. Внешняя мораль («рутинная», по точному слову Лидии Гинзбург) порождает порнографию или, точнее, порнографический взгляд на интимное. Мораль, как поношенная одежда, прикрывает от любопытного взгляда, но, как во всякой поношенной одежде, в ней есть дырочки. А порнография и есть подглядывание. Все эти ширмочки, занавесочки, заборчики, а в них щелочки, дырочки, скважины замочные, к которым приник любопытный глазик и капающий слюной ротик. Порнография рождается там, где целью является сам субъект, а единственным желанием является самоублажение, не важно, с партнером или без.

Вера Павлова выходит на авансцену голой. Сразу — без кокетливого раздевания. Она выходит голой, как Афродита, стряхивая рутинную мораль, как обрывки пены. И все меняется. Нет никакого подглядывания и оглядывания, все явлено сразу, — и оказывается, что тело — это песнь песней о любви не к себе, а к другому. Предельная шокирующая открытость не допускает даже намека на порнографический эротизм. Это — сексуальная контрреволюция. Голое тело не возбуждает. Оно уже отдано, и нет никаких мнимых препятствий. Встречное движение на такую откровенность только одно — не взять, а отдать:

Когда бы мы могли бы
 любиться целый день
 подробно и упруго
 и к вечеру раз пять
 друг друга друг на друга,
 как пленных, обменять! —

именно «пять», а значит, каждый остался обладателем тела любимого.

Смерти как конца, как обрыва в пустоту в поэзии Павловой нет. Смерть у нее — это конец, приходящийся на середину:

...И — da capo al fine,
а если по-русски — сначала
до слова *конец* — середины
того, что уже отзвучало.

(«После молитвы»)

И продолжение обязательно последует, поскольку нет непроходимой границы между живым и мертвым:

— И что с ним стало,
дед, а дед? —
Помолчал, ответил:
— Нихт ферштейн! —
И опять умер.

Нравственность предполагает заповедь — строгий внутренний запрет. В мире Павловой вовсе не все дозволено. Например, детям видеть *этого* нельзя. И не потому, что не принято, а потому, что *это* может ранить, покалечить незакаленную, неокрепшую душу ребенка. Любовь-то страшна, она «испепелит / изнутри: торфяные пожары / под Москвой олимпийским летом».

Поразительные строки:

Если так стыдно подавать,
насколько стыдней просить?
Если так трудно умирать,
насколько трудней воскресить?

«Воскрешать» — дело Бога, и Ему может быть очень трудно. Он тоже испытывает сопротивление материала. Но если вдуматься, наверно, так оно и есть, иначе зачем Он сотворил мир? Такой взгляд на Бога настолько неожиданный, что он, пожалуй, покруче самых откровенных строчек Павловой. Воскрешение у нее становится делом и действием, но именно делом и действием Бога, а не «общим делом» человека. Отношения с Богом у Павловой строятся как отношения женщины к мужчине и к ребенку.

Нежность не жнет, не сеет,
духом святым сыта.
Что же она умеет?
Только снимать с креста.
Тут не нужна сила —
тело его легко
настолько, что грудь заныла,
будто пришло молоко.

Отношение женщины к Христу как к мужчине характерно скорее для католической традиции, но оно есть и в русской поэзии, например в пастернаковской «Магдалине», с которой интересно сравнить строки Веры Павловой. У Пастернака изображено само распятие — катастрофа, землетрясение, смерч и возглас ревности, вырвавшийся у Магдалины: «Слишком многим руки для объятья / Ты раскинешь по концам креста». У Павловой — пиета. Он мертв, мертв на три дня, но именно в этот момент Он ничем не может себе помочь, Он бессилён именно сейчас, Он почти ребенок, Ему необходима защита и забота. И Вера Павлова оказывается готова к этому. Ее строки — это молитва не словом, а грудным молоком.

Вера Павлова творит вселенную, новую, неслыханную, со своей космологией и Книгой Бытия («Первая глава» из «Линии отрыва»), со своей любовью, смертью, Богом.

Эта вселенная — женщина. Она распускается, пускает корни и соки, пахнет, благоухает. Она слеплена из красной глины. Она живая и липкая.

По сравнению с первой книгой поэтический мир Веры Павловой стал мощнее, в нем появилась настоящая плотность и энергия, и не видно пока, что может остановить живой рост этой творимой поэтом вселенной. В стихах Веры Павловой столько витальной силы, что их можно прописывать как лекарство от бесплодия, в том числе и творческого.

Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ.



ФЕЕРИИ И НАВАЖДЕНИЯ

Бруно Шульц. Трктат о манекенах. Собрание прозы. Перевод с польского [и составление] Леонида Цывьяна. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 436 стр.

«Трктат о манекенах» — это сборник уцелевших произведений удивительного польского писателя и художника Бруно Шульца (1892 — 1942). Помимо «Коричных лавочек» и «Санатория под клепсидрой» в томик вошли самостоятельные новеллы, программное эссе «Мифологизация действительности» и некоторые письма, сохранившиеся после гибели писателя. Эта книга — второе русское издание Шульца: его крупные произведения уже выходили в 1993 году в переводе Асара Эппеля¹.

О Шульце писать сложно; вероятно, поэтому критика — за редкими исключениями — кружит вокруг его не очень-то разветвленной биографии: родился в Дрогобыче, побывавшем под многими флагами, недолго учился живописи в Вене, рисовал, как прозаик дебютировал в 1934 году, в 1938-м получил «Золотой лавр» польской Академии литературы за «Санаторий под клепсидрой». Работал учителем рисования и труда в Дрогобычской гимназии. В 1942-м убит во время еврейского погрома.

Проза Шульца по сути своей обращена не к синтезу, а к анализу: эфемерные потоки, водопады смыслов, слои описаний призрачных, сомнительных и неожиданных. В ней нет интриги, нет цепкого сюжета. Истории Шульца распадаются на «множество разветвившихся путей» — бесчисленные синусоиды текста, оттенки и полутона.

«Я называю ее просто Книга, безо всяких определений и эпитетов, и в воздержанности этой, в самоограничении присутствует беспомощный вздох, тихая капитуляция перед необъятностью трансцендента, ибо никакое слово, никакая аллюзия не способны просиять, заблагоухать, охватить тем ознобом испуга, предчувствием той ненареченной субстанции, первое ощущение от которой на кончике языка не вмещается в наш восторг. Что добавит пафос прилагательных и велеречивость эпитетов этой вещи безмерной, этому великолепию беспримерному? Но читатель, читатель истинный... поймет и так... В быстром и пристальном взгляде, в мимолетном пожатии руки он уловит, переймет, распознает — и зажмурится в восторге от столь глубокой рецепции. Ибо разве под столом, разделяющим нас, не держимся все мы тайно за руки?» (перевод А. Эппеля).

Такова тональность его прозы — медленной, полной затяжных зарисовок, неясной символики, пропитанной настроениями томления и ожидания чего-то уже предпрешенного, огромного и чудесного, как озарение.

Шульц — великий иллюзионист, престижиджитатор слова. Он расцветчивает и позлащает; рисует яркие, диковинные миры — будь то феерия красок текстильной

¹ Шульц Бруно. Коричные лавки. Санатория под клепсидрой. Иерусалим, «Гешарим» — М., «Еврейский университет», 1993. Рецензия: Клех Игорь. О «Кафках» польских, чешских и русских. — «Новый мир», 1993, № 11. Что стоит отметить особо — в издании 1993 года опубликована графика Шульца: диспропорциональные фигуры, тот же, что и в рассказах, гротескно-драматический стиль... Станислав Виткевич, художник и драматург, один из зачинателей театра абсурда, называл Шульца графиком-демологом, сравнивал его драпографии с работами Гойи, Мунка, Бердслея и «неприличного художника» символиста Фелисьена Ропса.

лавки, популяции экзотических птиц, которых вдруг принялся разводить дома отец, или причудливые рисунки, «гениальные каракули» Иосифа, главного героя рассказов.

Поэтому — павлиньи веера велеречивых отступлений, сплетения метафор, тайнопись мифологических аллегорий; вычурные сравнения и фантастические образы. Его демонический талант ведет нас то в царство гризайлей, то в мир многоцветий: палитры приглушенных тонов сменяются вдруг вакханалией, взрывами цвета.

Несмотря на свою внешнюю фантастичность, произведения Шульца имеют автобиографические корни. «К какому жанру относятся „Коричные лавочки“?» — писал он Ст. И. Виткевичу. — ..Я считаю „Лавочки“ автобиографической повестью. И не только потому, что написана она от первого лица и в ней можно отыскать определенные события и переживания из детских лет автора. Это автобиография или скорей духовная генеалогия, генеалогия как *exochēn*², поскольку доводит духовную родословную вплоть до той глубины, где она теряется в мифологической неопределенности».

Автобиографическая канва прослеживается и в самом тексте. Один из главных героев — отец рассказчика Иаков, владелец текстильной лавки и безумец. Его прототипом стал отец писателя, дрогобычский купец Якуб (Иаков) Шульц, унаследовавший торговлю тканями, но потерявший рассудок и оставивший предприятие на попечение жены. Связь очевидна. Но — Иаков литературный получает в сыновья Иосифа, что приближает обоих к библейским персонажам.

Образы Шульца еще не раз будут перекликаться с Библией, хотя такие переклички не всегда исполнены почтения к источнику — например, они могут облекаться в форму гротеска. В рассказе «Весна» есть эпизод, когда герой со словами «пусть никто не дерзает угадывать Господни замыслы» собирается застрелиться. Но неожиданно у него выбивают из рук пистолет и арестовывают именем кайзеровско-королевского величества за то, что некоторое время назад ему приснился «стандартный сон библейского Иосифа», «замеченный в самой высокой инстанции и подвергнутый суровейшей критике».

Но сколько бы ни было посягательств на духовные пространства героя, он все равно полон стремления расширять их границы. Мир — доселе неведомый, затмеваемый тенью Франца-Иосифа I — предстает перед ним, жителем захолустного галицийского городка времен господства Австро-Венгерской империи, в образе альбома для марок. «Канада, Гондурас, Никарагуа, Абракадабра, Гипорабундия... Я понял Тебя, о Боже. Все это были оговорки Твоего преизобилия, первые попавшиеся слова, что пришли Тебе на ум» (перевод Л. Цывьяна).

Шульц часто берется за неопишуемые величины, изображает время и пространство как материальные субстанции. День, ночь, темнота, воздух наделяются свойствами, подвластными осязательному восприятию.

В своих произведениях писатель постоянно возвращается к теме «второй реальности», «второй материи». Смысл этого раскрывается в главах о манекенах. Вторая материя — не божественная, не Демиургом созданная, низкопробная и фальшивая — то и дело пробивается в нашу, человеческую действительность. Присутствие этих неназванных сил — и в неумном сорном цветении трав, и в лабиринте вроде бы знакомых переулков, из которого никак не выбраться, и в иллюзорности улицы Крокодилов...

Подобные наваждения, вторжения «псевдоматерии» постоянно наблюдают персонажи Шульца. Мгновение — и на глазах одержимого «прекрасным безумием» отца комната превращается в олеандровый сад. Он «видел, как из дрожи воздуха, из брожения богатейшей ауры выделяется и материализуется торопливое цветение, переливы и распад фантастических олеандров... Но еще до наступления вечера... от этого великолепного цветения не осталось и следа. Вся эта фата-моргана была всего лишь мистификацией, случаем странной симуляции материи, подделывающей-ся под видимость жизни» (перевод Л. Цывьяна).

Иосифу тоже знакомы эти проростки иллюзорной жизни, фантомы, имитации и миражи. Погружаясь в омут видений, он пытается находить в них особый, мета-

² По преимуществу (*греч.*).

физический смысл. Световой «огненный столп», проникший в комнату через окно и повиснувший в воздухе, служит сигналом к тому, чтобы «делать запасы», «набирать полные ведра этого изобилия» — и герой, ослепленный блеском, в спешке бросается рисовать — рисунки вырастают словно под чужой рукой. «Рисование это было исполнено жестокости, засад, нападений. Когда, напряженный, как лук, я, затаившись, недвижно сидел, а вокруг на солнце ярко пылали бумаги, достаточно было, чтобы пригвожденный моим карандашом рисунок чуть шевельнулся, готовясь к побегу. Тотчас рука моя, вся в судорогах новых инстинктов и импульсов, яростно прыгала на него, как кошка, и, уже чуждая, одичалая, хищная, молниеносными укусами насмерть загрызала чудище, которое хотело вырваться из-под карандаша» (перевод Л. Цывьяна).

Реальная, истинная материя, наоборот, может вдруг дематериализоваться, потерять свои свойства. В цикле «Санаторий под Клепсидрой» дважды встречается эпизод, когда герой смотрится в зеркало — и не может увидеть собственного лица. «Я подошел к зеркалу повязать галстук, но оно, словно бы сферическое, коловращаясь мутным омутом, упрятало куда-то в свои глубины мой облик. Напрасно я менял дистанцию, подходя и отдаляясь, — из зыбкого серебряного тумана не хотело являться никакое отражение» (перевод А. Эппеля).

Рассказ «Санаторий под клепсидрой» — это своего рода «надир», трагическая кульминация повествования. Лишившийся рассудка отец помещен в санаторий, где лечат возвращенным, «остановленным» временем. Навестивший его Иосиф сам попадает под влияние этого временного капкана и еле спасается от него. «Клепсидра» — это по-польски и листок-оповещение о смерти, и водяные часы — чаша с отверстиями, из которых в определенную единицу времени вытекает вода. Точно так же, капля за каплей, из отца утекает и жизнь, и здравый смысл. Не сумевший вращаться в реальность, вечно витавший «на окраинах жизни, в полуреальных сферах, на границе действительности», Иаков постепенно теряет человеческий облик, подражает то тараканам, то петуху — умирает «как бы в рассрочку». В заключительном «Последнем бегстве отца» (Шульц повторяет сюжетный ход «Превращения» Ф. Кафки) он превратится в ужасного краба, который какое-то время проживет еще в собственном доме и даже будет выходить к столу.

Идея остановившегося, вспять обращенного времени прослеживается и в других рассказах Шульца: «Додо», «Одиночество», «Пенсионер»... Герой последнего «возвращается» в детство и приходит в гимназию, чтобы заново поступить в первый класс.

Из письма Анджею Плесньевичу: «Дело в том, что род искусства, который мне ближе всего, это и есть возвращение, второе детство. Если бы удалось обернуть развитие вспять, какой-то окольной дорогой еще раз пробраться в детство, снова пережить его полноту и неохватность, — это стало бы обретением „гениальной эпохи“, „мессианской поры“, которую сулят и которой клянутся все мифологи мира. Моя мечта — „дорости“ до детства. Только тогда и пришла бы к нам настоящая зрелость» (4 марта 1936 года).

«Вторая реальность», «параллельные временные ряды», великолепная и катастрофическая «гениальная эпоха», «боковые ответвления времени», незаконные и проблематичные, как контрабанда... — Шульц блестяще оперирует любыми сомнительными понятиями и величинами. И такое высвобождение смыслов делает его прозу одним из самых волнующих и непредсказуемых чтений.

Виртуозные риторические построения, игра стилистических фигур — гиперболы, спуски и подъемы градаций, струящиеся описания — все красноречие текста подводит к сравнению этого завораживающего повествования с орнаментальностью и маньеризмом австрийского сецессиона.

И эти искусные многоголосия, изысканные полифонические партии прозы Шульца блестяще исполнены как Леонидом Цывьяном, кавалером ордена «За заслуги перед польской культурой», так и его предшественником Асаром Эппелем.

Оба упомянутых перевода настолько хороши, что их, как равные величины, сравнивать трудно.

Не так давно, аннотируя произведения Шульца, газета «Ex libris НГ» определила перевод Асара Эппеля как более аутентичный. В некотором смысле это дей-

ствительно так: его перевод имеет некоторый иноземный призывок. В тексте заметно много иностранных слов — чаще всего латинизмов или оставленных в оригинальном звучании, — в то время как выбор Цывьяна почти всегда решается в пользу русского синонима.

Приведу для сравнения несколько параллельных примеров:

«Мы с уважением вслушивались в церемониальную конверсацию...» (Эппель) — «с почтением слушали их церемонную беседу» (Цывьян); «Мать платила мыто» — «Мама уплатила за проезд» — и далее: у Эппеля «генерация» — у Цывьяна «поколение»; «бранжа» — «отрасль»; «мегаломания» — «мания величия»; «демонстрировал» — «разорвал»; «фюнебрический» — «погребальный» и т. д.

Таким образом, перевод Эппеля выглядит усложненным лексически. Но в то же время он более динамичен, витален — чаще используется экспрессивно окрашенная лексика, причем могут встречаться даже вульгаризмы, чего у Цывьяна нет никогда: в отношении русского языка он ортодоксален. К тому же это диссонировало бы с основной тональностью его текста. Перевод Цывьяна более основательный, «статуарный» — заметнее проступает элемент созерцательности, чаще встречается синтаксический параллелизм, тяжелее периоды. И пожалуй, его текст выглядит чуть ровнее по сравнению с манерным, «вычурным и нетерпеливым» вариантом Эппеля: благодаря какой-нибудь неожиданной инверсии или стяжению иногда даже складывается впечатление, что перед нами калька с иностранных синтаксических конструкций: «Мы так никогда не узнали, кто на самом деле был сей гость великолепный», в то время как у Цывьяна: «Мы так никогда и не смогли узнать, кем на самом деле был этот блистательный гость».

Еще пример из Эппеля: «Это имела быть колкая отповедь необоснованным претензиям сих господ...» (у Цывьяна: «То была резкая отповедь необоснованным притязаниям этих господ...»). Не только синтаксис, но и архаизмы делают фразу Эппеля рельефной и прециозной.

Шульца часто ставят в один ряд с великими литературными именами — все правильно, и прустовский темп (такие созерцательные фрагменты ярче в переводе Цывьяна), и кафкианская парадоксальность — стремление придать правдоподобность неправдоподобным ситуациям (здесь более убедителен Эппель)... Можно лишь сравнивать, но не ограничивать творчество Шульца какими бы то ни было уподоблениями. По этому поводу хочется повторить слова нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера: «Временами он писал как Кафка, временами — как Пруст, а иногда достигал глубин, недоступных ни тому, ни другому».

Евгения СВИТНЕВА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

+7

Эдуард Багрицкий. Стихотворения и поэмы. Составление Г. А. Морева, вступительная статья М. А. Кузмина, послесловие М. Д. Шраера. СПб., «Академический проект», 2000, 304 стр.

«Какая рыба в океане плавает быстрее всех?» — вопрошал Борис Гребенщиков в песне примерно восемнадцатилетней давности. В поэтико-ихтиологическом дерби бедный карась Олейникова на целый корпус обошел закованного в бронзу сурпинус сарпио Багрицкого. Впрочем, цена победы и поражения оказалась одинаковой: карась финишировал в жареном виде, а карп приплыл к столу дымясь, «с пушистой петрушкой в зубах». Сейчас, после затянувшегося на целое тридцатилетие обжорства за поминальным столом обэриутов, олейниковская рыбка обглодана до последней косточки.

Том Багрицкого в малой серии «Новой библиотеки поэта» вышел как нельзя кстати. Общий ренессанс советского всего, увы, не коснулся главного: потрясаю-

щих поэтов, обычно проходящих по романтико-революционному ведомству. Некоторые попытки вспомнить Багрицкого и Сельвинского, Асеева и Тихонова, впрочем, предпринимались — достаточно сослаться на содержательную статью Валерия Шубинского в прошлогоднем «Октябре», своего рода альтернативную концепцию истории советской поэзии. Но историко-(национально-, политико-)культурный контекст заслоняет истинную поэтическую ценность множества стихов, написанных на родине в 30—50-е годы и (что весьма важно) глубочайшим образом повлиявших на последующие поэтические поколения, вплоть до нынешних двадцатилетних. Как бы потом лауреаты ни отнекивались от юношеской любви к Слуцкому или Луговскому. Не говоря уже о Багрицком.

Книге, выпущенной «Академическим проектом», предпослан остроумный издательский ход — она начинается со статьи Михаила Кузмина 1933 года. Читатель, поленившийся полистать оглавление — слишком нетерпеливый или просто неопытный, — принимает кузминские рассуждения за «проникновенные слова» современного темпераментного филолога: «Убедительность и неопровержимая искренность в стихах Багрицкого кроме их чисто поэтических достоинств (умение находить простые и значительные слова, доходчивые определения, волнующие и прямые ритмы) обусловлены тем, что убеждение и мышление у него переходят в эмоции и только тогда формируются произведением искусства». Сомнения появляются лишь на третьей странице введения — автор вдруг заговорил от первого лица: «Я говорю не об общепринятой морали...»; окончательно же подвох открывается несколькими строчками ниже: «Лестное и стеснительное преимущество!» Так филологи не пишут, даже в минуты самого сильного волнения. Ленивец заглядывает в конец статьи и читает: «М. Кузмин».

Перу Багрицкого принадлежит несколько несомненных шедевров отечественной поэзии. В целом «Юго-Запад» слегка перехвален. «От черного хлеба и верной жены» будто сочинено Мандельштамом на спор. Хваленая одесская знойность немного истерична — хотя это зависит уже от геопоэтических склонностей читателя. «Контрабандисты» вдруг стали неожиданно актуальны. Лучшее в этой книге — базарное безумие «Встречи»: теперь ясно, что именно оно аукнулось в елисейских гастрономических страстях Рейна.

Эту прекрасную книгу не испортила даже чудовищная в своей упрямой нелепости статья Максима Шраера «Легенда и судьба Эдуарда Багрицкого». А могла бы.

Уильям Берроуз. Дикае мальчики. (Книга мертвых). Перевод М. Залка и Д. Волчека. Тверь, «Kolonna Publications», 2000, 290 стр.

Берроуз тоже был из романтиков — как Багрицкий. Как и автора «Думы про Опанаса», его болезненно влекли к себе: еда, животные, казни, оружие. Он тоже проповедовал спиритуальную революцию, только, в отличие от Багрицкого, обряженную не в классовую униформу политграмотного путейца, понятливого матросика, а в богемное тряпье анархиста-гомосексуала. Не буду поминать здесь разного рода дискурсантов, которые тракуют большевицкую революцию как заговор латентных гомосексуалистов, ненавидящих жизнь. Предположу лишь, что Берроузу понравилась бы как сама идея «смерти пионерки»¹, так и удивительно двусмысленные строки Багрицкого:

Ты пионер — и осенний воздух
Жарко глотаешь. На смуглый лоб
Падают листья, цветы и звезды...

Роман Берроуза называется «Дикае мальчики». Подзаголовок — «Книга мертвых». Как и многие его сочинения, она — коллаж разностильно написанных кусков, среди которых попадаются страницы удивительной красоты и тонкости (трудно сказать, кого читателю больше благодарить за удовольствие — автора или пере-

¹ В которой настырный фрейдист увидел бы подсознательное желание уничтожить особь женского пола вообще.

водчиков). Переходом от одного пассажа, от одного обрывка сюжета к другому руководит логика сновидения²: внимание, несколько расслабленное длинными рядами перечислений (частенько и без знаков препинания) вдруг хватается за какое-то слово реплику во внезапно вспыхнувшем разговоре случайное упоминание и резко наводит фокус в котором уже иная история но как-то связанная с этой неожиданностями линками да так что и не понимаешь в старой ты истории или в новой и при чем здесь Одри Фаджи Реджи и Слостосука и почему все так странно но отчетливо происходит...

Берроуз не очень любил американское общество, идею представительной демократии, необходимость продолжения рода. Его — благоприобретенной — Одессой (если опять вспомнить Багрицкого и прочий Юго-Запад) стал Танжер. Этот легендарный (на манер генри-миллеровского Парижа) город был выстроен белыми колонизаторами будто специально для того, чтобы в нем резвились записные критики цивилизации белых, певцы смуглых мальчиков и этнических наркозов от болезненного картезианского рационализма. Поучительный урок.

Странные книги издают нынче в Твери.

Сергей Рыженков. Речи бормочущего. Книга стихотворений. М., «Арго-Риск»; Тверь, «Колонна», 2000, 56 стр.

Воистину. В выходных данных книги Сергея Рыженкова значится «Москва» и издательство (известное своим отважным и бескорыстным литературтрегерством) «Арго-Риск»; перевернешь страницу — а там к златорунному «Арго» добавляется уже известная нам марширующая из города Тверь «Колонна».

Впрочем, назвать книгу Сергея Рыженкова «странный» было бы не совсем верно. На первый взгляд, она — типическая, но есть в этих стихах какая-то тихая новизна, неожиданная интонационная ясность, ехидная усмешка. Нет-нет, не подумайте, что речь идет о стихах столбиками и в рифму, я имею в виду другую «типичность» и другой мейнстрим, выросший из «второй культуры» баснословных советских времен. Мне трудно нащупать родословную поэзии Рыженкова, но думаю, что фигуры Михаила Еремина, Владимира Эрля, быть может, даже — Евгения Харитоновна будут в ней не лишними.

Сергей Рыженков — поэт, печатающийся нечасто, я бы сказал, скупой. И «речи бормочущего» отмерены скупой; на самом деле перед нами — выдержки, отрывки из бормотания (совсем не анонимного, заметьте!), выхваченные почти случайно, почти не глядя, почти автоматически. Поэт — «бормочет», для него самого его бормотания равноценны в любой момент, он *бормочет* как *дышит*. Раньше, в романтические времена, поэты *пели* как дышали. Сейчас поют на MTV.

Если поэту любые моменты его бормотания равноценны, то уж читателю, пардон, нет. Я бы извлек из «речей бормочущего» несколько эпизодов: самому полюбоваться и окружающих порадовать. Цикл «мелочи смерти», посвященный... ну, скажем, смерти Бродского. Стихотворение «1996 февраль», в котором автор демонстрирует удивительный сюжетный трюк:

кэйт моя landlady пригласила в гости свою
русскоговорящую знакомую
за три недели до ее визита был определен день
29 февраля но накануне мне позвонила маленькая
(в отличие от большой — приглашенной)
марго и очень извинялась что встреча не состоится — умер броцкий и большая марго летит в
ню-йорк на его похороны

Отметим в этой корпускуле бормотания:

1) неожиданный перенос в слове «маленькая» — совсем, казалось бы, не обусловленный поэтикой автора: ведь ни размера, ни метра с ритмом здесь быть не может. Это перенос — всхлип, перенос — замирание (как и второй, на слове «со-

² Сновидческого кино. А где еще увидишь (и запомнишь!) сон?

сто-ится»), перенос — намек на эмоцию по поводу смерти поэта и в то же время намек на самого «броцкого», большого любителя таких переносов, «анжамбеманов» (о которых идет речь во втором стихотворении цикла);

2) логику сюжета: поэт (видимо, по гранту, как нынче все почти поэты дышат и бормочут) оказался за границей (из всего цикла становится ясно — в Англии), живет в доме, хозяйка которого (в лучших традиционных представлениях русских о Западе) сильно загодя, почти как героиня Пруста, планирует визит русскоговорящей знакомой, придавая ему важное ритуальное значение. В заведенный ритуал западного общества врывается вдруг беззаконная комета — поэт, да к тому же русский. Он разрушает светские планы британцев, но не стихами, не приездом, а *отъездом* в страну мертвых, исчезновением, смертью на другом конце земли. Но ритуал побеждает: вместо визита «большая марго» отправляется на похороны.

Отмечу еще очень точный эпитет: «гражданская: индейцы негры / их тухлый крик»³ и какой-то волжский, широкий, шапка оземь, размах стихотворения «широкобуеракская».

Владимир Абашев. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь, Издательство Пермского университета, 2000, 404 стр.

Не только в Твери живут тонкие и культурные издатели. Пермь славится ими не в меньшей, если не в большей степени. Издательство Пермского университета выпустило любопытнейшую книгу пермского филолога, историка культуры и издателя Владимира Абашева — «Пермь как текст». Текст получился поучительный.

Моду на так называемую «социальную историю» ввел, кажется, англичанин Тревельян. Моду на «историю повседневности» — французские «анналисты». Великий Бродель составил потрясающее описание родной страны под названием «Что такое Франция?» — один из лучших памятников *настоящей любви к родине*. «Пермь как текст», абсорбировавшая достижения социокультурной истории, кропотливого знания источников вкупе с новейшими дискурсивными практиками, есть истинный (и непревзойденный, как мне кажется, в русской провинции) памятник любви к родным местам, к родному городу. Патриотизм должен быть именно таковым — просвещенным и талантливым.

Для того чтобы правильно понять эту книгу, надо побывать в Перми. К этому городу можно применить слова, некогда сказанные Николаем I по отношению уже к моему родному Нижнему Новгороду: «Природа сделала все, люди же все испортили». Дикий индустриальный центр в оправе одного из восхитительнейших пейзажей России, город почти без культурно-исторического центра, город с одной из худших в России транспортных сетей. Город, в котором (в отличие от того же Нижнего, да и многих других зрелищно более выигрышных провинциальных центров) культурная жизнь буквально кипит, в котором есть энергия, ощущение совершающейся истории.

Краеведение как наука меня всегда удручало своей принципиальной методологической дикостью, желтой от никотина, взъерошенной бородой записного архивиста, засаленными рукавами его пиджака, кисло-сладким запахом обсыпанного крошкой холостяка. Сочинение Абашева — своего рода альтернативное краеведение, европеец с ноутбуком, обставивший знатоков-автохтонов. Такое краеведение должно ввести как обязательный предмет в вузах.

Книга состоит из двух частей. Первая («Пермский текст в русской культуре: структура, семантика, эволюция») задает контуры и общие параметры (ширину, глубину, высоту, прочность, материал) пермского историко-культурного мифа. Вторая («Пермский текст русской литературы XX века») — демонстрирует важнейшие части этого самого пермского текста. Дочитав до конца, я, кажется, начал догадываться, почему меня всегда бросало в непонятную дрожь, когда в «Детстве Люверс» в самом начале я читал про огни Мотовилихи: «Зато нипочем нельзя

³ Помню по фильмам с Гойко Митичем.

было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным...»

С. Бернен, Р. Бернен. Мифологические и религиозные мотивы в европейской живописи 1270 — 1700 годов. О том, что знали сами художники. СПб., Гуманитарное агентство «Академический проект», 2000, 300 стр.

Борхес был бы без ума от этой книги; при одном, впрочем, условии — если бы не был слеп. Перед нами столь любезный сердцу автора «Вавилонской библиотеки» жанр — энциклопедия. Главный источник его вдохновения, стилистических особенностей его прозы, даже логики письма. Если бы еще он мог видеть картины, воспроизводящие сюжеты из этой книги!

От Абдалонида до Ясона с золотым руном, минуя Вертумна и Помону, Молоко Мадонны, Монету, найденную во рту рыбы, Смерть Святого Стефана, Эрихтония, читатель, точнее — листатель этой книги будет бродить среди отборнейших сюжетов западной культуры. Заглянет сюда и прозаик в поисках повествовательных ходов, тем паче — поэт, не постеснявшийся оснастить свои произведения аллегорическим рядом. Не чужим будет здесь композитор, даже архитектор порой забредет. Только, увы, художники, занятые воспроизводством «актуального искусства» на гранты политкорректных фондов, останутся холодны к мифологическим и религиозным мотивам. У них свой Брак в Кане Галилейской — Мифогенная Любовь Каст.

Книга переведена с английского хорошим русским языком, что — ко всему прочему — делает ее полезным для поколения MTV чтением. Требовать в каждом отдельном случае перевода с языка оригинала — древнегреческого, латыни, древнееврейского, старофранцузского — мне представляется излишним. Не излишним представляется другое: написать два слова об авторах этой компиляции, дать нормальную библиографию и примечания. Для издательства, называющего себя «Академический проект», стыдно в «Списке цитируемой литературы» печатать такие фразы: «Августин — епископ и теолог, живший в 5 веке» — или: «Исидор Севильский — испанский епископ, живший в 7 веке, филолог с энциклопедическими знаниями». Видимо, Августин попал в список литературы вовсе не за то, что был епископом, а за то, что сочинил несколько десятков книг, среди них великие «О Граде Божиим» и «Исповедь». Исидор Севильский — не филолог с энциклопедическими знаниями, а автор одной из первых средневековых энциклопедий, которая называлась «Этимология». Нехорошо.

Томас де Куинси. Исповедь англичанина, любителя опиума. Издание подготовили Н. Я. Дьяконова, С. Л. Сухарев, Г. В. Яковлева. М., «Научно-издательский центр „Ладомир” — „Наука”», 2000, 424 стр. («Литературные памятники»).

Тот же самый Борхес любил начинать эссе словами: «Я столь многим обязан де Куинси...» Так вот, я столь многим обязан Борхесу, столь многим обязанному де Куинси, что внимательно слежу за русскими изданиями последнего. Гениальному наркоману не очень-то повезло в постсоветской России (да и в досоветской тоже). Издание его исповеди опиофага, предпринятое в середине 90-х издательством «Ad marginem», отличалось скорее остроумным послесловием Павла Пепперштейна, нежели качеством перевода. Нынешнее издание... Впрочем, обо всем по порядку.

Перевод настоящего издания неплох, еще лучше подбор в нем сочинений де Куинси. Составители не стали рисковать и включили в сборник самые известные его вещи «Исповедь англичанина, любителя опиума», ее продолжение «Suspiria de Profundis», «Убийство как одно из изящных искусств», «О стуке в ворота у Шекспира». Можно было бы добавить еще «Английскую почтовую карету». Я предполагаю, что одним из приятнейших занятий гипотетического читателя этой

книги будут размышления на тему: «Что лучше — Исповедь или Убийство?» Я (не без внутренней борьбы) выбираю «Убийство».

Перед нами редкий случай того, как литературный персонаж вдруг обрел голос на страницах, принадлежащих перу другого автора, не имеющего представления о первом. «Убийство как одно из изящных искусств» — не что иное, как гипотетическая лекция, прочитанная Огюстом Дюпенем, сыщиком, сочиненным Эдгаром По. И Куинси, и По испытывали пагубное пристрастие к средствам, уводящим за границу рациональности. И тот и другой были почти безумцами. В безумии и того и другого была железная логика. Из этой логики родился жанр англосаксонского детектива.

Теперь об оскорбительном в этом издании. «Научно-издательский центр „Ладомир” — „Наука”» выпустил⁴ (по заявке) «научное» издание, справочный аппарат которого составил невежда. Ничего, кроме возмущения, не могут вызвать такие, к примеру, примечания (автор — Г. В. Яковлева): «Герцог Гиз — один из претендентов на французский престол, создатель католической лиги, организатор истребления гугенотов-протестантов в мае 1588 года. Это событие вошло в историю под названием „Варфоломеевская ночь”... 23 декабря 1589 года он был убит в приемной короля Генриха III — или: «Генрих III Валуа — король Франции... 10 августа 1589 года был заколот доминиканским монахом-фанатиком Жаком Клеманом». Неужели госпожа Яковлева не умеет считать? Неужели, сочиняя эту белиберду, она не понимала, что Гиз не мог быть убит в приемной короля, которого уже заколот Клеман? Неужели госпожа Яковлева не училась в обычной советской школе и не знает, что Варфоломеевская ночь была не в мае 1588, а 24 августа 1572 года? Неужели нельзя было заглянуть в обычный вузовский учебник по истории Средних веков и выяснить, что герцог Гиз был убит 22 декабря 1588 года, а Генрих III — 2 августа 1589 года? В том же невозможном духе сочинены и остальные примечания. Шведский король Густав-Адольф произведен в императоры. Шлезвигский город Глюкштадт⁵ в XVII веке вдруг стал местом для складов исландских товаров (скорее имелись в виду «фрисландские товары»). Английский король Карл II, оказывается, возглавлял некое «правительство», которое «пало»...

В конце концов, я столь многим обязан де Куинси, что заявляю: радость от чтения его прозы перевешивает возмущение качеством «научного аппарата».

Роберт Грейвс. Белая богиня. Избранные главы. Предисловие Х.-Л. Борхеса. Перевод с английского И. Егорова. СПб., «Амфора», 2000, 382 стр. (Серия «Личная библиотека Борхеса»).

Англосаксы действительно чемпионы по части железной логики в безумии. Думаю, это одна из причин столь пылкой любви Борхеса к литературе старой доброй Англии и Новой Англии (и, замечу в скобках, довольно прохладного его отношения к кельтским окраинам Британии — за некоторым исключением). Его страстный интеллект, своего рода «рациональное танго», требовал для поддержания постоянного огня сухих дров. Джойс казался ему несколько водянистым.

Одним из таких сухих безумцев был Роберт Грейвс. Я не поклонник ни его исторической беллетристики, ни псевдонаучных мифологических рассуждений. Идея того, что некогда была правильная Поэзия, а потом некто злонамеренный ее низверг и воздвиг алтарь поэзии неподлинной, мне чужда. Тем более (как медиовисту, занимавшемуся историей Уэльса и Ирландии) нелепой кажется историческая аргументация существования «лунной мифологии». И все же.

В безумии Грейвса есть железная логика. Она завораживает, как завораживает вид работающего механизма, сотни, тысячи, десятки тысяч раз повторяющего одни и те же движения. Например, поршней и ходунув паровозного двигателя. Только в случае Грейвса все детали сотворены из воздуха.

⁴ В многоуважаемой серии «Литпамятники», под шапкой «Российской академии наук»!!!

⁵ Название, много говорящее о способе составления примечаний в этом издании!

-3

Эдвард Дансейни. Рассказы сновидца. Предисловие Х.-Л. Борхеса. Составление и общая редакция В. Кулагиной-Ярцевой. СПб., «Амфора», 2000, 525 стр. (Серия «Личная библиотека Борхеса»).

Страсть автора «Пьера Менара» к второ- и третьестепенным сочинителям общеизвестна. В некоторых случаях она вполне оправдана — либо соображениями конструирования жизненных или литературных стратегий, либо потребностями очередной волшебной-измышленной сюжетной генеалогии⁶. Еще Борхес питал слабость к неоромантической литературе — от Стивенсона и Честертона до Майринка. При этом он умудрился не заметить Толкиена (и почти не заметить К.-С. Льюиса), зато воспеть лорда Дансейни.

Впрочем, с «воспеть» не очень-то ясно. Вступление Борхеса, предпосланное издателем к русскому изданию «Рассказов сновидца», впечатляет. Дансейни родился на свет, «возможно, для бессмертия». Его рассказы «волшебны». Но следует отметить, что этот текст был сочинен Борхесом в 30-е годы для семейного еженедельника «Очаг», где он тогда (от безденежья) вел рецензионную рубрику. Кто знает, из каких соображений он нахваливал сочинения Эдварда Дансейни: эстетических или социально-педагогических?

На самом деле «Рассказы сновидца» скучны, сны его неинтересны, слог их изложения напыщен и гремещ. Неоромантизм хорош цепкой клешней слепого Пью, безумной историософией Наполеона Ноттингхильского, втягивающей в себя пустотой Сердца Тьмы. Ничего даже отдаленно напоминающего это в книге Дансейни нет.

В. Ф. Марков. История русского футуризма. Перевод с английского В. Кучерявкина, Б. Останина. СПб., «Алетейя», 2000, 438 стр.

До знакомства с этой книгой я считал, что прогресс бывает только в виноделии. Отнюдь. Прогресс, оказывается, бывает и в филологии, точнее — в той ее части, где изучают короткую, но восхитительную историю русской литературы. Исследования здесь действительно *устаревают*; то, что лет двадцать назад казалось интересным, важным, методологически безупречным, безукоризненно фундированным, сейчас предстает в лучшем случае старомодным и несколько наивным. Ни автор, ни книга здесь ни при чем; дело именно в *прогрессе* знания и смене контекста. Издавая сейчас такие исследования, стоит особо выделить, очертить их *исторический контекст*, в идеале издать как «литературный памятник»⁷, точнее — «памятник филологической мысли». Иначе публикуемый автор выставляется эдаким анахронизмом, маркизом в пудреном парике — в кружок гогочущих парней, среди которых и неистового Виссариона можно узнать, и Мишеля Бакунина...

Все вышесказанное — о том, что в провале у современного русского читателя «Истории русского футуризма» виноват не почтенный и глубоко уважаемый автор, а издатель. Как можно было исследование, написанное более тридцати лет назад для американского читателя, спокойно и бестрепетно переложить на отечественный и издать, будто этих самых тридцати с лишним лет не прошло? Издать без основательной вступительной статьи с перечислением, что за это время было сделано в изучении русского футуризма? Что книга Маркова *действительно первая* — отсюда все ее достоинства и недостатки? Наконец, как можно было не напечатать биографии и библиографии автора?

В редакционной аннотации читаем: «Издание приурочено к юбилею автора, известного американского слависта и русского поэта, уроженца г. Петрограда 1920 г.». Вот и поздравили — на бегу изданной книгой, с подслеповатым шриф-

⁶ Яркий пример таковой — эссе «Предшественники Кафки».

⁷ Но, конечно, не так, как бракоделы из «Ладомира» издали бедолагу де Куинси (см. выше).

том, с затертыми иллюстрациями, без справочного и научного аппарата и даже без жизнеописания юбиляра.

Вадим Шершеневич. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья, составление, подготовка текста, примечания А. А. Кобринского. СПб., «Академический проект», 2000, 368 стр.

Футуристу Шершеневичу повезло с издателями неизмеримо больше, нежели «Истории русского футуризма». Изданный в малой серии «Новой библиотеки поэта», более того — открывающий ее, поэт попал в надежные руки: даты жизни указаны, тексты выверены, цитаты проверены. Несколько скомканный финал вводной биографической статьи — не в счет.

Тем очевиднее становится, насколько плохим поэтом был Шершеневич. Я не люблю слово «графомания»; точнее, для меня оно имеет скорее положительное значение — «любовь к письму»; но Шершеневич был именно скверным графоманом. Бесталанный подражатель, он автоматически (и бессознательно, конечно) передразнивал любого крупного и некрупного поэта, который привлекал его внимание. Бездарная обезьяна русской поэзии. Получалось даже не смешно.

Пастернаковское «всю тебя, от гребенок до ног, / Как трагик в провинции драму Шекспирову» он перемешал с вечно орущим ртом Маяковского и выдал невозможное:

Губами моими, покрытыми матершиной сплошной,
Берегу твое благозвонное имя.
Так пленник под грязной рубахой своей
Сохраняет военное знамя.

В этом «военном знамени» Шершеневич весь, так же как и в изумительной по идиотизму⁸ строчке: «Оголись, оголтелый мой нож!» Под грязным сиреневым сюртуком эгофутуриста Шершеневич носил большое сердце гимназиста-графомана. Сборники его стихов 1913 года назывались «Романтическая пудра» и «Экстравагантные флаконы».

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

AFTER PLATTLING. With an introduction and annotated translation by Olga Muller Cooke. Berkeley Slavic Specialties. USA, [б. г.], 69 p.

ПОСЛЕ ПЛАТЛИНГА. Введение, перевод и примечания О. М. Кук.

Анонимный сборник стихотворений «После Платлинга», написанных за колючей проволокой расположенного неподалеку от этого города концлагеря, впервые увидел свет в Баварии в 1946 году с подзаголовком «Сборник произведений, посвященный памяти мученически погибших героев за русское дело». Новое издание вышло на русском и английском языках в США на средства Гуверовского института.

Его авторы — русские военнопленные, власовцы, ожидающие экстрадиции. В Платлинге они оказались после Дахау, где американцы, нарушив свое обещание не выдавать невозвращенцев Советскому Союзу, 17 января 1946 года предприняли попытку насильственно погрузить 399 русских в эшелон, отправлявшийся в советскую зону. Заключенные забаррикадировались в бараке и попытались поджечь здание. Ворвавшись внутрь, американцы застали картину массового самоубийства: те,

⁸ И скрытому эротизму.

кто не успел повеситься или перерезать себе горло, умоляли расстрелять их тут же. Местом, куда были отправлены оставшиеся в живых, стал Платлинг. Для авторов сборника не было тайной, что их ожидает по возвращении на родину. «После Платлинга» означало на их языке «после смерти».

Тексты, вошедшие в сборник, трудно назвать поэзией. Авторы ставили перед собой другую задачу. Поэтическая форма и анонимность здесь не случайны. Авторы хотели, чтобы их последние слова не были истолкованы потомками как попытка кучки отщепенцев подвести под свое предательство идеологическую базу. Оставляя свои стихи без подписей, они считали, что приносят свои имена в жертву своим идеалам, надеялись, что их стихи превратятся в песни и лозунги.

Такова баллада «Орлы». В ней рассказывается история орлиной стаи, в которой власть захватили вороны (аллегория революции, Гражданской войны и возвышения Сталина). На орлино-воронью стаю нападают удоды, вороны прячутся, орлы побеждают и не хотят больше подчиняться воронам. Аллегория, вполне подходящая для изображения судьбы послевоенного поколения, но не совсем соответствующая случаю власовцев.

Эта «несостыковка» наряду со многими другими указывает на другой аспект, возможно не очень ясно осознаваемый авторами книги, но от этого ничуть не менее важный. Организаторы РОА не могли не понимать, что средства, которыми они пытаются спасти Россию от коммунизма и диктатуры Сталина, не только, мягко говоря, сомнительны с моральной точки зрения, но и очень ненадежны. После полного провала, в ожидании экстрадиции и казни власовцам нужно было в первую очередь ответить на вопрос «зачем?» самим себе, доказать самим себе, что у них *были* идеалы, что у них *есть* идеалы, за которые они умирают, и что эти идеалы будут жить *после* их ухода из этого мира.

Таким идеалом становится мученическая смерть за русское дело. Его определения в предисловии к сборнику 1946 года, которое воспроизведено в американском издании в качестве приложения, расплывчаты и безнадежно утопичны: «Тесное братское сотрудничество трудового народа всех русских народностей осуществит подлинную свободу каждого человека без партийного насилия и сословного гнета». Казалось бы, вопрос столь отдаленного будущего не имеет отношения к текущему моменту, но авторы сборника в мученической смерти видят для себя возможность очищения, ибо свою кровью погибшие в Дахау «омыли запятнанные грязью вражеской лжи знамена Русского Дела».

Цель авторов сборника — вопреки истории найти точку опоры и умереть достойно, подобно трагическому герою, берущему вину на себя.

Василий КОСТЫРКО.

КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА

ГЕМОРРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Мне приходилось уже писать в этой рубрике, что с прежними критериями оценки фильмов определенно пора завязывать. Исходить надо из минимума профессиональных умений, буде они у авторов обнаруживаются; довольно двух-трех полуудачных актерских работ и не совсем провальных эпизодов — и можно считать картину состоявшейся. Планка упала за пределами низко: если такая пошлость, как «Дневник его жены» утонченных Дуни Смирновой и Алексея Учителя, была по многим позициям номинирована на «Золотого овна» (правда, не получила ни одного), то «Нежный возраст» Сергея Соловьева и впрямь следует считать удачей, большой удачей. Ибо там, где у Соловьева пошлость, — он это отлично понимает и ни на что другое не претендует. И неоднократно повторял, что ему так надо: решил человек «на весь мир излить всю желчь и всю досаду» — ну и

сделал квинтэссенцию эпохи. Мне-то, положим, ясно, что Соловьев лукавит, — но он по крайней мере не делает серьезной и трагической мины.

«Нежный возраст» — случай довольно сложный, даром что картина вышла на редкость плоской даже по меркам позднего, кичевого Соловьева. Принципиальное отсутствие какой бы то ни было глубины. После «Ассы» Шевчук, помнител, сказал: такое чувство, что с двумя московскими стёбками ночь на кухне просидел... И верно. Так вот: «Нежный возраст» — это еще эклектичнее, публицистичнее и примитивнее «Ассы». Правда, уже без того энтузиазма, без того стремления, задрав штаны, бежать из комсомола. Без «Перемен требуют наши сердца». Без упоения портвейном. Без формотворчества. О каком-то едином настроении, о сколько-нибудь цельном эпизоде, о характерах и прочей архаике говорить вообще не приходится: все развалилось на кадры, картинки, реплики, очень коротенькие кусочки, которые и так постоянно приходится вытягивать внекинематографическими, чисто литературными средствами: титрами, закадровым голосом, цитатами из стихов, музыки... Даже такой оператор, как Павел Лебешев, не может придумать реальность за Соловьева — реальности в результате и нет. Нет кинематографической ткани, даже намек на визуальный образ времени: ей-Богу, никогда еще самый литературный из наших режиссеров не заставлял зрителя так жалеть о том, что он выбрал все-таки кино, а не прозу... В прозе все проще, там иногда верят на слово — в кино, хочешь не хочешь, надо выстраивать мир.

Смысл, достоверность, жизнеподобие (Соловьев любит повторять, что картина основана на подлинных историях) — все улетело в бездну. Жизнеподобия, допустим, и не требуется, реалистом Соловьев не был никогда, грех предъявлять к нему такие претензии, — но в прежних картинах хоть настроение было, что ли... Вот тут-то и начинается сложность: настроения нет, однако есть какое-то странное, не отпускающее ощущение. Почти физическое — да, в общем, и впрямь физическое. Как будто соблазнили провести ночь с чахлой, болезненной, испорченной и несчастной девочкой лет шестнадцати.

Один критик язвительно заметил, что в последней картине соловьевская любовь к молодежи плавно перетекает в педофилию — и грань здесь, в самом деле, почти неразличима. Лейтмотивом картины, символом ее остается в итоге бледное, длинное, голое и почти бесполое полудетское тело — такого тела в «Нежном возрасте» очень много, больше, чем надо. Или не больше? Может, если б его было не так много, от фильма бы вообще ничего не осталось? Голая десятилетняя возлюбленная Вани Громова («Только не трогай меня руками»); голая одноклассница, лишаящая его невинности в бассейне; все та же возлюбленная героя, но уже в качестве фотомодели; сам герой, мало чем отличающийся от возлюбленной в смысле комплекции, только росточком не вышел. Трудно понять, где тут кончается нежность и жалость и начинается похоть — похоть, впрочем, отнюдь не юношеская, а угасающая, скорее ностальгическая. Ни тебе полноценного Эроса, ни стопроцентного Танатоса, а так — что-то червеобразное.

Но именно это-то червеобразное и не отпускает, вспоминается, чуть ли не снится. У Лимонова в одном рассказе было чудное выражение — «сумрачная мокрая ласковость», вот она-то и является стилиевой доминантой соловьевского фильма. С этой же интонацией, монотонной, неизменной, разговаривают и герои — ровно, грустно, растягивая слова. Однако и это работает на мокрую ласковость (воды, кстати, тоже много: тут и совокупление в бассейне, и несостоявшееся самоубийство в ванной, и несостоявшаяся гибель в чеченской луже — чрезвычайно жидкое кино, все время хлопающее на грани всхлипа).

Про всхлип я ведь не для красного словца — в финале, честное слово, подступает смех сквозь слезы, но уже не при виде БГ, фейерверка и парада персонажей, а при мысли о том, как Соловьеву хочется устроить себе, герою и зрителю хоть подобие прежнего праздника. Ощущение такое, как будто обнищавший помещик закатывает последний бал: наскребают по сусекам остатки былой роскоши, зовет гостей, пытается веселиться... Жалко, жалко до слез — особенно потому, что все действительно очень стараются. В общем, итог последнего десятилетия российской истории примерно таков же, в этом смысле фильм Соловьева куда как точен: все очень старались, много было голых баб, музыки и пиротехники, результат поража-

ет отсутствием смысла и полной бездарностью потраченного времени... и смеяться, и плакать хочется. Не так плохо, в конце концов: ведь это слезы сострадания, а не гнева или отчаяния... Почти катарсис. Катарсис на пепелище — вообще соловьевский фирменный знак. И было бы совсем хорошо, когда б после всей этой катавасии оставался хоть вот такусенский шанс начать завтра новую, прекрасную и осмысленную жизнь. К сожалению, то, как были прожиты предыдущие десять лет и два часа, потраченные на просмотр, не дают ни малейших оснований для таких надежд. Да еще при таком герое — с которым заведомо не может случиться ничего, кроме смешной и унижительной ерунды. Какое было десятилетие, Боже мой, какие делались карьеры, какие рушились запреты, какие производились контрольные выстрелы! Этот же несчастный чмошник, Печорин нашего времени, только и умудряется то и дело получать по балде, ведя себя при этом на удивление алогично и неразумно, не демонстрируя ни единого порока, кроме медлительности, и ни одной добродетели, кроме верности своему длиннотелому и медлительному идеалу, — да и эту верность тянет объяснить какой-то леностью, сужением сознания. Навыка сопротивления у героя вообще нет: он с равной легкостью соглашается на участие в краже и на роль в загадочной торговой (?) операции, в которой от него требуется перегнать трейлер с чем-то загадочным (а вдруг с оружием?!). Не понимаю, как может такой вьюнош претендовать на какую-либо моральную правоту и тем более на мое сопереживание. Но если Соловьеву показалось, что герой нашего времени выглядит именно так, — что ж, у него были основания для такого вывода. Если бы этот туповатый тормоз не был так послушен, конформен, бледен и безволен — может, и жизнь бы его была другая. И он, и страна, и Соловьев, и кинематограф наш могли бы прийти к принципиально иному финалу. Но они пришли к тому, к чему пришли: к «Нежному возрасту». Ни одна из грандиозных возможностей которого не была толком использована.

Молодой человек Соловьева (в исполнении его сына) не имеет ничего общего с героями прежних картин нашего мэтра. Чистая функция, во всем послушная волнам, колеблемая ветром, вьющаяся по течению... Водоросль такая, анемичная и начисто лишенная подбородка. Правда, не мной замечено, что мужчина в соловьевском кино всегда страдает параличом воли — тут что «Избранные», что «Наследница по прямой», что «Асса» с придурковатым бунтарем Банананом... Но про тех можно было хоть что-то сказать, да и героиня наличествовала — идеальная, чистая девочка в исполнении идеальной, чистой Тани Друбич. С ее блуждающим взглядом, праведной ненавистью к лживому взрослому миру и пылким хотением того, чего не бывает. Очень хорошо, что Соловьев, кажется, наконец выполз из-под обаяния этого неотразимого типажа — сразу, впрочем, подпав под обаяние бледной неразличимой травинки (в каковой роли выступает Е. Камаева). Так и к лучшему: по крайней мере без притязаний на чистоту и светлость...

Список претензий к этому фильму, по идее, можно бы длить бесконечно: прежде всего — уж больно шаблонны, словно из дурного анекдота взяты его персонажи. Толстый предприимчивый мальчик по кличке Милая Жопа (смешно, жуть) — впоследствии «новый русский»; бандит, цветисто рассуждающий о том, что он не бандит, а альтернативный государственный; школьница-давалка, которая если гибнет — так уж непременно оттого, что ее чечен на лестнице порвал. Тут же и военрук-патриот, с болью кричащий о том, как мы просрали третью мировую войну (удручающе плоская, почти булдаковская роль великолепного С. Гармаша). И дедушка-летчик. И родители-шестидесятники, которые опять же все «просрали». Тема просранности, просранства, в картине доминирует — как, впрочем, и тема Жопы, возникающая с пугающей регулярностью. Французский парфюмер контрабандой вывозит фекалии из России, чтобы использовать для изготовления элитного парфюма. Тут, кстати, у Соловьева (или его сына — сценарий писали вдвоем) некоторая непрописанность, провис: почему именно из России? То ли русские фекалии обладают какими-то особыми свойствами (потому что все всё просрали), то ли использование французских фекалиев во французском же парфюме запрещено «Гринписом», то ли французские очень дорогие, а русские — вози не хочу: в общем, гэг работает только тогда, когда он тщательно замотивирован и натянутость его неочевидна. Некоторой неоднозначностью отличается единственный персонаж,

словно пришедший из ранних фильмов Соловьева, — одноклассник героя, Вани Громова, подавшийся работать в зоопарк. Этот мальчик наглядно иллюстрирует, в чем разница между просто чудачком (про которого Соловьев снимал раньше) и чудачком с большой буквы «М», на котором взгляд его сосредоточился теперь. Но по-прежнему этот юннат редко и ненадолго.

Есть и еще один штамп, в плену которого нестареющий романтик Соловьев продолжает пребывать: только раньше это выглядело смешно, а теперь опять-таки трогательно до слез. Создатель «Нежного возраста» и поныне убежден, что молодым быть очень нелегко. Что молодой человек по определению чист, хрупок, бескомпромиссен, честен. Что мир перед ним — тоже по определению — виноват. Был такой штамп раннеперестроечного кино: родители нам лгали, поэтому теперь мы будем резать сиденья в метро. Картина даже была у «митька» В. Голубева: «Я не говно, а генетическое последствие». Жизнь доказала обратное: ввали родители или не ввали, преподавали в школе обществоведение или нет — а количество подонков в обществе неизменно, меняются только самооправдания. Родители героя не вызывают ровно никаких эмоций. Главное же — ну не понимаю я, с чего ему так нелегко быть молодым. Все к его услугам. Возможностей — веер. Здоров, не считая детской черепно-мозговой травмы. В армию не берут. Общественная жизнь не задевает его ни в какой степени — нам не явлено ни одной ее приметы, словно не было ни путча, ни дефолта: так, занесло героя (по его же инициативе, вопреки сопротивлению врачей!) на чеченскую войну, где артиллерия бьет по своим. Опять-таки обалдеть, какая свежая метафора. Ну и что ж он такой кислый-то? Может, опять общество виновато или все-таки сказывается роковое падение в барабан в младенческие годы?

Мне вообще с подросткового возраста, с подвалов в «Комсомолке» на эту тему тошно говорить и слушать о проблемах «поколения». Нет никакого поколения, если мы имеем дело с личностью.

Нет ничего отвратительнее «типичного представителя», который обречен вляпываться только в те ситуации, которые обусловлены хронологически: работает по найму у «новых русских», летает в гости в Париж, участвует в бандитской разборке, попадает в Чечню... Онегин у Пушкина не попадал ни на Кавказ, ни в декабристы, ни в арзамасцы — и все-таки выражал время; Громов у Соловьева словно сполз с газетной страницы — и все равно временем в картине не пахнет. Или это тоже особенность персонажа, героя нашего времени — его полная обособленность от любых общественных страстей?

Кто ему виноват, этому молодому? Один друг-кинокритик высокопарно кричал в телефон: «Старик, это фильм о ранней усталости мужчин НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!» Мужчины нашего поколения, возможно, действительно устали — от непрерывного выживания, от социальных катаклизмов, от политической неопределенности, от клановости, царящей в искусстве, от снижения планки, столь заметного везде... И все-таки, смею думать, мужчины нашего поколения в массе своей ничего еще толком не сделали — хотя жить им выпало в условиях куда более комфортных, чем отцам и дедам. И никакого сочувствия к этой ранней усталости у меня нет — потому что и в этой ранней усталости они виноваты. Лишние люди бывают всегда, это не худшие люди, и добро бы Соловьев повел разговор о том, что нашим временем не востребованы порядочность и интеллект! Вопрос спорный, но по крайней мере есть что обсуждать. Так ведь в «Нежном возрасте» не об этом речь.

В сердце немного света —
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта —
За новой спускаться в ад, —

поет в финале БГ, и с диагнозом, выставленным в первых двух строчках, я совершенно согласен. Но вот об аде у Гребенщикова какое-то очень странное представление. То у него «пахнет ладаном из ада», то источник вдохновения и энергии размещается опять-таки в аду... Похоже, что и Соловьев, заставляющий своего Громова

ва постоянно задаваться вопросом: «Что такое элизиум?», представляет себе рай, сиречь элизиум, именно так — как обитель бледной немочи; да и с чего бы попал в обитель блаженных этот его конформист и растяпа в чистом виде, циник притом?

Что делать этому человеку в наше время, спросите вы? А что ему делать влюбое время? И чего ради давать такому герою имя бунтаря и правдолюбца из «Палаты № 6»? Положим, ощущение дурдома налицо, да ведь чеховский Громов был самым нормальным в этом дурдоме — тогда как соловьевский персонаж, хоть убейте, куда больше напоминает мне того тихопомешанного с кроткой улыбкой, который так гордился редким орденом...

То-то и обидно, что и соловьевский растяпа, и большинство блистательных авантюристов, и интеллектуалы, и манипуляторы, и даже «новые русские» — все к началу нового века пришли примерно к одному результату. Иллюзии лопнули у всех, все разочарованы, всем смешно и плакать хочется. Катастрофически не попав в героя, в эмоцию Соловьев попал. И на том спасибо.

Правда, смысл жизни, который открылся герою в финале, как-то подозрительно не нов. Он обретается... сказать где? Правильно. Да и какая любовь еще возможна в элизиуме? Только такая, без слов, без страсти, без надрыва — «сумрачная мокрая ласковость». Только не трогай меня руками. Не трожь, увяну.

И вот я думаю: весь этот смысловой ряд к чему-то ведет, к чему-то привязан... Смесь постыдного и смешного, анально-фекальная тема, благодарные слезы облегчения в конце... Бог мой! Вот он, диагноз эпохи, в которой кровь и фекалии слились в один поток: геморрой нашего времени. Помнится, у одного питерского прозаика герой, страдающий этим недугом, с такими же просветленными слезами вставал с очка...

Может быть, это и впрямь примета времени — полное отсутствие героя и вся симптоматика геморроя?

Ну, тогда спасибо Сергею Александровичу за диагноз. Мы-то думали, это копец... Но от геморроя, слава Богу, еще никто не умирал.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*О наших взаимоотношениях с религией, религиозные сайты в Интернете —
Православие, Католичество, Иудаизм, Ислам*

Нынешний обзор будет содержать минимум комментариев и авторских оценок, это будет скорее не обзор, а развернутая справка — речь пойдет о сайтах, посвященных религии. «Сдержанность» обозревателя в данном случае прошу отнести не к его «воинствующему атеизму», а к уверенности, что эта сфера жизни — глубоко личное дело каждого. Религия, как мне кажется, объединяет людей изнутри, а не извне (с помощью общественных институтов и установлений). Я только позволю себе несколько наблюдений насчет самой культуры нашего обращения к религии.

Культура эта, честно говоря, производит сегодня удручающее впечатление. На всех уровнях. От отношения к религии как к новой моде (знаковым в этой ситуации мне кажется кокетство, с которым молодые женщины носят свои крестики поверх одежды); от отношения к собственной религиозности, своей воцерковленности как к получению индульгенции (на эту мысль наводит вид массивных золотых крестов на распахнутых загорелых грудях братков). До использования людьми публичных профессий (актерами, кинорежиссерами, литераторами, политиками) религиозности как составной своего публичного имиджа; здесь, прошу прощения за отказ от эвфемизмов, религиозность выставлена на продажу уж совсем откровенно. До попыток разного рода идеологов превратить религию в некую внешнюю силу, в часть политики. Здесь религия заменяется некоторыми ее чисто внешними

атрибутами, обслуживающими личные представления идеолога о религии, и соответственно, оторванные от целого, они легко укладываются в нынешние построения, скажем, теоретиков нетерпимости к иноверцу, к инородцу, легко используются в поддержании пафоса разъединения, противостояния.

Есть и комичные для стороннего глаза аспекты этой проблемы — каждый день в метро я читаю на рекламном щите буквально следующее: «Иисус Христос — Бог. За подробностями обращаться по адресу...» (визитная карточка какой-то из протестантских деноминаций).

Как я понимаю, проблема культуры отношений с религией всегда была проблемой непростой. И, видимо, поэтому сложилась когда-то и стала общепринятой нормой (во всяком случае, мне очень хочется думать, что общепризнанной) этика поведения религиозно мыслящего человека в обществе, исключая, например, ситуации, когда кого-либо хватили бы за грудки с вопросом, какой же ты русский, если ты не православный. Приведу только одно высказывание, сделанное человеком страстным, борцом и проповедником по натуре и даже литературному дару и тем не менее признающим нормой именно такую этику поведения религиозного человека. Я говорю об Александре Солженицыне, рассказавшем в мемуарах о своем смущении при подготовке публичного выступления на темы религии: «Все годы я инстинктивно избегал прямо говорить о вере: и нескромно и оскорбляет чуткий слух: негоже декларировать веру, но дать ей литься беззвучно и непроверяемо. А вот сейчас — подошёл момент, нужна речь именно на религиозную тему».

И вот обзор сайтов на эту тему.

Наибольшее количество сайтов, посвященных религии в русском Интернете, — естественно, православные. И похоже, что самая удобная страница для захода на эти сайты — это страница апортовского каталога на сервере «Россия-Он-Лайн» в разделе каталога «Религии — Христианство» (<http://catalog.aport.ru/rus/themes.asp?id=503>). Это краткий тематический обзор христианских сайтов с гиперссылками, что-то вроде путеводителя по каталогу. Вот несколько цитат из этого путеводителя (гиперссылки я, естественно, заменил на открытые):

«В основе догматики, богослужения, церковного строительства и веры каждого христианина лежит Библия, или Священное писание (<http://catalog.aport.ru/rus/themes.asp?id=5080>). Она состоит из иудейского Ветхого Завета и исключительно христианской части — Нового Завета (в него входят 4 Евангелия, повествующие об Иисусе Христе, Деяния Апостолов, Послания Апостолов и Апокалипсис). В соответствующем разделе нашего каталога вы найдете не только полные компьютерные версии текстов Библии на русском и других языках (<http://www.serve.com/irr-tv/russian/bible/index.html>) с возможностью поиска по текстам, но и Толковый русский Библейский словарь (<http://home.ptt.ru/bible-dictionary>), где имеется пояснение любого слова, имени, понятия в русской канонической Библии. Система Яндекс предоставляет возможность поиска заданных слов среди стихов Синодального перевода Библии (http://www.comptek.ru/arcadia/yand_rbible.html). Можно ознакомиться с трудами Общества исследователей Слова «Тайна Писания» (<http://www.opening.narod.ru>), в которых параллельно тексту некоторых книг Нового Завета независимые исследователи предлагают разъяснение смысла используемых слов и речевых оборотов».

Я ограничиваюсь здесь ссылками на различные сайты, не характеризуя и не описывая каждый из этих сайтов, по причинам очевидным: религиозных сайтов в Интернете очень много.

После краткой справки о христианстве идет описание собственно православных сайтов:

«Исчерпывающую официальную информацию о жизни Церкви можно узнать на сервере Московского Патриархата Русская Православная Церковь (<http://www.russian-orthodox-church.org.ru/>), на сайте Русское Православие (<http://www.ortho-rus.ru/>). Новости религиозной жизни, статьи, интервью, обзоры об истории и сегодняшней жизни церкви широко представлены на православном информационном сервере Русское Воскресение (<http://www.voskres.ru/>)... Кроме того, темы других православных ресурсов продиктовали необходимость разбить их на

несколько подрубрик. „В помощь верующим” (<http://catalog.aport.ru/rus/themes.asp?id=5081>) — подрубрика, где собраны в своеобразную библиотечку сайты, содержащие книги и статьи (<http://www.wco.ru/biblio>) по православной тематике, описание обрядов (<http://www.wco.ru/biblio/books/levash1/main.htm?mos>) Православной Церкви, церковные календари (<http://www.ai.x-atom.net/calender/prazdnic.html>), рассказы об азах православия (<http://www.ugansk.ru/tropinka>) (о правилах поведения в храме, смысле заповедей и таинств, молитвенном правиле и исповеди), коллекции ссылок (<http://www.spasi.ru/>) на православные ресурсы Интернета и проч.

Подрубрика „Православная жизнь стран и регионов” (<http://catalog.aport.ru/rus/themes.asp?id=5082>) позволит вам получить информацию „из первых рук” о жизни близких и далеких от Москвы храмов и приходов...

Христианские монастыри и храмы (<http://catalog.aport.ru/rus/themes.asp?id=4105>) представлены в каталоге в основном православными храмами России. О них рассказывает виртуальный сборник монографий (<http://temples.rio.ru>). Визитной карточкой столицы можно считать ресурсы Монастыри Москвы (<http://www.prbank.msk.su/~milura/monks>), Православные храмы Москвы (<http://www.deol.ru/inform/inform/hram.htm>), официальный сервер резиденции Московского патриарха Свято-Данилова монастыря (<http://sdm.infomos.ru/>). Достаточно солидно представляет себя Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (<http://www.lavra.spb.ru/>), что в Санкт-Петербургской епархии. И уж никто не откажется посетить милую русскому сердцу провинцию — заглянуть в храмы больших и малых российских городов.

К сожалению, последняя фраза не содержит гиперссылки. И поэтому в добавление к цитируемой здесь справке я привожу ссылку на сайт «Православие. Православная страница Николая Ардабьевского» (<http://www.spasi.ru/>), поместивший на отдельной странице (<http://www.spasi.ru/refer/index.htm>) свой каталог православных страниц в Интернете. Здесь представлены ссылки на сайты более тридцати епархий, а также — на сайты храмов Москвы (более двухсот) и Петербурга. Одним этим каталогом содержание сайта «Православие» не исчерпывается — на титульной странице значится множество разделов; ну, например, открыт доступ к интернетовской версии православной газеты «Община — XXI век: православное обозрение» (главный редактор А. И. Огородников) или, скажем, вывешен список содержащейся на сайте библиотеки, в которой представлены Аврелий Августин, Николай Бердяев, Игнатий Брянчанинов, прот. Сергей Булгаков, В. В. Бычков, игумен Вениамин (Новик), Н. В. Гоголь, А. А. Захаров, архиепископ Иоанн (Шаховской), Ансельм Кентерберийский, Константин Костюк, Александр Кырлежев, Иоанн Кутепов, Н. С. Лесков, А. Мень, отец Сергей (Федоров), священник Георгий Эдельштейн и другие, а также «УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (8 июня 1988 года)» и «УСТАВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (16 августа 2000 года)» (я привожу имена в том виде, как они представлены на сайте).

Продолжим цитирование апортовского путеводителя:

«В разделе Персоналии и официальные организации (<http://catalog.aport.ru/rus/themes.asp?id=4101>) помимо упомянутого уже официального сайта Московского Патриархата есть ресурсы отдельных митрополий, учебных заведений, готовящих священнослужителей, сайт Института перевода Библии (<http://www.ibtnet.org/moscow/index.htm>)...

Целый ряд ресурсов рассказывает об отдельных деятелях церкви и представляет их труды. Возглавляет плеяду биографический сайт, посвященный Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II (<http://www.russian-orthodox-church.org.ru/pa2.htm>). А еще — митрополит Сурожский Антоний (<http://www.metropolit-anthony.org.ru/>), протоиерей Александр Мень (<http://www.amen.org.ru/>), дьякон Андрей Кураев (<http://kuraev.vinchi.ru:8101/>), дьякон Алексей Маркевич (<http://www.chat.ru/~markevich>), протоиерей Всеволод Чаплин (<http://www.geocities.com/capitolhill/7530/indrus.html>) — вот далеко не полный перечень богословов, о которых можно узнать посредством Интернета».

Все вышеперечисленное относилось к православию. Что же касается католицизма, то окном в интернетовский мир католической церкви можно считать сайт **Римско-католическая церковь в России** (<http://www.catholic.ru/>). Здесь собраны ссылки не только на русский, но и европейские сайты (Польша, Эстония, Германия, Испания, Италия, Франция и т. д.). Здесь же открыт доступ к выходящей в России католической газете «Свет Евангелия».

Для знакомства с сайтами, посвященными иудаизму, лучше всего зайти на **«Jewish.ru» — страницу Федерации еврейских общин России** (<http://www.jewish.ru/>), содержащую сведения о еврейских традициях, законах, философии, истории. Отсюда открыт доступ к текстам священных книг. Ну и, разумеется, здесь собрано множество ссылок на родственные сайты.

Адреса некоторых из них с очень краткими сведениями о содержании я привожу ниже:

«Маца — хлеб веры (<http://www.matza.ru/>). История и „рецепт“ приготовления мацы. О законах и обычаях праздника Песах.

Ханука — еврейский праздник (<http://www.chanuka.ru/>). История праздника. Описание заповедей и традиций в отношении Хануки и комментарии к ним.

Маханайм — еврейский культурно-религиозный центр (<http://www.machanaim.org.il/>). Книги, статьи и лекции по иудаизму, сионизму, еврейской религиозной философии. Текст Торы с комментариями. Еврейский календарь и праздники. Дискуссионный форум.

Московская хоральная синагога (<http://www.corbina.net/~synrus>).

История московской религиозной общины. Еврейский календарь. Телефоны еврейских организаций Москвы. Выпуски вестника Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России „Да“. Ссылки.

Интересующимся исламом я бы порекомендовал все тот же агамовский каталог-путеводитель, расположенный на странице **«Религия — Ислам»** (<http://catalog.aport.ru/rus/path.asp?id=114>).

Вот небольшая часть содержащейся там информации:

«Коран (http://www.belarus.net/koran/koran_1.htm). Тексты сур и их хронологический порядок.

Ислам — история, постулаты, священные тексты (<http://www.chat.ru/~mamont4/Islam.htm>). История развития и распространения религии. Перевод Корана. Основы учения шариата. Сведения о суннитском традиционалисте Ал-Бухари. Сборник хадисов и изречений Аллаха. Подборка ссылок. Иллюстрации мечетей Самары и Ново-Усманово, Мекки и Медины.

Суфийский орден Ниматуллахи (<http://www.postman.ru/~dervish>). Сведения о суфизме (пути духовного совершенствования в Исламе) и Ордене Ниматуллахи (Щедрость Аллаха). Биографии лидеров Ордена. Библиография книг о суфизме. Суфийская музыка (формат RA). Поэзия Руми, Хафиза, Саади, Джами, Ибн Аль-Фарида, Ибн Аль-Араби, Джавада Нурбахша, Н. Гумилева. Словарь суфийских терминов. Галерея. Ссылки.

Ислам-city — каталог мусульманских ресурсов (<http://islam.lemur.ru/>). Материалы об учениях Суннизм и Шиизм. Коран и комментарии к нему. Архив ПО: программа обучения обряду намаза, заставки, арабские шрифты. Книги издательского дома „Бадр“: „Источники Корана“, „Священные сады“ и др. Подборка ссылок.

ISLAM.RU — независимый исламский информационный канал (<http://www.islam.ru/>). На сервере действуют следующие разделы: „Вопросы веры“, „Библиотека“, „Пресс-клуб“, „Культура и искусство“, „Новые мусульмане“, „Путь Мудрецов“, „Чайхана“, „Виртуальный магазин“, „Ислам и наука“.

Мусульманин — страница семинариста духовно-теологического исламского университета (<http://www.dk.ru/islam>). Новости исламского мира. Об Исламе, Коране, хадисах — вопросы и ответы. Книга „Молодежь и нравственность“. Фотоальбом. Архив. Рассылка. Форум.

Мекка — место паломничества к святыню Кааба (<http://www.prbank.ru/~milura/makkah>). Сведения о городе, мечетях, храмах и Каабе».

По-видимому, один из самых полных и представительных исламских сайтов в Интернете — это **Ислам — публикации и материалы** (http://www.kcn.ru/tat_ru/religion/islam). Материалы на тему: мир мусульманской культуры, Коран и законы шариата. Сведения о Татарстане. Информация о великих людях ислама.

Этот сайт открыт на сервере Казанского государственного университета, имеет множество страниц. Вот содержание только одного раздела этого сайта **Исламская цивилизация** (http://www.kcn.ru/tat_ru/religion/islam/civilization/index.htm): «Краткая история Ислама», «Мир мусульманской культуры», «Арабы и викинги», «Мусульмане — Европе»; из подраздела **Люди**: «Пророк Мухаммед...», «Абу Ханифа — основатель одного из четырех мазхабов в Исламе», «Мухаммад Идрис аш-Шафии — основатель мазхаба, носящего его имя», «Ахмад ибн Ханбал — ученый, основатель мазхаба, носящего его имя», «Малик — основатель мазхаба, носящего его имя», «Имам Бухари — суннитский мухаддис (собиратель хадисов)», «Абунасыр Мухаммед Аль-Фараби — поэт, естествоиспытатель, математик, медик, философ и музыкант», «Ибн-Сина (Авиценна) — ученый, философ, врач и поэт», «Абу Хамид Аль-Газали — философ» и другие; из подраздела **Культура**: «Ислам и образование», «Две Святые мечети», «Мусульманская архитектура в Индии», «Эффективность и расцвет Исламской цивилизации в нашу эпоху», «Веймарский институт (Германия)», «Мусульманские школы в США», «Ислам в западной литературе» и другие.

Эта справка, разумеется, не может претендовать на полноту в представлении религиозных сайтов Интернета. В нашем обзоре не упомянуты протестантские сайты (правда, их, видимо, не так много в русском Интернете), буддийские, индуистские, ламаистские и прочие; никак не представлена каталожная информация, собранная Апортом в каталожном подразделе **«Религии — Атеизм»** (последний подчас действительно чисто религиозное явление). Да и список православных или мусульманских сайтов здесь далеко не полный. Задача этого обзора была скромнее — дать адреса, с помощью которых каждый интересующийся мог бы начать собственное знакомство с религиозными сайтами в Интернете.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Антология литературного авангарда XX века. В переводах Виктора Лапицкого. Под редакцией Б. Останина. СПб., «Амфора», 2000, 294 стр., 5000 экз.

В книге представлены французы и американцы: Раймон Руссель, Антонен Арто, Жорж Батай, Морис Бланшо, Жюльен Грак, Ален Роб-Грийе, Роберт Кувер, Брайан Олдис, Анджела Картер, Уолтер Абиш, Майкл Бродски, Кэти Акер. Лапицкий составил книгу из переведенного им в 80 — 90-е годы и не настаивает на антологичности своей антологии: «Состав сборника во многом случаен; он отражает, с одной стороны, мои (меняющиеся) вкусы (ничто не делалось на заказ), с другой — превратности опять же моей жизни». А также, добавим от себя, — вхождение в наш культурный обиход этих имен на протяжении последнего десятилетия.

Дональд Бартельми. Шестьдесят рассказов. Перевод с английского и послесловие А. Пчелинцева. СПб., «Симпозиум», 2000, 544 стр., 5000 экз.

Впервые на русском языке собрание рассказов одного из основателей «школы черного юмора» (в этом ряду обычно называют еще Пинчона, Дж. Барта и Данливи), известного американского писателя Дональда Бартельми (1931 — 1989).

Андрей Бычков. Ловец. Избранная проза. Послесловие Виктора Топорова. М., Издательство «Независимая газета», 2000, 303 стр., 3000 экз.

Новая книга московского прозаика — «болезненно простодушные и вызывающе не модные (ностальгирующие по стилистике второй половины 70-х) тексты разных лет» (Б. Кузьминский).

Алексей Дидуров. Записки XX — XXI вв. М., «Гуманитарий», 2001, 238 стр., 450 экз.

Новая книга московского поэта — стихи 1996 — 2000 годов, автобиографическая и лирическая проза (разделы «Детство Казановы» и «Записки»), эссе о современном искусстве и его творцах, в частности, о рок-музыкантах и поэтах (раздел «Герои кабаре»), публицистика (раздел «Лица Века»).

Олег Ермаков. Запах пыли. Роман, рассказы, повесть. Екатеринбург, «У-Фактория», 2000, 627 стр., 5000 экз.

Классика 90-х: роман «Знак зверя» и цикл рассказов «Зимой в Афганистане». А также повесть «Вариации».

Владимир Жаботинский. Самсон назорей. Библейский роман. М., «Текст», 2000, 349 стр., 5000 экз.

Первое издание в России романа русского писателя и публициста, одного из отцов современного сионизма Владимира Евгеньевича (Зеева) Жаботинского, написанного им в 1927 году.

Бахыт Кенжеев. Золото гоблинов. Романы. М., Издательство «Независимая газета», 2000, 624 стр., 3000 экз.

Два романа: уже известный читателю роман «Младший брат» и новый — «Золото гоблинов», «абсолютно новорусский... Америка, перестройка, путч, новая Россия, финансовые пирамиды, Интернет и прочая гадость. Японская фирма „Хавангила” и картинки „где седеющий интеллигентный негр совокупляется с козлом”» («Книжное обозрение»).

Николай Климонтович. Последняя газета. Романы, рассказы. М., «Вагриус», 2000, 444 стр., 5000 экз.

Новая книга известного прозаика — циклы рассказов «Фотографирование и другие игры», романы «Дорога в Рим» и «Последняя газета».

Жан Кокто. Собрание сочинений в трех томах с рисунками автора. Том 1. Проза. Поэзия. Сценарии. Составление, предисловие, комментарии Н. Бунтмана. М., «Аграф», 2001, 448 стр., 3000 экз.

Первый том трехтомника, задача которого (трехтомника) — представить творчество Жана Кокто во всем его многообразии: проза, поэзия, драматургия, литературная критика и теория искусства, графика, сценография и т. д. В первый том вошли крупные прозаические произведения «Двойной шпагат», «Ужасные дети», «Белая книга» в переводах Н. Шаховской; подборка поэм и стихов в переводах С. Бунтмана, А. Парина, Н. Шаховской; сценарии «Кровь поэта», «Орфей», «Завещание Орфея» в переводах С. Бунтмана. Тексты иллюстрированы графикой Кокто.

Наше «Знамя» 1931 — 2001. Антология. М., «Знамя», 2001, 640 стр., 1000 экз.

Антология, выпущенная редакцией «Знамени» к семидесятилетию существования журнала. Публикации начинаются очерком Артема Веселого «Далекое зарево» (1933, № 2), стихами Иосифа Уткина, Владимира Луговского и Семена Липкина и завершаются выступлениями лауреатов журнала 1993 — 2000 годов. Среди авторов Гроссман, Паустовский, Платонов, Симонов, Ахматова, Твардовский, Казакевич, Пастернак, Евтушенко, Астафьев, Конечный, Шаламов, Трифонов, Мартынов, Нагибин, Искандер, Ермаков, Кушнер, Бродский. «70 лет — это многие сотни номеров. Десятки тысяч журнальных полос. Вот почему, составляя антологию, мы вынуждены были ограничиться только стихами и короткими прозаическими произведениями — в надежде, что вещи крупные — от „Сталинграда“ („В окопах Сталинграда“) Виктора Некрасова до „Русского леса“ Леонида Леонова, до романов Юрия Тынянова, Ильи Эренбурга, Веры Пановой, повестей Александра Бека, Павла Нилина, других прославленных „знаменцев“ — читатель без труда найдет в любой библиотеке» (от редакции).

Ален Роб-Грийе. Собрание сочинений. Дом свиданий. Романы. Рассказы. Составление и предисловие О. Акимовой. СПб., «Симпозиум», 2000, 492 стр., 5000 экз.

В первый том многотомника (предполагаемое количество томов издательством не обозначено) вошли романы «В лабиринте» (перевод с французского Л. Коган) и «Дом свиданий» (перевод В. Молота), киноман «В прошлом году в Мариенбаде» (перевод В. Румянцевой), рассказы из цикла «Мгновенные снимки» (перевод С. Реентенко), статьи из сборника «За новый роман» (перевод О. Акимовой).

Ихара Сайкаку. Пять женщин, предавшихся любви. Новеллы. СПб., «Азбука», 2000, 288 стр., 8000 экз.

Избранное классика японской литературы XVII столетия. «Любовь, пот, грязь, труд, болезни, обыденная смерть, ловеласы, похожие на своего европейского собрата Дон Жуана, женские уловки, порочность, алчность мелких торговцев — пестрые судьбы жителей средневекового города, уложенные в короткие новеллы, — таковы стиль и суть прозы Сайкаку» (из аннотации «Книжного обозрения»).

Федор Сологуб. Собрание сочинений в 6-ти томах. Том 1. Тяжелые сны. Роман. Рассказы. Составление Т. Прокопова. Вступительная статья С. Соложенкиной. М., «Интелвак», 2000, 664 стр., 3000 экз.

Начало второго в России издания собрания сочинений Сологуба — первое вышло в 1913 — 1914 годах.

Георг Тракл. Полное собрание стихотворений. Перевод с немецкого В. Летучего. М., «ФАЗИС», 2000, 192 стр.

Издание стихов знаменитого австрийского поэта, «романтика, символиста, экспрессиониста, позднего импрессиониста, предтечи сюрреализма» («Книжное обозрение»).

Евгений Чириков. Зверь из бездны. Поэма страшных лет. Минск, «ТетраСистемс», 2000, 368 стр., 4000 экз.

Второе — первым было пражское, 1926 года — книжное издание романа о Гражданской войне Евгения Николаевича Чирикова (1864 — 1932), известного в России на рубеже веков писателя и драматурга, в 1920 году ставшего эмигрантом.



Гастон Башляр. Земля и грёзы воли. Перевод с французского Б. М. Скуратова. М., Издательство гуманитарной литературы, 2000, 384 стр., 10 000 экз.

Четвертая книга пенталогии Башляра, посвященной Поэтике Стихий (название пятой книги, продолжающей тему четвертой, будет «Земля и грёзы о покое»). «Перед

читателем — состоящее из двух книг четвертое исследование, посвящаемое нами воображению материи, воображению четырех материальных стихий, которые философия и науки древности, как и продолжающая их алхимия, ставили в основу всего. В наших предыдущих книгах мы попытались подвергнуть классификации и изучить в глубину образы *огня, воды и воздуха*. Осталось исследовать образы *земли*» (Г. Башляр).

Владимир Глоцер, Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. М., «Б. С. Г. — Пресс», 2000, 196 стр.

Одно из самых заметных литературоведческих событий 1999 года — художественно-документальное повествование о Хармсе, написанное исследователем его творчества Владимиром Глоцером на материале устных рассказов вдовы поэта. Мария Дурново, на долгие годы исчезнувшая из поля зрения историков литературы, была найдена Глоцером в Латинской Америке. Первая публикация книги состоялась в «Новом мире» (1999, № 10).

Юрий Карабчиевский. Воскресение Маяковского (филологический роман). Эссе. Составление, подготовка текстов, комментарии и предисловие Сергея Костырко. М., «Русские словари», 2000, 384 стр., 2000 экз.

Собрание литературно-критической эссеистики Юрия Аркадьевича Карабчиевского (1938 — 1992) — филологический роман о Маяковском, все опубликованные при жизни эссе с внесением последующей авторской правки, заметки о литературе, сохранившиеся в архиве писателя. Интересующимся творческим наследием Карабчиевского полезно знать, что недавно в Интернете открылась его персональная страница, представляющая самый полный сегодня свод его текстов (http://novosti.online.ru/magazine/povuyi_mi/arhiv/karab/titul.htm).

Права человека и религия. Хрестоматия. Составитель и научный редактор игумен Вениамин Новик. — М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001, 496 стр.

«Данный сборник содержит статьи американских авторов о праве, религии, их взаимоотношениях, о правах человека в религиозной сфере. В некоторых статьях рассматривается возможность религиозного обоснования концепции прав человека в христианской традиции Западной Европы, обсуждается американский, российский опыт в области прав человека, а также понимание права в мусульманской и иудейской традициях»; «...во второй половине XX века выяснилось, что само христианство имеет богословское обоснование концепции прав человека, которая лежит в основе современного права. Этим основанием является богоданная (неотчуждаемая) свобода человека, откуда следует необходимость уважения к человеку, ограничения контроля разного рода общественных и государственных институтов над человеком» (от составителя).

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Арион», «Время МН», «Время новостей», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Знамя», «Известия», «ИНДЕКС/Досье на цензуру», «Интеллектуальный Форум», «Карикатура», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», «Московские новости», «НГ-Наука», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая литературная Тверь», «Огонек», «Октябрь», «Посев», «Русская мысль», «Русский Журнал», «Сегодня», «Субботник НГ», «Урал», «Фигуры и лица»

Василий Аксенов. Проба на либерализм. Читая Леонтовича. — «Московские новости», 2001, № 3, 16 — 22 января <<http://www.mn.ru>>

Цивилизованный гражданин должен быть консервативным либералом и одновременно либеральным консерватором, а женщина — *либерал по определению*.

Али Вячеслав Полосин. Почему я стал мусульманином? Размышления бывшего священника о религии. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру». Инициатор издания — *Index of Censorship*. Учредитель — Фонд защиты гласности. Главный редактор Наум Ним. Редактор русского издания Елена Ознобкина. 2000, № 11 <<http://index.org.ru>> E-mail: edit@index.org.ru

От православия — через Верховный Совет РСФСР — к исламу.

Лев Аннинский. Минуты роковые. Судьба и поэзия Бориса Чичибабина. — «День литературы», 2001, № 1, январь <<http://www.zavtra.ru>>

«То был Борис Чичибабин неудобен как сиделец-лагерник, теперь стал неудобен как бывший пионер, веривший в серп и молот и ничего этого не растоптавший...»

Владимир Арнольди. Математические эпидемии XX века. Современное формализованное образование в математике опасно для всего человечества. — «НГ-Наука», 2001, № 1, 24 января <<http://science.ng.ru>>

Впечатляющая цитата — *не по теме*: «Перед казнью Лавуазье просил палача, показывая народу отрубленную голову, заглянуть ему в глаза: если Лавуазье подморгнет правым (но не левым) глазом, то будет сделано научное открытие, которое следует сообщить академии: голова мыслит хоть еще несколько секунд. Но палач ответил: научное открытие этого эксперимента будет нулевое — если бы они ничего не чувствовали, то мне не приходилось бы каждую неделю менять корзины с обкусанными краями, куда эти головы падают.»

Виктор Астафьев. Два рассказа. — «Знамя», 2001, № 1 <<http://www.infoart.ru/magazine/znamia>>

«Трофейная пушка» и «Жестокие романсы» — новые рассказы известного прозаика. См. также его рассказы «Пролетный гусь» («Новый мир», 2001, № 1), «Пионер — всем пример» и «Венку судят» («Москва», 2001, № 1).

Белла Ахмадулина. Блаженство бытия. — «Знамя», 2001, № 1.

Много новых стихов, в частности — поэма о Боткинской больнице.

Ален Безансон. Опасен ли Путин? — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4350, 25 января <<http://www.rusmysl.ru>>

Самоуверенный французский интеллектуал уверяет, что — в России? — появилось понятие «православизм».

Сергей Беликов. Бритоголовая культура. — «Литературная Россия», 2001, № 4, 26 января <<http://www.litrossia.ru>>

Скины в России: среда, идеология, тенденции, правила поведения.

Александр Беляев, Денис Денисенко. Кто убил Робин Гуда революции? — «Субботник НГ», 2001, № 2, 20 января <<http://saturday.ng.ru>>

Сын знаменитого красного командарма, индолог Григорий Григорьевич Котовский считает, что убийство его отца в 1925 году организовали *свои* — «скорее по линии Троцкого, чем по линии Сталина».

Андрей Быстрицкий (abystr@hotmail.com). Журналисты как захватчики. — «Известия», 2001, № 9, 20 января <<http://www.izvestia.ru>>

«Многие средства массовой информации, в том числе и в России, подавали все происходящее [на Чешском общественном телевидении] как схватку за демократию, поединок свободолюбивых журналистов и деспотов, пытающихся удавить хрупкий росток вольной прессы. Однако такой взгляд по меньшей мере однокбок. <...> Чешское общественное телевидение финансируется гражданами, а это означает, что каждая чешская семья платит определенную сумму, на которую это самое телевидение и живет. Понятно, что все чехи не могут прямо управлять телевидением. Поэтому по закону специальный совет, который формирует парламент, утверждает руководителя телевидения. Этот самый совет и назначил [Иржи] Годача. Таким образом, воля общества была выражена самым недвусмысленным и, главное, законным образом. Однако некоторым журналистам не понравился новый руководитель. Они решили, что он стеснит ту их свободу, которую они — по неизвестной причине — называют свободой слова. По существу, журналисты послали к чертовой матери своего хозяина — чешское общество. <...> Впрочем, по большому счету все это внутреннее дело чехов. Хотя лично мне не вполне понятно, как теперь общество собирается управлять этими журналистами. Ведь отныне тридцать забастовщиков будут делать в эфире все, что они сочтут нужным. Никто из тех, кто имеет взгляд хоть незначительно отличный от их, не сможет даже появиться в эфире. <...> Собственно, только теперь, после поражения общества в схватке с журналистами, возникла настоящая угроза свободе слова».

«Век XX и мир»: урановый могильник российской интеллигенции. Интервью Глеба Павловского Русскому Журналу. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr>

Вот интересный момент большой и содержательной беседы: «В нашей истории много таинственных моментов. Так, в 90-м году демократы готовили покушение на Горбачева, которое реально состоялось, и его осуществил соответствующий случаю крестанутый демократ вроде убийцы Кирова. [*Русский Журнал*: „Человек с обрезом на Красной площади?“] Да. Покушение готовилось в Ленинградском народном фронте. Легко понять, как это могло повернуться и к чему это могло привести. Или, допустим, другой сюжет, с Юрием Афанасьевым, который, в сущности, едва не возглавил демдвижение вместо Ельцина. Это не обязательно, кстати, было бы более мягким вариантом — просто многое произошло бы по-другому. Так, наверное, вместо двойного Белого дома могла бы быть бойня радикалов — и раньше, не в 93-м, а где-то в 91 — 92-м году...»

См. также интервью Глеба Павловского «Я отношусь к людям как к черным ящикам...» («Огонек», 2001, № 1). И тут не могу удержаться от цитаты: «[Чубайс] — это такой сентиментальный робот. Железная конструкция, некоторые суставы которой сильно заржавели, а внутри есть комнатка, где горит лампадка у портрета Окуджавы и по стенкам развешаны репродукции из „Огонька“ эпохи гласности».

Ср. с мнением Михаила Золотоносова: «Глеб Павловский — фигура масштаба даже не Петруши Верховенского, а „князя“ Ставрогина, эманулирующего из себя „бесов“...» («Московские новости», 2001, № 3).

Александра Веселова. Татьяна полюбил Онегин. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/gazbor>>

«Применительно к „Онегину“ часто звучат призывы прочитать его медленно и внимательно... Кажется, уже настала пора попробовать прочитать его быстро, увлекаясь интригой и боясь заглянуть в конец...»

Александр Вальцев. У дуальности в плену. О загадках русской души. — «Литературная учеба», 2000, № 5-6, сентябрь — декабрь.

Полемика с Михаилом Эпштейном о русской двойности и европейской троичности. «Смысл освоения огромной территории для России был в том, чтобы *отдать* ее Европе...»

Сергей Гандлевский. «Искусство над справедливостью смеется...». Беседу вел Олег Дозморov. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 1 <<http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural>>

«Внесу наконец ясность, а то мне этим малописанием уже начинают глаза колоть. „Сочиняю“ я как среднестатистический стихотворец, то есть все время, когда, конечно, голова свободна. Я *записываю* редко, а печатаю — и того реже...» Здесь же напечатана рецензия Евгении Извариной на книгу Сергея Гандлевского «Порядок слов. Стихи, повесть, пьеса, эссе» (Екатеринбург, «У-Фактория», 2000); см. об этой книге рецензию Марии Ремизовой в апрельском номере «Нового мира».

Александр Генис. Пятая годовщина. Загробная жизнь Бродского. — «Время MN», 2001, № 14, 27 января <<http://www.vremyamn.ru>>

«Бродский — поэт не смерти, а умирания... Энергично начатое стихотворение теряет себя, как вода в песке. Стихи преодолевают смерть, продлевая агонию. Любая строка кажется последней, но по пути к концу стихотворение, как неудачный самоубийца, цепляется за каждый балкон».

Владимир Гольшев. Великое возвращение. — «Завтра», 2001, № 2, 9 января <<http://www.zavtra.ru>>

«Может, пришла пора говорить не „старая вера“, а „русская вера“, не „старый обряд“, а „русская церковная традиция“?..»

Данила Давыдов. От примитива к примитивизму и наоборот. — «Арион». Журнал поэзии. 2000, № 4 <<http://www.infoart.ru/magazine/arion>>

Русская наивная поэзия XX века.

Олег Давыдов. Мелкоскоп. Художник Илья Кабаков как провозвестник эпохи реставрации. — «Фигуры и лица», 2001, № 2, 25 января <<http://faces.ng.ru>>

Деконструируя Илью.

Олег Дарк. Письма темных людей. Из цикла очерков о людях литературы и андеграунда. — «Кулиса НГ», 2001, № 1, 19 января <<http://curtain.ng.ru>>

«Нина Садур очень боялась, когда ее трогают за волосы...» Начало очерков см. в «Кулисе НГ» от 4 февраля, 4 марта и 22 сентября 2000 года.

Ефим Динерштейн. Кронос требует жертв. — «Интеллектуальный Форум», № 2. Электронная версия в «Русском Журнале»: www.russ.ru/ist_sovr/if_8.html

Катков («Московские ведомости»), Суворин («Новое время») и Воронский («Красная новь»). «Когда человек решается быть „проводником государственной идеологии“, это всегда чревато жизненной драмой. От слишком многого приходится отказываться, слишком многим жертвовать...» А быть проводником идеологии *антигосударственной* ничем таким не чревато?

Андрей Дмитриев. Дорога обратно. Повесть. — «Знамя», 2001, № 1.

Повесть о няне с лагерной татуировкой на предплечье.

«Долли зря прикинулась бедной овечкой». Беседу вела Мария Трещанская. — «Известия», 2001, № 14, 27 января.

Профессор Сергей Савельев, доктор биологических наук, заведующий Отделением эмбриологии НИИ морфологии человека РАМН, считает, что пресловутое клонирование есть не научный опыт, а грандиозная мистификация — *ни о каком клонировании речь пока не идет, этому препятствует ограничение делений клетки*, а когда/если оно будет преодолено, клонирование станет никому не нужным, ибо тогда человек смог бы жить вечно.

Всеволод Емелин. Песни аутсайдера-II. Из стихов, написанных недавно. — «Кулиса НГ», 2001, № 1, 19 января.

«Смерть ваххабита»: «Плачут горькие ивы, / Наклонившись к земле, / А проходят талибы / — Салют Абдулле! / В небе плачет навзрыд / Караван птичьих стай, / А в гареме лежит / Вся в слезах Гюльчатай. / И защитников прав / Плач стоит над Москвой, / Тихо плачет в руках / Константин Боровой. / Плачьте, братцы, дружной, / Плачьте в десять ручьев, / Плачь, Бабицкий Андрей! / Плачь, Сергей Ковалев! / Нет, не зря, окелев, / Он лежит на росе, / Ведь за это РФ / Исключат из ПАСЕ». Предыдущую подборку стихов, «написанных после 1991 года», см.: «Кулиса НГ», 2000, № 17, 29 декабря.

Катя Ермолова. Место человека в конце света. — «Фигуры и лица», 2001, № 1, 11 января.

К 50-летию смерти Платонова (ум. 5 января 1951). Говорит Андрей Битов: «[Платонов] так чувствовал и жалел живое, что одно восчувствие его уровня становится переносимым для каждого. Поэтому все от Платонова отделяются. Чтобы жить день за днем — не несчастную и не счастливую — свою собственную приватную жизнь». И дальше: «Конец света — это не секунда. Может, и так произойдет, но бояться этого не надо. Но конец света будет эпоха протяженная и долгая. Ее надо прожить достойно».

Заявление Русского Обще-Воинского Союза (РОВС). — «Посев», 2001, № 1. Электронная почта: <http://www.webcenter.ru/~posevru>

«20 декабря [2000 года], в день очередной годовщины создания большевицких катральных органов, Русский Обще-Воинский Союз (РОВС) — старейшая антикоммунистическая организация России, направляет городским властям г. С.-Петербурга свое обращение с требованием убрать памятник Феликсу Дзержинскому, установленный в 1981 году на Шпалерной улице и до сих пор оскверняющий центр северной столицы Москвы» (и. о. Председателя РОВС Начальник Отдела РОВС в России Иванов Игорь Борисович).

Сергей Земляной. Двойные агенты Бога и дьявола. Российская болезнь провокаторства. Уроки на будущее. — «Фигуры и лица», 2001, № 2, 25 января.

Золотой век провокаторства: 1 марта 1881 — 7 ноября 1917; по неполным подсчетам, в различных политических партиях и организациях действовали около 6,5 тысячи завербованных агентов или штатных сотрудников политического сыска. А государство все равно рухнуло.

Михаил Златковский. <Юбилейный, специальный выпуск газеты «Карикатура», посвященный 100-летию со дня рождения Бориса Ефимовича Ефимова, Героя Социалистического Труда, действительного члена Академии художеств СССР и России>. — «Карикатура». Информационный бюллетень карикатуристов № 4. Сентябрь — октябрь 2000 года. Номер делали: Юрий Акопян, Михаил Златковский. Тираж 100 экз. Адрес редакции: 103811, Москва, Костянский переулок, 13, М. Златковскому. E-mail: zlatkovsky@mail.ru

Карикатурист М. Златковский (кстати, главный художник «Литературной газеты»), как и в прошлом году, заявляет решительный протест против повторного выдвижения профессионально несостоятельного карикатуриста Бориса Ефимова на соискание Президентской премии (2001 года). Стиль протеста: «Вокзальная б<...>, рывшаяся всю жизнь в дерьме политических провокаций, учит нас жить и работать...»

Михаил Золотоносов. Жизнь по законам стаи. — «Московские новости», 2001, № 3, 16 — 22 января.

Для питерского критика есть только один, по его выражению, «луч света» в журнальной прозе 2000 года — роман Людмилы Улицкой «Путешествие в седьмую сторону света» («Новый мир», 2000, № 8, 9), *настоящий роман с занимательным, хотя и очень тяжёлым, сюжетом и яркими героями, хотя и с издержками «сентименталистского» метода.*

Андрей Zubov. Почему в России нет государства. — «НГ-Сценарии», 2001, № 1, 17 января <<http://scenario.ng.ru>>

«В государственно-правовом смысле государство Российское было уничтожено большевиками осенью 1917 г., но в плане инструментально-практическом СССР оставался государством — хотя и преступным, так как то, что полагали *bonum publicum* его вожди, являлось преступлением и против народа России, и против всего мира. В первые же года два ельцинского президентства государство Российское прекратило свое существование и в инструментально-практическом смысле. <...> Декоммунизация обернулась для России переходом от преступного государства к отсутствию государства. Возможно, в высшем, Божественном смысле это действительно плата за наш выбор в революции и гражданской войне, за то, что мы предпочли тогда беззаконие закону, смирились с преступными целями советского государства и с энтузиазмом соучаствовали в его преступлениях. И наше нынешнее безволие, и наше согласие на зло, без которых приватизация государства не могла бы состояться в России, свидетельствуют в пользу этого предположения. Но в плане практическом десятилетнее отсутствие государства катастрофично для России...»

Фазиль Искандер. Козы и Шекспир. Рассказ. — «Знамя», 2001, № 1.

«Я еще помню те времена, когда в Чегеме куры не знали курятников и на ночь взлетали на деревья...»

Владимир Л. Каганский. Мнимый путь. Россия=Евразия. — «Неприкосновенный запас», 2000, № 5 <<http://www.infoart.ru/magazine/nz>>

«Евразийство — доктрина геософская...»

См. в качестве иллюстрации манифест евразийского движения, составленный Александром Дугиным, «Евразия превыше всего» («Завтра», 2001, № 5, 30 января).

Ирина Каспэ. Кода восхода. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«[Вера] Павлова не физиологична — она мечтательна...» О ее новых книгах — «Четвертый сон» и «Линия отрыва» — см. также рецензию В. Губайловского в настоящем номере «Нового мира».

Юрий Клев. Записки о войне. Предисловие Игоря Клева. — «Дружба народов», 2001, № 1 <<http://www.infoart.ru/magazine/druzhiba>>

«Наступил новый год. Вслед за немцами прошли румыны, за ними калмыки. Калмыки уходили семьями, с малыми детьми и женщинами. Мальчишки лет десяти с карабинами, у взрослых клинки, винтовки, автоматы. По дороге грабили (в основном снимали полушубки — морозы были уже под 30 градусов). Где-то числа 15 января уже в сумерках входит в [ставропольское] село сотня. И поют „Москва моя...“. Люди — из хат. Какая-то пожилая женщина выскочила из калитки, к передовым — „Наши пришли!“ — и обмерла. Колонна по три всадника, и у всех трех первых погоны — донские казаки! Посередине командир, по бокам два немецких офицера (так во всех их сотнях было). Казак наклонился к женщине, толкнул к калитке: „Не спеши, мать! Это еще мы идем. Ваши послезавтра будут“. Ночью устроило офицерье в школе пьянку. В заключение поднялся командир сотни, произнес последний тост: „За здоровье Иосифа Виссарионовича!“ Казаки рывкнули „ура“, немцы сидели как затравленные волки среди собак. Наутро сотня ушла на запад...».

Вадим Кожинов. Миф о 1941-м годе. — «Завтра», 2001, № 4, 23 января.

Против неадекватного (в духе известной концепции В. Суворова) толкования одного существеннейшего документа, составленного 15 мая 1941 года, это — «Соображения по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками», написанные (от руки) тогдашним заместителем начальника оперативного управления Генерального штаба А. М. Василевским и отредактированные заместителем начальника Генерального штаба Н. Ф. Ватутиным.

Владимир Корнилов. Удача. Из цикла «Занимательное литературоведение». — «Литература», 2001, № 4, 23 — 31 января <<http://www.1september.ru>>

Беседа девятнадцатая — о знаменитых поэтических дебютах. Предыдущие статьи см. — 1995, № 28, 32, 38, 42; 1996, № 1, 7, 13, 21, 31, 39, 42, 46; 1997, № 9, 19, 27; 1998, № 11, 36; 1999, № 16.

Дмитрий Кузьмин. <Выпуск «Литературного дневника» от 14 января 2001 года> <<http://www.vavilon.ru/diary>>

Жестокие размышления в связи с новой литературной премией для молодежи — имени погибшего в девятнадцать лет поэта и эссеиста Ильи Тюриня. «Я держал в руках его книгу — наряду с проходными юношескими стихами в ней есть стихи, свидетельствующие о совершенно недвусмысленном таланте, не обещание будущих стихов, а уже написанные настоящие стихи. <...> Но, как и у [Ивана] Коневского, художественное качество этих стихов не обеспечивает им литературной перспективы. В них не содержится зародыш нового языка, из которого что-то по-настоящему значительное может развиться в будущем (не важно, в творчестве этого автора или совсем других). <...> Поэзия уходит дальше (не становясь, разумеется, лучше — просто меняясь, открывая новое, неизведанное). И в этом смысле имя Ильи Тюриня — плохой, неудачный ориентир для молодых авторов. Нужно писать хорошие стихи, и Тюрину это иной раз удавалось, — это очень много, но этого мало. Нужно писать такие стихи, которые открывают новые пути. <...> Я не хочу бросить ни малейшей тени на память одаренного погибшего юноши. Мне только кажется, что этой памятью пользуются недолжным образом».

Илья Кукулин. Съел? — «Ex libris НГ», 2001, № 4, 1 февраля <<http://exlibris.ng.ru>>

Владимир Сорокин — писатель буквально понятого тропа, все его тексты построены на одном приеме — наглядной реализации иносказания. В «Пире» («Ad marginem», 2001) писатель работает с гастрономическими тропами, но критик рекомендует ему написать книгу на основе русских пословиц и поговорок, например, «Семь раз отмерь, один отрежь», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей»...

А вот Михаил Золотоносов («Московские новости», 2001, № 9) обнаруживает в каннибалистском «Пире» Сорокина не только авторские комплексы и толстый автопародийный слой, но еще и *интегральный образ современности*: «Я имею в виду, во-первых, реализованное им буквальное воплощение метафор как итог сползания жизни на более примитивную стадию, во-вторых, усугубившуюся жестокость, ставшую стилем повседневно, в-третьих, абсурд и немотивированность событий, смысл которых остается загадкой. Человек оказывается „пищей“ на чьем-то пиру, словно кому-то не хватает блюд из человечины. <...> Бессмыслица „Голубого сала“ осталась позади, Сорокин оказался не блюдом для гурманов стиля, а ангажированным современностью публицистом, а его книга — зеркало российской действительности, отражение в котором отвратительно точно в той мере, в какой отвратителен оригинал».

Михаил Кураев. Ключи от «Миргорода». Записки читателя. — «Литературная газета», 2001, № 3, 17 — 23 января.

Первый поворот ключа: «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба» — повести о любви. Второй поворот ключа: «Вий» и «Повесть о том, как поссорился...» — повести о нечисти.

Ольга Кушлина. Доля соби в чем. — «Неприкосновенный запас», 2000, № 6.

Как будет по-русски *private life, private stock*? Бродский говорил, что «самое [его] счастливое время — после отъезда из России и до того дня, когда дали „нобелевку“»; расплатой за мировое признание стал отказ от приватного, «частного», существования.

Александр Кушнер. Возвращение. — «Московские новости», 2001, № 1-2, 3 — 15 января.

К 110-летнему юбилею Манделштама: «Когда утверждают, что Россия бескорыстно и страстно предана стихам, хочется сделать оговорку: больше всего в России любят трагическую судьбу поэта».

См. также *феноменологическое исследование* Игоря Воротникова «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» («Урал», 2001, № 1) — разбор известного стихотворения.

Лев Левинсон. Все еще сверхъестественное право. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру», 2000, № 11.

Цитата: «Сегодня наступление клерикализма и разрушение тем самым основ конституционного строя — проблема несравненно более значимая, чем отдельные притеснения верующих и их объединений». Еще цитата: «Правовое поле давно пора вовсе очистить — конечно, не методами Пол Пота (курсив мой. — А. В.) — от религиозных

организаций». Странно, что автор вообще счел эту дикую оговорку необходимой, не правда ли?

Алексей Любомудров. Церковность как критерий православности явлений культуры. — «Литературная учеба», 2000, № 5-6, сентябрь — декабрь.

Дифференциация определений «религиозный», «христианский», «православный», «церковный»: православным произведением может считаться только такое, художественная идея которого включает в себя необходимость воцерковления для спасения.

Давид Маркиш. Статья Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля. — «Октябрь», 2001, № 1, 2 <<http://www.infoart.ru/magazine/October>>

Если герой — Бабель, то почему он — Гросман? А если он — Гросман, то почему он — Лютов?

Владимир Мирнев. <Ответ на анкету «ЛР»>. — «Литературная Россия», 2001, № 4, 26 января.

«За деньги можно купить себе самую престижную литературную премию...» Какую же именно — *за деньги*? Государственную в области литературы и искусства? Пушкинскую? Солженицынскую? *Smirnoff*-Букеровскую? Антибукеровскую? Аполлона Григорьева? Андрея Белого? «Северную Пальмиру»?.. А-а, наверно, Шолоховскую?

Олег Михайлов. «Я ненавижу интеллигенцию...». Беседу вел Сергей Луконин. — «День литературы», 2001, № 1, январь.

«Я считаю его [Франко] глубоко положительным человеком».

Аполлон Мусатов. Памятник зайцу установлен! — «Фигуры и лица», 2001, № 1, 11 января.

«[Памятники — это] островки, указывающие на возможность счастья», — говорит прозаик Андрей Волос, участник торжественного открытия в Михайловском памятника тому самому Зайцу, что 175 лет назад перебежал дорогу Пушкину.

Андрей Немзер. Сами с усами. — «Время новостей», 2001, № 14, 29 января <<http://www.vremya.ru>>

«А Щедрин привил-таки русской интеллигенции глумовское самосознание...» *Неюбилейная* статья к 175-летию М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). «И зачем нам Щедрин, если есть Виктор Пелевин? С той же „фельетонной“ хваткой, с тем же презрением к „глуповцам“, с той же двусмысленностью <...>, с той же убежденностью в фиктивности всего сущего (только называется это не „призраки“, а „большая лажа“). С той же сюжетной неряшливостью».

Вениамин Новик. Христианская основа либерализма. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру», 2000, № 11.

Либерально-правовое государство *неестественно*, но это именно та неестественность, которая и делает нас людьми. «Этически демократия является политической реализацией любви к ближнему» (Т. Г. Масарик).

Олег Павлов. В безбожных переулках. — «Октябрь», 2001, № 1.

Повесть о детстве, написанная ясно и просто. (См. о ней рецензию Марии Ремизовой — «Независимая газета», 2001, № 29, 17 февраля.)

Сергей Панферов (Тверь). Стальные грозы и железные дожди. — «Новая литературная Тверь», 2001, № 1 (10), 6 января. Приложение к газете «Тверская жизнь», 2001, № 3, 6 января <<http://www.tverlife.tver.ru>>

«В стальных грозах» Эрнста Юнгера (1895 — 1998) и «Железный дождь» Виктора Курочкина (1923 — 1976) — в *названиях* этих произведений о войне выражена тотальность, которая много, если не все, определяла в XX веке.

Марк Печерский. Спор немецких историков: между памятью, прошлым и историей. — «Интеллектуальный Форум», 2000, № 3 <www.russ.ru/ist_sovr/if3_mp.html>

Знаменитый, вызвавший международный резонанс, спор немецких историков 1986 — 1987 годов — первый со времен окончания Второй мировой войны по-настоящему откровенный разговор об эволюции взрастивших нацизм политических и социальных идей, о большевизме и европейском фашизме, о смысле истории. Почему именно в период отступления немецкие солдаты демонстрировали чудеса доблести и упорства, а офицерский корпус — завидное тактическое мышление, которого ему недоставало в другие времена? Американский сериал «Холокост» (1979) и немецкий — «*Heimat*» (1984): почему две полярные трактовки истории вызвали почти одинаковый энтузиазм у немецких телезрителей?

Лев Пирогов. Хочу, чтобы больно и некрасиво, или Кто станет классиком русской литературы в XXI веке. — «Ех libris НГ», 2001, № 3, 25 января.

Эти достаточно/недостаточно провокативные тезисы для обсуждения на Антибуке-ровском *литературном обеде* (московский ресторан «Серебряный век», 25 января) напечатаны также в «Независимой газете» (2001, № 11, 24 января).

См. также беседу с Львом Пироговым в «Русском Журнале» (<http://www.russ.ru/krug>), в частности, о том, что «роман — это не кентавр. Это строгий жанр: кровь, любовь, тапочки и диван. „Хождение по мукам“, „Унесенные ветром“, „Тихий Дон“ — романы. А „Мастер и Маргарита“ или, извиняюсь, „Кентавр“ — нет...».

Михаил Поздняев. Человек-отшельник: возможно, будущее за ним. — «Огонек», 2000, № 48, декабрь <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

Говорит композитор Владимир Мартынов: «Период истории, в который мы вступаем, я называю информосферой — то есть была культура, был долгий процесс напряженного понимания мира, а теперь понимание все дальше выносится за скобки, нас лишь информируют. Слушая новости, человек не может ни повлиять на них, ни всерьез с ними корреспондироваться, он может от них получать лишь стрессы. Почему я должен обязательно знать, что происходит на другом конце мира? Даже грубее скажу: почему я должен знать, что сегодня произошло в Чечне? Триста лет назад я бы никогда об этом не узнал. И что, я стал бы меньше, чем я есть?! Иван Карамазов говорил о слезинке ребенка, но кто сегодня способен понять его терзания? Какая слезинка ребенка — вы что?! В условиях информосферы осознанию реальности не остается места, это надо четко понять. И не подключать новые информационные каналы, а блокировать...»

Григорий Померанц. Вера и свобода. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру», 2000, № 11.

Возрождение Германии и христианские демократы. Митрополит Антоний Сурожский и универсальность Православия.

Поэты — меценатам. [Открытое письмо]. — «Известия», 2001, № 12, 25 января.

Ахмадулина, Бек, Вознесенский, Евтушенко, Кирилов, Кушнер и другие поэты обращаются к *деловому сообществу* с призывом поддержать уникальный журнал поэзии «Арион». С этим полностью согласен генеральный директор ММВБ А. В. Захаров, чьи ответные размышления напечатаны в этом же номере газеты.

Ришар Робер. Письменный текст в период революционных перемен. Перевод Марии Эдельман. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr/other_lang>

Статья из «*Esprit*» (Paris, 2000, № 262): «Электроника превращает письменный текст из материи в род энергии. Подверженный искажениям, перемещениям и копированию, текст ныне лишен своего особого места в пространстве — книги, библиотеки... Через некоторое время мы все можем очутиться в мире Оруэлла, где историческая правда существует в виде множества версий, и каждая из них меняется в зависимости от текущих обстоятельств».

См. также статью Андрея Новикова «Станет ли Интернет СМИ?» («День литературы», 2001, № 1).

Рукописи горят! Алла Андреева о «Странниках ночи», арестах, допросах и разрыве с Фондом Даниила Андреева. Беседу вел Геннадий Ситенко. — «Литературная газета», 2001, № 1-2, 10 — 16 января.

«Я думаю, „Странники ночи“ [Даниила Андреева] могли бы стать третьим романом в таком ряду, как „Доктор Живаго“ и „Мастер и Маргарита“... И там была совершенно необыкновенная Москва. Такой Москвы больше нигде не описано. Это был живой, многоплановый и очень трагический город. Он был дан очень густо, очень плотно, со всем бытом конца 30-х годов, тяжелый, нищий, с ее трамваями, крысами и коммуналками. И конечно, с ее ночными арестами. И эта реальная Москва как-то совсем незаметно переходила в какой-то странный, фантастический мир, как у Александра Грина в „Крысолове“, когда реальный голодный Петроград 20-х годов переходит в город мистических видений... Если бы этот роман не погиб, то Москва Даниила могла бы стать для нас городом-образом, не менее значимым, чем, например, Петербург Достоевского. <...> Я думаю, есть такие слои реальности, где ничего не исчезает. Там и находится сожженный второй том „Мертвых душ“, и потерянный роман Платонова „Путешествие из Москвы в Ленинград“, и множество других неведомых нам текстов...»

Александр Севастьянов. Разговор с глухими. — «День литературы», 2001, № 1, январь.

Убежденный национал-капиталист и национал-демократ окончательно разрывает с *красными* (материалы его полемик см. на сайте www.nazionalism.net).

Ольга Славникова. Псевдонимы и псевдонимки. — «Октябрь», 2001, № 1.

«А теперь признаюсь: у меня восемь псевдонимов...» См. также ее *субъективный обзор* прозы минувшего года «Произведения лучше литературы» («Дружба народов», 2001, № 1).

«Слушать Бога, а не человек...». — «Завтра», 2001, № 2, 9 января.

Говорит иеросхимонах Святой Горы Афон Рафаил (Берестов): «Мы не должны принимать ИНН (идентификационный номер) — предлагаемое нам цифровое бесовское имя. Это не техническая необходимость, а мистическое кодирование нас — овец Христовых... Дадут новый паспорт с идентификационным номером, потом жетон с тремя шестерками — начертание или имя зверя или число имени его. „И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет сие начертание“. Этот путь ведет к мировому порядку без Христа».

Об индивидуальном номере налогоплательщика (ИНН) и «числе зверя» см. также полемику Владимира Осипова и Дмитрия Поспеловского («НГ-Религии», 2000, № 6, 22 марта <<http://www.religion.ng.ru>>). А Николай Большунов, еще недавно доказывавший в журнале «Москва» (2000, № 8 <<http://www.moskva.cdru.com>>), что в штрихкодах нет числа 666, внезапно изменил свою точку зрения на противоположную («Москва», 2000, № 11).

Максим Шевченко считает («Апокалипсис сегодня». — «НГ-Религии», 2001, № 1, 17 января), что проблема ИНН возникла уже на таком уровне и с такой степенью полемического задора, что дальнейшее ее развитие может не просто осложнить внутрицерковную ситуацию, но и привести, если не будет предпринято срочных мер, к расколу Русской Православной Церкви.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II на встрече с сотрудниками издательства Московской патриархии осудил тех, кто призывает верующих отказаться от принятия ИНН, обвинил их в попытке внести раскол в общество и посеять недоверие к властям («Сегодня», 2001, № 24, 2 февраля).

Александр Солженицын. «Я верю в преимущество духа над бытием...». — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4346, 21 декабря.

Текст выступления А. Солженицына — о *перерождении гуманизма, глобализме, экологии...* — при получении премии французской Академии морально-политических наук (13 декабря 2000 года, Москва) расшифрован редакцией «РМ» с магнитофонной записи, предоставленной радиостанцией «Эхо Москвы». Цитата: «Успешливым народам земли, как вообще всем успешливым людям, трудно отказаться от изобилия и разнообразия потребления. Они стали рабами его. Как это так — самим себя ограничить? Самоограничение — это самое трудно дающееся качество. Что отдельному человеку, что группам людей, партии, государству, фирмам. Мы увлечены идеями свободы, но забываем, что высшее проявление свободы — это дальновидное самостеснение...» Комментарий к речи Солженицына см. в статье Олега Мраморнова «Перерождение гуманизма» («НГ-Религии», 2001, № 1, 17 января): «Двадцатый век — в последней его трети — прошел под знаком Солженицына и завершился на солженицынской ноте...»

«Мы сожалеем, — пишет в этом же номере „Русской мысли“ ее главный редактор Ирина Круглова, — что из-за финансовых проблем мы с Нового года сможем сохранить лишь парижское издание „Русской мысли“ и на какое-то время прервем печать и распространение нашей газеты в России; но она по-прежнему будет доступна нашим читателям в Интернете... Сегодня мы ищем новых партнеров, способных оценить потенциал развития уникальной в своем роде европейской русской газеты».

Борис Тарасов. Новый ренессанс или ускоренный Апокалипсис? — «Литературная учеба», 2000, № 5-6, сентябрь—декабрь.

Полемика с Библихиным о гуманистическом утопизме в свете христианской онтологии.

Наталья Трауберг. Бог почтил человека свободой. — «ИНДЕКС/Досье на цензуру», 2000, № 11.

«Разумных и доброжелательных людей по меньшей мере удивляют та выпренность, та слащавость, та нетерпимость и то самоутверждение, с какими мы вспоминаем человека [о. Александра Меня], у которого начисто не было этих свойств». В мемориальную подборку «Десять лет без Меня», кроме разнообразных мемуаров, входят «Воспоминания о студенческих годах», «Беседа о социальной концепции православия» и «Беседа о социальной позиции христианина» о. Александра Меня.

Виталий Третьяков. Власть, общество и интеллигенция в современной России. — «Независимая газета», № 6, 17 января <<http://www.ng.ru>>

Там, где есть многопартийность, нет интеллигенции, а только оппозиция, но оппозиция — это не интеллектуальная и не моральная категория.

Сергей Федякин. О российском гимне. — «День литературы», 2001, № 1, январь.

«[Музыка Александра] — это не только „Гимн Советского Союза“, но и „гимн как таковой“, „идеальный гимн“... И если представить себе идеальную Россию, взявшую все лучшее из трех России — царской, советской и той, которая, может быть, еще дождетя своего часа, — ее гимном будет конечно же не гимн Глинки (это же все-таки не его простое и гениальное „Слався!“, а музыкальный черновик), не „Боже, царя храни“ (музыка Львова замечательна, но есть в ней что-то сонное, великая Империя в те годы ведь действительно „почила на лаврах“). Только музыка союзного гимна и есть гимн „идеальной России“ (той, что „в веках“), и вряд ли Россия когда-нибудь обретет свое музыкально выраженное „государственное лицо“ более замечательное».

В этом же номере газеты Татьяна Глушкова утверждает, что если соотнести *славный музыкальный символ* с государственной действительностью сегодняшней России, то обнаружится глумливый фарс, рассчитанный на надорванную психику народа со всей неадекватностью присущих такой психике реакций.

Ревекка Фрумкина. Размышления о самосознании лингвистов и филологов. Этические аспекты. — «Интеллектуальный Форум», 2000, № 3 <www.russ.ru/ist_sovr/if3_fr.html>

Проблема морального выбора для гуманитариев не менее актуальна, чем споры «естественников» вокруг овечки Долли: «Как пишущие авторы, мы совершаем моральный выбор здесь и сейчас, а до клонирования человека еще довольно далеко». Десакрализация научных текстов (на примере Выготского и Бахтина) как этическая проблема.

Борис Хазанов. Критик. Критика. Литература. — «Октябрь», 2001, № 1.

«Критик может ошибаться. Литературная критика непогрешима».

«Художники вдалбливают стране депрессивную версию реальности». Беседу вела Алена Солнцева. — «Время новостей», 2001, № 11, 24 января.

Беседа с Даниилом Дондуреем, главным редактором журнала «Искусство кино» и председателем оргкомитета конкурса сценариев под названием «Нормальная жизнь в нормальной стране» (организатор конкурса — «Союз правых сил», председатель жюри — Егор Гайдар): «Жизнь учит бандитов, учит молодежь, но только не художников и власть — вечных оппонентов, главных участников российского культурного процесса. Кремль не может стать умным заказчиком, а художники ничего не могут предложить, кроме рассказа о нашем „темном царстве“... Наши художники уже пятнадцать лет унижают то время, в котором сами живут, оскорбляют его, трусят».

Татьяна Чередниченко. Музыкальный запас: Александр Бакши. — «Неприкосновенный запас», 2000, № 6.

«Инструментальный театр [Александра Бакши] — это театр без литературы. В нем инструменталист или певец играют самих себя, а не перевоплощаются в неких внемузыкальных персонажей... В пьесе Бакши „Зима в Москве. Гололед...“ струнный ансамбль играет, передвигаясь по сцене и шаркая по ней подошвами. Это шарканье, имитирующее осторожное хождение по наледи, темброво задано первым аккордом подготовленного роля, в котором явственно слышен некий скребуче-шелестящий призыв (от бумаги, подложенной под струны). И струнные порой играют не полным звуком, а шелестяще-свистящим, у колков ребром смычка. Кончается же сочинение тем, что из рук виолончелиста, с самого начала сидящего на авансцене и читающего газету, скрипачка выхватывает эту газету, комкает ее и рвет перед микрофоном, с омерзением выбрасывая разорванную бумагу. От роля, стоящего в глубине сцены, вместе с шаркающими инструменталистами скребуче-шелестящий тембр проделал путешествие „наружу“, к публике: прошел свой постылый путь по московской гололеднице...» См. также статью Татьяны Чередниченко «Музыкальный запас: Владимир Мартынов» («Неприкосновенный запас», 2000, № 4).

Игорь Шайтанов. Метафизики и лирики. — «Арион». Журнал поэзии. 2000, № 4.

«„Метафизическая поэзия“ — не повод для классификации. Это рефлексивное понятие, высвечивающее то, что у нас есть и чего прежде не было...»

Игорь Шевелев. Алик Гинзбург — дедушка русского диссидентства. — «Время MN», 2001, № 19, 3 февраля.

«Я понимаю, что вымораживание Приморья — трагедия, — говорит Александр Гинзбург. — Но я с 56-го года начал ездить по стране как журналист и видел подобные вымораживания. Да, страшно жить без северного завоза. Но я видел, как жили без северного завоза, как привозили гнилую картошку и вываливали на берег. Количество трагедий было ничуть не меньше, но журналисты ничего не могли об этом рассказывать...»

Валерий Шубинский. Последний русский роман. — «Октябрь», 2001, № 2.

Последний русский роман — это «Виктор Вавич». Борис Житков отныне — «автор не третьего и даже не второго ряда».

Дмитрий Шушарин. Первый президент России глазами русского националиста. — «Время МН», 2001, № 17, 1 февраля.

«Первым решающим рубежом для Бориса Ельцина явились президентские выборы 1991 года, давшие ему право на Беловежские соглашения. Прав этих не было у подписавших в 1922 году расторгнутый в Беловежье Союзный договор. И если бы Ельцин ничего бы больше не совершил, то этого одного было бы достаточно, чтобы войти в историю в качестве политика, сыгравшего решающую роль в формировании современной русской нации». *Русский националист* в названии статьи — это провокативная самоидентификация Шушарина. См. его публицистические заметки «Пройдя до середины» («Новый мир», 1999, № 6) и полемическую статью Валерия Сендерова («Новый мир», 2001, № 1) о книге Дмитрия Шушарина «Две реформации».

Авигдор Эскин. Русско-еврейский симбиоз наших дней. — «Независимая газета», 2001, № 15, 30 января.

Израильский традиционалист, уроженец России, — против американизации Израиля. За то, чтобы идеологи неоевразийского проекта (например, Александр Дугин) приступили к выстраиванию геополитической схемы участия Израиля «в стратегии изменения мирового баланса в пользу Суши и к созданию новой атмосферы, отторгающей приверженность тупиковым либеральным мондиалистским привязанностям прошлого (причем как в России, так и в Израиле)».



АДРЕСА: «Знание — сила»: <http://www.znanie-sila.ru>



ДАТЫ: 2 (14) мая исполняется 110 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 — 1940); 9 (21) мая исполняется 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Зенкевича (1891 — 1973).

Составитель Андрей Василевский.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Май

5 лет назад — в № 5, 6 за 1996 год напечатана повесть Анатолия Азольского «Клетка».

10 лет назад — в № 5 за 1991 год напечатана повесть Владимира Маканина «Лаз».

20 лет назад — в № 5 за 1981 год напечатана повесть И. Грековой «Вдовий пароход».

35 лет назад — в № 5 за 1966 год напечатан «Святой колодец» В. Катаева.

75 лет назад — в № 5 за 1926 год напечатано стихотворение Вл. Маяковского «Сергею Есенину».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

НИК. УШАКОВ

Фруктовая весна предместий

Разъезд,
товарная,
таможня,
и убегает под откос
за будкой железнодорожной
в весеннем дыме абрикос.
Еще не зелен,
только розов.
И здесь
над выдыхом свистков,
над жарким вздохом паровозов
воздушный холод лепестков.
В депо трезвон
и гром починок,
а в решето больших окон
прозрачным золотом тычинок
дымится розовый циклон.
И на извозчичьем дворе
хомут и вожжи на заборе
в густом и нежном серебре,
как утопающие в море.
В депо,
в конюшни
и в дома
лети, фруктовое цветенье,
и сходят лошади с ума
от легкого прикосновенья.

«Новый мир», 1927, № 3.

SUMMARY



This Issue publishes a new novel «The Boy and the Girl» by Galina Shcherbakova, a narrative «The Hotel *Ocean*» by Mikhail Tarkovsky and the short stories by Boris Yekimov.

The poetry section includes new poems by Olesya Nikolayeva, Aleksey Alekhin, Tatyana Voltskaya and Ivan Ahmetyev.

Under the heading «Essays» sketches «The Expiration Date» by Olga Shamborant are published.

In the section «The Scientific World» readers will find the article «The Russian Orthography: Aims of Correction» by Vladimir Lopatin, dedicated to the reform of spelling, being discussed now in Russia, and also some chapters from the book of memoirs «The Idle Thoughts» by the late academician Boris Raushenbakh.

Vladimir Osheroev is responsible for a permanent section «Letters from Far Away».

In his article «The Devil's Beauty» Nikita Eliseyev enters into polemics with the book of the literary critic Vladimir Bondarenko.

In this Issue Aleksander Solzhenitsyn publishes the text of the speech, he delivered at the presentation of the Solzhenitsyn's 2001 Literary Prize, when he entrusted Konstantin Vorobyev and Evgeniy Nosov with this Prize.

Under the heading «The Literary Critique» two poets from Saint-Petersburg Sergey Zavyalov and Valery Shubinsky lead a discussion about poetry.

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов,
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 101999, ГСП-9, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru;
по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://novosti.online.ru/magazine/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.01.2001 г. Подписано к печати 28.03.2001 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 800 экз. Зак. 2162. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, г. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

**Премия присуждается с 2000 года автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).**

**Правом выдвижения произведений на премию
обладают критики, издатели и творческие организации.**

**Жюри формируется из сотрудников «Нового мира»
и независимых экспертов.**

**Состав жюри 2001 года и денежное содержание премии
будут объявлены дополнительно.**

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии
состоится в декабре 2001 — январе 2002 года.**

**Контактные телефоны:
(095) 209-57-02, 209-91-81.**

E-mail: butov@aha.ru, seva@mail.cnt.ru